

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1954

1

---

1954

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 1

Январь, 1954 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| А. ТВАРДОВСКИЙ — Ленинское знамя, стихи  | 3    |
| МАРГАРИТА АЛИГЕР — Первое стихотворение  | 3    |
| ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — На крутых берегах, поэма. Авторизованный перевод с украинского Марии Комиссаровой.   | 6    |
| ФЕДОР ГЛАДКОВ — Лихая година, повесть  | 35   |
| Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ — Один день. Из записок агронома   | 99   |
| ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ — Встречи в Китае   | 123  |
| ГОВАРД ФАСТ — Подвиг Сакко и Ванцетти, роман. Перевод с английского Е. Голышовой и Б. Изакова.   | 135  |
| <i>К 30-летию со дня смерти В. И. Ленина</i>   |      |
| С. СУТОЦКИЙ — Под знаменем ленинизма   | 181  |
| В. ЩЕРБИНА — В. И. Ленин и проблема народности литературы  | 198  |
| <b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>  |      |
| В. ШУТОЙ — Воссоединение Украины с Россией (Историческая справка)  | 213  |
| Н. НЕМОВ — Об экономии и бережливости  | 220  |
| ОЛЕГ НАКРОПИН — Угроза европейской безопасности  | 234  |
| <b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>  |      |
| В. ПАНКОВ — Роман Ф. Панфёрова «Волга-матушка река»  | 247  |
| <b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>   |      |
| <i>Литература и искусство</i>  |      |
| М. Щеглов. Жизнь замечательного человека. — С. Бабёнышева. Повесть о колхозе. — И. Козлов. «Под Наро-Фоминском». — С. Малоцицкий. Новый украинско-русский словарь.   | 253  |
| <i>Политика и наука</i>  |      |
| В. Яковлев. Недостатки монографии о передовом колхозе. — Ю. Арбатов. Кому нужна «холодная война». — Л. Безыменский. Мемуары военного преступника. — Кандидат исторических наук А. Николаева. Уникальные памятники. | 271  |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ  | 287  |

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва



---

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

## ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ

И в год, как Ленин нас оставил,  
И через тридцать этих лет  
Мы не заводим речь о славе,  
Хотя ей в мире равной нет.  
И славе самой величавой  
Венчать тот подвиг не дано.  
Здесь даже слово это — слава ---  
Такое малое оно.  
Ему не выйти за пределы  
И не объять людских сердец,  
Затем, что ленинское дело —  
Оно само себе венец.  
Оно живёт, оно с годами  
Прочней на всех материках,

Затем, что ленинское знамя  
У нашей Партии в руках.  
Оно виднее всех на свете,  
За ним не три десятка лет,  
А, может быть, уже столетья  
Свершений гордых и побед.  
Оно народной верой свято,  
Маяк призывный для Земли,  
С ним нашу первую утрату  
Мы, строй сомкнув, перенесли...  
Во дни торжеств и испытаний  
Мы с ним, древко руками сжав.  
Так нас учил товарищ Сталин —  
Он высоко его держал!

---

МАРГАРИТА АЛИГЕР

★

## ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

В южном городе был день морозный.  
Море поседело в этот день.  
Нам прочла учительница грозный,  
краткий бюллетень.  
Умер Ленин.

Слушали мы стоя,  
октябрю, первый класс.  
С новым смыслом, с новой теплотою  
отовсюду он смотрел на нас.  
Он был нарисован на тетради,  
он глядел из наших первых книг,  
и в его знакомом, остром взгляде  
жизнь не угасала ни на миг.  
Со стены,  
с портрета в хвойной раме,  
замкнутого траурной каймой,  
он следил внимательно за нами,  
проводил по улицам домой  
школьников, мальчишек и девчонок.

октябрят своих, внучат своих,  
мимо жалких мелочных лавчонок,  
мимо магазинов дорогих.

На витринах — фрукты и конфеты,  
шубки и шелка.  
А ребята кое-как одеты,  
кое-как накормлены пока.  
Бедный город выглядел нелепо,  
весь в аляповатых пятнах нэпа,  
с лихачами, с биржами труда...  
Город южный, оживлённый, людной,  
жил и расточительно и скудно.  
Кто кого?! — суровые года...

...Как ему, должно быть, было трудно  
оставлять нас именно тогда!  
Всей своей душою человеческой  
он тревожился о нас.  
Может, потому-то каждый встречный  
в этот смутный час  
на гурьбу озябших ребятишек  
пристальней глядел, шагая тише,  
думая о них.  
Это были люди трудовые —  
рыбаки, ребята портовые,  
железнодорожники седые  
из Январских мастерских.  
Мы им стали ближе и дороже,  
а они для нас —  
все как есть на Ленина похожи  
были в этот час.  
Кто — лица характерною лепкой,  
кто — улыбкой,  
кто — примятой кепкой,  
кто — прищуром глаз.  
Ленинской заботою горячей,  
доброй думой о судьбе ребячьей  
нас они старались окружить.

Не умея, видимо, иначе  
горе пережить,  
не умея первое волнение  
скрыть или сдержать,  
первое своё стихотворенье  
вечером писала я в тетрадь.  
Я писала первыми словами,  
первый в жизни раз:  
«Он не умер. Он живёт. Он с нами».

Я наутро с первыми стихами  
прибежала в класс.  
И, краснея, с робостью невольной,  
до того, как прозвенел звонок,  
отдала учительнице школьной  
вкривь и вкось исписанный листок.  
Поглядела ласково и строго

на меня она из-под очков.  
Перед ней уже лежало много  
вкривь и вкось исписанных листков,  
на которых первыми словами,  
так же как и я,—  
«Он не умер. Он живёт. Он с нами»,—  
написали все мои друзья.

За окном мела и выла вьюга.  
Мы сидели, слушая друг друга,  
сдержанны, тихи.  
Друг за другом мы читали стоя.  
Детских строк звучание простое..  
Это было больше, чем стихи!

Это было верой поколенья  
в свой родной народ —  
в миллионы тех, в чьих судьбах Ленин  
на земле живёт.  
Это было клятвой поколенья  
на века вперёд —  
жить на свете так, как будто Ленин  
на земле живёт.

Сколько вёсен в море убежало,  
прошумело гроз, взошло хлебов!  
Но точнее не найти, пожалуй,  
первых чувств и слов.  
Если оглянуться:  
как мы жили?  
Как мы нашей родине служили,  
клятве той верны?  
Может быть, помедлить нам с ответом?  
Может быть, не нам судить об этом?  
Может быть, видней со стороны?  
А по-моему,  
как в раннем детстве,  
в дни трудов, и праздников, и бедствий,  
и вперёд на тысячу годин  
первыми горячими словами —  
«Он не умер. Он живёт. Он с нами» —  
вправе мы ответить, как один!



---

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

★

## НА КРУТЫХ БЕРЕГАХ

*Поэма*

*С украинского*

1

Последний лёд прошёл уже Днепром...  
А так ещё недавно — не вчера ли —  
Над низкой далью сумрачным шатром,  
Как серый войлок, тучи нависали,  
И ветер налетал и в кручу бил,  
Дубов и верб вершины колыхая,  
По берегам сугробы громоздил  
И улетал в низовья затихая.  
Ещё недавно зимние поля  
От стужи согревали грудь снегами,  
Казалось, долго будет ждать земля  
Конца зимы с метелями, с ветрами,—  
Но как зерно положенным путём  
Незримо в тёмных недрах прорастает,  
Так и весна, когда всё спит кругом,  
Нежданно в небе тучку разгоняет  
И, распахнув прозрачных два крыла,  
Теплом дохнула — и зима ушла.

2

Подул с полудня первый ветерок  
С такой весенней силой молодою,  
Что ожил встрепенувшийся росток  
И снег в степи уже набух водою.  
Залапегал чуть слышно ручеёк,  
Другой — и звон пошёл по всей округе,  
Над пашней лёгкий поднялся дымок,  
Всё пробудилось: лес, пруды, яруги.  
Знакомые вернулись журавли,  
Весна их гнёзда старые качает,  
Звон наковальни слышится вдали,  
И отсвет горна в кузнице играет.  
Весна немало принесла забот —  
Уж в поле выходить пора приспела.  
Механик тракторам осмотр ведёт,  
Завхозу в кладовых немало дела,  
И председатель наш и агроном  
Не раз уж были в поле за селом.

## 3

Так вот он, этот миг, когда весна,  
Весна пришла! — Ты всюду это слышишь.  
Каким вином тебя пьянит она,  
Как радостно ты полной грудью дышишь.  
Выходишь ты на кручу над Днестром —  
Напиться солнца, блеска волн и ветра,—  
Он то летит, то упадёт ничком,  
То песня им нехитрая пропета,  
То на бегу коснётся волн слегка,  
То шепчется чуть слышно с берегами,—  
Плывёт лазурь, чиста и глубока,  
В прозрачных тучках высоко над нами...  
Как разлилось! Не видно берегов!  
И только шёпот, пенье, плеск и зов...  
Всё, что нам зимними ночами снилось,—  
Всё в этот светлый день весны для нас  
В миг пробужденья, в ранний этот час,  
В её живом дыханье возродилось.

## 4

Матвей Горбенко у днестровских вод  
Стоял, и щёк его едва касался  
Весенний ветер. Первый пароход  
Разливом на Черкасы направлялся.  
Ташил буксир пыхтящий за собою  
Тяжёлый плот, и от костра над ним  
Тянулся к небу синеватый дым  
Спокойно, мирно, будто над избою.  
А левый берег — жёлтые пески,  
Поросшие краснеющей лозою,—  
Невидимый лежал, как дно реки,  
На много вёрст под полою водою.  
И только островками кое-где  
Темнея, хаты на буграх стояли,  
Да вербы серебристые в воде  
Брели, как будто берега искали.  
Кружилась чайка с криком над Днестром,  
Касаясь волн седеющим крылом.

## 5

Матвей, ремонт закончив, отдыхал  
На берегу, как и в былые годы.  
Не нынче-завтра в МТС, он знал,  
Прибудут снова тракторы с завода,  
Как прибывают каждою весной.  
Хоть в этом новизны нет никакой,  
А всё ж, когда весна идёт полями,  
Ты с нетерпением их ждёшь всегда...  
Залей бензина в баки — и тогда  
Взрезай глубокий чернозём плугами.  
Весенней пахоты подходят дни.  
Сегодня ж ты по праву отдохни,  
Пусть сила мускулов твоих мужает  
И крепнет мысль твоя наедине,



Как птица, что летает в вышине  
И на свободе крылья расправляет,  
Стремясь в полёт дорогою прямой,—  
Широкий мир открыт перед тобой.

## 6

В ушанке, в тёплом ватнике стоял  
Матвей на круче, всматриваясь в дали.  
Он многое сегодня вспоминал,  
И дни былые в памяти всплывали,  
Как будто вдруг ему сама весна  
В минувший день и в завтра дверь открыла.  
Вся даль дорог была ему видна —  
Мир, счастье, труд, пожарища, война,  
Вся жизнь перед глазами проходила.  
Есть в памяти у старого бойца  
Огонь, что греет мужеством сердца,  
Который всё, что было и что будет,  
Объединяя навсегда собой,  
Рождает в сердце силу, а не боль,  
Что полною вздохнуть мешает грудью.  
Не умирают в памяти людей  
Ни дни войны, ни голоса друзей:  
Ты не один — они с тобою всюду.

## 7

Матвей на фронте вспоминал село,  
Каким его он знал перед войною.  
Сегодня перед ним оно легло  
В развалинах за далью грозовою,  
Как будто с волжских берегов в огне  
Его он видел сквозь завесу дыма.  
Глубоко спрятанный нещадный гнев  
Имеет свойство жить неугасимо  
В душе бойца. От Волги до Днепра  
Тяжёлые испытывая беды,  
И меру зла познавший и добра,  
Он знал уже, что лишь одна победа  
Ему могла минувшее вернуть,  
С которым он душой своей сроднился,  
Что лишь за нею долгожданный путь  
Из прошлого в грядущее открылся.  
Пожары, кровь, бои... Пути войны!  
Как были вы суровы и трудны!

## 8

Бойцам открылся Дон среди долин...  
С Матвеем вместе был боец один,  
Уже немолодой, станичник родом.  
Матвей лежал с ним рядом; а на том  
Холме крутом, присыпанном снежком,  
Под серым предрассветным небосводом  
Станичник видел хаты и плетни,—  
Казалось, только Дон перешагни —  
Откроешь двери, и уже ты дома,

Где дети ждут, где ждёт тебя жена  
 И стен родных тепло и тишина,  
 Где всё тебе так близко и знакомо.  
 Едва светало, и Матвей с зарёй  
 Сигнальной ждал ракеты, сам не свой,—  
 Сжимало сердце тягостным волнением;  
 Когда ж вдали ударил миномёт  
 И лейтенант скомандовал: «Вперёд!» —  
 Он лишь о друге думал в то мгновенье.

## 9

А тот, как тень во мгле, поднявшись, встал...  
 Как трудно от земли он отрывал  
 Вдруг ставшее таким тяжёлым тело,—  
 Казалось, что оно к ней приросло.  
 Кругом и шелестело, и мело,  
 Рвалось и клочотало, и ревело.  
 Снарядам мины падали вослед,  
 Обломки льда, осколки жаркой стали  
 Кругом свистели, и кровавый след  
 Тянулся вдаль. Бойцы перебежали.  
 А из родной станицы на бойца  
 Огонь обрушивался без конца,  
 Свистели пули, и рвались снаряды,  
 Но в полный рост он продолжал бежать,—  
 Теперь его бы не могла сдержать  
 И смерть сама. Рвануло мину рядом,  
 С него сорвало шапку — раньше всех  
 Он Дон перебежал и встал на снег.

## 10

Всходило солнце, освещая Дон.  
 Бежали, падая со всех сторон,  
 Огнём из-подо льда вздымало воду.  
 На кручах у станицы закипал  
 Бой, словно омут или страшный шквал,  
 А солнце шло и шло по небосводу,—  
 И всё вокруг слилось в железный гул,  
 Что обнимал селенья и дороги,  
 Катился в глубь донских степей, тонул  
 В полях и уходил за перелogi.  
 Тот, кто из тёмных вышел блиндажей  
 На выжженных руинах Сталинграда,  
 Кто беды пережил и смерть друзей,  
 Но мужество сберёг и ясность взгляда,  
 В любом селе мог видеть, что золой,  
 Уже освобождённое, лежало,  
 Всю боль, всю скорбь земли своей родной,  
 Но и того бойцам казалось мало.

## 11

Входить случалось каждому из нас  
 В освобождённое село не раз  
 Или в освобождённый город, зная,  
 Что из любого дома, в стужу, в зной,

Заплаканные матери гурьбой  
 И жёны выбегут, солдат встречая.  
 Чужих освобождая матерей,  
 Своею жизнью всей за них в ответе,  
 Был счастлив тот, кто у своих дверей  
 Свою жену и мать родную встретил.  
 А сколько нас, вернувшихся в свой дом,  
 Измученных, усталых после боя,  
 Нашли мечты поруганные в нём,  
 Руины видели перед собою!  
 А сколько нас удел нелёгкий ждал:  
 И трудную слезу пролить порою,  
 И примириться молча с сединою...  
 Не во-время пришёл... Что ж, опоздал...

## 12

Как говорится, было полбеды,  
 Когда солдата вновь вели следы  
 На запад сквозь дожди, снега, туманы,  
 Когда солдат надежды не терял  
 И, в бой идя, о лучших днях мечтал,  
 О встречах, что когда-нибудь настанут,—  
 А то беды бывало дополна,  
 Когда соседки в хату забредали,  
 Свидетели беды его, молчали,  
 И чей-то голос говорил: война!  
 Молчал боец — молчал, окаменев.  
 Не он один. Ведь горе в хате каждой.  
 И вот тогда в нём закипал не гнев,  
 А чувство то, похожее на жажду,  
 Которое, как пламя, жжёт сердца,  
 И горькими слезами сушит веки,  
 И, поселившись раз в душе навеки,  
 К священной мести в бой зовёт бойца.

## 13

В тот час, как бой на кручах закипал,  
 Матвей из глаз на время потерял  
 Товарища, что рядом был с другими,  
 Когда, в руках сжимая автомат,  
 Без шапки он бежал до первых хат,  
 Одну лишь хату видя между ними.  
 Теперь Матвей его увидел вновь,  
 Над бровью у него сочилась кровь.  
 Боец лежал среди двора. Стояли  
 Товарищи его невдалеке:  
 Кто — крепко сжав гранату в кулаке,  
 А кто — крутя цыгарку,— и молчали.  
 И плакала, склонясь над ним, жена,  
 И всматривалась горестно она  
 В его черты, любимые до боли.  
 Она рыдала, не скрывая слёз,—  
 Вернувшись, он свободу ей принёс,  
 Но без него ей нет на свете доли!

## 14

Стоял Матвей и думал той порой,  
Что он вот так же час последний свой  
В бою хотел бы повстречать, как воин,  
Когда, стирая пот с лица рукой,  
На кручу он взбежит крутой тропой  
И снова Днепр увидит пред собою.  
И, если суждена ему беда,  
Пусть упадёт он здесь и пусть тогда  
Обнимет землю, что в цветы одета,  
И улыбнётся нивам, и лугам,  
И над землёй летящим облакам,  
Как вестникам встающего рассвета.  
Летите, как весною журавли,  
Легко касаясь крыльями земли,  
Скорбя о нём, трубите полной грудью!  
Ведь тот, кто честно голову сложил,  
Тот жизнью все страданья победил,  
Нет для героя смерти и не будет.

## 15

Матвей коснулся глаз своих рукой...  
Не ветерок ли вешний над рекой,  
Летающий вдаль, своим дыханьем свежим  
Его коснулся, холодком пробрав,  
Иль грозный ветер давних переправ,  
Лесов, степей, оврагов, побережий,  
Дорог в жару, и в холод, и в грозу,  
Что пролетел в тот миг перед глазами,  
Вдруг вызвал ту нежданную слезу?  
Он видел Днепр под кручею внизу,  
Синела даль в тумане за лесами.  
А там холмы, широких нив простор,  
Над кузницей дымок прозрачный реял,  
И, как пчела, жужжал вдали мотор,  
А с птицефермы петушиный хор  
Перебивал порою сон Матвея.  
И вновь, вокруг не видя ничего,  
Как будто в воду, он нырял в него.

## 16

В дни жатвы он пришёл с войны домой.  
В то лето хлеб ещё серпами жали,  
Ещё в землянках жили, но живой  
Любовью и трудом опережали  
Свою мечту. И ни на миг Матвей  
Не растерялся. В гимнастёрке старой,  
Он за работу взялся с первых дней  
С окрепшей силой, с небывалым жаром.  
На МТС вернулся он опять,  
Копался в ломе, пылью покрывался,  
В Черкассы ездил — счастья попытать,—  
Где ржавыми винтами разживался,  
Где старое магнето добывал,  
Выпрашивал то масла, то бензина,

Порой недосыпал, недоедал,  
И похудел он, и оброс щетиной.  
Но трактор свой на диво всем опять  
Он вывел под озимое пахать.

## 17

Уходят в прошлое те времена.  
Но в год, когда окончилась война,  
Когда мы всюду видели руины,  
Ещё коров колхоз в плуги впрягал,  
И демобилизованный шагал  
Армейский конь по нивам Украины,  
И лес в село носили на плечах,  
И заменяли хатами землянки,  
И пламень грыз в мартеновских печах  
В лом превращённые орудья, танки.  
Металл везли с полей — не на поля,—  
Их щедро в битвах кровью поливали.  
Едва лишь стала оживать земля,  
А от неё уж хлеба, хлеба ждали...  
О, первый мирный хлеб, тебя солдат  
Всей жизнью, как никто, ценить умеет!  
Уже другие в поле за Матвеем  
Свой посевной выводят агрегат.

## 18

Руль трактора в руках Матвей держал,  
А на прицепах не один стоял  
Боец такой же — и, как мира вестник,  
В тот час ложилось полное зерно  
В распаханную борозду на дно,  
Как в душу чистую ложится песня.  
И ниву ту, что кровью защищал  
Из боя в бой четыре долгих года,  
Пахал, и боронил, и засевал  
Матвей Горбенко вновь. Забыв невзгоды,  
Покой и счастье ощутил он вдруг.  
Оглядываясь, видел он: на нивах  
Его друзья работали вокруг.  
О, сколько их сердец, таких счастливых,  
Таких неутомимых верных рук  
Своей Отчизне послужить старалось,—  
До небосвода борозду, казалось,  
За трактором взрезал колхозный плуг.

## 19

Осенняя холодная пора.  
В колхозном поле, в стане, вечера.  
Вагончик. Войлоком обиты стены,  
Кипит кулеш в солдатском котелке,  
Солдатский сон совсем накоротке,  
Идёт и ночью пахота — в две смены.  
Горят, ползут по полю фонари.  
Кругом ни зги не видно до зари.  
Колючий мелкий дождик нависает,

Из-за Днепра холодным ветром бьёт,  
 Порою он над пашнею замрёт —  
 И вновь летит... Как медленно светает!  
 И рассвело. Он видит вдалеке  
 Ту девочку в знакомом колушке,  
 С которой вместе он ходил учиться.  
 Как выросла, и как она светла!  
 Приблизилась, вагончик обошла.  
 К нему? Нет, нет, конечно,— не решится...

## 20

Но что же вдруг смутило так его?  
 Несёт газеты — только и всего.  
 Пришла. В лице почти не изменилась,  
 И лишь глаза сверкнули чуть сильнее,  
 И в этом взгляде прочитал Матвей,  
 Как сердце у неё в тот миг забилось.  
 Ну что за ветер! Щеки так и жжёт.  
 А может, это радость? Кто поймёт...  
 А может быть, их залил жар смущенья?  
 И вслух она читает, как тогда,  
 Бывало, в школе, в давние года.  
 Их взгляды встретились... И всё волненье  
 В них отразилось... Ясно и без слов —  
 В них всё слилось: вопрос, ответ и зов,  
 И сладкий хмель, что душу опьяняет...  
 Минула осень — и всему свой срок.  
 Уже зима ступила на порог.  
 Матвей друзей на свадьбу созывает.

## 21

Что нужно нам для счастья? Век живёшь,  
 А всё как будто к берегу плывёшь.  
 Уж кое-что мы знаем про Матвея,  
 А что ж его Килина, что она?..  
 Она жила, мечтою сердце грея,  
 Когда в июне началась война.  
 Поехать собиралась в институт,  
 Чтобы на агронома там учиться,  
 А довелось, платок надев, забиться  
 Подальше в угол — может, не найдут.  
 От полицаев пряталась в лесах  
 И от вербовки с поезда бежала,  
 Глухими тропами брела в слезах,  
 Когда в заречье партизан искала.  
 К себе в село, как на смерть, шла она,—  
 Над ним глумились лютые злодеи.  
 Всем в эту пору жизнь была трудна,  
 А девушке крестьянской всех труднее.

## 22

Последний день войны припомнил я,  
 Припомнил чужедальные края,  
 В воде старинных замков отраженье  
 И тонкие над крышами шпили,

Немые дали вражеской земли,  
 Садов весенних буйное цветенье.  
 Припомнился мне путь в чужих краях,—  
 Кривой и пыльный, он бежал в полях  
 Меж тополей в зелёном одеянье.  
 Уж трое суток ночью мы и днём  
 Вдогонку устремлялись за врагом,  
 А он, уже в предсмертном содроганье,  
 Скрывался в сёлах, в чащи уползал  
 И про себя о той поре вздыхал,  
 Когда в июне он задумал мраком  
 Окутать нас — и вот ему урок.  
 Четыре года — не короткий срок.  
 Но не о нём здесь речь идёт, однако.

## 23

Машины наши мчались по полям,  
 Лишь тучу рыжей пыли за собою  
 Вздымая. Вдруг увидели мы: к нам  
 Бежали люди пёстрою толпою  
 В густой пыли от недалёких хат.  
 Зачем же сердце сжалось так в тревоге?  
 Ещё минута... И толпа девчат  
 Навстречу нам летела по дороге.  
 В платочках белых, в кофточках худых,  
 Все босиком, они нас окружили  
 И обнимали, плача, как родных,  
 Едва машины мы остановили.  
 «Ой, мама! Наши, наши!» Слёзы, смех...  
 Мы на машины подхватили всех —  
 И снова в путь, охвачены волнением.  
 Как горек был нам этой встречи миг,  
 Хоть и кончались дни страданий их,  
 А даль плыла цветущим днём весенним.

## 24

Мать где-то голосила, и рыдал  
 Отец, горюя о пропавших детях,  
 Их полицаи гнали, проверял  
 Немецкий доктор, догола раздетых.  
 Как будто скот, гуртом их гнали всех  
 На станцию, в товарные вагоны.  
 Прощай, девичья радость, милый смех,  
 И даль Днепра, и ширь лугов зелёных!  
 Прощай, наш клуб колхозный, сад, кино!  
 Подруги моего звена, смуглянки,  
 За Одером нас ждут уже давно,—  
 Прощайте все — теперь мы полонянки.  
 Колёса под вагоном тупо бьют,  
 Как будто цепи в кузнице куют.  
 Взломать бы пол, о рельсы бы разбиться,  
 Лишь только бы Неметчины не знать,  
 Лишь только бы в неволе не страдать,  
 Не шить, не прясть, на пана не трудиться.

## 25

Так, на привале сидя, до зари  
В кругу солдатском нам девчата пели  
Те песни невесёлые свои,  
Те плачи, что в плену сложить успели.  
И слушали бойцы невдалеке  
С потухшею цыгаркою в руке,  
Подруг, сестёр своих припоминали...  
Так первый мирный мы рассвет встречали.  
В дорогу, в путь, скорей, скорей домой!..  
Широкою рекою бушевала  
Вся горечь боли и тоски немой,  
Что все четыре года назревала.  
Чуть свет мы провожали тех девчат  
В края родимых сёл, знакомых хат.  
Счастливым путь! Мы в ту минуту знали,  
Что не напрасно нам огонь и сталь  
Путь проложили в эту вражью даль,  
Где мы родную даль припоминали.

## 26

С полком своим на запад шёл Матвей.  
Он встречи ждал с Килиною своею,  
Хоть не писал и сам не ждал вестей...  
Уже в дни мира встретился он с нею.  
Сады, хлеба цветут за годом год,  
А маленький Андрейка всё растёт  
В матвеевой высокой новой хате.  
За годом год выводит трактор свой  
Весенней и осеннею порой  
Матвей в поля. И урожай богатый  
Не раз уж колосился на полях,  
По берегам Словуты вызревая.  
Но часто думы о былых боях  
Ему напоминали о друзьях,  
В ночи покоя сердцу не давая.  
Матвей женат. Теперь он не один.  
Уж подрастает белокурый сын,  
Своей судьбы счастливой ожидая.

## 27

В глубинах рек бывает быстрина,  
Такой струи поток, что и зимою  
Не замерзает, будто там со дна  
Тепло, как ключ, высокой бьёт волною,  
Живой волной — и тает лёд вокруг.  
Так и в душе у старого солдата  
Живёт его вернейший, лучший друг,  
Тот давний друг, что рядом был когда-то.  
Нигде такого больше не найти,  
Хоть забываешь ты о нём порою,  
С кем пройдены нелёгкие пути,  
С кем жизнь пришлось — не поле перейти,  
Шагая об руку от боя к бою.  
Хоть между вами вёрсты пролегли,



Ведь дружбу расстояние не пугает,  
И пусть от друга ты живёшь вдали,  
Есть дружба братьев, сердце это знает,—  
Та дружба нас навек соединяет.

## 28

Не пишешь сам — откуда ж писем ждать...  
Письмо могло б, конечно, рассказать,  
Открыть другим живого сердца повесть,  
Но всем давно известно нам о том,  
Что не дружит брeц с карандашом.  
Ему куда сподручней сесть на поезд,  
Потом неделю ехать на восток  
И в даль смотреть, что за окном открыто.  
Чтоб ночь одну за много лет он смог  
С дружкой поговорить о пережитом,  
А чуть рассвет — на станции стоять,  
Смотреть, как звёзды гаснут чередою,  
И слушать, как дубы шумят опять,  
Как тёмный тополь шелестит листвою,  
И, словно к дружбе приложив печать,  
Пожать друг другу накрепко ладони,  
А после долго думать и не спать,  
Беседа с бессонницей в вагоне.

## 29

Всё ж, от привычки отходя былой,  
Матвей послал письмо, но, как ни странно.  
Лычков, его товарищ фронтовой,  
Что с ним сдружился на передовой,  
На маршах, в переходах непрерывных,  
Ни слова на письмо не отвечал,  
Хоть почта и работает исправно.  
Своё письмо Матвей припоминал  
И сам себя как будто утешал:  
Письмо отправил он совсем недавно,  
А путь лежит немалый перед ним.  
Писали ведь и вы друзьям своим,  
И вы ответа с нетерпеньем ждали  
И сами знаете, что каждый раз  
Молчанье друга огорчает нас,  
Ведь вы письмо от сердца посылали.  
Когда друзья не отвечают нам,  
Бывает, ждёшь, грустя, по целым дням.

## 30

И в самом деле. Никанор Лычков  
Матвею был не только другом — братом...  
Осенний Днепр. Тяжёлых тун покров.  
Дождь хлещет. На привале с автоматом  
Матвей себя припомнил в ночи те.  
О, голоса солдат! Лежишь, не знаешь,  
Кто отдыхает рядом в темноте,  
Покуришь дежа — и опять шагаешь.  
Ещё один, последний переход —

И вот, лучами пробивая тучу,  
Тебе откроет солнечный восход  
Ту, заднепровскую родную кручу,—  
Багряная, вся в золоте, гора  
В осеннем плесе старого Днепра  
Вдруг отразится, так близка, знакома,—  
И снова счастье ты своё обрел.  
Ты не клонился в битве, ты дошёл,  
Вот реку перейдёшь — и ты уж дома.

## 31

В родную хату заглянуть пора,—  
Скорее перейти бы ширь Днепра,  
Теченье, что когда-то колыхало  
Тебя ещё ребёнком на челне,  
Пространство, что в былом далёком дне  
Тебя в свои объятия принимало,  
Тот тихий плес, который отражал  
Громады туч, та голубая заводь,  
Где пескарей на удочку ты брал,  
На старой камере учился плавать.  
Теперь не даль, не время, но одна  
Огня меж вами высится стена.  
Ты сквозь огонь на берег тот желанный  
Пройти готов — тебе уж не страшны  
Ни стали жар, ни холод глубины,  
Нет, не порыв, отчаяньем рождённый,  
А мужество души твоей живой  
Тебя вело на родину, домой.

## 32

Я помню дни, когда бойцы дощли.  
До очагов своей родной земли.  
Мне не забыть степей казахских сына,  
Что снял свой шлем, и на колени встал,  
И по-сыновнему поцеловал  
Истерзанную землю Украины.  
Тот светлый миг мы будем вспоминать,  
В нём и любовь и братство отразилось.  
И как Матвея сердце не понять —  
Оно в те дни сыновним чувством билось.  
Он шёл с Лычковым рядом и молчал,  
Надёжный локоть друга ощущая,  
А в сердце у него напев звучал  
Былой печали, и вся боль глухая,  
Перекипев давно, из глубины  
В последний раз поднявшись, затихала.  
И правота народной той войны  
Во всём величье перед ним вставала.

## 33

Шёл рядом с другом Никанор Лычков,  
Матвеево молчанье понимая...  
Вопрос или шутка самая простая  
Здесь были бы уместней громких слов.

Но и на них он был всегда скупой  
 И говорил обычно очень мало.  
 Молчанье это в тишине ночной  
 Сильнее слова их соединяло.  
 Тут истина, пожалуй, не нова:  
 В чужой беде не в силах разобраться,  
 Мы произносим громкие слова,  
 Когда лишь словом надо отозваться  
 Иль только бросить взгляд и тем помочь,  
 Чтобы сомненье друг отбросил прочь  
 И победил тревоги и заботы.  
 За истину, которой не забыть,  
 Лычкова б надо нам благодарить —  
 Он был в те дни парторгом нашей роты.

## 34

...Уж веял влагой Днепр издалека.  
 А на собранье партбюро полка  
 Той ночью, в час короткого привала,  
 В один какой-то краткий миг Матвей  
 Всё передумал о судьбе своей,  
 Припомнил всё, что в жизни миновало.  
 Он перейдёт ли через этот мост  
 Иль упадёт под берегом гористым?  
 И ясен вывод был его и прост:  
 Итти на переправу коммунистом.  
 Осталось сделать только первый шаг.  
 Как огоньки цыгарок в небесах,  
 Слегка дрожали звёзды под полою  
 Шинели серой, что покрыла свет.  
 Над берегом мелькнул ракеты след,  
 Едва приглашенный сырою мглою,  
 Что в небо поднималась от Днепра,—  
 А голос сердца говорил: пора...

## 35

На плащ-палатке около леска  
 Бойцы сидели; было их немного.  
 Держала никанорова рука  
 Листок бумаги; сдержанно и строго  
 Парторга голос в тишине звучал,  
 Фонарик скупое освещал бумагу,  
 И те слова, что Никанор читал,  
 Торжественно звучали, как присяга.  
 Вот ветер прошумел среди ветвей,  
 И капли первые из тучи дождь просеял,  
 Слилось в одно с дыханием друзей  
 Горячее дыхание Матвея.  
 И на вопрос секретаря: «Кто за?»  
 Матвей глаза зажмурил — и слеза  
 Вниз по щеке неожиданно заскользила,  
 И вкус её солёный на губах  
 Солдат почувствовал — он был, как знак:  
 Есть сердце у него, и в сердце — сила.

## 36

Ещё было тихо на передовой,  
Когда во тьме в окоп шагали свой  
Матвей с парторгом зарослью густою.  
Окоп их был на берегу Днепра;  
Вдали правобережная гора  
Темнела за днепровскою лукою,  
Как будто упираясь в небосвод.  
Припав к земле, ползли они вперёд.  
Шагов примерно двести им осталось.  
Что если враг наш замысел узнал?  
Уже над берегами гул вставал  
И шелест мин, и небо озарялось,  
И снова всё окутывалось тьмой —  
Холодной, угрожающей, немой, —  
И в ней прожектор лапой голубою  
Нащупывал, скользя среди холмов,  
Кусты, стволы поваленных дубов  
И кроны верб над тёмною водою.

## 37

И вновь среди внезапной тишины  
Они ползли. Вдоль берега челны  
Прикрыты ветками и в землю врыты;  
Орудья — жерлами на запад, — тягачи,  
«Катюши», что подъехали в ночи,  
Брезентом серым наглухо укрыты;  
Там миномёты пялились из нор,  
Там всматривался пристально в простор  
Стрелок, замаскированный лозою.  
Молчал во мраке Днепр, и берега,  
И рощи, и прибрежные луга —  
Так затихает всё перед грозой.  
И не один в окопчике своём  
Солдат, припоминая отчий дом,  
Писал, готовясь к бою, заявление.  
Его на сердце кто-нибудь найдёт  
Из тех, кто победителем взойдёт  
На берег, что виднелся в отдаленье.

## 38

В окопе узком, тесном, как нора,  
Матвей лежал бок о бок с Никанором  
Рукой подать осталось до Днепра,  
Что тьмой глубокой был укрыт от взора.  
Лишь было слышно, как он в берег бьёт,  
Журчит о чём-то, шепчет и поёт  
Давным-давно знакомое, родное —  
Про лето, что минуло, про снега,  
Что скоро скроют эти берега,  
И про весны дыхание живое.  
И слушал он, как плещется вода,  
Дышал, чтоб этой свежести напиться.  
Он юношей ушёл, чтоб вновь сюда  
Солдатом возмужалым возвратиться.

Вот так зерно, не вымерзши зимой,  
Снега и ветры на пути встречая,  
В свой срок поднимет колос над землёй,  
Чтоб зашуметь богатым урожаем.

## 39

И, закутив из-под полы, тайком,  
Чтоб скоротать минуты ожиданья,  
Они вели беседу шепотком  
О тех дорогах, что прошли вдвоём,—  
Их за собой вели воспоминанья.  
Ложится тяжесть на сердце людей,  
Когда они в былом припоминают  
День самой светлой радости своей,—  
Бывалые солдаты это знают.  
Но было б нам труднее во стократ,  
Когда б всё то, что так с душой сроднилось,  
Мог позабыть в пути своём солдат,  
Где каждой пулей смерть ему грозилась.  
В ту ночь парторг на берегу Днепра  
Припомнил волжские родные дали,  
И воскресала перед ним пора,—  
Немеркнущие зори, вечера,  
Дни юности, дни детства воскресали.

## 40

Давно в сердцах посея грозы взрастие,  
Эпоха шла к невиданным просторам.  
Подул днепровский ветер, воскресив  
Воспоминанья в сердце Никанора.  
Порой он из окопа взгляд бросал  
И за Днепром в тумане видел гору,  
И медленно курил, и вспоминал;  
Перелетев бескрайние просторы,  
Из той приволжской дали сквозь года  
Ему знакомый гомон откликался,  
Шёл бой в степи под городом,— тогда  
Царицыном ещё он назывался.  
Вовек не смолкнет отзвук этих дней.  
О, как пылала в глубине степей  
Огнём царицынская оборона,  
Когда к отцу в окоп, к земле припав,  
Он полз, колени, локти ободрав,  
И нес харчи в кошёлке и патроны.

## 41

Всю жизнь того не мог забыть он дня.  
Вокруг свои все были — всё родня,  
Соседи, заводские. Он, бывало,  
Их со своим отцом встречал всегда.  
Когда он степью подползал сюда,  
Сказать по правде, у него сначала  
Страх пробежал морозом по спине  
И сразу в жилах кровь похододела,  
Но, увидав своих знакомых, смело

Подумал он: «Не страшно на войне!»  
 Кругом отцы с винтовками в руках  
 Своих ребят приветливо встречали,  
 Патронных лент сплетенья на плечах  
 Поверх рабочих пиджаков лежали.  
 Вон издали, махнув ему рукой,  
 Его приятель Вася засмеялся.  
 — Что? Чёрта с два! Ничуть не испугался!  
 Отдам кошелёк, и пойдём домой.

42

Старик Лычков спокойно закусил,  
 Усы спокойно вытер. Заложил  
 Обойму в магазин и молча снова  
 Залёг в окопе. Через ковыли  
 На них с оркестрами красновцы шли,  
 Но незаметно было по Лычкову,  
 Что в нём кипит волнение через край.  
 — Стреляй! — вскочил тут Никанор. — Стреляй! —  
 Отец на сына только оглянулся,  
 Своей рукой к земле его прижал.  
 — Лежи, — сказал, и мальчик увидал,  
 Как он улыбкой доброй улыбнулся.  
 А ветер гнул степные ковыли,  
 Гремя, оркестры за попами шли,  
 Хоругви и погоны степь покрыли,  
 В осеннем неприглядном свете дня  
 Вслед за попами шла офицерня,  
 Как говорится, напрямиком к могиле.

43

Тут с грохотом небес голубизна  
 Разверзлась вдруг над степью онемелой,  
 И Никанор увидел, что она,  
 Как тучею, покрыта пылью белой,  
 И та лавина, что увидел он,  
 Как призрак, пошатнулась и распалась,  
 И золото расшитое знамён  
 Над дымом поплыло и закачалось, —  
 Так начался решающий тот бой;  
 Отец спокойно, словно на работе,  
 Прицеливаясь, пули по одной  
 Белогвардейской посылал пехоте.  
 Ура! Ура!.. Гуденье, топот, крик.  
 На полный рост встаёт Лычков-старик.  
 Столкнулась грудью конница с пехотой,  
 И ярко в небе вспыхнули клинки.  
 Лычков чуть не плясал: — Вперёд, сынки! —  
 Царицынская, как-никак, работа!

44

Отец назад случайно посмотрел,  
 Глазами встретился со взглядом сына.  
 — Ты здесь? А ну-ка, марш домой, пострел!  
 Ведь здесь — смотри, какая чертовщина.

Земля трясётся от огня кругом! —  
 Что делать тут мальчишке оставалось?  
 Он за своим отправился дружкой,  
 Домой, домой, чтоб мать не волновалась!  
 Он полз недолго. Где же Вася? Вот —  
 В воронке рядом. Может, испугался?  
 Он бледен. Головой не шевельнёт.  
 Лишь чёрный чуб под ветерком качался.  
 — Васютка! Что ж ты... Вася! — Тишина.  
 В виске над бровью дырочка видна,  
 Кровь из неё струится почему-то.  
 Спросите у Лычкова — где, когда  
 Он с детством распростился навсегда.  
 Ответит он, что с этой вот минуты.

## 45

Плывёт и кружит половодье лет.  
 Цветы цветут и осыпают цвет,  
 И молодой дубочек меж дубами,  
 Что, кажется, вчера зазеленел,  
 Широкой кроной в небе зашумел,  
 Беседуя с привольными ветрами.  
 Когда же буря налетит порой,  
 Он впереди стоит, как часовой,  
 Не содрогаясь, посреди долины.  
 Пускай вокруг деревья буря гнёт,  
 Пускай она листву с него сорвёт,  
 Но нет, ей не осилить исполина.  
 Как будто родился он для борьбы —  
 Могучей силой прадеды-дубы  
 Взрастили, поднимая прямо к тучам,  
 Раскидистых ветвей его шатёр,  
 Чтоб видел мир долин, лесов и гор,  
 Как и под бурей он стоит, могучий.

## 46

К раздольям Волги-матушки реки  
 Опять рвались захватчиков полки,  
 И город над великою рекою,  
 Окутывая дымом берега,  
 Не дрогнув, принимал удар врага,  
 Нацеленный преступною рукою  
 На даль Москвы. В те дни, в тот грозный год,  
 Когда на берегу июльских вод  
 Бойцы стояли насмерть в обороне,  
 В крови, в пыли, чернее, чем земля,  
 Когда испепелённые поля  
 Топтали танки, тягачи и кони,  
 Пришёл и я на волжский тот откос,  
 Где Никанор Лычков когда-то рос.  
 Здесь, в этом городе, должна была решиться  
 Судьба народов. И весь мир следил  
 И глаз от той земли не отводил,  
 Где кровь ещё должна была пролиться.

## 47

На Понизовье тихом, на Дону,  
И день и ночь гудела канонада  
И приближала каждый час войну  
К просторам Волги, к стенам Сталинграда.  
В ещё недавно затемнённый тыл  
Пришла с далёких рубежей пехота,  
И фронт совсем уж недалёко был.  
В степи под городом велась работа.  
Уже на стебли блёклые травы,  
Смешавшись с потом, капли слёз упали,  
Уже противотанковые рвы  
Деды, подростки, женщины копали.  
Орудия, нацелившись в зенит,  
У переправ держали оборону.  
Ветвями сверху донизу укрыт,  
Шёл пароход по Волге нагружённый,  
И в небе сером, словно лёд, не раз  
Свой след прочерчивал фашистский асс.

## 48

Теперь Лычков на Тракторном и жил.  
Домой и ночевать он не ходил;  
И днём и ночью, утром спозаранку,  
За сутки веки не сомкнув порой,  
Вводил разбитую машину в строй,  
Жизнь возвращая пушке или танку.  
Царицынские старики, они  
К своим станкам вернулись в эти дни.  
В цехах, не прекращаясь, шла работа  
Бесменно от утра и до утра,  
И из завода шли не трактора,  
А танки выходили за ворота,  
Вступали в бой, разя врага в упор.  
Водитель, командир или башнёр,  
Тот экипаж, которому вручался  
Готовый танк, бывало, из своих  
Рабочих, всем известных, заводских  
Товарищей надёжных, составлялся.

## 49

День августа прозрачный, как стекло,  
Не торопясь, шёл вброд рекой широкой.  
Вдруг ветром гул знакомый донесло —  
Он из-под солнца долетал, с востока.  
Тут самолёты наши чередой  
Рванулись в небо, завязался бой.  
Над городом, над Волгой, в небе чистом  
Разрывы плыли, тая, и опять  
Цвело полнеба сыпью их пятнистой;  
Не в силах были «ястребки» сдержатъ  
Той непрерывной, яростной атаки:  
Вот запылал завод, вот первый дом.  
Гигантские над Волгой нефтебаки  
Взметнулись пламя. В небе голубом



Дым расплывался чёрною рекою,  
И сажа падала, как странный снег,  
На даль дорог степных заволжских тех,  
Покрытых пылью — горькою бедою.

## 50

Я на машине в город поспешал  
В тот день с заволжского аэродрома,  
На переправе долго я стоял,  
Гуртом машин затёртый, ждал парома.  
И видел даль в дыму, и наблюдал,  
Как непрерывно за звеном звено  
Фашистские являлись эскадрильи  
И в вышине, померкнувшей давно,  
Как волны металлические,плыли.  
К нам приближался медленно паром,  
Мы с берега могли уже заметить  
В повязках раненых солдат на нём,  
Меж ними были из детдома дети.  
Зенитки били. В небе штурмовик  
Крутыми виражами приближался.  
Всю жизнь я буду помнить этот миг —  
Отчаянный внезапный детский крик  
В неимоверной тишине раздался.

## 51

И вдруг фонтаном воду подняло,  
Как дерево, и вмиг оно распалось.  
Паром как будто начисто смело,  
Панамки белые водой несло,  
И чья-то на волнах шинель качалась...  
Да кто-то здесь и там уйти спешил  
От страшной гибели, борясь напрасно  
С водой, что издали казалась красной,  
И шёл на дно, не соразмерив сил.  
Но счёт минут тяжёлых миновал,  
И штурмовик, развёртываясь, с ходу  
Опять свинцом безжалостным хлестал  
Притихший берег и немую воду.  
Глаза на миг закрою — и конец  
Парома этого я вижу снова.  
Один лишь только раненый боец  
С трудом на берег выплыл сквозь свинец,  
Держа в руках ребёнка чуть живого.

## 52

Добыв победу после долгих мук,  
О битвах забывая понемногу,  
Мы слышим по ночам зловещий звук,  
Забытую воздушную тревогу.  
Как наяву, встают в глазах у нас  
Руины фабрик и домов сожжённых,  
Волной прибитый к берегу ребёнок,  
В чьём ясном взоре огонёк погас.

О, чистый огонёк в глазах детей,  
Что грел сердца безвестных матерей!  
Я на путях войны не раз склонялся  
Над золотым последним огоньком,  
Как будто над мерцавшим угольком,  
Что, еле вспыхнув, пеплом покрывался  
И угасал, чтоб в памяти бойцов  
Опять воскреснуть, призывая к мести...  
...Вы знать хотите, где сейчас Лычков?  
На Тракторном, в цеху своём — на месте.

## 53

Лычков лежал под танком на спине.  
И вдруг его, как громом, оглушило —  
Зенитки били; бомбы в вышине  
Завыли, и Лычкову видно было:  
Зенитчицы стояли у своих  
Орудий, и пятнистые на них  
Пестрели плащ-палатки; в бледном свете  
Синел над ними неба дымный свод.  
Лычков утёр со лба горячий пот —  
Бьют по заводу иль на город метят?  
И только он подумал, что война  
Для девушек нелёгкое-то дело,  
Как раскололась перед ним стена,  
Железо скрюченное полетело,  
Как будто перья падали... И тут  
Такая злость объяла вдруг Лычкова!  
Однако он не вымолвил ни слова  
И лишь подумал: по заводу бьют.

## 54

Бьют по заводу!.. Если б дом родной  
Распался вдруг, разрушенный войной,  
И стены те, что годы детства грели,  
В единый миг, в короткий страшный миг,  
Упали в пропасть и на месте их  
Одни руины мёртвые чернели,—  
Не так бы Никанор был потрясён:  
Да, ураган сметёт, так думал он,  
Немало тех, чей век светло был прожит,  
Но разрушать завод, сжигать огнём  
Его завод! — таким казалось злом,  
Таким, что он простить его не сможет.  
Всё в тучах небо, пустыри вокруг.  
И осень давнюю он вспомнил вдруг,  
Когда — об этом он забыть не в силах —  
Сюда по первым рельсам паровоз  
На двух платформах старых лес привёз,—  
В двадцать седьмом как будто это было?

## 55

Он этот год запомнил навсегда,  
И вот сейчас он вспомнил всё, что было  
В тот давний год. Поймём мы без труда,

Что словно нить незримая тогда  
 Навек Лычкова с Тракторным сдружила,  
 Что не отдаст врагу он и руин,  
 Как сердца, что от гнева трепетало.  
 Сливался с выстрелами шелест мин.  
 Он встал. Среди камней, досок, машин  
 Из цеха долго выхода искал он.  
 Зенитки били. Сыпалось стекло.  
 Куда ни глянь — всё замертво легло:  
 Бетон, железо, глина — всё смешалось  
 С остатками шкивов, станков, валов.  
 Несли в укрытье раненых бойцов.  
 Лычков шагал всё дальше — и казалось,  
 Не уступая страшной силе зла,  
 Среди руин его душа вела.

## 56

Бой шёл уже у заводских ворот.  
 Здесь каждый день ходил он, год за годом,  
 Пятнадцать долгих лет на свой завод.  
 Ему уже открылась даль походов,  
 Врага он должен был остановить:  
 Среди руин залёгшая пехота  
 Должна была Отчизну защитить,  
 Вот эти грудью отстояв ворота.  
 Здесь вызреть должен был тот гнев сердец,  
 Что им до светлой, до желанной даты  
 Поможет выстоять, чтоб, наконец,  
 В снегах февральских Сталина солдаты  
 Путь проложили к западу, туда,  
 Где их деревни ждут и города,  
 Огонь и дым на каждой переправе.  
 В крови душа, а сердце раны жгут,  
 А берега высокие зовут,  
 Зовут тебя вперёд — к победе, к славе.

## 57

...Лычков умолк. Задумался Матвей.  
 В разрывах туч холодными огнями  
 Мерцали звёзды. Ветер то сильней  
 Гудел, срываясь, между берегами,  
 То снова затихал. Как с братом брат,  
 В окопе общем Никанор с Матвеем  
 Делить тепло последнее был рад,  
 Которым мы, пока живём, владеем.  
 И думалось Матвеем в этот миг,  
 Что дружба их навеки братской стала  
 И что среди товарищей своих  
 Друзей надёжных знает он немало.  
 Что, может, их отцы своим теплом  
 Друг друга так же в поле согревали.  
 Ударил выстрел. Медленным лучом  
 Пополз прожектор из заречной дали,  
 Нащупывая в гуще темноты  
 Деревья, и понтоны, и мосты.

58

И вдруг ракета свой зелёный жар  
Рассыпала и в водах потонула.  
И вот огнём горячим с круч дохнуло.  
Огонь — удар, ещё огонь — удар.  
Но в темноте от берега в тот миг  
Плоты, понтоны, лодки оттолкнулись...  
Теперь пришла пора и роте их  
Итти вперёд — они как бы очнулись.  
Снарядов вой, шипенье мин вокруг,  
Металл скородил берега и воду,  
И Днепр вскипал, как будто в непогоду,  
Когда он, волны разгоняя вдруг,  
Как будто силой скрытою играя,  
Их к небосводу самому швыряя,  
Весь в белой пене, словно в бороде,  
Встречает грудью стрелы молний жгучих,  
Что рассекают яркой силой тучи  
И утопают, падая, в воде.

59

Бойцам давно известно — не страшна  
Та пуля, что со свистом пролетает;  
Страшней всего неслышная — она  
В неожиданный миг солдата настигает.  
Матвей лицом на чей-то след упал,  
Подкошенный перед началом боя...  
Опомнившись: «Воды!» — он простонал,  
Лицо Лычкова видя над собою.  
Воды... А Днепр о берег бьёт волной.  
Когда ты в сердце дружбы не теряешь,  
Ты всё отдашь, как есть, не утая,—  
Ведь ты солдат, и, значит, жизнь твоя  
Уж не тебе принадлежит, ты знаешь.  
Как долго полз Лычков! Матвей всё ждал.  
Как долго он обратно возвращался!..  
— Воды... Скорей... Лычков... Где ж ты пропал?—  
Матвей терял сознание, стонал,  
От боли и от жажды просыпался.

60

Ему привиделся далёкий Дон,  
Станичник, что бежал без шапки в гору.  
Его лицо, когда недвижно он  
Лежал в шинели на дворе в ту пору.  
Что ж, тот боец дошёл... А ты, Матвей,  
Не смог дойти. В том нет вины твоей.  
Что грудь волною захлестнуло жгучей.  
Жив будешь — в госпиталь тебя возьмут,  
И снова дали дальше поплывут,  
И вновь за далями — родная круча,  
И вновь о счастье мысль ему пришла.  
Но в чём оно? Не в том ли, чтобы снова  
Тебя домой победа привела  
Дорогой павших за тебя, живого.

Иль в том, что, для других открыв пути,  
Ты отдал жизнь за то, чтоб возвратиться  
Они смогли. Дойти и не дойти...  
Конец... Не встать и не пошевелиться.

## 61

Сиял рассвет. Но виделось ему,  
Что свет внезапно падает во тьму,  
Что он сверкает узкой полосой,  
Тропинкою сияет впереди...  
Он снова видит друга над собою.  
— Живой? — спросил Лычков.— Ну да, живой! —  
Матвей едва заметно головой  
Кивнул в ответ. Железный шлем тяжёлый  
Лычков слегка приподнял от земли.  
Бойцы на переправу шли и шли.  
Матвей, смертельно бледный и безмолвный,  
Ни слова не ответил. Никанор  
С лица ему и кровь и пот утёр,  
Сказал, помочь желая всей душою:  
— Ну что же делать! Пережди беду  
И не печалься, брат. А я пойду.  
Придешь и ты. Мы встретимся с тобою.

## 62

Вот почему в час утра голубой  
Матвею ветер издали с собой  
Принёс воспоминание о друге.  
Он видел с кручи Заднепровья даль,  
Что сизою была, как будто сталь,  
Проверена в боях, крепка, упруга.  
И сколько ни смотрел вокруг Матвей,  
Он не увидел на земле своей  
Следов войны, и смерти, и страданья.  
Мир обновлённый перед ним лежал,  
Его народ в сраженьях отстоял,  
Сам закалясь в горниле испытаний.  
Вчерашний воин, а сейчас творец,  
Шахтёр, литейщик, пахарь иль кузнец —  
Кто б ни было,— в дни трудные походов  
Они на берегах великих рек  
Скрепили кровью собственной навек  
Союз и братство вечное народов.

## 63

Войдя в сердца и в души — не в слова,  
Народов дружба вечная жива.  
В ней наша правда — с нею мы сильнее,  
Она — маяк для нас на всех путях,  
Навеки закалённая в боях,  
Как дружба Никанора и Матвея,  
Оружье — в битвах и оплот — в беде,  
Опора в нашем творческом труде.  
Её лучи нам светят заревые  
В дни битв и гроз, и в радостные дни,—

Для всех народов ты зажгла огни  
 Той дружбы, братства вечного, Россия!  
 Россия, в битвах пролагаешь ты  
 Пути к единству цели и мечты,  
 В свет мира, вдохновенья и свободы,  
 Где расцветает творчество и труд.  
 С тобой, как братья, в коммунизм идут  
 В единстве нерушимом все народы.

64

Когда бы мог я силой слов своих  
 Проникнуть в глубину сердец людских  
 И с каждой перекликнуться душою,  
 Когда б и этой песнею своей  
 Я мог бы всколыхнуть сердца людей,  
 Как свежий ветер дерево весною,  
 Когда б огонь пылал в словах моих  
 И в тайниках сердец воспламенялся  
 Огнём дерзаний и надежд живых,  
 Когда бы в песнях, как в волнах морских,  
 Луч золотой рассвета отражался,  
 Когда бы отклик радостных сердец  
 Летел навстречу им, не умолкая,  
 Когда бы им внимал в бою боец,  
 Шахтёр, и пахарь в поле, и кузнец,  
 Их, как на крылья, в сердце принимая,—  
 Я ничего б другого не желал  
 И счастьем их я сам бы счастлив стал.

65

Я ничего б другого не желал,  
 Согретый тёплой дружбою людскою...  
 Как песня птиц рассветною порою  
 Звучит лишь потому, что час настал,  
 И как ручьи, сливаясь, вдаль рекою  
 К морям стремятся в выжженных степях,  
 Их одаряя влагой дорогою;  
 Как облако проходит в небесах  
 Ещё непроторённую тропюю;  
 Как солнца луч ненастною порой,  
 Пронзая тучи, землю согревает;  
 И как Стожары в синеве ночной,  
 Над горизонтом наклонясь, сияют,—  
 Так песне, жадно рвущейся в полёт,  
 Остаться надо вольной и счастливой,  
 Стремительной, как бег весенних вод,  
 Прозрачной, как зарёю небосвод,  
 И сильной, щедрой, словно майский ливень

66

Пойдём же вместе, песня!.. Нам пора  
 Давно вернуться к берегам Днепра,  
 Туда, где половодье под горою  
 И где Матвей наедине с собою  
 Остался, с дорогой своей мечтою,  
 Нет, больше — в жизни самой дорогой.

Была пора... Как далека она...  
 Эх, друг! Матвей сердился на Лычкова.  
 Забыл иль просто не сдержал он слова?  
 А может, встреча вовсе не нужна?  
 Приехал бы... Как раз пора — весна...  
 Не мог он мыслей отогнать своих:  
 Военная шинель их согревала,  
 Дождём одним и тем же било их,  
 Одна звезда для них в ночи сверкала,  
 Один в окопе падал снег на них.  
 Иль в мирный день, забыв мечту былую,  
 Лычков забудет дружбу боевую?

67

К нему легко и быстро из села  
 Тропинкой женщина навстречу шла,  
 Его Килина, близкая, родная:  
 Он в детстве в школу бегал вместе с ней.  
 Среди садов вот этих и полей  
 Она росла, как вишня, расцветая.  
 А рядом с нею, путаясь у ног,  
 Смешно бежал Андрейка, их сынок,  
 В недавно сшитой куртке, слишком длинной,  
 В картузике, чуть сбитом набекрень,—  
 Нет, в самом деле, вишню в майский день  
 Напоминала вновь ему Килина!  
 Такой ему и виделась она,  
 Когда разъединила их война,  
 За той морозной далью, тьмой одетой,  
 Она была такой же и в те дни,  
 Как встретились на пристани они,  
 В то давнее и памятное лето...

68

Да, он узнал её издалека,  
 Хоть это и могло лишь показаться,  
 Но пароход, качнувшийся слегка,  
 Стал к пристани неспешно приближаться,  
 И он смотрел и думал об одном —  
 Вон там, на тёплых сходнях, босиком,  
 Стоит его Килина над рекою,  
 Та девочка, та вишенка стоит,  
 С плеча косынка белая скользит,  
 Подхваченная на ветру рукою.  
 Всё мимо смотрит... Что ж — не узнаёт?  
 На что он ей, солдат усатый тот,  
 Что в гимнастёрке старой, полинялой  
 Стоит и держит сундучок в руках.  
 А впрочем... впрочем... сделать только шаг.  
 И вот она к груди твоей припала,  
 А сердце бьётся, плача и любя.  
 Оно — твоё и узнаёт тебя.

69

Оно едь было и всегда твоим ---  
 И, как живое, днями и ночами  
 Твоё лицо вставало перед ним

С наполненными горестью очами,  
 И весь твой милый полудетский вид —  
 Тебя не мог он вспоминать другою.  
 Как бережно любовь свою хранит  
 Солдат, прошедший по дорогам боя!  
 Он долго ждал тебя. А ты ждала?  
 Ведь никакая почта б не смогла  
 Его письмо доставить, только голубь  
 Перелететь бы мог через фронты...  
 Он помнит всё. А помнишь ли и ты,  
 Как на Днестре под плеск волны весёлой  
 Твоё забилося сердце в ранний час,  
 Как каждую зарёю у причала  
 В то лето, памятное так для вас,  
 Ты пароход с волнением встречала?

70

Куда же так торопится она?  
 Вон и платок на плечи уронила.  
 И вся душа в глазах её видна,  
 Вся красота его Килины милой.  
 Как и тогда, в счастливейший из дней,  
 Он чувствовал, Килину поджидая,  
 Что рвётся из груди навстречу ей,  
 Что снова бьётся сердце, замирая.  
 Об этих чувствах вечных и простых  
 Поэты много песен создавали  
 И, как всегда, мечтали, чтобы в них  
 Огни, как звёзды, для людей сверкали.  
 И я простою песнею своей  
 Хочу согреть сердца простых людей,  
 Как согревает всходы луч весенний,  
 Чтоб, как в глубинах ясных вод речных,  
 В ней отразились души молодых  
 Людей труда, что знают счастья цену.

71

Мы жаждем счастья всей своей душой,  
 Хотя простой и ясной красотой  
 Не всем, не всем оно, друзья, даётся.  
 К суровым, чистым, преданным сердцам  
 Оно приходит, открываясь там,  
 Где есть борьба, где сердце жарко бьётся.  
 Мы думаем, что счастье—случай,— нет,  
 Оно — итог в труде прожитых лет,  
 Его мы добываем всей судьбою;  
 Не выпросить и не найти его,  
 Ты всею жизнью платишь за него,  
 Порою долг оставив за собою.  
 Не знает только тот ему цены,  
 Кто не прошёл дорог труда, войны,  
 Кто боли и заботы не изведаль;  
 Оно к тому приходит, как весна,  
 Кто, сердцем заплатив за всё сполна,  
 Его добился, как боец победы.



72

— Матвей! Матвей! — знакомый и родной  
 К нему донёлся голос. Окликала  
 Его Килина. Сильный и большой,  
 Как та земля, что перед ним лежала,  
 Он шёл навстречу к ней.— Я полсела  
 Обегала, пока тебя нашла.  
 Зовёт директор. Он велел скорее  
 На станцию тебе итти: сейчас  
 К нам тракторы пришли.— Что ж, в самый раз! —  
 И мать и сын глядят вослед Матвею.  
 Он, лёгкий на ходу, как и всегда,  
 Им издали уже махнул рукою  
 И за плетнями скрылся. Лишь тогда  
 Они пошли и встали над рекою,  
 Где он стоял,— и неоглядный свет  
 С такими сердцу далями родными,  
 Добытый им, как счастье долгих лет,  
 Во всей красе открылся перед ними.

73

Немного остаётся до конца  
 Мне рассказать о том, что дальше было,—  
 Про тот весёлый день, про те сердца,  
 Что не случайно жизнь соединил.  
 Матвей хотел о письмах разузнать.  
 — Нет, писем нет — пришли одни газеты.—  
 Матвей подумал: «Что ж, напрасно ждать,—  
 Как видно, не дожждаться мне ответа».  
 Едва подумать это он успел,  
 Как вдруг знакомый голос долетел,—  
 Он услышал: директор из-за тына  
 Его окликнул: — Что же ты, Матвей,  
 Гулять задумал? Полезай в машину...—  
 И тот забрался в кузов поскорей.  
 Шофёр нажал педали до отказа.  
 — Эй, легче, хлопец, тут с горы, гляди! —  
 Матвей забыл про всё на свете сразу —  
 Он думал лишь о том, что впереди.

74

На станции среди машин Матвей  
 Опять припомнил друга давних дней.  
 Директор суетился с накладными,  
 Гудел, как пчельник, маленький вокзал.  
 Матвей между вагонами блуждал.  
 Искал свои вагоны между ними.  
 Чего там только не было: бетон,  
 Стекло, чугун, цемент нагромождён,  
 Сосновые да буковые брёвна,  
 Что берегли в морщинистой коре  
 Смолистый запах жёлтых янтарей  
 И веянье лесной прохлады тёмной.  
 Вот русский смазчик гайку отвернул,  
 На буксы глянув, под вагон нырнул,  
 Играя молоточком с перебором...

Не останавливаясь, как циклон,  
Гружённый углем длинный эшелон  
Прогрохотал, пропав за семафором.

75

Как быстро он промчался! Будто вдруг  
Заколыхалось сразу всё вокруг,  
И долго, долго эхо грохотало,  
Катилось и гудело, словно гром,  
В порывистом движении своём  
И, словно угасая, улетало,  
И грохот в отдаленье затихал,  
Как будто за гору он закатился.  
И, тракторы увидев, побежал  
Матвей и на платформе очутился,  
Как будто в жизни их не видел он,  
И трудно побороть ему волнение,  
Казалось, он встречал не эшелон —  
Своих друзей, бойцов подразделения,  
Иль наконец ответ ему пришёл  
От Никанора, — в радости понятной  
Он даже марку СТЗ прочёл,  
Как будто адрес на письме обратном.

76

Вот и конец рассказа недалёк.  
Конец? Тем лучше он, когда венчает  
Повествованье наше в нужный срок.  
А дружба? Что ж!.. Конца она не знает.  
Не с этих строчек началась она,  
Не ими и кончается. Как реки,  
В песках не затерявшись ни одна,  
В могучий океан слились навеки,  
Так и героев повести моей  
Сердца для счастья и для вдохновенья  
Борьбою слиты. Чувств великих в ней  
Лишь малое живёт отображенье.  
Когда восходит солнце, то вокруг  
Всё оживает — и леса, и луг,  
И поле, что недавно тёмным было.  
О, солнце над весенней далью нив!  
Ты, сердце мне для песни разбудив,  
В него навеки луч свой заронило.

77

Не угасай, мой луч, гори, гори!  
Проснулся ветер в ранний час зари,  
И лёгкий пар плывёт над черногалом.  
Едва светает. Но и там и тут  
Над пашней звуки гулкие плывут.  
Бензина запах, яркий блеск металла.  
И борозда прямая, как струна,  
Так бесконечно кажется длинна,  
За горизонтом где-то пропадая,  
Но и за той чертой — поля, поля,

Необозрима даль твоя, земля,  
Как будто нет ей ни конца, ни края.  
А солнце поднялось, и Днепр шумит,  
Как в зеркало, лазурь в него глядит,  
Широких плёсов блеск и колыханье.  
А впереди так светел к счастью путь,  
И новой силой наполняет грудь  
Ветров весенних свежее дыханье.

78

Весна! Весна на берегу Днепра,  
Пора глубокой пахоты, пора  
Посева ранней яровой пшеницы.  
Пусть наплывают тучи вереницей  
И дождик хлынет, словно из ведра,  
И мать-земля вздохнёт свободно грудью.  
Промчатся годы, словно краткий час,  
И, сеятелей щедрых, вспомнив нас,  
На ниву выйдут жать пшеницу люди.  
Когда ж за стол мы сядем всей семьёй,  
То песня, что сердца переполняет,  
Польётся над советскою землёй,  
Что, словно мать, нас всех объединяет.  
А если и моё в ней, может быть,  
Захочет кто-то слово повторить,  
Чтоб города откликнулись и нивы,  
Скажу я, что на свете стоит жить,  
И жизнь свою я назову счастливой.

*Авторизованный перевод*  
**Марины Комиссаровой.**



ФЕДОР ГЛАДКОВ

★

## ЛИХАЯ ГОДИНА

*Повесть*

I

Самой весны не было дождей, и хлеба на полях выгорели. Редкая низенькая соломка щетинилась, как жнивье, пустые колоски торчали кверху сухими кисточками. Подсолнечники едва поднимались над землёй, маленькие их шляпки желтели на тоненьких стеблях с опалёнными листьями. Всюду было пустынно на полях, и казалось, что они тяжело болели и мучительно стонали. Небо было огненное, на него больно было смотреть. Знойный воздух дымился удушливой гарью, а на горизонте мерцали пламенные марева. Грачи и галки изнурённо садились на сухую траву с растопыренными крыльями и широко раскрытыми клювами.

Мы ехали из Саратова с попутным мужиком, который возвращался домой через наше село. Мужик вёз какой-то товар своему лавочнику, и мы кое-как ютились со своими вещешками между кулями и ящичками. Пара ребрастых лошадёнок через силу тянула воз, за сутки мы делали до трёх пряжек вёрст по десяти. Ехали больше по ночам из-за удушливого зноя, и мне было жутко трястись на скрипучей телеге в багровой зловещей тьме: зарева далёких пожаров трепетали над горизонтом в разных местах и тревожили душу смутным предчувствием.

— Жгут и жгут... всё бар жгут... — оторопело бормотал мужик. — Лихая бяда... везде бяда...

Мужик был какой-то ошарашенный, пыльный, в закорузлой от пота и грязи рубахе и измятом картузе, надвинутом на переносье. Из-под козырька уныло торчал обветренный нос и расстрёпанная рыжая бородёнка. На вопросы отца он отвечал редко и невнятно и только одно выговаривал тяжко, со стоном: «Бя-ада!.. Бя-ада да и только...» Хлеба у него не было и денегжонок не было, а мешок овса для лошадей получил он в Саратове от купца, которому он доставил какое-то сырьё от своего лавочника. Работал он у него батраком и ездил от него в извоз на мужичьих одрах. Кормили его всю дорогу мы, и он чуть не плакал от стыда.

Все сёла на большой дороге мы объезжали стороной: караульные мужики с сучковатыми кольями в руках отгоняли нас от околиц на пограничные межи. Так тогда охраняли народ от холеры.

Отец обычно шагал около воза или спал, уткнувшись в тюки. Мать сидела, застывшая от дум и немой скорби. Иногда она склоняла голову к моему плечу, когда я сидел рядом с нею, и шептала едва слышно:

— И куда мы едем, зачем едем, Феденька? Что делать-то станем?.. Ведь в черноту, в бездолье едем. Только и гонит нас неволя одна... Были бы крылья — улетела бы я опять на ватагу, к вольнице нашей... Люди-то там какие были, сынок! С кровью мы оторвались от них... а никогда их не забыть...

Я сам страдал вместе с матерью. Не ватага и не Астрахань были мне милы: ватажная каторга, душные, грязные бараки, свирепое издевательство над людьми, выматывание из них последних сил убивали не только слабых, но нередко и выносливых работниц и рабочих. Но там мы узнали и душевные радости и волнения. Мы сроднились там с людьми духовно сильными, которые научили нас видеть жизнь и людей по-новому и пережить счастье общей борьбы рабочих людей за своё человеческое бытё. Мы за этот год выросли оба, почувствовали новую большую правду. А что ожидает нас теперь в родном селе, в старозаветной семье деда? И вот эти голодные мужики, которые гонят нас от сёл в полынные столбники-межи, казались мне зловещими чүрами, предвещающими беды и гонения в родных местах.

В наше село въехали мы после долгих переговоров и споров с дурковатым Ванькой Юлёнковым, который притворялся, что не узнаёт нас. А при въезде на улицу мы остановились перед похоронным шествием: один за другим проносили мужики три гроба. Не слышно было ни рыданий, ни вопленья, как прежде было в обычае, да и люди не брели за гробами.

Дедушка с бабушкой вышли к нам навстречу из ворот, а за ними — Тит и Сёма. Бабушка заплакала, а дед со взъерошенными зелёными волосами шёл, подгибая коленки, и, улыбаясь, кричал пронзительно:

— Ну, явились наши бродяги! Мать, где кнут-то? Отпороть их надо, чтоб не шатались по стороне.

Но я уже видел, что он шутит, и заметил, что в нём уже не было ничего страшного: он стал какой-то измятый, надломленный. Он первый обнялся и поцеловался с отцом и с матерью, а с бабушкой мать долго стояла, положив ей голову на плечо, и обе они тряслись от рыданий. Дед повернулся ко мне, и в глазах его мелькнул лукавый огонёк.

— Это кто тебя оболванил, астраканец? Общипали вихры — башка-то горшком стала. Опоганился, поди, обмиршился. Кланяйся в ноги!

Но я упрямо насупился и попятился от него: кланяться в ноги я отвык. Этот приказ деда показался мне унижительным и обидным.

— А-а, не слушаться дедушку? Избаловался там, на ватаге-то, арбешник?.. Ну-ка, Титка, Сёмка, дайте-ка мне чересседельник!

Но Сёма смеялся, обнимаясь со мною, а Тит с любопытством оглядывал отца и мать, одетых по-городски, и осудительно бормотал:

— Стыда-то нет... без волосника приехала...

В избе отец с матерью, как принято, помолились и в пояс поклонились и деду и бабушке. Дедушка сел за стол в передний угол, а отец — на конце стола. Тит сел на лавке поодаль, мы с Сёмой, как парнишки, — на лавке за бабушкой и матерью, перед шкафчиком с чайной посудой. Сёма тыкал меня в бок и шептал:

— Чудной ты какой стал, словно кургузый! Это зачем вихры-то обкарнал? Вы с матерью совсем сторонние да мирские стали.

Дедушка строго внушал отцу, постукивая пальцем о стол:

— Кормить тебя не буду. Для лишних ртов у нас и крошки нет. Видал, как бог наказал народ неурожаем-то? Ни зерна не соберём. У Митрия Стоднева приходится просить, как милостынку, за холсты да за пряжу, а деньгами, у кого они есть, втридорога дерёт. Вон у холерных и душевую, и усадьбу, и избы за пуд муки в заклад берёт.

Бабушка вынесла из чулана чёрный, как уголь, кусок и простонала:

— Смотрите, какой хлебец-то едим... Не ножом режем, а топором рубим этот перегой...

Отец поблелел и, расчёсывая дрожащими пальцами бороду, проговорил срывающимся голосом:

— Мы, батюшка, тебе в тягость не будем: свой кусок хлеба достанем и лишнего места в избе не займём. Благослови меня отдельно от тебя жить.

Дед с каждым словом отца разгибал спину, поднимал голову, и я видел, как у него кровью наливалось лицо. Замирая, я ждал, что дедушка сейчас вскочит и ударит отца. Но он, должно быть, не мог нарушить стародавнего обычая — соблюдать благопристойность при свидании с женатым сыном после долгой разлуки. Вероятно, он был уверен, что отец не даст ему и руки на него поднять. Это почувствовали все: Тит оторопело отодвинулся дальше по лавке, Сёма изумлённо таращил глаза на отца, а бабушка со стонами причитала:

— Хоть бы побаяли без греха... Отец! Васянька! Помолились бы... к богу бы поближе...

Дед взглянул на иконы и сторбился. Дрожащей рукой он схватился за бороду, но сразу же уронил кулак на стол.

— Вот шлялся на стороне — и обасурманился. И женёнка волосник потеряла. Греха на душу не возьму — и так грехов много. Неурожаем бог наказал, со всех полей и мешка не намолотить. Живите сами по себе: с чем пришёл, с тем и уходи. Раздела не будет: выделять тебе нечего. Кормись сам. У Митрия Стоднева от хлеба амбары ломаются, а копейка-то у него алтыном растёт.

Мать сорвалась с места и выбежала в сени. А бабушка рыхло поднялась со скамьи и со стоном пошла в чулан. Но у дверцы остановилась, у неё затряслись плечи: она плакала, закрыв лицо фартуком. Должно быть, она переживала какое-то большое горе. Отец растерянно смотрел на неё, и я видел, что ему было жалко бабушку: он наморщил лоб и тяжело задышал. Только в этот момент я заметил, как грязно и неприятно в избе, как сторбился и одряхлел дед, словно перенёс тяжкую болезнь и ещё не выздоровел: не было уже в нём прежней гнетущей силы, и сам он раздавлен нуждой. Кати не было уже в семье, и без неё стало нудно и пусто. Бабушка подошла ко мне и прижала к себе мою голову.

— Приехал вот, внучек, и словно звёздочка у нас засветилась. Голосок-то твой так у меня в сердце и звенит. Тосковала-то я как по тебе! А очутился около меня — и нечем тебя попотчевать: ни кашки нет, ни молочка нет. Никогда ещё мы так не бедствовали... И чего дедушке вздумалось вытребовать вас — ума не приложу. Всё-таки деньжонки высылали бы, а сейчас — ложись в гроб да помирай.

Дед, как и прежде, прикрикнул на неё, встряхнув бородой:

— Ну, понесла кобыла, только лягнуть забыла... Не завидуй, от других не отстанем: подохнем не ныне — завтра. Вон гробы-то один за другим тащат — холера подряд всех косит. Архипу да Мосею — работы невпроворот.

И вдруг он поразил меня внезапной переменой: он жалко улыбнулся, показав из-под усов стёртые зубы, и старческим голосом кротко спросил:

— Дал бы ты, Васянька, хоть рублика три... Муки бы я купил у Митрия аль у Пантелея...

Отец, потрясённый, встал и, прижав ладонь к груди, косноязычно пробормотал:

— Да ты чего это, батюшка?.. Аль я... аль я враг родной крови?..

И у него затряслась борода, а глаза налились слезами. Он торопливо вытащил из кармана портмоне и, нагнувшись над столом, подвинул его к дедушке.

— Вот, батюшка... чего есть при мне — всё твоё...

Дедушка взял портмоне, осмотрел со всех сторон и вытряхнул деньги на стол. Зазвенела мелочь, и упало несколько бумажек. Дед тщательно

пересчитал их, потом собрал серебрушки и медь. Отец сидел, обхватив голову руками и опираясь на локти.

Бабушка шептала мне, всхлипывая и постанывая:

— Дедушка-то у нас какой стал!.. Кручина-то его как скрутила!..

Тит опять придвинулся к столу и жадно смотрел на руки дедушки. А Сёма хвалился, подталкивая меня локтем:

— Ежели бы я не делал всякой всячины, да тятенька не продавал бы на барском дворе, да не препоручал бы продавать на базаре в Петровске, мы бы ноги протянули...

Вбежала мать с какими-то обновками и положила их на лавку около меня. Она встряхнула пунцовую пахучую рубашку и подала дедушке.

— Не обессудь, батюшка, на подарочке... Не дорога копейка — дорога слеза.

Дед покосился на рубашку и на мать и гневно прикрикнул на неё:

— Волосник-то надень! Басурманкой в дом влетела... Возьми рубашку, мать!

Мать не испугалась, словно не слышала окрика дедушки. Она с поклоном передала рубашку бабушке, взяла с лавки большой кубовый платок и развернула его.

— Для тебя от чистого сердца, матушка.

Бабушка растрогалась и заплакала.

— Куда уж носить-то... и на люди с таким добром не покажешься: везде — смерть да беда.

Но мать с радостным блеском в глазах подбежала к Титу, а потом к Сёме и положила им на плечи сарпинковые рубашки. Тит схватил подарок, крепко зажал в руке и вышел из избы, а Сёма по старой привычке промычал:

— Спасёт Христос, невестка!

Я заметил, что дедушка отодвинул портмоне к отцу, за ним — часть денег, а перед собой оставил пять рублёвых бумажек и мелочь.

— Бери! И тебе надо на обзаведенье. А чего у тебя ещё спрятано — не спрашиваю: бог тебе судья.

Отец встал и, подняв брови, сказал торжественно:

— Я, батюшка, весь перед тобой. Почитал тебя и почитаю. Милости прошу благословить нас с Настасьей родительским советом и молитвой.

Дедушка снисходительно буркнул:

— Бог благословит. Живите, как хотите.

А бабушка простонала:

— О-отец, раскрой сердце-то своё ради благодати... Смерть-то ведь по дворам ходит да косит...

Мы выбежали с Сёмой на улицу и наткнулись на вереницу гробов. Их несли высоко на носилках по двое человек. Позади них брела маленькая кучка баб и стариков.

— Холера! — ужаснулся Сёма и рванул меня обратно. — Бежим назад, а то она, как чадом, опалит нас.

Мы вбежали во двор и захлопнули калитку. Я смотрел в щёлку, но не на жёлтые гробы, плавно колыхавшиеся на носилках над волосатыми и бородатыми головами мужиков, а на щебечущих касаток, которые носились низко над дорогой и над гробами. И странно, беспокоило меня одно — душная гарь, дымная мгла в воздухе до самого неба, словно тледа и обугливалась земля. Солнце казалось сквозь эту мглу мёртвым и твёрдым, как остывающее железо.

— А где Катя? — спросил я — спросил потому, что без неё изба как будто помертвела.

Сёма осудительно проворчал:

— Аль не знаешь где? Её зимой ещё Киселёвы высватали. Связалась

с Яшкой, а тятенька хотел ей выволочку дать, да сам испугался, как бы слава по селу не пошла да как бы ворота не вымазали. Только кладку хорошую выпросил: двадцать целковых. А сейчас она у Киселёвых — словно сама свекровь.

И неожиданно засмеялся.

— А Сыгнейка — у чеботаря. Ну, и мастер стал! Осенью в солдаты забрекут — любовой.

— Надо бы Кузяря увидеть...

— Примчится твой Кузярь. На нём сейчас лежит всё хозяйство: Кузя-Мазя от холеры умер, а Груня и не встаёт — брюхом мучается.

Сёма даже руками хлопнул по бёдрам от удивления.

— Вот чудо-то: отец-то здоровый был, а мать пластом лежит, как щепка стала. Её обошла холера-то, а Кузю-Мазю в сутки скрутила. А чего ты о тётке Маше не спрашиваешь? — упрекнул он меня, но был рад, что первый сообщит мне новость о ней. — Когда Фильку-то забрили, она от Максима ушла в бабушкину келью и стала на барщину ходить. Максим хотел её на аркане привести, а она у Ларивона спряталась. Он — туда. А Ларивон — недуром на него: все кости ему пересчитал. Я, бает, не тебе, а Фильке её пропил. Мой грех — мой и ответ. Не дам, бает, её в обиду. А ежели ещё раз на нашу сторону заявишься — и другой глаз выбью.

Сёма взывал, повизгивал, размахивал руками, изображая и голосом и всем телом то Ларивона, то Максима, и смеялся, увлечённый своим рассказом.

Когда гробы скрылись за кладовыми Митрия Стоднева, он раскрыл калитку и вытолкнул меня на улицу. На широкой луке, жёлтой от сгоревшей травы, было пусто, а избы и амбары на той стороне, на горе, казались далёкими и мутными. Всюду была глухая тишина и безлюдье, но это была не сонная, не спокойная тишина: я чувствовал, что люди замерли от страха и прячутся в своих избах, кладовых и выходах. И мне слышался скорбный голос бабушки Анны: «По грехам нашим господь посылат велику беду на нашу страну...» И как-то не верилось, что я опять в своей деревне: она как будто та же — и избы такие же, и лука, и заречные взгорья, и вётлы за рекой, внизу, так же густо зеленеют, но всюду — немая жуткая тревога. И эта страшная холера представлялась мне таинственной тенью, которая бродит по селу и несёт с собою моровое поветрие. Но Сёма не унывал: он попрежнему занят был своими сооружениями и, очевидно, только о них и думал. Холера беспокоила его так же, как, бывало, мирской бык, который срывался с привязи и пробегал по улице с звериным рёвом. От него можно спрятаться, а забодает он того, кто нечаянно попался ему на дороге. Не отходи от своего двора, не шатайся по шабрам, не ротозейничай, когда несут гробы, — и холера минует и не оглянется. Он не говорил ни о холере, ни о покойниках, ни о бедствиях, которые обрушились на мужиков: это его мало интересовало, потому что это было непонятно и странно и угнетало душу, а интересовался он только живыми людьми, их простенькими делами и своими поделками.

— За этот год я уж не знай сколь сделал разных разностей... Тятенька всё их продавал. Я всю семью своим ремеслом кормлю.

И он самодовольно засмеялся.

— А сейчас я покажу тебе, чего я выдумал. Ничего нет лучше, ежели люди тебе дивуются. Тогда на душе-то словно пасха с колокольным звоном.

Мы прошли с ним в выход, спустились по покато́й дорожке глубоко вниз, в сумеречную клеть, где хранились в сундуках наряды и одежда, а на полках лежали всякие домашние вещи — сита, решёта, сбруя, про-



шлюгодняя кудея, священные книги и какой-то железный лом. Ослеplённый знойной гарью и солнцем, я сначала утонул в прохладном мраке подземелья, но потом привык к фиолетовым сумеркам и увидел на земле стружки, чурбачки, плотничьи инструменты и среди них — аккуратенькую тележку, похожую на тарантас. Колёса были тоненькие, ошинованные, ступицы и спицы — красиво выструганные. Перед сиденьем торчали две железные ручки. Сёма любовно потрогал и погладил тележку и прокатил её вокруг толстого чурбака, в котором торчал маленький топорик. Ручки замахали взад и вперёд поочерёдно, и тарантасик застрекотал и зазвенел колёсами по неровности пола. Сёма радостно засмеялся и посмотрел на меня ожидающим взглядом.

— Что, брат, ага?

Я очарованно любовался этой диковиной и не мог выговорить слова от восхищения.

— То-то, брат! Я знал, что ты приедешь и надумал сделать самокат. Без лошадей, а скачет. Руки вместо лошадей-то. Ежели такую телегу большую сделать — и лошадей не надо. Они корму просят, а кормить сейчас нечем. Сядут два человека и — катись. Всё возить можно, да и на сторону поехать лестно. Надо бы только шестерни приладить, тогда и воз можно нагружать и одному человеку легко будет скакать.

Он подтолкнул меня к двери и строго сказал:

— Сейчас кататься нельзя, перед гробами-то.

Мы вышли на улицу и побежали к буераку. Мне захотелось посмотреть на речку и на келью бабушки Натальи, где сейчас жила тётя Маша. Моленной на прежнем месте уже не было, только кучами лежал какой-то мусор и обломки кирпичей, но старенькая кособокая жигулёвка стояла попрежнему с большим ржавым замком. Пластался за нею и пожарный сарай. Угнетала глухая тишина — и на той, горной, стороне и на нашем берегу. Не пели даже петухи и не кудахтали куры. И сразу же я увидел на верхнем порядке забитые обломками старых досок окошки и раскрытые крыши: стропила торчали, как кости, с которых содрали кожу и мясо.

— А где моленная-то? — растерянно спросил я. — Люди-то где? Вон и окошки забиты...

Сёма равнодушно и скучно разъяснил: моленную под школу разобрали. Земство строит. А чего люди-то? Кой повымерли, кой в бегах от голоду да от страху, а кой от холеры прячутся. Пришла беда — беги кто куда. Вот только жрать всякий час хочется, хоть пряслоб гложи...

Что есть духу я бросился мимо пожарной к церкви: по ту сторону, за оградой, я увидел большой сруб, на верхних венцах которого сидели верхом два мужика и взмахивали топорами. Я забыл обо всём — и о холере, и о жутком безлюдье, и о Сёме — и бежал, задыхаясь от радости: моя мечта о школе осуществилась — я буду учиться, а не молиться!

Сруб стоял на высоком кирпичном фундаменте поодаль от церкви, на вершине пологого склона, который спускался к речке. Этот склон и низина до поздней осени зеленели свежей травой, но теперь он был опалённым зноем и казался покрытым пеплом. Раньше здесь паслись лошади и телята, а сейчас только чернели грачи и галки и долбили землю своими клювами. Перед срубом широким ворохом лежали старые, сизые доски, свежий тёс и штабели оконных рам. И тут же рядом стояли один за другим новые гробы. На срубе тяпали топорами пожарник Мосей и колченогий Архип. Это они когда-то строили моленную, а теперь переделывали её на школу. Я долго издали смотрел на сруб, на стариков и не мог понять, зачем стоят здесь гробы. Потом вспомнил, как дедушка говорил, что Архип и Мосей не успевают сколачивать домовины для холерных покойников.

Радость мою погасила гнетущая тревога. Я не выдержал и со всех ног побежал домой.

Навстречу с падогом в руке, в китайке, степенно шла Паруша. Она ещё издали крикнула мне своим поющим басом:

— Вырос-то, вырос-то как, лён-зелён!.. Беги-ка ко мне, золотой колобочек, да обойми меня!..

Я бросился к ней и крепко, с наслаждением обхватил её шею, когда она низко наклонилась надо мною.

— Я об тебе, бабушка Паруша, бесперечь думал.

— Милый ты мой! Любовь-то детская — чище гремучего родничка. А вот кудерьки-то свои где потерял? Бывало, играли они у тебя, как колокольчики, а сейчас голова-то, как луковка. Ну, да ведь гумно-то не солома красит, а зерно. Пойдём-ка со мной в избу-то — маманьку твою приветить. И зачем только на беду дедушка вас вытребовал? Гляди-ка, какое у нас бездолье-то — и мор, и глад, и скорбь... По мытарствам ходит богородица...

И она пошла рядом со мною, кряжистая, уверенная в своей силе. И совсем не видно было, что она голодает и угнетена скорбью. Большое лицо её с серыми усиками было строго задумчиво, но молодые умные глаза пытливо оглядывали меня.

— Нас бог хранит: болезнь-то мимо избы проходит. Она грязь да нечисть любит. А мухи у меня в доме не живут: окошки — на ставнях да дерюгой завешиваем. Еду в погребе держим и чистоту блюдем. Водичка — свеженькая, из колодца. Вот как надо от холеры-то оберегаться. А тут ещё голодная горячка людей косит: беда за бедой идёт и бедой погоняет. Землица-то вся сгорела — в пепел обратилась.

Она вошла в избу с властным достоинством и, положив три поклона, сердито пробасила:

— Грязища-то, духотища-то какая у вас, Анна! И от мух отбоя нет — роями носятся, заразу сеют... Как только вас бог хранит? Мыть, чистить надо избу-то, в лепоте держать, как моленную.

Мать со слезами бросилась к ней в распахнутые руки и застыла у неё на груди, вздрагивая от радостных рыданий. Паруша обнимала её и гладила по голове со слезами на глазах.

— Ну... полетала птичка на воле, а счастье-то — ветер в поле...

Она мягко оттолкнула мать и с лукавой усмешкой в глазах уставилась на отца. Он вышел из-за стола и поклонился ей в пояс. Но она повелительно отмахнулась от него.

— Теперьча сам хозяйничай, Василий. На чужой-то стороне, чай, ума-разума набрался. Нам, старикам, — самим до себя, о грехах да о душе думать надо.

Дедушка попрежнему сидел за столом в переднем углу, маленький, грязно-седой, а бабушка опиралась о край лавки, скорбно стонала, как больная, но в этих столах она изливала свою радость, что мы возвратились из крошечной чужой стороны и опять — дома. Мать стояла перед Парушей и не сводила с неё радостных глаз. А Паруша как будто совсем не замечала перемены в облике матери, хотя я знал, что она очень приметлива. Должно быть, она не хотела конфузить мать и оберегала её от гнева деда и бабушки.

— А вот своих-то бородачей из избы не гонишь... — съязвил дедушка: — У шабров-то падогом легко распорядиться.

Паруша с суровым весельем в глазах вскинула голову.

— А у меня в избе всегда лишняя крошка хлеба найдётся. Мне гнать своих бородачей нужды нет: я сама от них в келью уйду. Мне, старой, на покой пора, а молодые своим умом живут. Похвалюсь, Фома: у вас у всех земелька-то перегорела от беззаботности — на шее у бога сидели.

А у меня хоть и тощей колосок, а с малым зёрнышком. Мы её, матушку, и кормили и поили. Сколь навозу вывезли из буераков да сколь бочек воды вылили!.. Эх, Фома, Фома! У вас, стариков, мудрость-то дряхлая да нищая. Вспомняешь Микитушку, старика праведного! Правда-то его нетленная: без мирской помочи, без обчей заботы о земле не будет ни благи, ни радости, только Митрию Стодневу да Серёге Ивагину корысть.

Эту свою речь она говорила убеждённо, как обличение, но в голосе её мягко вздыхала печаль и умное сожаление.

Дедушка хватался за бороду, беспокойно возился на месте, кричал, но делал вид, что слова Паруши для него — пустая бабья болтовня. Я давно знал, что он боится её: он никогда на неё не кричал, а только отшучивался, отворачиваясь от неё и поглаживая бороду. Так и сейчас он спрятался от неё за шутливый вопрос:

— Аль ты, Паруша, приказчица у бога-то, что по избам ходишь да на богову барщину наряжаешь?

Паруша села рядом с бабушкой и, уткнув клюшку в пол, с шутливой серьёзностью возвестила:

— Мне владычица велела Бовой быть с неразумными.

Отец сидел за столом и пристально рассматривал свои пальцы. Мать растроганно хлопотала в чулане над самоваром.

## II

Как-то вечером, когда багровое солнце потухало в дымной мгле, я стоял на краю крутого обрыва и смотрел на келью бабушки Натальи: ждал, когда с барщины пройдёт тётя Маша, чтоб издали помахать ей рукой.

На барских дрожках быстро спустились с горы и быстро переехали речку два студента в белых вышитых рубахах, в картузах с голубыми околышами. Они свернули к нашему колодцу, и карья лошадка, задирая вверх голову на гибкой шее, гордо остановилась под кручей, лохматой от лопухов и мать-мачехи. Студент, который правил лошадкой, — старший сын Измайлова — пригласил одного из караульчиков, Ваньку Юлёнкова, и строго приказал ему:

— Ну-ка, брось свой дрючок, Иван! Подержи лошадей!

Ванька с подобострастной готовностью отшвырнул кол и с благоговением взял под уздцы лошадку, любовно впиваясь в неё глазами. Другой караульщик — Миколька, сын пожарника Мосея, ровесник Сёмы, — стоял, опираясь на кол, и с ухмылкой вглядывался в студентов. Я сбежал с крутого спуска и по дорожке в вёслах помчался к колодцу. Наверху, в густых зарослях ветвей, орали галки, словно они взбулгачились от приезда необычных людей. По хитрой и снисходительной усмешке видно было, что Миколька относился к барам пренебрежительно и считал их чудаковатыми олухами и бездельниками.

Студент Измайлов совсем высох от чахотки, но был красивый, гордый, с юношеской бородкой, с маленькими усиками, с большими строгами, как у отца, глазами. Другой студент был коренастый, большоголовый, белотелый парень, с круглым, по-мужицки простецким лицом, с густой рыжей шерстью на щеках и подбородке. Он всё время улыбался, а когда здоровался с караульщиками, снял свой картуз, встряхнул длинными русыми волосами и засмеялся:

— Кого это вы здесь караулите, ребята? Да ещё с кольями... Страсть-то какая!

— Чай, от холеры... — озлился вдруг Ванька Юлёнков, не отрывая лица от морды лошади. — Староста нарядил. Ежели, бает, кто в колодец ведром или мордой сунется — колом по хребту. Это дохтора, бает, от

большого ума такое распоряжение дали... — И он заикался от смеха, издеваясь над глупостью докторов.

Миколька дрыгал ногой и, хитро ухмыляясь, гудел себе под нос, как шмель:

— У нас бабы воем воеут: мы их в тину загоняем — к колоде. Лунка-то, вишь, какая длинная! Ну, а им там месить грязь-то не по сердцу.

Студент засмеялся, и круглое лицо его стало очень хорошим.

— Святая истина, парень: сердце грязи не выносит — оно живёт чистой и от грязи звереет. Колодец у вас проточный: вода постоянно очищается. Пускай женщины черпают воду прямо из сруба. Не отгоняйте их. А вот грязь да трясину мы известью протравим. Холера-то — не в колоде, а в грязи.

Миколька облокотился на кол и, показывая щербатые зубы, вкрадчиво спросил:

— А за что это дохторов бьют на Волге? По дурости бают, что они народ морят.

Измайлов порывисто вскинул голову и вонзил в него вспыхнувшие гневом глаза.

— Дураки болтают, а ты, дурак, ехидничаешь да ещё кол схватил. На кого ты свой кол приготовил?

Весёлый студент, вероятно, был добряк: он сдвинул картуз на затылок и, подмигивая Микольке, захохотал.

— Это он, Дмитрий, от мух вместо хвоста отмахивается. Не пугай его.

А Миколька не сробел и с прежней усмешечкой простачка ответил:

— От мух-то отчихаешься, а человек с человеком инёмство только кольями говорит помятливо.

Весёлый студент как будто услышал в словах Микольки что-то очень занятное и поразительное: он опять захохотал, покрутил головой и с восторженным изумлением крикнул Измайлову:

— Слышишь, Дмитрий, этого мудреца? У него, брат, боевой опыт. Сколько же тебе лет-то, философ?

Миколька охотно ответил балагурным говорком:

— Жениться бы, барин, пора, да беда — не пробилась борода.

Он сейчас был очень похож на своего отца — Мосея.

Молодой Измайлов стоял попрежнему строго, по-барски, но при последних словах Микольки сдержанно улыбнулся.

— У нас, Антон, мужик поиграть словами любит, складной речью пофорсить, — сказал он голосом, очень похожим на голос Митрия Стоднева, — звучным и красивым. — Он к тебе сразу не подойдёт, а прошупает со всех сторон, чтобы изучить твой характер. Лукавый народ, хотя и сплошь недоумки.

Иванка Юлёнков неожиданно завизжал сквозь смешливый кашель:

— Истинно так, барин. На что хошь надоумят. Ничего не стоит из корчаги колокол сделать аль невзвидимо башку в тину воткнуть за что почтёшь...

От его восторга лошадь испуганно вскинула голову, захрапела и попятилась.

— Трр, дурашка! Не бойся! Это люди меня боятся, а скотине я — мил-друг. Меня даже холера бережёт.

И неожиданно выпучил злые глаза на студентов.

— А вы, барчуки, за какой надобностью к нашему роднику прискакали? Это трясину-то известью белить? Чего выдумали! А может, у вас в мешке-то вместо известки отравы насыпана? Холера-то ведь неспроста появилась. По всей Расее господа народ травят. А для какого побыта? Не иначе, чтобы народ не плодился да землю у бар не захватил.

Студенты внимательно прислушивались к болтовне Иванки Юлёнкова, и я видел, что они встревожились: пристально следили за ним и косились на Микольку. Казалось, что взбешённый Измайлов готов был броситься на Юлёнкова: у него раздувались бледные ноздри, а рука с кнутом судорожно вздрагивала. Но весёлый, круглолицый студент, которого Измайлов называл Антоном, улыбался, изумлённо поднимая брови. Миколька стоял попрежнему невозмутимо, подрыгивал коленкой и сплёвывал слюну через зубы: как будто потешался и над студентом и над Юлёнковым.

— Это кто тебе такие сказки рассказывал? — пронизывая горячими глазами Юлёнкова, строго спросил Измайлов.

— Сказки-побаски, а в Чунаках вон мужики сцапали таких, как вы, у колодцев и проверили: дали воду собаке, она и сдохла.

Измайлов, жёлтый от бешенства, угрожающе шагнул к Юлёнкову, но вдруг повернулся к Микольке и подозвал его к себе взмахом руки.

— Ты тоже веришь этим дурацким наговорам, Николай?

Миколька с улыбкой себе на уме пожал плечами и неохотно проговорил сквозь зубы:

— Да кто знает... Он вам наплетёт с три короба... Он бесперечь лезет в драку, чтобы злость сорвать. Кто ему только бока не мял...

Юлёнков с глазами разъярённой собаки завизжал, взмахивая рукой:

— А в Черкасском, а в Волхонке?.. А в самом Саратове?.. Тоже сказки? Сколько там отравителей-то побили?.. В Саратове вон и больницы подожгли да докторов-то в огонь кидали...

Лошадь тревожно пятилась и тащила за собой Юлёнкова, а он, упираясь, визжал: «Трр! Трр!..» — и рвал её за уздцы. Измайлов подошёл к ней, легко отшвырнул в сторону Юлёнкова и, ласково уговаривая её, стал гладить по шее.

— Дурака и лошадь не терпит.

Ванька торопливо схватил кол и, мстительно озираясь, трусливо отскочил к срубу колодца.

— Богатые всегда умны, а бедные все дураки. Я хоть бедный — голый, босой, голодный, — а караул с честью отвоюю. Хоть вы и господа, а к колоде с вашим зельем в жизнь не подпущу.

Миколька, должно быть, стыдился перед господами за Ваньку, и ему, вероятно, зазорно было участвовать в скандале: он бросил кол в заросли крапивы и лопухов и охотно, без притворства на лице, подошёл к лошади.

— Дайте я подержу, Митрий Митрич, а вы чего надо — делайте.

Юлёнков рассвирепел, глаза его ослизли и налились кровью.

— Не пушу! Живота не пожалею!.. Мужиков взбулгачу!..

Кол он держал на отлёте и, должно быть, воображал, что он очень страшен и студенты в ужасе ускачут обратно на барский двор. Но он, низенький, тщедушный, оборванный, был такой смешной и повизгивал с таким злобным отчаянием и плаксивой яростью, что засмеялся даже молодой Измайлов. Смеялся и Миколька, а студент Антон хохотал, размахивая руками. Неудержимо смеялся и я. В вёглах тоже хохотали галки. Из оврага, заваленного навозом и мусором и густо заросшего крапивой, плыл парной запах зелени и перегноя.

Антон спохватился и пошёл к дрожкам, где лежал мешок с известью. Он быстро развязал его, вынул из него пригоршню белого мучного порошка и, возвратившись, протянул Измайлову.

— Сыпь в лунку, Дмитрий! Гляди, Иван: ты думаешь, это холера, а я буду пить. Ведь ежели это, по-твоему, зараза — я первый от неё должен подохнуть.

Лунка, старинная, выдолбленная из цельного бревна, покрытая ярко-зелёной плесенью, была длинная. Врезанная в сруб комлем, она другим концом лежала на толстом обрубе колоды, тоже длинной и тоже выдолб-

ленной из цельного столетнего дерева. Говорили, что это сооружение было сделано ещё задолго до «воли». Чёрная вязкая грязь жирно набухла от подпочвенной воды и сползала до самой речки, а за колодой густо покрывалась мать-мачехой и какой-то мохнатой травой, усыпанной мелкими беленькими цветочками. Подойти к лунке, из которой лилась вода стеклянной струей, можно было только по колено в грязи.

Антон высыпал известку в руки Измайлову, а сам, шлёпая ладонями, вскочил на дрожки, снял башмаки и чулки, засучил брюки выше колен и пошёл, посмеиваясь, к колоде. Утопая в грязи, он с удовольствием воскликнул:

— Ну, и холодная же грязца!.. И мягкая, как пух. Митя, сыпь понемножку! А ты, Иван, гляди, как я буду пить воду с известью. Сыпь, Дмитрий!

И по тому, что он так просто, не по-барски, засучил штаны, весело покрикивая, пошагал по топкой грязи и приник лицом к концу лунки, он очень мне понравился. Миколька не отрывал от него глаз. Дмитрий у самого колодца высыпал из пригоршни известку, и вода в лунке быстро стекала к Антону молочно-голубой. Антон подставлял пригоршню под мутную струю и подносил ко рту. Иванка смотрел ошалело, но недоверчиво на Антона и укоризненно ухмылялся.

— Ну, так как же, Иван? — засмеялся Антон. — По-твоему выходит, что мы привезли холеру, а уж ежели я пил её вместе с водой, обязательно должен заболеть? А я вот и не заболею и здоровее тебя буду. Эта, брат, штука и холеру и всякую заразу выжигает. Видал, как она кипит с водой-то? Вот то-то же. В колодец я сыпать её не буду — вода в нём и без этого чистая и здоровая, а посыплю ею эту тину, чтобы гниль сварила. Ну, как же, по-твоему, — надо или не надо сыпать-то?

Иванка трудно молчал, судорожно дёргал губами в складках и поглядывал на бар с осовелой ненавистью. Он всегда отличался своей дурацкой мстительностью, скандалил по всякому пустяку, постоянно ввязывался в драку, а над ним издевались, и не было человека, который не бил бы его. Все считали его лишним и вредным мужиком.

После расправы над мужиками за самовольный захват барской земли он стал совсем безумным: то и дело ввязывался в драку с парнями, на сходе визжал до надрыва непонятную бестолочь, а по праздникам шатался по деревне, приставал к старикам, сидящим на завалинках, и так же надрывно кричал, что подожжёт барский двор и хоромы Митрия Стоднева. Я боялся его и жалел. Баба его умерла, коровёнка издохла, а он, голодный и оборванный, казался хуже галаха. И мне понятна была его мстительная ненависть к барам и к Стодневу: он от них не мог ждать ничего, кроме зла, и верил, что बारे и миреды только одного и хотят — переморить мужиков и захватить у них землю. Его душевой надел уже давно отобрал Митрий Стоднев, а у своего шабра, старосты Пантелея, он батрачил за кусок хлеба, и за этот кусок хлеба Пантелей отобрал у него и усадебную полоску. Он уже не говорил, как все люди, а надрывно визжал и срывал своё отчаяние и неугасимую злость на кошках и собаках, которых он ловил на задворках и вешал у себя под навесом. Для ребятшек он был настоящим лиходеем: с гиканьем гонялся за ними и драл им волосы. Я хорошо помню, как он зимою подставлял валенки под салазки, которые неслись с горки, и парнишки кубарем летели в снег. С тех пор, как он ушиб меня на этой горке, я боялся встречаться с ним и считал его очень опасным человеком. В селе его презирали, считали лодырем и издевались над ним. Наши мужики, хотя и сами бедствовали и едва держались за свои осминники и дворишки, не любили слабосильных, робких и глупых вахлаков: они сами травили их, как паршивых собак. И тот же Миколька, парень себе на уме, как и отец, потешался

сейчас над Юлёнковым, и я видел по его глазам, что он не прочь был натравить его на бар ради озорства.

— Ты, Ваня, кол-то брось, а то बारे подумают, что ты их глушить начнёшь. Подержи-ка, Митрий Митрич, лошадку-то — я тоже воды с известкой поплюю. Ванятке сюда и подойти нельзя — напугал он лошадей: вишь какой он у нас грозный.

Сначала я тоже недоверчиво встретил студентов, пережив ужасы на Девяти футах — на море, но, вспомнив, как Наташа и Марийка без боязни и охотно согласились ухаживать за холерными вместе с доктором на пароходе, я сбежал с пригорка и смело крикнул:

— Он — грозный на парнишек да кошек, а трус. Я тоже буду пить — сыпьте. Я на Девяти футах был, в Астрахани был — через всё прошёл. Он докторов боится, а его мухи заразят. Сыпьте!

Юлёнков вскинул кол на плечо и пошёл по крутой дорожке в гору по краю буерака. И по его туго согнутой спине и по торопливости цепких босых ног, похожих на копыта, видно было, что он не просто убежал отсюда от греха, а задумал булгачить народ. Наверху он побежал вдоль плетня крайнего двора. Миколька уже не усмехался, а опасно поглядывал наверх.

— Давайте-ка я разбросаю известь-то, Митрий Митрич, — рассудительно предупредил он студентов. — От этого дурака добра не жди. Вы уезжайте, а я сам посею золы для веселья.

— Значит, струсил, Николай?

— Мне-то что... — беспокойно усмехнулся Миколька: — Вот вас как бы не обидели. Народ сейчас не в себе: кругом беда. Люди сослепу на всё пойдут.

— Ничего не будет, — строго, не угашая улыбки, сказал молодой Измайлов. — Не бойся. — Он сел верхом на дрожки, взял вожжи и кивнул головой Микольке, чтобы он отошёл от лошади. — Возьми отсюда мешок, Николай.

— А ежели прибегут мужики с кольями? — оторопело поглядывая наверх, беспокоился Миколька.

— Тем более не уедем.

— Правильно, Митя! — крикнул Антон. — Тащи, Николай, известь. А тебя, паренёк, на Девяти футах держали, говоришь? Любопытно. Об этом ты мне обязательно расскажешь. Как же ты туда попал?

Молодой Измайлов сидел на дрожках с вожжами в руках и недовольно поторапливал Антона. Он ни разу не взглянул наверх: должно быть, считал ниже своего достоинства обращать внимание на такого замухрышку, как Ванька Юлёнков.

Миколька положил мешочек на землю, а студент маленьким лоточком разбрасывал известку по грязи около колоды и от сруба колодца вдоль лунки. Он дружелюбно говорил с Миколькой:

— Читать умеешь? И книгами интересуешься? Э-э, брат, всех этих твоих Францилев и Георгов — долой! Приходи ко мне — я дам тебе книжки получше. Собаки злые? А вот сегодня вечером поднимись к нам на откос, я выйду к тебе. Ну, и поговорим о всякой всячине...

Миколька, польщённый вниманием студента, охотно согласился и даже засмеялся от радости.

— Я ведь не такой, как наши мужики: в жизнь не поверю, чтобы дохтора да господа народ морили. А только берегитесь: Ванька-то пошёл народ булгачить... Вечером-то приду... Можно ещё с собой привести одного-двух ребят?

— Конечно, приводи.

— А мне можно? — робко спросил я Антона. — Я тоже книжки читаю.. Пушкина, Лермонтова, Кольцова...

— Ого, славная у вас дружина!

Рыбак крикнул рыбаку:  
Бросим сети мы в реку —  
Выташим язей!  
Шабров в полночь пригласили,  
Да язей не наловили,  
А нашли друзей!

Друзья-то познаются в беде. Вот мы и побеседуем — пообсудим, как нам эту окаянную холеру из деревни вытурить. Я тоже на лекаря учусь и послан сюда земством. А ты, грамотей, бывалый паренёк, расскажешь, как вы на Девяти футах бедовали...

— Да ведь нам не велят ходить на ту сторону и сторонским к нам... — вкрадчиво напомнил Миколька.

Студент озадаченно поднял брови.

— Ах, да... верно... Впрочем, и мне от господ Измайловых влетит: медик прислан с холерой бороться, а сам её в дом тащит.

Этот студент сразу покорила меня — в нём всё было привлекательно: и весёлая простота, и словоохотливость, и размашистость. Даже студенческий картуз, казалось, смеялся у него на волосатой голове, а румяные щёки в жёлтой шерсти и вздёрнутый нос были жизнерадостны и беззаботны. Холерный мор в деревне и угрюмая тревога мужиков как будто совсем его не беспокоили. Студент Измайлов держался отчуждённо, по-барски, и видно было, что он недоволен поведением своего товарища: ему, должно быть, не нравилось, как он вёл себя с нами панибратски.

— Ну, поехали, Антон, хватит! — нетерпеливо крикнул он, укрощая коня, которого одолевали мухи. — Тебе ещё надо к больным... Погляди-ка, наверху мужики собираются.

Высоко, у самого обрыва, откуда уступочками спускалась узенькая дорожка, плечом к плечу стояли пятеро бородатых мужиков с кольями и железными вилами. Они молча и раздумчиво смотрели на нас и не шевелились. Антон приказал Микольке отнести мешочек на дрожки и строговато крикнул мужикам:

— Скажите бабам, что воду из колодца можно и вёдрами брать, а не месить грязь. Мы её известкой засыпали. Только воду долго дома держать нельзя: пускай не ленятся свежую да студёную приносить.

Они оба вскочили на дрожки, и лошадь гибко и ладно пошагала к речке по пологому спуску. Блестяще-чёрные дрожки казались лёгкими, а оглобли, выгнутые, упругие, и маленькая дуга, тоже тоненькая и чёрная, были очень нарядны. Красивая, атласная, с гибкой шеей, лошадка бежала танцующим перебором ног.

Мужики стояли наверху, опираясь на вилы и колья, и смотрели на дрожки и на белую россыпь известки на чёрном месиве трясины перед длинной колодой. Только Иванка Юлёнков егозил перед ними, приседал, тыкал пальцем в землю и в стороны и, встряхивая бородёнкой, яростно повизгивал. Миколька глядел на мужиков и скалил зубы. Он весь сморщился от смеха и крикнул:

— Эка, приползли сюда от большого ума... Делать-то нечего...

### III

С утра до ночи брели, как больные, по улицам сторонние голодающие. Они подходили к каждой избе, стонали и ныли перед окнами. Одни были худые до жути, словно мёртвая кожа присохла к костям, другие едва шагали, опухшие, синие, и тупо молчали, только с натугой протягивали руки. И странно, детишки не плакали, а тоже казались полумёртвыми,



словно разбухли от водянки. В открытых окошках чернела пустота, а если и выглядывали старик или баба, то безмолвно отмахивались от проходящих или показывали чёрный, как вар-смола, комок и скорбно трясли головами. Потом караульщикам на околицах было приказано не пускать голодающих в село, и они брели по полям и, как саранча, поедали пустые колосья. Говорили, что мертвецы лежали по дорогам и межам и их закапывали на месте. А иных находили обглоданными до костей не то бродячими собаками, не то волками. Ещё издали было видно, как на полях дрались в воздухе ястреба и вороньё, и люди по наряду шли с лопатами на эту суматоху стервятников.

Так встретила нас деревня в это страшное лето.

С Катей мы долго не встречались из-за холеры, а Машу я однажды увидел с высокою нашего обрыва, когда она возвращалась с барщины домой — в избушку бабушки Натальи. Попржнему она одета была по-бабьи — в широкий красный сарафан, а голова, повязанная белым платком, казалась рогатой от волосника. Она всплеснула руками и побежала по зелёному отложью к речке. Я спрыгнул на маленький оползень и, не думая о том, что могу полететь вниз по крутому и высокому сбвалу и сломить себе голову, бессознательно прыгал по жёлтым кучкам осыпей и наискось сбежал к сырому берегу, заросшему крупными листьями мать-мачехи. Маша протягивала мне руки, смеялась и плакала. За этот год она стала выше и плотнее и превратилась из девки в настоящую зрелую женщину. Лицо её, очень похожее на лицо дяди Ларивона, было и привлекательно-ласковое в улыбке, и упрямо-недоброе в крепко сжатых губах и опущенных углах рта. Только загар лёгкой дымкой покрыл ей кожу.

— Федя-а! — певуче закричала она на бегу. — Вырос-то какой большой! И по стати не узнаешь — какой-то другой стал, видать, что свет поглядел, учился да мучился...

— Чай, мы на ватаге были, — похвалился я. — А приехали — в селе-то, словно на задах, в навозе очутились.

— Мать-то где? Аль опять её в работищу запрягли да туркать начали? Вмиг бы к тебе через речку перешагнула, а не велят — холеру, мол, с берега на берег перенесёшь...

— Дурость это! — убеждённо сказал я. — Чай, холера-то — от грязи да нечисти. Мухам-то летать не запретишь.

Она засмеялась с ехидной злостью.

— А у нас тут только мухам — воля, а люди-то — под кнутом да на аркане. Фильку-то забрали, а я от свёкора убежала. Одна живу в баушкиной келье. Кривой-то хотел утащить — вожжами руки связать да оряеиной погнать, а я от него кочергой отмахалась.

— А волосник-то носишь... — заметил я. — Мама давно уж его сбросила.

Маша вспыхнула, рванулась ко мне и даже не заметила, как вошла босыми ногами в воду. Она пристально смотрела на меня, и в упрямых глазах её дрожал смех и жгучая злость. Я ещё не видал в её красивом лице такой мстительной гордости.

— Вот вы как на чужой-то стороне от вольности заумничали!

И она невольно стянула на затылок платок вместе с волосником.

— Ну, я хоть и не была на стороне, а тоже сердцем закипела: наотмашь и свёкора и кого хошь хлестать научилась. Мне сейчас всё равно: то ли долю свою верёвочкой совью, то ли собаками меня затравят. Отцу-то с матерью у бабушки не жить, — неожиданно закончила она. — Руки сейчас у меня развязаны: волю свою я и кулаками, и зубами, и кипятком етеюю. У меня характер ларькин: с добрыми и я — добрая, а с ворогами — волчиха.

Она говорила со мною, как со взрослым: должно быть, почувствовала, что я уже не тот малолеток, которому она совала когда-то огрызок карандаша или растрёпанную книжку и лепетала со мной, как с ребёнком. Она любила меня и по каким-то неуловимым для меня самого признакам чутко понимала те перемены, какие произошли во мне за этот год. Маша пережила и жестокие насилия, и издевательства, и рабство. Дикое своеобразие Ларивона и тиранство свёкора не сломили упрямого её нрава, а разожгли в её душе неукротимую злобу.

— А я всё ждала от тебя письмишка: вот, думаю, Феденька весточку мне пришлёт, и для меня, мол, на небе звёздочка вспыхнет. А ты, поди, меня и не вспоминал.

Я виновато отмахнулся.

— Чай, мы с мамой на краю света были: туда и птица не долетит. Да и работал с утра до ночи: и на плоту, и в кузнице, а потом заболел и без памяти валялся.

— А, батюшки!—ужаснулась она.—Неужли и тебя работищей мучили? То-то я вижу, себя перерос... и дикость нашу с тебя как ветром сдуло.

Я ободрился и пояснил ей:

— Там и люди хорошие были: чего только они на свете не видали!.. У нас тут Микитушка, Петя Стоднев да Володимирыч были, а там — Гриша-бондарь, Харитон, рыбаки Корней и Карп Ильич... А Гаврюшка, ровесник мой, поумнее Кузяря. И на Девяти футах мы чуть не пропали: захватили нас в море и утащили в холерное стойбище. Насилу вырвались. Приехали — и здесь холера людей косит.

— И не говори, Федя! А всё молодые мрут. Стариков да старух она не трогает и детишек щадит, а самосильных валит. Меня-то она не возьмёт — я не боюсь: за чистотой слежу. Только мать-то как бы не свалилась: она ведь у тебя любит с больными да несчастными возиться. Ну, иди домой, а то вон караульщик колом грозит.

Она пошла по песку и по прибрежной траве, высокая, стройная, закинув голову назад. Это была опять прежняя Маша, которую я привык видеть в девках, — упрямая, неподатливая, своенравная.

Кузница стояла попрежнему закопчённая, но покинутая Потапом и Петькой. Говорили, что мать Петьки умерла от холеры, а Потап сидит бирюком в избе и бесперечь пьёт брагу, а Петька один управляется со всем хозяйством. Мне так и не пришлось за эти дни увидеть его.

Не встречал я долго и Иванку Кузяря, а когда сказал Сёме, что хочу сбежать к нему, Сёма сделал страшные глаза и показал мне кулак.

— И не моги! У них после Кузи-Мази холера гнездо свила. Кузярь-то сам со двора не выходит. Он сейчас, как Петька-кузнец, — весь дом на себе прёт.

Но когда я вскарабкался по красным оползням буерака на луку, — носом к носу столкнулся с Иванкой. Задыхаясь от радости, я бросился на шею моему бывшему другу.

На худеньком, обожжённом суховеями лице задрожала у него растерянная улыбка, и блеснули в горячих глазах искорки радостного удивления.

От пожарной широко шагал к нам длинноногий Миколька, заложив руки в карманы засаленных брюк, и с притворным ужасом кричал:

— Теперь ты совсем пропал, Федяшка! Ведь холера-то в его избе место себе облюбовала. Окрутила она у него отца-то, а Ванятку покрыла, как плесенью... Вот ты от него и заразился. Пойдём со мной скорей в пожарную — я тебя известкой обсыплю.

Кузярь насмешливо оглядел меня со всех сторон.

— Какой ты кургузый стал! И выше меня вырос. В Астрахани неудачно, поди, жили, ежели опять домой воротились. А я из села никуда

не уеду: после тятки-покойника всё хозяйство — на мне. Только одно у меня плохо: мамка не перестаёт маяться, а тятка вот, хоть здоровый был, да холера-то не мамку, лядашую, схватила, а его. Должно, ошиблась сослепу.

В нём почувствовал я что-то новое. Былой Кузьярь — проказливый и задиристый парнишка — стал самосильным хозяином. Петька-кузнец тоже был заботливый работник, но в сравнении с Кузьярём всегда казался мне тяжелодумом. На них обоих обрушилась беда: у одного умерла мать, а отец с горя запил, у другого умер отец, а мать, беспомощная, больная, была обузой в избе. И на того и на другого судьба надела ярмо домашних хлопот и ответственных обязанностей, которые по силе только взрослым мужикам. Но и тот и другой не струсил, не растерялись, а приняли свой крест, как должное и неизбежное в их жизни. Только отнеслись к этому по-разному: Петька — спокойно, умственно, незаметно, а Иванка Кузьярь — с нервным недовольством и, вероятно, с злыми слезами. Зная его нрав, я был уверен, что он не удержался поругать и мёртвого отца и покричать на больную мать, которая выла от горя и отчаяния. С той же нервной злостью он, должно быть, на другой же день принял и за управление хозяйством.

Миколька скоморошничал:

— У меня всё село на виду: я — пожарник, а пожарник должен всё видеть — у кого что в избе и на дворе делается. И день и ночь — на страже. Везде по сторонам — зарева ночами... А чего делаю я, никто и не догадывается. Вот холера людей косит, гроб за гробом на кладбище тащат, а парни с девками на гумнах да под вётрами обнимаются. Любви-то сейчас лафа в самый раз: народ от страху в избах да в выходах прячется, а парни с девками на слободе гуляют. Парушины меня квашеной капустой кормят, а я им уж второй раз насос с бочкой по ночам даю.

Миколька казался женихом, и мы рядом с ним, высоким парнем, чувствовали себя коротышками. Но он почему-то не гулял с парнями-однолетками, а привязался к нам и постоянно уговаривал меня с Кузьярём приходить к нему в пожарную. А когда я спрашивал, почему он не дружит со взрослыми парнями, как Тит и Сёма, он обиженно тянул спиленьким фальцетиком, как у его отца:

— Да ну-у их!.. Они только о девках и калякают да брагу в складчину пьют. По гумнам прячутся. В орлянку играют аль в карты режутся. Кроме всякого озорства — стёкла у бобылок выбить аль прясло разгородить у шабров, — ничего умнее не выдумают. А с вами хоть по-человечески поговоришь. Вы на чтение охотники, а я и сам чтение люблю. Федяшка вон и на стороне побывал, а у тебя, Ваня, в голове всякие выдумки.

Каждый день после полдника, когда взрослые спали, мы с Иванкой бежали в пожарную. В просторном сарае, где в ряд стояли синие и красные насосы на старых телегах, мы устраивались на дощатой лежанке и говорили о событиях в селе и в округе, и всегда я рассказывал им о том, что я видел и пережил на ватагах. Особенно волновали их бунты на промыслах. Поразило их действие о Стеньке Разине, которое представили бондаря с Гришей и Харитоном во главе, и захватила боль об Иване Буяныче и страшная борьба рыбаков со штормом, о которой рассказывал Карп Ильич. Но Иванке больше всего понравилось, как тюлени выныривали из волн и слушали гармонь Харитона. Он хохотал и нетерпеливо спрашивал:

— А не плясали они, тюлени-то? Поди, кувыркались да песни пели? Вот так чудо: собаки в море живут, как рыбы!.. А может, ты обманываешь нас, как я тебя с Наумкой обманывал? Ну, да пускай: боль аль небыль — всё одно гоже. А у нас здесь — чёрт ли! И выдумать-то нечего —

скучища лысая. Рази только вот холера гарь да мор принесла. Сколь её у нас ни опахивали вокруг деревни — полуголых баб в сохи запрягали, — а она словно взбесилась и за ними в село пришла.

Миколька умственно разъяснял:

— Это дурость, что холера из деревни в деревню, как белый дух, ходит.

Но мы меньше всего говорили о холере, о мертвецах и о голоде. Зловещая тишина в деревне, удушающая гарь, страшное багровое солнце, которое будто потухало на наших глазах, уже не казались нам жуткими: втроём мы как-то легко чувствовали себя и всё свободное от работ по двору время проводили вместе. Хотя Кузьярь часто убегал домой, чтобы присмотреть за матерью и за лошадёнкой, но исчезал он незаметно и так же внезапно появлялся. А Миколька целыми сутками дежурил в пожарной.

— Мой родитель с колченогим Архипом всю жизнь строили дома для живых, а сейчас — домовины для покойников. Родитель песенки попевает да повизгивает: «Мне, — говорит, — на роду написано в новом доме людей встречать, а в домовине — провожать». Он весь век юродивым был да людей веселил и от барина с исправником не розги, а похвальбу получал: «Молодец, Мосей, ты — дурак лукавый. Ты и из гроба кукиш покажешь».

#### IV

В семье у нас застыла горестная тишина, словно все ждали какой-то неведомой беды. Тит часто садился в передний угол, под образа, и гнусаво читал нараспев псалтырь: «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей». Дедушка один уходил в поле, долго пропадал там и возвращался, измученный, скорбный, шатаясь на зыбких ногах, как больной. Он со стоном и кряхтеньем залезал на печь и лежал там, невнятно бормоча какие-то свои думы. А бабушка Анна прислушивалась к нему и стонала с покорным и тягостным ожиданием в мутных глазах. Но отец чувствовал себя вольготно: он стал прыток, хлопотлив и всё время пропадал где-то у шабров, а прибегал в избу форсисто, с затаённой мыслью в глазах. Сыгней приходил домой вечером, в грязном фартуке, косился на печь и лукаво подмигивал и мне, и Сёме, и отцу, если заставал его в избе. Он лихо встряхивал своими кудрями, снимал фартук и сразу же исчезал из избы. Тит провожал его злыми глазами и прерывал чтение обличительной жалобой:

— Вот... помчался, как жеребчик без узды... Кругом — напасть, слёзы, наказанье божье, а он — к бражникам, к своим лобовым... и тятеньки не боится...

Хоть он и был молодой парень, у которого ещё не росла борода, но казался старше Сыгнея. Он с первых же дней после нашего приезда стал держаться отчуждённо, молчал, обдумывая какие-то свои тайные дела, и я видел, что к отцу он относился с враждебным презрением. Вероятно, Тит считал себя достойным мужиком и хозяином, а отца — прощальгой и бездомником. Он возненавидел нас угрюмо и мстительно, словно мы явились в избу, как бродяги и дармоеды. Отец посмеивался и трунил над ним:

— Тит пыхтит да небо коптит, только глядит, что плохо лежит...

Тит, озираясь, мычал:

— А ты с женёнкой только и норовишь по чужой стороне шататься да беззаконничать. Благодарю бога, что тятенька тебя по этапу не пригнал.

Отец брезгливо косился на него и отшучивался:

— Сумей по-моему так на стороне пошататься, Титок.

И с притворным добродушием спрашивал его:

— Много ли подсобрал добра-то, Титок? Чай, уж и прятать некуда? Тит съёживался и немел от испуга.

Дядя Ларивон перед нашим приездом исчез куда-то из села. Староста нарядил мужиков на нашей и на той стороне на розыски. Искали его два дня по гумнам, по полям, по мелколесью, но нигде не нашли. Говорили, что в сосновике и малиннике — в лесах, которые синели очень далеко за селом, — появились волки и стаями рыскали по округе, нападая на голодный деревенский скот. С барского двора верховые охотники, во главе с самим Измайловым, со сворой собак ездили на облавы и возвращались с богатой добычей. Толковали, что охотники видели в лесу, где раньше жид Ларивон с отцом, какие-то стародавние лохмотья, но побрезговали захватить их с собою. Одни уверяли, что Ларивон с пьяных глаз забрёл в лесную чащобу, и его съели волки. Другие говорили, что в лесу-то он сбросил рваный пиджачишко, чтобы обмануть людей, — волки, мол, его задрали, — а на самом деле убежал из села куда глаза глядят. Татьяна, жена Ларивона, повопила немного, а потом опять стала равнодушной и тупой, как дурочка.

Однажды примчался из Даниловки верхом на молодой карей лошадке Евлашка — сынишка тёти Паши. Бедобрысенкий, кругленький, он соскочил с лошади как раз передо мною, засмеялся и сразу же заплакал.

— Мамыньку холера схватила... — пролепетал он, всхлипывая. — Лежит при смерти, и лица на ней нет. Похолодела вся, как покойница. «Скажи, бает, Евлашка, к баушке Анне — пускай, бает, придет проститься со мной на исходе души». А тятенька коровой ревёт. Он за дохтуром поехал, а я — сюда. Горе-то мне какое, Федя: умрёт мамынька-то. Как я буду без неё жить-то?..

Он бросился мне на шею и зарыдал.

На крыльцо выбежала мама и, поражённая, с широко распахнутыми глазами, тихо, словно крадучись, стала спускаться к нам по гнилым ступенькам.

— Евлашенька! — тоненьким дрожащим голоском пропела она: — Чего это ты?... Аль с бедой приехал?

Евлашка оторвался от меня, бросился к маме и ткнулся ей в грудь.

— Тётенька Настя... мамынька-то... холерой захворала. Помирает мамынька-то... Я за баушкой Анной приехал. Запрягайте — поедем сейчас же...

— А пустят нас к вам? Ведь везде мужики с кольями караулят.

— У нас караульчиков нет.

— Да как же ты к нам-то прорвался?

— У вас я тоже караульчиков не видел, только у выгона за пряслом мужик спит. Обнял кол и храпит.

Он засмеялся, но глаза его заливались слезами.

Дедушки в избе не было: он, как обычно, бродил до сумерек по полю, подолгу стоял на межах и скорбно смотрел на выжженные, лысые полосы ржей и осов.

Когда мы ввели Евлашку в избу, бабушка затряслась, заплакала навзрыд, словно почуяла, что сынишка Паши примчался со страшной вестью. Евлашка прислонился к стенке кровати у порога и уткнулся лицом в свои руки. Бабушка опаматовалась и без обычных стонов прикасала:

— Невестка, иди на двор, вели Титке аль Сёмке лошадей запрягать. Да сбегай в выход, вынь праздничную китайку, рукава, платок да коты. Сёмка меня отвезёт и нынче же воротится.

Мать умоляюще крикнула:

— Матушка, и я поеду, не оставлю тебя. За Пашенькой ходить буду... и днём и ночью...

— А дома-то кто останется? Без бабы дом — содом!

— Я баушку Лукерью позову: она гораздо по шабрам ходить. Ежели я Пашеньку-то не увижу, я сама не своя буду. А поеду — может, я её и выхожу.

Бабушка растрогалась самозабвенным порывом матери и опять застонала:

— И дедушки нет... и Васянька куда-то пропал... Беги, невестка, вели запрягать... Сердце у меня зашлось. А ты, Феденька, сбегай за Лукерьей-то: пускай подомовничает. Горе-то какое! Евлашенька, угостить-то тебя, внучек, нечем — ни молочка, ни огурчика, ни щец нет...

И она опять затряслась от рыданий.

— Какая тут еда, баушка! — взвизгнул сквозь слёзы Евлашка: — Ведь при смерти мамынька-то! Скорее поедетме!.. Я без мамыньки-то и дышать перестал.

Сёма запрягал в телегу нашего костлявого, облезлого Гнедка и озбоченно спрашивал его, взглядываясь в его морду:

— Доедем аль не доедем с тобой, Гнедко, до Даниловки-то? Ну, да робеть нечего: по дороге бурьяну сорвёшь. А может, придётся ночевать с тобой в поле-то?

И вдруг встряхнулся и повеселел:

— Как это я не догадался? Надо Евлашкину лошадь в пристяжку прицепить. А то ведь на полдороге Гнедко-то встанет.

Бабушка с матерью, ослепнув от слёз, уехали, не повидавшись ни с дедушкой, ни с отцом. Сёма возвратился ночью, а мать и бабушка остались в Даниловке. Приехали они дня через три, обливаясь слезами. Тётя Паша умерла у них на руках.

На деда и отца смерть Паши, казалось, не произвела впечатления. Дедушка перекрестился, взглянул на иконы и с равнодушной покорностью сказал:

— Чего же сделаешь? Бог дал, бог и взял. Всяк — от земли и в землю отыдет.

И он полез на печь, а мне было непонятно, почему он забирался на горячую печь, когда и на улице было душно и знойно. Но ему там было уютно и приятно, и потому, как обычно, он сразу же разомлел и промывчал благочестиво и наставительно:

— С этого дня Василий да Титка с Федянькой по череду бесперечь кафизмы читать будут, а по вечерам стояние наложим на себя по большому началу — сорок лестовок с земными поклонами.

Но вдруг всполошился, приподнялся на локте и пронзительно крикнул:

— Отдельно стояние будет! Васька с женой да парнишкой — мирские стали, а Настасья совсем обасурманилась. Без волосника к стоянию не допущу. Пускай в ногах у меня поваляется да выплчется в покаянии.

Бабушка горестно стонала, а мать встревоженно посматривала на отца и на меня. Над переносьем между бровями прорезалась у нее острая морщинка. Мне понятно было её возмущение: я сам запротестовал против угнетающей воли дедушки. Раньше он, как законодатель и патриарх, был для нас силой непререкаемой и непреоборимой — мы немели перед нею, — а сейчас эта мрачная сила уже возбуждала и у меня и у матери вражду. Мать прямо не надевала повойника, а платок набрасывала по-ватажному — легко, небрежно. От этого лицо её улыбалось без улыбки и светилось в угрюмой избе, как трепетный огонёк свечи. Она старалась не попадаться деду на глаза, а за общий стол мы не садилась:

мы поселились в кладовой и кормились отдельно. Мать привезла связку репчатого лука, половину отдала бабушке, а свою половину посадила на заднем дворе. Она каждый день поливала его, а когда он выбросил зелёные стрелки, срезала их к обеду и ужину. Утром мы в своем сарайчике пили кирпичный чай с хлебом. Часто к нам прибегал украдкой Сёма и лакомился горячим бурым настоем. Отец пропадал где-то у соседей и возвращался к обеду и ужину с довольным лицом.

— Ты не особенно хлопочи по дому, Настёнка. С матерью старухой держись поласковой. А отец из-за волосника тебя готов со света сжить.

И самодовольно смеялся.

— Да вот... корысть мешает. В голове одна думка: половчее в карман мне залезть. Тут уж и с богом можно поторговаться: вера верой, а гроши и для души хороши. Скоро отделимся. Мне бы вот только в волости с писарем дотолковаться. Больно уж жадюга большая: новые сапоги требует. Хотел прямо у меня с ног стащить. Ну, и шарлот! Пришлось при нём же заготовки купить и ихнему же чеботарю заказ отдать. Ну, и грабитель! За самосильство-то эти живоглоты норовят и разуть, и раздеть, и по миру пустить. Только не на такого напали: я сам всякому лихачу хвост накручу.

У матери темнели и застывали глаза, и губы сжимались от боли. Она не выносила хвастовства отца.

И вот, когда все, кроме Сыгнея, сидели в избе и молча грустили о Паше, слушая горестные стоны и причитания бабушки, мать порывисто встала со скамьи и с нервным оживлением крикнула:

— Матушка! Грязища-то у нас какая! Живая зараза. Надо пол-то скребком чистить да варом обварить, да песком сдирать. Я, матушка, сейчас за водой сбегаяю. Федя, Сёма, идите со мной — песку с речки принесёте.

Этот внезапный её певучий голос и пылкий порыв словно осветили избу яркой вспышкой. Отец с испуганным беспокойством вскинул на неё глаза и опасливо покосился на печь. Он встал из-за стола и снял картуз с гвоздя. Бабушка тяжело поднялась с лавки и, как больная, рыхло пошала в чулан, сокрушённо охая:

— Плясать бы ты ещё пошла с горя-то, невестка. В душе-то — черным черно, а на земле — пепел да гарь. Упасть бы на пол и не вставать да так и душу отдать господу.

Дедушка обличительно бормотал на печи:

— Каяться надо, кровью плакать, молиться до упаду, чтобы господь простил грехи наши. Страх божий позабыли, спроть закона человеческого пошли. Бродяжили, вольничали на чужой стороне, а коли невмоготу стало — в родительский дом, как блудники, воротились...

Мать остановилась посредине избы и застыла с гневным изумлением в лице. А отец с угрюмым бешенством крутил и мял пальцами картуз. Сёма подмигнул мне и, крадучись, пошёл к двери. Мать глубоко вздохнула и, борясь с бурным волнением, с дрожью в голосе сказала:

— Хоть мы горе и мыкали, батюшка, а милостыню не просили: трудом жили и в ноги никому не кланялись.

Отец опешил от неожиданной смелости матери: он с удивлением глядел на её похудевшее восковое лицо, на дрожащие руки и судорожно проговорил:

— Нас, батюшка, попрекать не в чём. Не надо было требовать нас да этапом грозить. Выправил бы пачпорт, я тебе высылал бы по трёшнице.

Мать по-девичьи легко вышла из избы. Лицо её пылало, глаза горячо блестели. Должно быть, она переживала опяняющее наслаждение от смелого, внезапно охватившего её порыва.

Отец с достоинством и с какой-то новой внушительностью заявил:

— Мы, батюшка, средь хороших людей жили. В городе каждый умеет сам за себя постоять. Там в волоснике да в лаптях не походишь: город чистоту да приглядность требует. А баба моя на промысле работала: народ там артельный — со своей чашкой-ложкой не проживёшь.

К моему удивлению, дедушка даже не пошевелился на печке. Он только промычал недужным голосом, как домовый:

— Оглашенные, изыдите! Моляйся с оглашенными, сам оглашенный будет. У меня в дому нет тебе удела, Васька. Отрезающий ломоть.

Бабушка покорно и скорбно стонала в чулане:

— Васянька, покорись, Христа ради, в ноги-то отцу упали... Отец-то ведь совсем подломился... Вместе бы под божью стопу легли да примирились бы...

А дед расслабленно мычал:

— Говорок стал. Уж в волости с мошенниками снюхался.

Отец побледнел, и его всего передёрнуло. Едва владея собой, он дрогнувшим голосом самоуверенно возразил:

— Я, батюшка, тебя всегда почитал и почитаю. Ну, а жить попржнему — по твоей воле да укладу — не могу: другое время и другие люди. Мне ничего твоего не надо. Были бы руки да голова — как-нибудь проживём до поры до время. А при нужде и на сторону уйдём без робости.

С картузом в руке, готовый вскинуть его на голову, он твёрдо вышел из избы.

— Мать, Анна! — безнадёжно бормотал дед: — До чего мы дожили-то, а? Всё прахом пошло. Знать, умирать надо, мать... умирать, бай, время пришло...

## V

В тот же день мать свалилась от холеры. Я помогал ей счищать скребком грязь с пола, залитого водой, а она мыла пол с песком и вытирала его мешковиной. Дедушка попржнему лежал на печи и не шевелился. Вероятно, он не спал, потому что не храпел, как обычно. Бабушка со стоном ушла в выход — должно быть, не хотела мешать нам с матерью. Сёма тоже исчез куда-то, а Тит прятался в своих потайных углах. Со свойственной ей ловкостью и проворством мать промыла и протёрла пол, и он стал восковым. Я прочистил стёкла от пыли и мушиного засева, и в избе стало как будто светло и празднично.

Когда мы вышли на крылечко во двор, где висел на верёвочке глиняный рукомойник, чтобы умыться, мать вдруг остановилась и прислушалась к себе. Потом как-то неустойчиво подошла к умывальнику и, словно слепая, начала искать мыло, которое лежало на жестянке, прибитой к столбику. Умывалась она тоже, как слепая, и, кажется, не замечала, что умывается. Вдруг лицо её помертвело и покрылось пылью. Она жалко улыбнулась мне и пролепетала:

— Мне что-то нехорошо, сынок. Я пойду прилягу в избе, а ты иди на улицу. Словно бы угорела аль устала донельзя. И тошнит меня.

Пошатываясь, она с трудом перешагнула через высокий порог в сени. Опираясь рукой о стену, она в сумерках сеней добралась до двери, но никак не могла найти скобу. Я испуганно застыл у порога: мне показалось, что на неё нахлынула былая «порча». Она закачалась, беспомощно протянула руки вперёд, хватая пальцами воздух, и рухнула на пол. Не помня себе, я кинулся к ней, подхватил её подмышки, чтобы поднять её, а она невнятно прошептала:

— Невмоготу мне, Федя... умираю...

Тело ее мне показалось рыхлым, плоским и неживым. Пока я поддерживал её под руки, голова её падала на грудь, а руки судорожно вскидывались к подбородку. Потом она рванулась из моих рук, свалилась на пол



и закорчилась в судорогах. Мне почудилось, что у неё затрещали кости. Я не выдержал и опрометью вылетел на улицу. Задыхаясь от слёз, я ворвался в выход и крикнул в отчаянии:

— Бабушка! Иди! Маму холера схватила!.. Помирает она!

Голос бабушки, странно далёкий и жалобный, простонал:

— Занедужила я, внучек, головы не подниму... Знать, и меня надо в передний угол положить...

Сёмы в выходе не было.

Я выбежал на горячую улицу и, рыдая, звал отца, но всюду — и на нашем и на длинном порядке — было пусто, словно все вымерли. Даже Микольки не видно было у пожарной. А над жёлтой, сожжённой лукой мрела ржавая гарь, и тусклое красное солнце зловеще висело высоко над селом. В этой знойной мути галки летали с разинутыми ртами и растрёпанными перьями, а голуби тормозились на карнизе избы, над окнами, и томно ворковали. Только касатки носились низко над землей и говорливо щебетали.

Перед домом Митрия Стоднева стояла вереница длинных рбспусков, а выпряженные лошади жевали овёс. Вспомнилось само собой, что Митрий Степаных переехал в город и перевозит туда свой пятистенный дом.

Я побежал в чеботарю Филарету за Сыгнеем. Изба Филарета, вросшая в землю, стояла перед буераком, через дом от хоромины Митрия Степаныха.

Я вбежал в тёмные сени, пропахшие дёгтем и сапожной кожей, и услышал бойкий говорок отца и залиvistый хохоток Сыгнея. Глухо гудел обозлённый бас Филарета. Надсадно плакал младенец, и певуче бормотала женщина. Я остановился на пороге открытой двери и, борясь со слезами, крикнул:

— Идите, тятя и Сыгня!.. Мама захворала... Упала в сенях... без памяти лежит...

Отец как-то странно крикнул, поперхнулся и вскочил с лавки. Сыгней только взглянул на меня и на отца с изумлённой улыбкой.

— Это Михайловна-то?.. Должно, и до нас холера добралась... Мамка-то, должно, обневедалась...

— Баушка тоже заболела!.. — судорожно выкрикнул я. — В выходе она лежит. А дедушка — на печи...

Филарет натягивал кожу щипцами на колодку и ловко вбивал шпильки молотком. Круто выгибая спину, он весь судорожно напрягался, и каждый его мускул был в движении. Синие пальцы прыгали по складкам кожи, растирали её, гладили по бокам, по носку, по заднику, по стельке, хватались за нож и мгновенно срезали выпучины, вскидывали сапог, вертели его в разные стороны. Чёрная борода его тряслась, как куделя, словно и она принимала участие в работе.

...Матери в сенях уже не было, и я, поражённый, даже застыл на пороге. Отец, срывая картуз, тоже остановился, потом степенно распахнул дверь и перешагнул высокий порог. На полу, на кошме, лежала мать, покрытая дерюгой. Лицо её стало костистым и покрылось тлением. Глаза потухли, но смотрели пристально в потолок с застывшей напряжённостью. Она слабо подняла руку, посиневшую, как от холода, и едва заметно помахала мне навстречу. Я подбежал к ней и опустился на корточки. Сквозь слёзы я увидел призрачную прощальную улыбку и тоску в её глазах. Она пошевелила коченевшими губами, и я услышал хриплый незнакомый шёпот:

— Умираю, сыночек... Сиротой останешься... Гришу милого помни... Прасковею... Раису... Человеком будь...

И не мыслью, а всем своим существом понял я, что смерть уносит с собою всё для меня дорогое — и надежды, и радости, и мечты, и будущее.

На меня как будто обрушился неведомый удар, и я, раздавленный, не мог ни крикнуть, ни пошевелиться.

Отец поднял меня за руку и вывел на крылечко. Я заметил, что лицо у него было странно измято. Похоже было, что ему хотелось заплакать, но он изо всех сил старался подавить спазмы в горле.

— Я сейчас побегу, сынок, на барский двор, — покашливая, срывающимся голосом сказал он. — Там — дохтур молодой... студент... Он по избам ходит и лечит... А ты возьми ведёрко и сбегай к колодцу — свежей водички принеси и поставь около матери. Ежели она попить запросит — зачерпни в ковшик и дай ей.

Должно быть, он был потрясён видом матери: давеча она прытко, с увлечением мыла и прибирала избу и всё время посматривала на протёртый пол, на стены, на чистые окна. А сейчас лежит, как покойница, маленькая, худенькая, окоченевшая от предсмертного холода.

Вместе с отцом мы побежали через задний двор к обрыву и спустились вниз, в вёты. Он шагал быстро, покачиваясь с боку на бок и размахивая руками, и часто покашливал, словно у него першило в горле. У колодца он выхватил у меня ведро и зачерпнул воды из сруба.

— От матери не отходи. Я сейчас вернусь. Может, вместе со студентом на барских дрожках прискачу. — И с досадой вскрикнул: — Ведь вот егоза-то какая!.. Повозилась с Пашухой-то — и заразилась. Не дай бог, пропадёт... чего без неё делать-то будем?

Он с негодующим отчаянием махнул рукой и быстро пошагал по дороге к Сиротскому порядку. Через речку на ту сторону пройти нельзя было: по обоим берегам стояли с кольями караульчики. Отец, очевидно, решил пройти вверх по реке, к барскому пруду, и там перебраться без помехи через плотину.

Полное чистой холодной воды ведро было большое и очень тяжёлое. Я часто останавливался, чтобы переменить руку, но не отдыхал: я не чувствовал усталости и был как в угаре от горя. Я даже не заметил, как поднялся вверх по крутому спуску. На ровной площадке у нашего прясла я поставил ведро на сухую траву. В разные стороны брызгами запрыгали от меня кузнечики. Они стрекотали всюду в мутном от гари воздухе.

И тут же меня поразил вопрос: почему мать очутилась в избе на полу? Кто перенёс её из сеней, где она упала без памяти? Этот вопрос почему-то очень встревожил меня, и я без передышки, почти бегом, дотащил ведро до крыльца. А когда поставил ведро перед изголовьем матери, она потянула к нему руку, но, не дотянувшись, опять обмерла. Я поднял её голову, поднёс ковшик к её губам. Она впилась в острый край ковша и жадно проглотила всю воду.

— Ещё... ещё!..

Так выпила она два полных ковша и опять застыла, как мёртвая. Я не заметил, как вошёл в избу дедушка с Лукерьей-знахаркой. Она истово помолилась и обошла вокруг нас, пристально вглядываясь в мать очень зоркими глазками из-под низкого козырька чёрного платка. Дедушка, босой, стоял в сторонке и набожно глядел на Лукерью, как на праведницу. Он задвигал седыми ключьями бровей и уткнул в меня пронзительные серые глаза.

— Убирайся отсюда! — тихо, но строго приказал он мне. — Ты чего тут дуришь? Где отец-то бродяжит?

Но Лукерья с ласковым упрёком укротила его:

— Не замай его, дедушка! Видишь, как он о матери-то заботится. Где Анна-то? Пеплу бы горячего из загнетки в мешок насыпать да обложить болящую... Давай-ка положим её на лавку, Фома, — под образа.

— И старуха-то захворала... — со скорбью в голосе сказал дедушка. — Знать, и на нас господь наказание за наши грехи посылает.

Но Лукерья мягко пожурила его:

— Не греши, Фома: бог-то, отец наш, — велик, а люди — маленькие да неприкаянные. Зло да наказание человек человеку творит от обиды да мщенья. А как это при немощи своей человек бога может обидеть? Не суди по себе, Фома: бог-то тебе не ровня.

Она стащила с кровати дерюгу, неторопливо и заботливо расстелила её на широкой лавке, а стол отодвинула назад. В изголовье положила вверх шерстью полушубок, который взяла тоже с кровати, потом пере-крестилась и повелительно позвала деда рукой. Он послушно подошёл к матери, поднял её на руки и, как ребёнка, без натуги, положил на лавку. Мать ничего не чувствовала: голова её качалась, как неживая, а ноги ооченели и не сгибались. И я сразу догадался, что это бабушка постелил кошму в избе и перенёс мать из сеней. Впервые он поразил меня своей участливой печалью: нёс он мать бережно и зыбко семеня босыми ногами, наклонившись над нею, словно опасался, как бы не сделать ей больно. Ключковатые брови его поднимались и падали на глаза, как будто бы ему хотелось заплакать. Но видно было, что ему неловко показывать свою доброту на людях, и он недовольно бормотал:

— Таскались вот по чужой стороне... и образ свой потеряли... обмир-щились, опоганились... А бог-то всё видит и перстом указывает.

Лукерья мягко поправила его:

— Не суди, Фома, да не судим будешь. Перед богом все равны: и чародей и блудодей. А смерть никем не брезгает: мирской ли, святой ли, — для неё все — людская трава. Только живой судит да рядит живого, да меряет на свой аршин. А аршин-то с аршином не сходен: у Митрия Стод-нева он божьим словом изукрашен, а бесу не страшен, а её вот, Настень-ку-то, к своему аршину не подгонишь. Видишь, какая она мученица, а сама словно свеча восковая.

Она говорила, как будто читала молитву, и хлопотала около матери — поправляла подушку, укладывала ей руки поудобнее, снимала с неё юбку и покрывала одеялом. А бабушка сидел в ногах матери, низко на-клонив голову и опираясь локтями о колени. Лукерья неторопливо, раз-думчиво делала всё, как будто эта возня доставляла ей большое удо-вольствие. Маленькие и добрые глазки её тепло улыбались, и вся она, похожая на скитницу, стала праздничной, как в моленной. Она проплыла в чулан, зазвякала заслоном и стала выгребать из загнетки пепел. Лу-чинкой она быстро и ловко выбрасывала горящие угольки и сыпала пе-пел в фартук. А когда подошла к матери, велела мне развязать фартук на спине.

— Отойди-ка, Фома, подальше и ты, Феденька, а я ножки ей обложу пеплом-то, кровь ей разгону.

Я отошёл к порогу и прислонился к спинке кровати, а бабушка вышел в открытую дверь.

Лукерья обкладывала ноги матери пеплом и певуче бормотала что-то непонятное. А мать на моих глазах странно и жутко таяла, и вместе с жизнью потухало в ней и всё кровно родное, моё — и трепетная её серд-ечная теплота, и нежная задушевность, и радостная мятежность, ко-торую я всегда чувствовал в ней, как мечту о счастье.

Вдруг я увидел, что мать силится приподняться на локтях, но сладить с собою не может.

По-детски жалобно она пролепетала:

— Душа горит... Водицы мне студёнькой. Не морите меня, как Пашеньку...

Я бросился к ней и зачерпнул из ведра целый ковш воды. Но когда я поднял её голову и поднёс ковшик к губам, я не выдержал и разры-дался. Мать закорчилась в судорогах, и её начала мучить рвота.

Лукерья несколько раз меняла пепел на ногах матери и растирала ей своими сухими ладонями руки, а потом напевно читала наизусть псалмы.

В избу прытко вбежал отец, а за ним тот самый студент, который приезжал с молодым Измайловым к колодцу. Он без стеснения оглядел избу и заулыбался:

— Вот это хорошо! Чистенько вымыто. Сразу видно, что хозяйка не терпит грязи.

Он прошёл к столу и метнул глаза на мать и на Лукерью.

— Замечательная встреча! Наука и знахарство. Но тётушку Лукерью я уважаю: она всё больше травами врачует, на парь сажает да горшки накладывает. Вот мы вместе с тобой за дело и примемся.

Он живо накиннул на себя белый балахон, наклонился над матерью, взял её руку, прислушался к ней, не переставая говорить.

— Так, отлично. Ты, милая старушка, два ведёрка приготовь: одно выносится в яму и там моется раствором извести, другое, чистое, — сюда. Известь-то — на крыльце, в мешке. Иди проворнее, старушка, а я дам больной лекарство. Горячей бы воды надо из печки.

Лукерья сначала неприязненно и с опаской поглядывала на студента и даже отошла подальше, к другому концу стола. Должно быть, её, как тихую келейницу, испугал и ошарашил этот сторонний, говорливый парень, чужой по облику и языку, внезапно вбежавший в скорбную избу, без всякой степенности. Здесь лежит под образами больная на исходе души, а он, словно бес, скоморошничает, наряжается в белый саван и без всякого почтения к старозаветному дому распорядится, как на игрище. А мне он нравился. Я почувствовал к нему влечение ещё в тот день, когда он разбрасывал известку у колодца и бесстрашно шутил над мужиками, которые с кольями стояли на горе и с угрюмым любопытством следили за его работой.

Он взглянул на ведро воды и провёл пальцем по вспотевшей жести.

— Воду надо чаще приносить из колодца, чтобы она не застаивалась. Это уж на твоей обязанности, Василий.

Отец ядовито поддел его:

— А доктор в Даниловке не давал воды Пашухе-покойнице, только кусочек льду разрешал в рот ей совать, да и то редко. Ну, и сгорела бабёнка-то.

Студент благодушно пояснил:

— Лёд — это хорошо, но, по-моему, недостаточно. Я предпочитаю свежую водицу из колодца. Пускай наша больная пьёт, сколько ей хочется, и промывает желудок.

Он опять заторопился:

— Ну-ка, милая старушка, вынимай-ка из печки горячую воду. А ты, молодой человек, — обратился он ко мне с улыбкой, — тащи сюда бутылки. Они в мешке рядом с известью.

Он откинул одеяло и радостно удивился.

— Ах, какая ты превосходная лекарка, Лукерья! У тебя и поучиться нам, желторотым, не грешно. Ножки-то ещё не растирала ей? Сейчас же надо. Вот и ты понадобисься, мальчуган. Как тебя зовут-то? Сейчас же, Федя, найди и дай мне шерстяные чулки или варежки. Ноги и руки будем растирать матери. Тётушка Лукерья, разожги лучше самовар, а то в доме-то, должно быть, и дровишек нет. Горячая вода нужна постоянно.

Лукерья неожиданно улыбнулась, но сказала недовольно и обидчиво:

— Хоть ты и учёный, да туркать-то молод ещё. Ну, уж не гневаюсь: о болящей-то больно забеспокоился.

— Ты не ругай меня, тётушка Лукерья! Я ведь хлопочу не только по обязанности, но и от горячего сердца. Как это можно допустить, чтобы такая молодая женщина погибла!

Вместо того, чтобы бежать за бутылками, я подскочил к нему и схватил его за руку.

— Без мамы я жизни лишусь... — заикаясь от отчаяния и надежды, вскрикнул я и захлебнулся от слёз. — Чего хошь со мной делай, а её вылечи.

Антон прижал мою голову к своему халату и растроганно засмеялся.

— Постараюсь, постараюсь, милоч. Как-нибудь поднимем её общими силами.

Отец убежал за водой к колодцу, а Лукерья возилась с самоваром. Я принёс мешок со звякающими бутылками и сбегал в кладовую за тёплыми чулками.

Судороги жутко ломали руки и ноги матери, и вся она корчилась от рвоты. Антон вливал в рот ей какое-то мутное лекарство.

Вошёл дедушка, поклонился студенту и сел на лавку.

— Спроть божьей воли не пойдёшь, барин, — сказал он покорно и кротко. — Все под богом ходим. Вот и старуха моя слегла — в выходе стонет... Как бы и её не прибрал господь...

— Есть и другая народная мудрость, дедушка: на бога надейся, а сам не плюшай. Пройду и к старушке. А родился я не барином. Папаша мой — железнодорожный машинист и сейчас ещё не бросил паровоза, хотя по седине и тебе не уступит. Зовут его Макаром, а меня — Антоном.

Дедушка отчуждённо поглядел на него и с усмешкой себе на уме провёл пальцами по бороде.

— А вот науку произошёл — дохтуром стал. Из простонародья учёных не бывало. Простонародью положено горб ломать, а наукой-то барство да купечество промышляют.

Антон растирал обеими руками ноги матери и словоохотливо говорил:

— Наука, дедушка, тоже горбом зарабатывается. Я вот и голодал, и холодал, и всякие трудности испытал. А от этого только злее и смелее становился. Люди из простонародья сейчас эту науку дерзко у дворян да богатых вырывают, хоть они и запирают её от народа, да замки-то наш брат понемногу сшибает.

Я видел, что дед не верит ни одному его слову, но учтиво скрывает свою мужицкую неприязнь. Он не признавал иного труда, кроме труда на земле, мускульного труда, и даже тех мужиков, которые уходили на сторону, в города, считал пропащими — гулёвыми людьми, которые, как все горожане и баре, едят крестьянский хлеб и живут захребетниками.

— Ежели все учёны будут — кому же за сохой ходить да хлеб молотить? Учёные-то к барам льнут, а мужика чужаются, чернядью брезгают.

У Антона смеялись ноздри и глаза, но ответил он деду скромно и веско:

— У Измайловых я их детей учу. И живу от них на отлёте — во флигеле. А послало меня сюда земство — с холерой бороться. Нас, таких парней, как я, много послали по деревням.

Дедушка смотрел на него с насмешливым отчуждением.

— Чай, вам жалованье большое платят. Деньги-то холеры не боятся.

— Нет, дедушка, мы — по доброй воле, бесплатно. А деньги на прокорм получаю с Измайлова за ученье его барчат.

— Ты глаз-то не отводи, дохтур! Какой дурак холере на рога даром полезет?

— Ну, так вот я — один из таких дураков. И здесь, у вас, и в Моревке я успел на ноги поставить не одного человека. В Моревке хотели меня немножко кольями помолотить, да я по своему весёлому характеру под ручку с теми, кого исцелил, прямо к ним в толпу и врезался.

Он засмеялся, сбросил одеяло с матери и повелительно крикнул:

— Ну-ка, дедушка, иди сюда — помогай! Тётушка Лукерья, без тебя не обойтись: ты по бабьему делу лучше с Настей справишься. А ты, Федюк, удирай отсюда и больше в избу не заходи.

Эта быстрая распорядительность действовала и на Лукерью и на деда сильнее, чем приказ и окрик начальства. А начальство, начиная со старосты, всегда до тупой покорности угнетало деда, владыку в дому. Антон Макарыч без всякой обиды, со светлой улыбочкой отщучивался на коварные вопросы дедушки и ставил его в тупик своим бескорытием и добровольным уходом за холерными больными, без всякой боязни самому от них заразиться. Я верил каждому его слову и чувствовал, что к дедушке он относится снисходительно и видит его насквозь. Он не спорил с ним, но дело своё делал расторопно, без всякой брезгливости.

В этой нашей избе, которую дед любил устрашающе называть «кеновией», Антон чувствовал себя так же свободно, как у колодца. Должно быть, он в других избах, где были холерные, держал себя так же вольно, как и здесь: около больного он был хозяином и распоряжался без оглядки, без всякого стеснения. Привыкший с ранних лет бояться деда, я с удивлением наблюдал, как Антон благодушно заставлял его помогать себе, а дед безропотно слушался его. Но властная сила Антона была не самовластием барина, а силой бескорыстного человека, который явился на помощь матери, чтобы спасти её от смерти.

Отец вошёл с полным ведром свежей воды и поставил его на стол, а прежнее ведро хотел вынести, но Антон спохватился и остановил отца.

— Ты, Василий, с водой подожди. Тебе есть другая работа.

Он приказал ему что-то на ухо и громко закончил, ткнув пальцем в пол:

— Будь здесь, около тётушки Лукерьи. А ты, молодой человек, будешь ходить за свежей водой. Но в избу — ни ногой.

Я покорно вышел на улицу и больно почувствовал, что я — один, как сирота, что мне нет места ни в избе, ни в выходе, где лежала больная бабушка, ни в кладовой, где пахло рухлядью и гнилью.

## VI

Студент Антон Макарыч приезжал каждый день на дрожках и вместе с Лукерьей и отцом долго возился с больной матерью: он давал ей пить лекарство, оттирал ноги и руки шерстяными чулками и не брезгал, когда её мучила рвота, и как будто даже веселел и покрикивал с радостной уверенностью:

— Вот как мы умеем холеру выгонять! Пьём ключевую водичку — обильно промываем нутро, через денёк, через два воскреснешь, Настенька, и почувствуешь себя счастливой, а жизнь прекрасной, хоть и забита она разными мерзостями.

Его провожал отец до самых дрожек с благодарной и учтивой улыбкой, склонив голову к плечу. А Лукерья глядела из открытого окна с умильной истовостью. Он шагал в выход, где лежала бабушка и метался в горячке Сёма. Оттуда он выходил вместе с дедушкой.

— Бог-то бог, да сам не будь плох, Фома Селиверстыч, — смеялся он, выбегая из подземелья. — В жизни ты своего не упустишь, без драки своего не отдашь. А тут — живые люди, кровно близкие. Как же не бороться за них, как же их не спасать от смерти? Бог-то едва ли одобрит тебя за то, что ты сваливаешь на него все напасти. Я думаю, что человек угоден богу не смиреннием и терпением, а борьбой за своё законное право — жить и по-своему устраивать свою судьбу. Эх, как крепко в тебе сидит рабский страх перед владыкой-барином! Ничего ты не знал в

своей жизни, кроме покорности и безволия. А жизнь теперь иная и люди иные. Так ты уже, старичок, не мешай им жить, как хочется.

Так он приезжал к нам по два раза в день и скакал на дрожках по большому порядку, а оттуда катил в заречье.

Мать медленно выздоравливала, и её перенесли из-под образов на кровать у задней стены. Лицо её, очень худое, бледное, уже светилось едва уловимой улыбкой про себя, и когда она открывала глаза, они казались большими и лучистыми. Бабушка скоро отлежалась от какой-то немочи и уже благостно стонала в чулане. Сёма в выходе лежал в горячке. Тит не показывался: он перебрался на гумно — в половёшку. Он хозяйственно бродил по двору и, усыпанный охвостьем, не знал, за что взяться. Сыгней пропадал у чеботаря и по вечерам торопливо пробегал в кладовую, переодевался там и так же торопливо, с оглядкой, исчезал в сумерках за амбарами, кудрявый, густобровый, ловкий. Должно быть, он пользовался правом «лобового», для которого всё — трин-трава. Этих парней считали наполовину солдатами и, по обычаю, в часы гульбы уже не было над ними суровой власти отца и семьи. Озорство их часто булгачило всю деревню. Притворяясь пьяными, они проходили по улицам нашей и заречной стороны, орали пригудки под гармошку, плясали на ходу и вдруг, ни с того ни с сего, начинали ломать прясла в загонах и выгонять на улицу коров и овец. Скотина мычала, бляела и разбрелась по улице.

Однажды они соблазнили выпивкой сотского Гришку Шустова, и он, как бывший солдат, гулял с ними до петухов, похваляясь перед парнями своей унтерской свирепостью. А когда он свалился на улице, они стащили с него рубаху и портки. Об этом долго судили в каждой избе и злорадно хохотали. Но он отсиделся дома и никому не мстил: боялся, как бы начальство не лишило его почётной и доходной службы.

В этом году лобовых у нас было трое: наш Сыгней, Олёха Набрин — тот самый, который наваливал мешки на плечи Лукони слепого, — и Мишка Кантонистов, парень из самой беззаботной семьи, красноволосый, с пёстрым от веснушек лицом.

В эти зловещие ночи, когда избы прижимались к земле в могильном молчании, лобовые ребята бродили по селу и, распевая пригудки под гармошку, будоражили девчат, которые спали на траве перед своими избами. Эти озорные прогулки по всему селу с гармошкой и разудальными припевками, когда в редкой избе не было горя да беды, оскорбляли горестную тишину и вызывали враждебные жалобы.

Из открытых окошек высовывались седые головы, и старческие голоса совестили рекрутов. Но они лихо отшучивались и отбивали трепака. Для лобовых не было никаких преград и застав: они переходили на ту сторону, туда, где стояли караульщики, отнимали у них колья и бросали в реку, а караульщиков разгоняли по домам.

У колодца, в часы вечернего водопоя, у пожарной, у пустых амбаров стали кучками собираться мужики. Сначала они мирно, как будто беззлобно толковали о том, и о сём, приглядываясь, прислушиваясь друг к другу, потом горячились, спорили и с оглядкой расходились в разные стороны. На нашей стороне мужики собирались позади жигулёвки, у оврага.

Мы с Кузярём обычно по вечерам шли к пожарной и играли с Миколькой в чушки. Долгоногий Миколька бил тяжёлыми палками по чурбачкам метко и сильно, и они, кувыряясь, разлетались далеко в стороны, а мы с Кузярём скоро «отмахивали» свои руки и проигрывали ему. Он, довольный, победоносно прищуривался и напевал себе под нос невнятную пригудочку. Кузярё злился и беспощадно мстил ему ядовитыми словами:

— Дурак не умом гожд, а махалками. Даже лошадь за сохой думает, а дурак только бездельем жив — как здесь вот у пожарной. Давай-ка лучше в шашки срежемся: ты любишь в нужнике сидеть.

И верно, Кузьярь ловко и уверенно передвигал шашки на пёстрой доске, устраивал ловушки и принуждал Микольку бить подставленные пешки, отдавать взамен по две, по три сразу и прочно залезать в тупики. Худенькое личишко у Кузьяря становилось остреньким и злым, чёрные горячие глаза зорко рыскали по доске, а костлявый палец хищно целился то на одну, то на другую пешку. Миколька задумчиво гнул какую-то песенку и спокойно, медлительно размышлял над очередным ходом. Он вскидывал прищуренные глаза на Иванку и шельмовато подмигивал ему, и мне казалось, что он всегда следил за Кузьярем и старался ошарашить его внезапно, с невинным и игриво-простодушным видом. Миколька всегда показывал нам своё превосходство взрослого парня, а на дерзости Кузьяря или улыбался молча, или кротко и снисходительно ворковал:

— Ваня, дураки-то на виду егозят, а умные умом не хвалятся: они тишком да молчком людьми помыкают. Вон Митрий Степаныч Стоднев по всей округе на умниках верхом ездит.

И под этот поучительный говорок пальцы его плясали по доске, незаметно передвигали шашки, и, к изумлению Кузьяря, он быстро проходил в дамки. Кузьярь в бешенстве смахивал шашки с доски и орал:

— Жулик ты, а не товарищ! Игра была моя, а ты шашки-то на свой лад сдвинул.

— Не пойман — не вор, Ваня. Где свидетели? Федяшка, что ли? Да какая ему вера? Ведь он твой подвалет.

Я уже не раз замечал проделки Микольки с шашками и следил не столько за игрой, сколько за Миколькой. Он не отгонял меня от себя, хоть и знал, что я наблюдаю за его пальцами, но старался обмануть и меня и Кузьяря какой-нибудь выдумкой.

— Федя, — вдруг испуганно вскрикивал он, — кто это к пожарной бежит?

Я невольно подчинялся его тревожному крику и выбегал из сарая. Конечно, на луке никого не было, и я сконфуженно брёл обратно. Кузьярь презрительно цедил сквозь зубы:

— Поверь дураку — сам дурак будешь. Эх, ты, а ещё ватажник!.. Ведь он хотел тебе глаза отвести, да на мои глаза напоролся.

А Миколька притворно удивлялся:

— Аль никого нет? А мне что-то почудилось.

И с участием спрашивал:

— А ты, Ваня, поди, ничего и не ел нынче?

— Не ел? — гордо вскидывал голову Кузьярь. — Я всех богаче: у меня живности — весь белый свет.

Однажды он вынул из кармана портчишек скрюченное и подгоревшее тельце птички, без головки и лапок. Миколька испуганно отмахнулся.

— Это чего ты съешь-то?

— Воробья. Я их каждый день сколько хошь ловлю. И голубей. В плетюху. Поставлю плетюху на лучинку, а к ней нитку привяжу, налетит их видимо-невидимо, я их и накрою. Скуснее воробья да голубя ничего на свете нет. Мы с мамкой только этим добром и лакомимся. Сперва она плевалась да лаялась, а потом расчухалась — и не оторвёшь. Ест и плачет-разливается: «Грех, — говорит, — Ваня... задавит нас грех-то за погань». А я утешаю её: «Ешь, знай, — не тужи, мать. Я все твои грехи на себе в овраг отнесу и выброшу».

Миколька даже озлился от мучительного соблазна выхватить из руки Кузьяря зажатую на огне птичку, но не мог побороть отвращения к этой дичине: в деревне считали тяжёлым грехом убивать воробьёв



и голубей, а есть их запрещалось стародавним обычаем. Он оттолкнул руку Кузяря, но глаза его голодно блестели, и он глотал обильную слюну.

— Сам ешь... Только берегись, как бы тебе мужики рёбра за это не переломали.

— Чёрт ли баять!.. — вызывающе выпрямился Кузярь. — Голод — не тётка: приспичит — и мышей будешь есть.

Я выхватил у него птичку и поднёс ко рту, хотя тоже брезговал запретной пищей. Мне хотелось показать Микольке, что этот зажаренный воробей — настоящее лакомство, что я, как бывалый парень, совсем не считаюсь с деревенскими предрассудками. Но как только я начал обглаживать тоненькие косточки, эта крошечная птичка показалась мне очень вкусной. Кузярь смотрел на меня, довольный, и торжествовал. Он вынул из кармана ещё одну птичку и похвастался:

— Я с голоду не подохну. Безо время только дураков смерть-то косит. А я на её косу-то только поплёвываю.

Миколька не отрывал алчных глаз от лакомого воробышка и боролся с желанием вырвать его из крепких пальцев Кузяря.

— Ну, ты, Кузярь, совсем отчаялся: и преха не боишься.

— Греха бояться — всего чураться. А я люблю грешить — всё знать да всё ведать. Вот ты хоть и дылда, а я умнее тебя.

Миколька не выдержал — выхватил у него из рук воробья и засунул его в рот. Он прожевал его вместе с косточками и проглотил с наслаждением.

— Скусно-то как! Эх, Ваня, добро-то какое! Ты приноси сюда каждый день!

Он так смешно удивился этой неожиданной благодати и так голодно глядел на Кузяря, что я захохотал.

Кузярь ехидно прищурился и безжалостно буркнул:

— Дураков нет кормить дармоедов. Прыгай лучше в нужник.

Пронырливый и догадливый, он уже знал, почему украдкой собираются мужики и о чём они толкуют. Несмотря на запреты, он в сумерки пробирался даже на верхние порядки заречья, прятался за избами и кладовыми и вслушивался в мятежные разговоры мужиков. Миколька молчал себе на уме. Но когда вдруг мужики начинали шуметь у жигулёвки, как на сходе, он подмигивал нам и кивал головой на голоса: смотри, мол, ребята, народ-то как отчаялся...

А Кузярь хвастливо ухмылялся и подсекал:

— Только болты и болтают, а дела нет. Языком колоколят: тара-бара, а каждый — прочь от шабра.

Он говорил, как взрослый, рассудительно, строго. На лбу у него прорезывались морщинки, а глаза горячо вспыхивали от негодования.

Закатные вечера потухали в дымной гари, и небо над избами заречья долго пылало красным заревом, тревожило душу смутным предчувствием, а над лукой пылилось горячим пеплом. Воздух был туманно-фиолетовый, угарно-знойный, избы, амбары и кладовые таяли в дыму и казались ненастоящими. Церковь как будто стояла на коленях и скорбно молилась угасающей заре. Но, когда становилось совсем темно, в разных местах за селом дрожали во мгле другие зарева: должно быть, где-то очень далеко полыхали пожары. Может быть, это горели хутора и деревни, а может быть, высохшие на корню пустоколосые хлеба и сухая трава. Пожаров в нашем селе никогда не было, и никто не опасался, что они когда-нибудь вспыхнут: не только старообрядцы, но и мирские, кроме Архипа Уколова, считали грехом и преступным баловством «трубокурство», а спички прятали в укромном месте, чтобы не попадались в руки ребятишек. Но в беззвёздные вечера, без единого огонька в избах, с далёкими багровыми заревами, эта зловещая тишина была живой и страшной.

И только время от времени на длинном порядке или наверху в зареche попискивала гармонь, и притворно пьяные голоса казались неуместными, вызывающе озорными, как кощунство.

После того, как Антон Макарыч многих спас от смерти, деревня как будто очнулась от немочи. И хотя ещё во многих избах не утихали вопли об умерших, на улицах опять показались и старые и молодые, занятые заботами по хозяйству. Часто собирались где-нибудь у амбаров или у кого-нибудь на завалинке старики и толковали о своих невзгодах. А по вечерам девки и парни робко сходились там, где обычно водили хороводы, и тихонько пели песни. За лето много унесли гробов на кладбище, на полях сгорел хлеб, и голод грозил уморить и остальных. Люди ходили с серыми, отёчными лицами и тупыми глазами. Но жизнь неистребимо и упрямо напоминала о себе всюду — и в детских крикливых играх, и в вечерних сходбищах девок и парней, и в беспокойных разговорах мужиков, которые собирались у амбаров.

## VII

Один из таких вечеров незабываемо остался у меня в памяти, потому что с него начались потрясающие события в деревне.

У жигулёвки собирались одни и те же мужики: Тихон-кожемяка, рыжий силач, бывший солдат; Исай — худущий и длинный мужик, с жиденкой белобрысой бородёнкой и встрёпанными волосами, всегда горячий, крикливый и неистовый; Гордей — широкобородый, горбоносый, неразговорчивый человек, сосредоточенный в себе, который, казалось, никому ни в чём не верил и всегда смотрел в землю с усмешкой себе на уме. Приходил сутулый чеботарь Филарет и коренастый Терентий Парушин, большак, — оба длиннородые и похожие друг на друга. Филарет говорил странно: он вдруг бешено вскипал и надсадно выкрикивал, задыхаясь от злобы, злые белки его и крепко сжатые кулаки беспокоили всех. Даже Тихон, сильный и хладнокровный мужик, посматривал на него с опасливой настороженностью. Я знал, что Филарет хоть и работал на Стоднева с утра до ночи, не разгибая спины, но из долга не выходил и в это лето голодал так же, как и другие бедняки. Раньше он был как будто тихого и спокойного характера и работал с уверенностью мастера, который не останется без куска хлеба. А сейчас в нём бушевала неукротимая буря и мстительная ненависть к Стодневу. У Филарета умерли двое парнишек, а третий — грудной младенец — пищал у пустой груди матери и таял со дня на день. Татьяна Стоднева не давала Филарету ни горсти муки, ни меры зерна и кричала на него, как на неплатного должника.

Раза два я видел, как он, разъярённый, уходил от неё, сутулый, страшный, размахивая кулаками, и свирепо ругался на всю улицу.

Терентий, степенный и скромный, уважительно слушал разговор шабров и молчал, не выражая ни одобрения, ни недовольства.

Тихон, как видно, был среди них вожаком, и его голос звучал твёрдо и властно. О чём они толковали и что он внушал мужикам — я не знал: нас, парнишек, они отгоняли. А Миколька сам не отходил от пожарной, хотя и поглядывал в сторону жигулёвки с хитрой, знающей улыбкой. Это злило Кузяря, и он издевался над Миколькой:

— Ну, мы хоть с Федяшкой и под пах Тихону не выросли. А ты-то, Миколой Мосеич? По повинности ты ведь — дозорный. Зачем народ собирается да судачит? Может, люди сговариваются село поджечь? А ты раскорячился по-дурацки да почёсываешься.

Миколька подмигивал ему и, засунув руки в карманы брюк, посмеивался щербатыми зубами.

— Ты хоть и умник и проныра, Кузьярь, а ничего не смыслишь. А я сквозь землю вижу и разгадаю тебе лучше Мартына Задеки, какие дела люди задумали.

Кузьярь не сдавался: его гордость всезнайки не терпела унижения. Он фыркал и пренебрежительно разоблачал тайны Микольки:

— Эка, секрет какой куриный! Яичко курочка хочет снести — крадется к кошёлке, а сама кудахчет. Да я больше тебя, каланча пожарная, знаю, о чём мужики у амбаров колоколят. Я одного боюсь, как бы они всю обедню не проколоколили. Узнают сотский да староста — всех перевяжут.

Но Миколька невозмутимо смотрел издали на мужиков и застывал с хитрой улыбочкой на губах, словно чутко прислушивался к глухому и невнятному говору. А когда Кузьярь пытался тайком подойти к мужикам, страдая от нестерпимого любопытства, Миколька с зловещим дружелюбием хватал его за рукав и ласково говорил:

— Я тебе, Ванёк, голову сверну и ноги поломаю, ежели тебе невтерпёж послушать, о чём люди болтают. А без вас мне скучно: чего я без тебя, весёлого да речистого парня, делать буду?

Я понимал Микольку очень хорошо, но Кузьярь никак не мог остаться в долгу перед ним и огрызался:

— Поколь ты мне, Миколай Мосеич, соберёшься голову свернуть да ноги переломать, я на тебе вдоволь покатаюсь. Я ведь всё село обходил да обнюхал.

Миколька не смутился, а скорчил удивлённую гримасу:

— А ты, Ванёк, пошёл бы по большому порядку да об этом кочетом пропел: то-то люди потешились бы над тобой! Ведь лучше тебя никто сказки не умеет рассказывать.

А Кузьярь вдруг озабоченно посоветовал:

— Ты, Миколя, лучше бы мужикам помогал: залез бы на пожарную да дозором и покараулил — оттуда, с плоскуши-то, всё видать.

Миколька, поражённый находчивостью Кузьяря, взмахнул руками и пошagal к задней низкой стене пожарного сарая. Через минуту он вырós на покатою тесовой крыше и сразу же забылся от удовольствия, оглядывая всю деревню и прибрежные обрывы и низины.

Кузьярь ткнул меня под бок и злорадно засмеялся.

— Здорово я его обдурил! Сейчас он словно на качели качается — страсть любит на крышу да на колокольню забираться. Он у мужиков-то дозорным был и нас за хвост держал. А сейчас, словно невзначай, подойдём к ним и понюхаем, на что они решились. Только, чур, храбро: за жигулёвку не прятаться, а грудью стоять.

Мы пролетели от пожарной до дряхлого сруба жигулёвки, обежали её кругом и стали за спинами крупных мужиков — Терентия и Филарета.

Исай и Гордей жили близкими шабрами: избёнки их стояли напротив при выезде на околицу. Я знал этих мужиков давно, но они казались мне такими же безличными, как и другие. Все потешались над их дружбой, которая была похожа на жгучую вражду: они, как близнецы, не различались друг с другом и на улице и на сходе. Но как только скажет один из них слово, другой сразу же оспаривает его, и между ними начинается перепалка. Исай, худой и высокий, шагал торопливо, стремительно, вытянув шею, словно его подталкивали сзади. А Гордей, коренастый, тяжёлый, ходил, опустив бородатую голову, раздумчиво и основательно.

Кузьярь с достоинством самосильного парня прислушивался к разговору мужиков. Я ещё ни разу не видел его таким деловито-вдумчивым и не замечал раньше резких морщинок между сдвинутыми бровями. Лицо его как будто постарело и утратило обычную беспокойную живость. В этот раз мужики были очень встревожены и с горячей

злостью в глазах пытливо прощупывали друг друга. Только Тихон, выдавший виды, стоял невозмутимо и, заложив руки за спину, рассеянно смотрел куда-то вдаль через головы мужиков. Особенно кипятился Исай: он взмахивал длинной рукой, хватая пальцами воздух, и надсадно спорил с Гордеем, который пренебрежительно только отмахивался от него, поблёскивая крупными зубами.

— На гамазее печати, а печать сломать всё одно, что башку сорвать... — сипел Исай и в ужасе таращил глаза на мужиков. — Где грех — там и беда.

Гордей ехидно оборвал его, толкая плечом:

— Врёшь ведь, Исайка. Грех-то от беды плодится, а где грех — там и потеха. Кабы не я, давно бы ты и печати и замки на гамазее сломал. Ты спишь и видишь, как бы под розги попасть.

— Ты меня не замай, змей-горыныч! — свирепел Исай. — У меня руки-то длиннее твоих. Не ты ли на подводы Митрия Стоднева зарисься? Повинись перед народом-то.

Гордей скалил свои широкие зубы и по-свойски хлопал Исая по плечу:

— А ты, Исай, сам перед шабрами кайся, как норовишь их подбить из гамазеи хлеб выгрести. А он не даёт: на всех замках — печати сургучные. Да и народ от гамазеи отступится — общественный хлеб, семенной. Никто себе не враг, а общественное добро — свято.

— Ты, Гордей, не гордись, — беспокоился Исай. — И меня не кори. Ты, что ли, додумался до того, чтобы захватить хлеб у мироеда? Не я, что ли, долбил тебе бесперечь: у Митрия надо хлеб-то захватить. Он, Митрий-то, настоятель-то, божественник, полны сусеки в сеницах засыпал. А чей хлеб-то? Наш. Кто ему за долги последний мешок ташил? Мы. На чьих угодьях сеял он да собирал? На наших. А кто спину гнул да пот проливал на отработках? Мы же. А куда сейчас он эту прорву хлеба увозит? К себе, в город. Здесь он нас дочиста обобрал, а в городе золото будет загребать.

Гордей усмехался, уткнув глаза в землю.

— Не ты с твоим умом додумался до этого, Исай, а люди добрые надоумили. На чём решили, на том и утвердимся: и муку и зерно из села не выпускать. Не то важное дело, чтобы хлеб захватить, а то дело, чтобы стеной друг за друга стоять. Вот мы с тобой перед миром-то давай и отмолчимся: никакие нам страхи не страшны, а языки запечатаем крепче сургучных печатей.

Он обнял Исая и дружески встряхнул его, а Исай натянул ему картуз ещё ниже на глаза и с издёвочкой проворчал, обхватив длинной рукой его поясницу:

— Ума у тебя тьма, да в башке кутерьма.

Мужики смотрели на них и смеялись, усмехался и Тихон. Но все знали, что эта перебранка — особое, свойственное им выражение обоюдной привязанности и взаимной верности. Если же кто-нибудь из мужиков трунил над ними, они оба дружно набрасывались на него и поперебой издевались над ним: один — горячо, надсадно, обличительно, другой — спокойно, неохотно. На удивление всей деревне, Исай и Гордей не разлучались и в работе: они совместно пахали свои наделы и молотили хлеб на одном гумне. И никогда не было случая, чтобы они обманывали и обижали друг друга. И бабы их жили тоже согласно, как подруги. Во время полевых работ они даже обедали и ужинали, как одна семья.

Филарет, босой, в рубахе без пояса, не то смеялся, не то икал и, фыркавая, рычал в негодовании:

— Аль дурака валять ходим мы сюда, шабры? Аль на скоморохов не налюбовались? Время-то ведь на исходе. Распоряжайся, Тихон, кому чего делать надо.

— Так вот, мужики, — строго и озабоченно пробасил Тихон, — с полночи все по своим местам, как решили. Я солдат. А в этом нашем деле без дисциплины нельзя. Слушаться меня с первого слова. Не спорить, не огрызаться. А то любим мы до смерти сычей дразнить. Исай с Гордеем — нерасстанные друзья, а с этой ночи они у меня тоже как солдаты: чтоб я голосу их не слышал.

Вдруг он обернулся к нам с Кузярём и угрожающе сдвинул брови.

— Это кто вас сюда допустил, ребятишки? — И приказал с мягкой суровостью: — Долой, долой отсюда! Нечего вам тут околачиваться, и держите язык за зубами! Ну-ка, удирайте подобру-поздорову!

— Этот Кузярёнок — известная проныра, — заволновался Филарет, взмахивая кривыми руками. — Давно бы его шпандырем отхлестать надо да и Федяшку за компанию.

Кузьярь отважно шагнул вперёд:

— Ты, Тихон Кувыркин, меня не гони: я такой же хозяин, как и ты. Мне и честь по самосилью. Я ведь не хуже вас всё постигнул. А рядом с тобой, дядя Тихон, я ловчее всех у тебя помощником буду.

Мужики пристально смотрели на нас, но никто не смеялся. Голос Кузьяря прозвенел так внушительно и требовательно, а тощенькая фигура так напряжённо вытянулась, что все залюбовались им и одобрительно закивали головами. Тихон подумал и примирительно улыбнулся.

— Так-то так... да ты ещё до нашей бороды-то не дорос, Ваня.

— Да ведь люди говорят, дядя Тихон, что борода растёт без труда — не от ума. Вон Митрий Стоднев и без бороды — умный да сильный. А я, может, и его пересилить хочу.

Мужики засмеялись, но Тихон насторожённо уставился на Кузьяря, словно почуяв в его задоре не обычную выходку проказника, а нетерпеливый порыв к подвигу.

— Да как это ты Митрия — такого доку — хочешь переспорить, Ваня? — со строгой насмешкой спросил он.

— А так... Митрий-то наказал Татьяне всю муку и рожь вывозить из сенниц сейчас же, благо, что меж нами и заречными стража стоит. Я всё пронюхал: Митрий-то велел хлеб увозить по ночам. Мужики, мол, бедой убиты — не до того им, чтобы якшаться. От холеры да голодухи у них, мол, бороды тяжелей башки стали, а руки не держат и ложки. Невозбранно весь хлеб по ночам можно вывезти.

Мужики с насторожённым любопытством прислушивались к словам Кузьяря. А Гордей отмахнулся от него и буркнул:

— Будет тебе, Ванька, врать-то. Аль ты у Митрия-то подручным был? Исай оттолкнул Гордея и возмущённо оборвал его:

— Ванятка не врёт, Гордей, — он чистую правду режет. Я сам ночей не сплю — уж который воз с хлебом провожаю.

В гневном голосе Кузьяря все почувствовали затаённую боль измученного малолетка, на которого обрушились все лишения этого жуткого года — голод, холера, смерть отца, безнадежно больная мать. Каждый день грозил раздавить его новыми испытаниями и бедами. И всё-таки он не падал духом, не жаловался, не плакал от отчаяния, а стал как будто крепче и умнее, словно за этот год он созрел, как парень, которому выпало на долю нести все тяготы крестьянской повинности и одному выполнять все работы за отца и за мать да ещё и ухаживать за нею. Мне казался он сильнее и умнее любого из этих мужиков, потому что он беспокоился не только о своём дворике, где у него ещё стояла на ногах костлявая лошаде́нка и уцелела в поредевшем стаде

комолая, потерявшая молоко пестравка, но и следил за всеми деревенскими событиями. Он знал, что делается на барском дворе, какие коварные ловушки расставлял мужикам Митрий Стоднев в эти дни тяжких бедствий, чтобы закабалить народ — заставить и старого и малого работать на отнятой земле. Он, этот неунывающий парнишка, как лазутчик, шнырял по всему селу, прислушивался к толкам мужиков, прилипал к лобовым парням, потешая их своими проказами, и подстрекал их то пугать Татьяну Стодневу каждую ночь, чтобы ей стало невмоготу, то угнать лошадей у сторонних возчиков, то снять с наместей петухов и бросить их через окошко в избу, где ночевала Татьяна.

Уже смеркалось, а мужики не расходились: они стояли плотной кучей и толковали почти шёпотом. Нас с Кузярём они уже не отгоняли. Тихон даже положил руки нам на плечи. Я чувствовал, что он нарочно держит нас около себя. Подошли лобовые, перекинулись с мужиками шуточками, усмешками. А Гордей ядовито посовестил их:

— С какой это радости вы, ребята, гармониете да озорничаете? Сейчас при нашем горе и жеребята под матку прячутся.

Сыгней заезжил, заиграл своими форсистыми сапогами и, посмеиваясь, отшутился:

— Жеребятки — под матку, детки — под бабу, а нас и горе веселит. Ежели народ горе мыкает, он из горя-то и верёвочки вьёт.

Исай хотел заспорить с Гордеем, но Тихон усмирил его сердитым взглядом. Исай обиделся.

— Ты, солдат, на свой аршин людей не мерь. Ты людей за душу бери. Надо вот с лобовыми договориться: им — везде дорога, для них караула нет. Наказ им надо дать, чтобы бедноту честь честью к сеницам собрать.

Даже Сыгней насторожился и стал серьёзно-покорным. Олёха стоял впереди лобовых и с угрюмым молчанием следил за каждым движением Тихона. Крашенинник Костя, перестарок, пристал к лобовым, хоть и женился недавно. Это было не в обычае в нашем селе: женатые, выбывшие из лобового возраста, с призывными парнями не якшались. Должно быть, гулял он по селу с лобовыми неспроста. Он перешёптывался с Олёхой, переглядывался с Тихоном, кивал ему головой и посмеивался. Костя покашливал, и глаза у него были страдальческие и горячие. Старики у него умерли, и красильня не работала. Брат его уехал куда-то ещё весной, собирался уйти и Костя, но вдруг он женился на сироте Фене, у которой умерли отец с матерью, а Сергей Ивагин отобрал у неё избу и даже сундучок и выбросил её на улицу.

Тихон с оглядкой, вполголоса заговорил, как будто приказывал каждому из мужиков:

— Так вот... ежели хоть один пошатается и отступится — и ему и всем пропадать.

Он помолчал и опять поглядел на каждого пристально и испытующе, словно прислушивался, о чём думали мужики. Он даже обернулся к лобовым и задержал взгляд на Косте.

Терентий, который никогда не выходил из воли Паруши, вдруг расвирепел и затряс бородой.

— Чего ты, солдат, душу, как чемерь, рвёшь? Аль мы на воровство идём? Мы, чай, по совести, не для корысти, а для добра.

— Эка, праведник какой! — съехидничал Филарет. — Перед кем оправдываешься? Аль перед Митрием?

— Не учи — мы сами бородачи! — взъелся Исай. — Больно ловки мы друг друга учить.

Тихон схватил его за плечо и цыкнул:

— Ботало! Спрячь язык за зубами!

Исай сконфузился и хрипло вздохнул:

— Обчей воле я не противник.

— Вот и ладно. Будешь делать, что прикажу, а без меня и пальцем шевельнуть не смей.

Он повернулся к Олёхе и Сыгнею, как командир, и сурово предупредил:

— Вы, ребята, скоро в строю будете. Дисциплина для вас, как вожжи для коня. Докладывай, Олёха, как вы исполнили мой приказ.

Олёха усмехнулся, переступил с ноги на ногу и угрюмо сказал:

— Как сказано, так и сделано.

Тихон поманил Терентия и Гордея с Исаем и пошептался с ними.

— Поняли? Чтобы без меня — ни шагу.

Миколька стоял поодаль, как чужой, засунув руки в карманы брюк, и прислушивался. Тихон, очевидно, и с ним договорился: он сделал ему непонятный знак рукой, а Миколька выпятил грудь и ухмыльнулся.

Кузьяр стоял смирно и очень чутко прислушивался к разговору мужиков. Должно быть, он понял, что подростку не место среди взрослых, что Тихон терпит его и моё присутствие только потому, что знает нашу верность.

Мужики стали расходиться, а Тихон взял нас с Кузьярём за плечи и повёл с собою по дороге к нашей избе. Костя торопливо шёл один впереди: должно быть, он спешил домой, к своей молодухе.

— Вот что я вам скажу, ребятки, — добродушно сказал нам Тихон: — людишки вы хорошие, да только ещё не выросли. Будет время — и на вашу долю хватит драки. Так что в наше дело сейчас не ввязывайтесь. А ежели хотите быть настоящими бойцами, как на кулачках, учитесь слушаться.

Я никогда не забывал о событиях ватажной жизни и с тоской думал о Грише-бондаре, о Прасковее, о Харитоне с Анфисой, обо всех дорогих мне людях, об их дружной борьбе, об их мечтах по вольной воле. Деревня показалась мне маленькой, тесной и жутко пустой: голод изморил всех, и люди казались тяжело больными, а холера пришибла их ужасом и загнала в избы и выходы. И даже сытая Татьяна Стоднева, которая самодовольно и самовластно распоряжалась плотниками и возчиками среди богатств и нагло рассыпала на широкие парусины вкусное зерно, словно дразнила голодных и издевалась над их беспомощностью и бесхлебьем, — даже эта чванливая баба, похожая на ватажную подрядчицу Василису, не будила в мужиках злобы и возмущения. И только несколько человек на нашей стороне, которые сохранили в себе в эти дни отчаяния мужество и способность видеть убийственную несправедливость, без раздумья решили отобрать у мироеда запасы зерна, которые он, как кашей, хранил в своих огромных амбарах, чтобы продать в городе по вздутым ценам. Рожь золотой россыпью каждый день жарилась на солнце перед амбарами, а по вечерам насыпалась в тугие мешки. Я видел эту манящую россыпь каждый день, видел, как возчики насыпали и завязывали мешки и ставили их тесными рядами на площадке перед сенищами. И только воробы да голуби стаями падали на широкие квадраты россыпи и жадно клевали зерно, но сторож, чужой мужик, взмахивал рукой, шикал на них, и они сразу же шумно поднимались в воздух и испуганно улетали на крыши амбаров. Несмело проходили мимо этих россыпей парнишки и девчущки с голодными припухшими личишками, останавливались, зачарованные, и не слышали окрика сторожа. Потом с отчаянной решимостью бросались к зерну, хватали его в горсть и разбегались в разные стороны. Татьяна, туго налитая жиром, бродила поодаль и сварливо покрикивала и на мужиков, и на детишек, и на сторожа. А сторожу, рослому, костистому мужику, с растрёпанными волосами и бородой, с жули-

коватым лицом, особенно много приходилось терпеть от пронзительных криков хозяйки.

— Эй, ты... пантюха!.. Для чего я приставила тебя к добру-то — каравить аль воробьёв с голубями кормить? Они ведь зобы-то туго набивают, а их тыщи. Кто убытки-то мне платить будет? Ты, что ли? Да уж гляди: я с тебя сдеру за полмешка в день. А ребятишки-то из-под носа у тебя зерно крадут...

Мужик с притворным ужасом махал руками и визжал фистулой:

— Шишь! Шишь! Ах вы, бесстыдники! Охальники!.. Воровать? Грабить богатую хозяйку? Вот она какая, порода воробьиная: хоть махонькая птаха, а сколь в ней коварства-то!..

Возчики и плотники хохотали и подзадоривали и сторожа и Татьяну.

А когда Кузьяр шёл перед вечером к пожарной мимо рассыпанной ржи, кто-нибудь из плотников кричал:

— Гляди-ка, гляди, караульщик! Парнишка-то у тебя всю рожь в пахуе норовит утащить.

Кузьяр нарочно останавливался, задорно скалил зубы и засучивал рукава. Сторож свирепо тарачил глаза и тряс бородой.

— Прочь отсюда, прочь! Не твоя башка, а моя из-за тебя с плеч свалится...

Кузьяр с весёлой дерзостью напал на сторожа:

— А куда ты спрятал тугой мешок-то? Аль я не видал, как ты его пёр вчера в сумерках?

— Это какой мешок? — поражённый нахальством Кузьяра, растерянно мычал мужик. — Да я тебе башку сорву и в бельмы брошу.

— Чай, с рожью мешок-то... Маленький ты, что ли? Ежели не себе в карман положил, а голодных пожалел — тогда я никому не скажу.

Плотники хохотали, а сторож беспомощно озирался и бил себя кулаками по бёдрам.

— А, батюшки! А, соседушки! Чего эта гнида-то на меня клевет!

А Кузьяр хладнокровно и безбоязненно брал полную горсть ржи и пересыпал зерно с ладони на ладонь.

— Хорошая ржица, налитая... Такой ржицей можно всё село прокормить до нового урожая.

Татьяна выплывала откуда-то из-за брёвен и свалки досок и встревоженно спохватывалась:

— Ни одному бесу веры нет. Хоть сама карауль. Всякий норовит урвать, утащить. Говори, Ванятка, в какую сторону шайтан мешок уволок! Чую, что не врёшь.

Кузьяр бросил с ладони в рот щепотку ржи и спокойно ответил:

— Вру, тётка Татьяна. У тебя, вишь, сколько еды-то — целые бунты. Взяла бы да раздала всем голодным.

И он неторопливо шёл дальше, к луке. Татьяна кричала надсадно:

— Ах ты, дьяволёнок, ах ты, окаянный заморыш! Больше чтобы глаза мои тебя не видали: ноги переломаю.

Плотники и возчики смотрели на взбесившуюся Татьяну и на Кузьяра, который безмятежно шагал по дороге, и задыхались от хохота. Мне было досадно, что мужики и бабы хоть и зlobствуют и ненавидят Татьяну, а не смеют даже приблизиться к ней. Эти богатые россыпи хлеба сияли золотом перед всем селом, а когда стали робко подходить к Татьяне старухи и детишки с сизыми личишками и жалобно просить подавания, она строго отгоняла их:

— Бог подаст! Идите-ка, проходите с миром! Молитесь да в грехах кайтесь!

Кузьяр торопливо рассказывал об этом Тихону, а он покачивал головой и, покрывая, натягивал картуз на глаза.



— Да... дела... как сажа бела... Вот оно как богатство-то из людей зверей делает.

— На ватаге народ-то скопом пошёл бы,— убеждённо сказал я.— Ежели бы там этакое случилось — все поднялись бы и своим судом хлеб этот взяли да разделили бы.

— Это ты верно, Федюк,— раздумчиво проговорил Тихон.— Там народ артельный. А тут у нас всяк Иван — на свой болван. Я вот в солдатах был. Там ни отца, ни матери, ни кола, ни двора — все в строю и как один человек под команду шагают, — дисциплина. А у нас только на кулачках горазды драться.

— А помнишь, дядя Тиша,— горячился Кузьярь,— как мужики барскую землю почесть всем селом захватили да запахали? Без верховода и на кулачках драться не будешь. А кто народ повёл? Микитушка с Петрушей.

Тихон срезал Кузьяря:

— А чего после-то было? Все разбежались по своим избам, а вожаков забрали.

Я поспешил опять поделиться своим жизненным опытом:

— На ватаге сроду бы этого не было. Там все друг за дружку держатся, а подрядчицу одна на тачке вывезли и полицейский её же отхлестал. И никто не разбежался, а ещё больше распалились и своё взяли.

Кузьярь тоже не остался в долгу, он попытался обезоружить Тихона неотразимым доводом:

— Аль народ-то раньше умнее был, дядя Тихон? Вот Емелья Пугачёв... Всю Россию поднял, всю барскую землю захватил... и всех бар, как гусой, косил.

Тихон усмехнулся и укоряюще возразил:

— Дурачок! Ведь у Емели-то Пугачёва войско было: всех мужиков казаками сделал. Понять надо.

— И у Стеньки Разина тоже много войска было,— добавил я.— И на ватаге его перед рабочими разыгрывали.

— Вот то-то же, ребяташки!.. — поучительно закончил Тихон. — Острые у вас умишки, а зелёные ещё, незрелые. Мы о бунте не думаем. Какой тут бунт, когда люди от голодадохнут. Народ одного хочет — хлеб у мироеда, у барышника забрать да средь бедноты разделить. А разделим по закону — по письменной обоюдности. Ну, а сейчас по домам шагайте и — молчок! — будто ничего не знаете.

Тихон вместе с Кузьярём пошли дальше, мимо сбитых в кучу телег и штабелей толстых мешков, а я отстал от них у нашей избы. Мать, ещё слабая после холеры, худая, измученная, сидела на лавочке у кладовой и звала меня рукой.

## VIII

Тихон не кичился тем, что служил в гвардии, в самом Петербурге, а сразу же, когда вернулся, стал вместе с отцом мять кожи. Держал он себя скромно и невидно и только отличался удалью и непобедимостью в кулачных боях. Но в этот год лихих бедствий — неурожая, голода и холерного мора — он вдруг стал первым человеком в селе. Все обезумели от страха перед чёрной бедой: в каждой избе перед покойниками без памяти валялись бабы и старухи, а у стариков падали мутные, покорные слёзы на седые бороды. Не было уже ни отпевания, ни поминок по мертвецам. И тут, как псы на падаль, являлись мироеды — Сергей Ивагин, сам староста, сотский с книгой в руках и даже Максим Сусин — и описывали всю хурду-мурду. Сергей Ивагин, в серебристой поддёвке

и в смазных сапогах, самодовольно ухмылялся и бесстыдно покрикивал своим сытым тенорком:

— Господь-то бог по мудрости своей выпалывает лишнюю траву на земле. Видит: много едоков, много лодырей — и долой их, чтоб не мешали нам хозяйствовать. У меня всё село в загоне, как шелудивые бараны. Всяк червяк из шелухи своей выползает, а ветер шелуху уносит. По воле божьей у нас ни одному покойнику саван без меня не даван. Все в должишках увязли, как в тенётах. Портчишек да повойников я, по состоятельности своей, не сыму, а об домишках да об землишке позабочусь на помин души.

Но староста Пантелей и Максим брали имущество у вдов и сирот по «закону» — через волость.

Бабы выли, драли на себе волосы, старики горбились ещё больше, молились богу и скорбели, а мужики и парни лобового возраста и от голода и от ужаса перед призраком смерти выдирали колья из прясла. Тут-то Тихон и бросил мять чужие кожи. Старик-отец умер от горячки, жену скрутила холера, сторел и сынишка, и он остался один, но все заметили, что он начал похаживать по избам не только на своём длинном порядке, но и в заречье. Рыжий, конопатый, высокий, кряжистый, он шагал по улице не по-мужичьи — не сутулясь, не уткнув бороду в грудь, — а с солдатской выправкой, по-гвардейски. И всем, кто смотрел на него из окон, казалось, что он как будто повеселел некстати.

Обычно на высокий порядок за рекой люди с луки ходили редко, да и то в большие праздники — погостить у тестя с тещей. Хоть в каждой избе лежали хворые или покойники и на душе у всех была скорбная тягота и жуткая тоска, но жизнь шла своим чередом со всеми домашними заботами. Бабы так же судили и рядили о всяких делах и событиях: у кого кто помер, кто ушёл на сторону, у кого молодуха родила не в добрый час перед покойником, кто пухнет от бесхлебья и как гуляют лобовые и озорничают по ночам. А вот вдруг с цепи сорвался Тихон-кожемяка и заходил по всем порядкам с высоко поднятой головой, с озабоченным, но весёлым лицом, словно пьяный или умом рехнулся от своей беды, и задумал какую-то смугу. Однажды его перехватил на своём порядке сотский и, как подобает бывшему жандарму, с пронизательной строгостью пригрозил ему:

— Ты, солдат, тут не шатайся. Чего это ты вздумал по нашей стороне прогуливаться да в избы захаживать? Аль невесту, вдовец, ищешь? Гляди, кожемяка, как бы с горы на ту сторону не загудел. А то и в волость доставлю... Я, брат, чую, кто чем воняет.

Но Тихон схватил его за шиворот, подтащил к обрыву и спокойно ответил ему:

— Ежели я замечу, что ты, сволочь полицейская, следишь за мной да подкопы строишь — удавлю, как подлого кобеля. Со мной не шути — башкой своей не рискуй. Не забывай ни на час: я в гвардии, в Петербурге, служил — не из робких. А сейчас, чтобы ты запомнил мой наказ, лети вниз, до речки, и поквакай с лягушками.

Он без натуги швырнул его с крутой горы, а сам пошёл дальше.

И как ни тяжело было, как ни стонала душа от смертной напасти, как ни вопили бабы по избам по умершим и по отходящим, но расправа Тихона на виду у всех над ненавистным Гришкой Шустовым всех оживила. Ребятишки и девчонки, жизнерадостные и неунывающие, как воробьи, сбежались из-за амбаров и кладовых и с жадным любопытством наблюдали, как Тихон тащил Гришку за шиворот к обвалу и как швырнул его вниз. Они с наслаждением проследили, как сотский кувыркался через обрывчики и оползни и кричал, словно резаный. С любовным восхищением они проводили Тихона до избы Олёхи и что есть духу разбежались

по своим домам. Прodelка Тихона всколыхнула всех, даже старики хлопали по бёдрам руками и смеялись в бороды, а бабы и девки словно ждали этого забавного события: они хохотали сначала в чуланах, а потом бежали к соседям, встречались на улице или у колодца и словоохотливо потешались над неожиданной порухой Гришки. Не успел Тихон возвратиться домой, как всё село знало о его подвиге.

Не напрасно ходил он по избам, вышагивая решительно, с злой уверенностью: он быстро взбудоражил молодых мужиков, своих ровесников, и лобовых парней и сбил их в дружную шайку. Когда темнело, они собирались или у яра, за жигулёвкой, или где-нибудь за околицей, у приречных увалов. К ним спускался с горы, с барского двора, студент Антон, и они долго о чём-то толковали и спорили.

Тихон покори́л всех — от стариков до подростков — своей бескорыстной заботой о голодающих. Часто уходил он твёрдым солдатским шагом в Ключи, в Варыпаевку, в мордовское Славкино за семь вёрст, в котором когда-то мужики, по рассказам стариков, единодушно, всем миром, восставали против властей. Эту смуту прозвали «картошным бунтом». Оттуда приезжали на ропусках молодые парни в холщёвых длинных рубахах, в лаптях и долго калякали с Тихоном и его друзьями.

Отец, прижимаясь к стене кладовой, смотрел из-за угла на вереницы теней, которые спешили по дороге мимо нашей избы к возам у сenniц. Я перебежал на другую сторону кладовой и увидел густую толпу людей. Кто-то покрикивал по-хозяйски:

— Не тормошись, народ! Никто не будет в обиде. Коли порядку нет, и за столом с пустой ложкой останешься...

Вдруг на всю улицу заголосила Татьяна. Она взвизгивала и рычала, как собака. Я видел, как она металась в толпе и среди возов и махала руками. В толпе вразнобой закричали женщины и заспорили мужики, как на сходе. Твёрдо распоряжался властный голос Тихона.

Татьяна надрывно кричала:

— Разбойники вы! Грабители! Митрий Степаныч исправнику жаловаться будет...

Подводы стали разезжаться в разные стороны, а за ними гурьбой пошёл народ. Мимо нашей кладовой один за другим тяжело проскрипели три воза с мешками. По бокам и позади охраняли их мужики, положив руки на обочины телеги. Я услышал убеждающий и начальственный голос Гордея:

— Бесголочь-то и золото пылью по ветру развеет. А хлебец при нашей нужде истово надо делить. Уговор такой: все слушайте и нашим выборным не перечьте. Остановимся у дранки, пересчитаем все голодные рты и сообча определим, какая доля на едока полагается.

Ему не возражали, и люди шли по обе стороны возов смиренно и послушно.

Из нашей калитки вышли дед с Титом и торопливо прошагали к толпе, которая теснилась у сenniцы вокруг Тихона. Рядом трое мужиков возились с мешками. К ним по очереди подходили люди, и Филарет хоть и сдерживался, но покрикивал гулко и возбуждённо:

— Ты, Тихон, ей не верь! Ни одному слову не верь! Соглашеньё-то она подпишет: ей выгодно содрать с нас долг-от. Ты пропиши там, что мы не обязаны платить ей начёты, а то Стоднев-то сдерёт по два пуда на пуд. Опять народ обездолит. Я знаю, как на них работать: все кишки вымотают и на них удавят.

Мы не ложились спать до света — до воробьёв и ласточек, хотя мутная заря над избами той стороны совсем не потухала. Отец всё время стоял на углу кладовой и наблюдал за суетой у сenniц Стоднева. Я видел,

как Тихон с бумагой в руке сидел вместе с Татьяной на штабеле старого теса и доказывал ей что-то, тыча пальцем в белый лист. Потом вынул из кармана пузырёк с чернилами и ручку, положил лист на доску и на корточках стал писать что-то. Татьяна сначала отмахивалась, качала головой и мычала, но вдруг выхватила ручку у Тихона и с малограмотной старательностью тоже стала царапать что-то на бумаге. Тихон одну бумагу отдал Татьяне, а другую тщательно свернул, положил в бумажник и засунул в карман. Он размашисто подошёл к Филарету и весело распорядился:

— Ну, кончайте скорей, ребята, и айда по домам. Всё обошлось обоюдно и по закону — чинно, благородно. Общество решило хлеб распределить меж голодающих, и Татьяна Стоднева спроть миру не пошла.

Филарет фыркал и недоверчиво крутил волосатой и бородатой головой.

— Спроть-то мира не пошла, да мир-то обошла. Она шкуру дерёт с нас чинно-благородно. Гляди в оба, Тихон: как бы не пришлось нам с тобой в бегах быть, ежели не свяжут нам белые руки да не угонят туда, где Макар телят не пас. Я — учёный, меня во всех щёлоках варили, а ты хоть и солдат, а легковёрный.

Дедушка и Тит несли по мешку на спине и бежали зыбкими шажками, словно боялись, как бы не воротили их назад. Татьяна, выпятив живот и грудь, важно прошла между роспусками к своей избе, покрикивая по-хозяйски зычным голосом, с задором торговки, которая сумела спасти не только свою шкуру в недобрый час, но и ошельмовать своих врагов.

Возвращались пустые телеги. Возчики скалили зубы и трясли бородами. Тихон и Филарет стояли перед кучей пустых мешков и о чём-то невнятно спорили. Филарет, измученный бессонной ночью, весь изгибался, бушевал и убеждающе тыкал в грудь Тихона то одной, то другой рукой, а Тихон, спокойный, ровный, заложив руки за спину, слушал его с хмурой усмешкой. К ним подошли двое возчиков и, оглядываясь на хозяйские крики, стали наперебой, торопливо и настойчиво говорить им что-то. Они как будто обожгли Филарета: он судорожно заметался около Тихона и с искажённым от злобы лицом замахал руками.

— Вот видишь, голова! Не зря толкую я тебе, не зря. У Стоднева все в упряжке и в пристяжке. Беды наделает... не приведи бог! Он и брательника не пощадил — в каторгу закатал, а нас с тобой зарежет перед всем честным народом... да и народу не сдобровать. Он розги-то божьим словом просолит.

И хрипло, с ужасом прошипел:

— Бежать и бежать... Очертя башку... куда глаза глядят...

Но Тихон пристально и строго посмотрел на него и на мужиков с кнутами и спокойно сказал:

— Ты, Филарет, за кого меня считаешь? За подлеца аль за вредного пустоболта? Мы не шутки шутили: знали, на что шли и что делали.

Он зябко поёжился и, всматриваясь в огненно-красное небо на востоке, над высоким взгорьем, где виднелся мезонин барского дома, подумал и надвинул картуз низко на лоб.

— Ежели и другие так же башку от страху потеряют — петлю друг на друга набросят. Я ничего не взял, не для себя старался, а для тех, кто от голоду подыхает. Ну, а раз поклялся быть в согласии — умри, а стой, как солдат в строю, и товарища не выдавай, охраняя его, чтобы и он тебя заслонял.

Филарет взревел и в бешенстве высыпал из своего мешка пшено на землю, а мешок отбросил в сторону.

— А я, по-твоему, из-за этого дерьма на такое дело пошёл? Гляди, вот оно... наплевал я на него... Я душу чёрту не продаю...

И он с остервенением стал топтать и расшвыривать босыми ногами высыпанное пшено.

Один из обозников жвыкнул кнутом и с изумлением закрутил головой.

— Ну, и народ отчаянный, ребята! Страшенное дело произвели... без оглядки... И с грамотой ловко. Только не сдобровать вам. Я думал сперва, что вы по глупости под топор башки суёте, а потом диву дался: для добра вы и себя не жалеете.

Другой мужик, измождённый, с жиденькой бородёнкой и разбухшими красными веками, срывающимся голосом сказал, судорожно вцепившись в рукав рубахи Тихона:

— В свидетели пойдём... сколь нас есть... и плотники пойдут... полюбовно было... законно... Сам видел, как бумагу эта жирёха подписывала...

Тихон словно опамятовался, вскинул голову, засмеялся и пожал руки обоим возчикам.

— Благодарим покорно, землячки! В беде да злосчастье люди друзьями делаются.

И он с упрёком закачал головой, взглянув на Филарета.

— Зря распалился, чеботарь. Не жри, шут с тобой, а ребёнка-то недужного с матерью морить негоже.

Филарет тяжело дышал и злобно тарачил на Тихона белки.

— А чего ты мне в харю плюёшь своей праведностью? Не брал! Не крал! Для других пострадал! Я в одной с тобой шкуре. Ну, и одинаково нас с тобой драть будут.

— Не дури, мужик! Собери пшено-то и без опаски иди домой, — с сердитым дружелюбием посоветовал Тихон и с уверенностью человека, который совершил подвиг, пошутил: — Скажи жене, чтобы кашу сварила: в гости приду. У меня варить некому — все покойники.

И сам стал помогать собирать пригоршнями рассыпанную крупу. Возчики посмеивались и тоже стали сгребать жёлтое пшено в картузы и сыпать в мешок Филарета. А он держал его сконфуженно и никак не мог успокоиться.

Татьяна взгромоздилась на плетёный тарантас и покрыла его целым ворохом своей цветастой юбки и такой же цветастой шерстяной шалью. Сытые лошади — коренник и пристяжка — с завязанными хвостами горячились и били ногами о землю. Кучер, тоже сторонний человек, — должно быть, их петровский батрак, — с угрюмой покорностью уминал что-то в тарантасе и укладывал какие-то вещи плотнее, чтобы хозяйке сидеть было удобно. А она капризно покрикивала на него:

— Уши-то у тебя где были, чучело? Велела перину расстелить да положить большую подушку, а ты чего навалил? Так я и буду трястись на этой дрыгалке? Беги скорее в избу да тащи с кровати перину-то!..

Но я видел, что она торопилась уехать: жирное лицо у неё дрожало, а заплывшие глаза озирались в тревоге, словно она боялась, как бы на неё опять не нагрянула толпа мужиков и баб. Должно быть, её сильно потрясла эта ночь: хоть она и покрикивала на батрака и рабочих, хоть и показывала вид властной хозяйки, но в каждом её движении, в настороженной оглядке по сторонам и надорванном голосе чувствовался непреодолимый страх. Эта рассветная дымная тишина и безлюдье, после того как толпы ушли за возами, казались враждебно зловещими. Даже я чувствовал, что этой жирной бабе, которая нахально жрала в эти смертельные голодные дни курятину, мягкий хлеб и яичницу, стало страшно; она оказалась беспомощной, одинокой: ни сотский, ни староста не показывались — должно быть, нарочно проспали, чтобы не быть в ответе.

Филарет пошёл разбсланным шагом домой, словно обиженный. Он волочил мешок по земле, поднимая пыль, и, сутулый, издали похож был на горбатого.

Тихон посекретничал о чём-то с возчиками, а они, играя кнутами, подмигивали и подкашливали ему. С длинного порядка и с той стороны подъезжали порожние телеги.

Когда тарантас покотил по дороге мимо нашей кладовой, Татьяна обернулась и яростно погрозила кулаком.

— Ну, берегись, Тишка! Попомнишь ты меня...

Тихон как будто не слышал этих яростных криков Татьяны: он медленно пошагал по той же дороге мимо нас. Я перешёл на другую сторону кладовой и встретился лицом к лицу с отцом. С испугом в глазах он сердито приказал:

— Убирайся в кладовую! Чего ты суёшься, куда не надо...

А Тихон насмешливо окликнул его:

— Вася! Василий Фомич! Чего это ты за уголком-то притаился?

Отец быстро юркнул в дверь кладовой и даже забыл прихватить меня с собою. Тихон засмеялся и закачал головой.

— Эх ты, герой! Мало, значит, кожу мяли, ежели не видишь, как народ бедствует.

Высокий, сильный, он бодро пошёл по бурой траве к своей избе. Я смутно чувствовал, что этого человека, которого я узнал только в эти дни, ждут тяжёлые испытания. В нём было что-то сродное астраханскому Трише и Харитону и привлекательное, как в Грише-бондаре. Я невольно побежал за ним и схватил его за руку. Он тревожно обернулся ко мне, и в глазах его вспыхнул радостный огонёк. Его рука показалась очень лёгкой и ласковой: она погладила меня и по спине, и по волосам, и по плечу.

— Тятяшка-то, вижу, и сам в кладовой спрятался и тебя там присупонил. А хотелось, чай, поглядеть-то, как народ у мироеда хлеб отбирал? Кузярёк не отставал от нас: парнишка бедовый. Потом он с возами уехал на свой порядок. Хорошо, что бунта да разгрома не было. Мы с народом-то исподволь уговор вели. А псы нагрянут... Только надо бы разогнать их.

Оглядываясь на кладовую, как бы не хватился меня отец, я срывающимся голосом проговорил:

— Ты, дядя Тиша, скройся! Чеботарь-то не зря мечется. Татьяна-то, вишь, как грозилась.

— Не бойся! — засмеялся Тихон. — Я не из робких. Да и зря в зубы псам не дамся.

Он ободряюще улыбнулся, снял картуз и пошагал к амбарам — на свой длинный порядок.

## IX

День прошёл тихо и спокойно. Всюду слышался шорох и глухая возня во дворах. Я догадался, что это чавкают песты в ступах. Знойная гарь пахла уже пригоревшим хлебом. Отец не выходил из кладовой и возился над шлейей, которую он купил для своей будущей лошади. Мать ещё чувствовала себя нездоровой и лежала на кровати. И я видел, что она мучается в этой пыльной и грязной кладовой и мечтает о том, о чём каждый день думал и я, — о незабываемых ватажных днях, о милых людях, об их борьбе и дружбе. И если отца в кладовой не было, она переспрашивала меня, что делалось ночью, слушала с радостной улыбкой и шептала:

— Как хорошо-то, Федя! Тихон-то какой распорядительный!

Когда я хотел пойти к пожарной, отец строго, но с необычной живостью остановил меня:

— Никуда не ходи, сынок! Сейчас я приведу лошадь от Паруши и поедем на ту сторону — к себе, в избу баушки Натальи. Нагрянет всякое начальство, и будет неисповедимая кутерьма.

К вечеру мы переехали на ту сторону, в одинокую избушку, вросшую в гору. Двор был попрежнему худодырый: плетень разобран на топку, а вместо него торчали трухлявые колья.

От Маши остался старенький стол, который стоял ещё при бабушке Наталье, и висячая бабушкина лампа да киотик с чёрной иконкой и осьмиконечным медным крестом. И когда мы вечером сели ужинать, отец самодовольно расчёсывал пальцами бороду на обе стороны и, задирая на лоб брови, мурлыкал удовлетворённо:

— Ну, вот мы и в своём гнезде. Хоть и плохонькое гнездо, да своё. Подправим его, подновим. Зато с этого дня заживём самосильно: распорядись собой, как хошь. Свой голос в обществе имеем, свой надел, своё тягло. Я уж и лошадёнку и коровёнку присмотрел. Сейчас, в голодное время, всякий норовит животину со двора долой погнать. Не робей, Настёнка, хозяйвы будем на зависть соседям. А ты, сынок,—ободрил он меня благодушно, — любую книжку читай: дедушка-то руку сюда не протянет.

Мать через силу протирала стёкла, я помогал ей, но работа у нас не спорилась: я видел, что ей тяжело на душе. Она знала, что ничего хорошего ждать от нашей самостоятельной жизни нельзя, что деньжонки свои отец растратит безрассудно. Завистливые его потуги — быть похожим на справных мужиков и пощеголять в городском пиджаке, в жилетке — вызывали у неё отвращение. Но он не замечал её настроения, а грустное молчание её нравилось ему, как безропотная покорность.

В этот вечер она только сказала больным голосом:

— Не ужиться нам здесь, в крестьянстве-то, Фомич, и не вжиться в это бытё. И земли нет — шагнуть некуда, — и прибытку не будет. У барина да у Стоднева люди задаром спины гнут.

— Дура! Чего ты понимаешь? — посмеиваясь над неразумием матери, внушительно ответил отец. — На зависть заживём. Возьму у барина исполу десятинки четыре, а из гамазей — семенов: сейчас, в голодный год, всем на посев зерно выдадут. Нынче бабы холсты за гроши отдают. Наберу холстов да выкладей и в город отвезу. Приторговывать буду. Счастье-то лопухих не любит.

Мать молчала весь вечер, а постель стелила на полу как-то чудно — с перерывами, забываясь и застывая от раздумья. Она как будто ничего не видела и не слышала и на вопросы отца — купить ли ей курицу с петухом или гуся с гусыней — не отвечала.

А ночью я проснулся от грохота, гула и жуткого ощущения, что изба наша с треском разваливается. Я в ужасе вскочил на колени, и меня ослепил неземной огонь за окном, который необъятно вспыхивал и мгновенно угасал. Я понял, что на улице гроза. Гром грохотал по всему небу, потрясал нашу избушку, зажигал воздух и откатывался куда-то далеко в поля. И когда грохот обрывался и гул замирал, слышно было, как за окошками хлестал ливень, а за стеной, перед крутым взгорком, клочкотала вода. Я влез на лавку и поднял нижнюю половину рамы. В лицо мне хлынула влажная прохлада. Вспышки молний пронизывали всё небо, и седая муть вдруг превращалась в сверкающие струи, которые туго били в мёртвую траву и взрывались пузырями в блистающих лужах перед завалинкой. Пахло мокрой землёй и чем-то опьяняюще приятным, что бывает только во время грозового дождя. И в этот момент я как-то особенно радостно чувствовал, что земля и небо живые, что они очнулись от мучительного сна, судорожно дрожат от волшебного пробуждения. Чудилось, что всюду — в тяжёлых грохочущих тучах и в туманных вихрях ливня — волнуются и несутся куда-то шквалами мятежные толпы, рокошет гул тревожных голосов. Может быть, это ещё мерещились вчерашние полуночные люди, которые сбегались на раздачу хлеба со всех порядков.

Отец вскочил с постели и, задыхаясь от волнения, смеялся и радостно выкрикивал:

— Эх, благодать-то какая! Ух, ты... льёт-то как!.. Ну, отдохнёт земля-то... Яровые, может, и поправятся...

Мать тоже поднялась и, прижимаясь ко мне, протянула руку за окно.  
— Пахнет-то как хорошо... словно весной в половодье!..

В окошко волнами полыхала банная прель, и хлестали брызги дождя о подоконник.

Отец распахнул дверь и, поражённый, крикнул:

— Да в сенях-то — озеро! С улицы в дверь польщит.

Ослепительная молния прорезала лохматое небо, а воздух, затканый дождём, вспыхнул голубым пламенем. Взрыв грома обвалом обрушился на село, и изба наша встряхнулась и судорожно задрожала, а обломки стёкол, склеенные замазкой и закреплённые лучинками, задребезжали, готовые вылететь и рассыпаться по завалине.

После ослепительных молний тьма казалась непроглядно-чёрной, без расстояний, но тяжёлой, упругой и страшной, как бездна. Не было ни земли, ни избы, а небо давило таинственным и грозным громыханьем, которое перекликалось из конца в конец, и близко и далеко. Я не видел матери, но чувствовал её всю, прижимаясь к ней, такой неотделимо родной.

Позади нас забарабанила капелью и струйками вода. Мать испуганно вскрикнула:

— Ай, батюшки! Пролило!

Я выбежал из избы, подчиняясь неудержимому порыву вылететь на грозовой простор, под дождь, под жуткий и необъятный грохот сполошного неба. На улице при вспышке молнии я увидел отца, который торопливо прорывал лопатой канаву вдоль завалины. В узком проходе между избой и крутой горкой кипела пузырями длинная лужа. Дождь сыпался на меня, как горох, и рубашка сразу же промокла и прилипла к спине. И когда огромные клубастые тучи рассекались молниями и грохотал гром, дождь хлестал водопадами. После обжигающего зноя и удушающей гари я наслаждался всем телом, и внутри трепетала радость, похожая на счастье. Отец, должно быть, тоже, как и я, переживал внезапное ликование: он работал лопатой проворно, с увлечением, и ему было, очевидно, очень приятно ощущать тяжёлые капли дождя, которые барабанили по его спине. Волосы его сваялись войлоком на лбу и на висках, припали к бороде, а с неё ручьями лилась вода. Я бросился к углу избы, где скопилась вода, и обеими руками стал пропахивать размокшую землю, чтобы прокопать канавку к пологому склону взгорья. Но земля ещё не пропиталась водой — она скипелась, как камень, а корни и крепкие стебли ползучего лужка прочно прошивали утрамбованный грунт. Отец голосом весёлого парня крикнул:

— Сейчас я этот горбыль лопаткой прорежу. А ты беги за метлой и гони воду под гору. Эх, вот так наводнение! Речка-то наша вздуется к утречку и разольётся, как в половодье.

Я прошлёпал по бурлящей воде в сенях во двор и во тьме схватил метлу с завалины. Отец прорыл канавку от угла избы, и вода весело забурлила под гору. Дождь вдруг сразу перестал, гроза туманно и устало вспыхивала уже далеко за селом, а гром рокотал глухо, как пустая бочка на телеге, когда едут за водой на реку. Но всюду, по склонам взгорья, в лывинках звенели и смеялись ручьи, и было приятно слушать это ребячье журчанье и милую игру бурливых потоков.

Уже светало, и в воздухе не было дымной гари, словно ливень промыл его и исцелил от духоты и тяжкой немочи. Между разорванными тучами синели клочья чистого неба, и лучистыми искорками зажигались и гасли звёздочки. На востоке, над крутой горой, кудрявые облака озарялись далёким розовым пламенем, а небо было синее и прозрачное, как вода в роднике. Где-то, должно быть в вётлах, закаркали галки, и тут же я услышал людские голоса, которые чётко доносились и сверху и с той стороны.



Влажный запах земли и прелой травы густо плавал в воздухе, и волнами омывал меня пьяный аромат мяты. Казалось, что я впервые в жизни чувствовал пробуждение земли: чудилось, что она судорожно потягивается, улыбается и открывает глаза, что облака на востоке сейчас вспыхнут ослепительным огнём. Я ни разу не переживал такого восторга и ликования, как в эти минуты. Был момент, когда я впал в какое-то странное забытьё и бессознательно ощутил что-то похожее на мягкий толчок, подобный морскому шквалу, который накрыл и бросил меня в необъятную пучину. Что-то огромное совершилось во мне и потрясло меня, как таинственное событие. И когда я очнулся, сердце бурно билось у меня и я неожиданно застал себя бегущим вверх по склону горы, на высокий гребень барского яра. Невольно я оглянулся назад и увидел внизу, перед избой, отца, который с удивлением смотрел на меня и смеялся, опираясь на лопату.

Этот грозовой ливень как будто начисто вымыл деревню: в дымной гари, в выжженной траве, в испелённых садах на усадьбах всё тлело и обугливалось — и избы и поля. И мне казалось, что эта удушливая и смрадная гарь поднималась от каждой избы и отравляла безветренный воздух смертельными испарениями. А сейчас, в голубом рассвете, воздух был чистый, прозрачный и свежий, и на востоке под оранжевыми облаками он переливался радужными волнами. Хлопая крыльями, порывисто пролетели надо мной стаи голубей, а над вётвами кружились галки. Низко над мокрой и чёрной землёй носились касатки.

Я взбежал на высокое взгорье, пролез сквозь старое прясло, отгораживающее село от барских угодий, и остановился на самом краю крутого обрыва. Этот глубокий обрыв длинной стеной в оползнях, в пластах плитняка тянулся от барского двора до нашего спуска на полверсты, и сверху, с этой воздушной высоты, село внизу за лукой казалось очень далёким, а избы, амбары и кладовые — маленькими, вросшими в землю. Далеко за селом в лиловом туманце виднелось длинное соседнее село с белой круглой колокольней, а по обе его стороны на горизонте темнели леса, и высокая сосна с трёхглавой кроной гордо и величаво реяла над кудрявыми вершинами густолесья. Внизу клокотала в камнях, по порожистому дну, бурная речка. Она залила тот берег и вползала дальше к пологим буграм, бушевала в пенистых водоворотах и шумела на перекатах.

Я повернулся навстречу ветерку, пахнущему полем и мокрой соломой. Далеко, над Красным маром, облака ослепительно горели по краям, а сами пронизывались розовым светом. Небо голубело среди этих играющих облаков и как будто улыбалось мне приветливо и ласково. Высоко, прямо надо мною, вынырнула из-за облака яркая звезда, предвестница солнца. И, словно вспугнутой ею, вдруг залился колокольчиком жаворонок и невидимо стал трепетно подниматься ей навстречу. Я долго искал его в голубой вышине, но никак не мог найти, и мне чудилось, что это лучистая звезда, не угасающая даже в утренней заре, переливается радугой в моих ресницах.

На той стороне по глубокой ложбинке тихо шли вниз, к речке, пятеро человек. Хотя голосов их не слышно было, но они говорили горячо: это было видно по тому, что они останавливались через несколько шагов и внушали что-то друг другу руками. Тут был высокий и спокойный Тихон, и подвижной, порывистый Исай со всклокоченными волосами, и рядом с ним — умственный и угрюмо-насмешливый Гордей. Но особенно бросался в глаза студент-доктор без фуражки, в синей вышитой рубашке, подпоясанной широким ремнём. Студент не шутил, не смеялся, а внимательно слушал мужиков, пощипывая русую шерсть на щеках. Потом он решительно шагнул к Тихону и положил руку на его плечо, и мне показалось, что он что-то строго приказал ему. Потом он встряхнул

руки мужикам и быстро зашагал в сторону мельницы. Где же они укрывались от ливня?

Я не заметил, как ко мне подошёл Архип Уколов, опираясь на свою деревяшку, а услышал рядом с собою его дряблый, озабоченный голос:

— Ежели пошли в атаку, на приступ, да выбили врага, назад ходу нет. Ты чего тут маячишь, Федяшка, как лазутчик?

— Я — не лазутчик. Мы воду отводили от избы — залило нас. Больно уж вольготно после дождя-то!

Посасывая трубочку, Архип посматривал из-под седых бровей на ту сторону и думал о чём-то, не слушая меня.

— Трофеи взяли, а отбить врага сил нет. Нынче же враг хлынет со всех сторон и нахлобучит нас. Мне бы, старому дураку, с ними надо быть. Тихон-то солдат и не робкого десятка, а войско у него по избам прачется. Без дисциплины да без выучки воевать нельзя.

Он вдруг оживился, глаза его посвежели и, словно зная, о чём спорили мужики, одобрительно закивал головой.

— Дело, дело! Тихону отступать и скрываться негоже. Они на той стороне, а я на своём порядке к народу пойду. Держись друг за друга! Не выдавай соседа, а вожакон заслоняй! Иди-ка, милачок, домой! Иди-ка, не торчи здесь, не мешай людям в этот час!

И он бойко запрыгал назад на своей деревяшке, бормоча что-то себе под нос.

Я стоял, оцепеневший от удивления: Архип вдруг показался мне необыкновенным стариком. Как это он мог угадать, о чём говорил студент с мужиками?

Он вдруг остановился и поманил меня пальцем.

— А ты, милоч, ко мне приходи по охотке: я тебе всякие чудеса открою. Володимирыча-то помнишь?

— Ещё как! Хоть бы разок его увидеть.

— Оружие не бросает — ходит по свету, уму-разуму народ учит: ни земскому, ни попу нет такой славы. Ну, валяй домой. Ежели что случится, маманьку не покидай.

Он круто свернул к старой, кособокой избе с коньком и скрылся за калиткой.

## Х

Отец привёл откуда-то худушую и кривоногую лошадь, с отвислыми ушами и нижней губой. Глаза её провалились и были мутно-печальны. Отец, довольный покупкой, любовался этим одром и рассуждал:

— Без коня да без огня и хозяина в доме нет. Хозяйство заводят с лошади да с телеги. Самосилье на тягле да на колёсах лестно. Заживём, Настёнка, не робей! Конягу откормим: нынче к барину Измайлову с докукой пойду: соломы за отработки попрошу, а может, и сена даст.

Мать молча и задумчиво смотрела на полудохлую лошадь и на отца, и я чувствовал, что ей противно его самодовольство. Я невольно сжал ей пальцы и встретил её взгляд, застывший от смьтнения и бунтующего отчаяния. Она тоже очень чутко понимала меня: для неё молчаливое моё участие было, должно быть, единственной поддержкой.

После ватажной жизни, полной борьбы и мятежности, после пережитых радостей от дружбы с сильными и богатыми духом людьми она уже не могла безропотно носить гнетущую власть отца. Она только затаила на время свою мятежность и молча лелеяла надежду на неизбежный рассвет. И мне не раз вспоминались слова Раисы: «Все мы — пленницы, а придёт время — и вырвемся на свободу. А теперь надо ненавидеть и защищаться».

В это утро отец, чем-то встревоженный, круто приказал нам с матерью не выходить из избы. Казалось, что он опасливо поглядывал в окошко, в которое видна была пожарная с церковью и дедушкин двор, прислушивался и бормотал:

— Обязательно нынче полиция нагрянет. Стоднев всех крючков ода-рит, а уж они распяшутся да распляшутся. Эх, наварили канители: с дураками и богу скучно.

Перед отцом я трепетал от гнетущего страха и чувствовал себя пришибленным, лишённым языка. И не потому, что он мог побить меня в минуты озлобления, а оттого, вероятно, что он никогда не привечал меня. Я догадывался, что он по-своему любит меня, но стеснялся проявить эту свою любовь хотя бы в ласковом слове, в шутке, в улыбке. Он не прочь был похвастаться перед людьми моей охотой к чтению, но самого его моё грамотейство не интересовало. И мне почему-то всегда было совестно от этой хвастливой его гордости, а его презрительное отношение к людям и страх перед «несчастной статьёй» только отчуждал меня от него. Я достаточно насмотрелся на страшных от голода баб и мужиков, на гробы, которые каждый день несли на кладбище. Казалось, что только детишки переносили голодное бедствие легко и беззаботно: они рыскали всюду — и по буеракам, где густо рос бурьян, и по берегам реки, и по гумнам, и шайками уходили далеко от села в лес. Они рвали всякую травку и толстые стебли, лишь бы они зеленели или на взгляд были ядрёны и сочны. Но у этих беззаботных малолетков личишки были водянисто разбухшие, глазёнки прятались в синей опухоли, а животишки надувались, как пузыри. Я знал, что многие из них «болели брюшком» и скоро умирали. И не старики, скрюченные голодом, со скорбящими лицами, как на иконах, угнетали меня, а молодухи и девки, опухшие, словно налитые мутной водой; с жуткими глазами, они бесцельно брели куда-то или топтались на месте.

Однажды я слышал, как возчики и плотники у Стоднева сдержанно, с оглядкой говорили, что по всему уезду и губернии начались бунты и у какого-то барина спалили всё поместье, а кого-то из мироедов связали и бросили в буерак, хлеб разобрали, угнали коров и перерезали овец и свиней. В эти места будто нагнали солдат на усмирение, и они стреляли в людей.

Мне было обидно слушать злые речи отца: он осуждал и костил своих же мужиков, с которыми он рос и работал и дома и в поле, а мироедов оправдывал — их богатство считал нажитым изворотливостью и умом. Мать сидела за столом подавленная, молчаливая, но я чувствовал, что внутри она бунтовала против отца.

В этот день отец без усталости хлопотал по хозяйству: он сбегал на барский двор — к конторщику Горохову, несравненному гармонисту, и сумел через него достать возок соломы и мешок отрубей. Вместе с матерью ходил к жене Ларивона, Татьяне, и привёл такую же облезлую корову, как и одёр. Мать печально молчала, возилась в чуланчике и почему-то вглядывалась в меня невидящими глазами, когда я вбегал в избу. Один раз я застал её в странном состоянии: она стояла, прижимаясь спиной и головой к перегородке чулана, и в ужасе смотрела в окошко, словно увидела за мутным стеклом что-то страшное. Я всегда боялся таких её жутких потрясений. Но она вдруг протянула вперёд руки и, как во сне, зыбко и медленно подошла ко мне.

— Феденька, как же нам с тобой быть-то?.. — в смятении прошептала она. — Корову-то у Татьяны увели... Отец только и сказал ей: «И ты, Татьяна, с парнишкой на ногах не стоишь от голода, и корова сдохнет». Другой-то парнишка сгорел у неё. А Татьяна лежит на лавке и молчит. Я и слова вымолвить не могла — весь свет в глазах помутился. Не помню,

как корову вела, как до своей избы добралась. А он, отец-то, весёлый... смеётся... словно клад нашёл. Феденька, сынок! Лучше бы меня с тобой, как Гришу да Оксану, в острог посадили... Я и в остроге бы с ними вольной птицей была...

Отец, разгорячённый хлопотами, убежал куда-то и приносил какие-то ремни, верёвки, дёготь в лагунке, приволок старенькую соху с заржавленными сошниками и полицей. Он умильно останавливался перед лошадей и коровой и, не отрываясь от них, долго смотрел, как они жуют мокрую соломенную резку, смешанную с отрубями. И я завидовал этой скотине: с такой любовью отец никогда не ласкал нас взглядом. Потом он запряг лошадь в тележные передки и выехал со двора.

— За ольшевником на Няньгу еду!.. — крикнул он мне. — Помните, от двора — ни ногой!

Он наслаждался, как независимый хозяин, который переживает счастье, свивая своё гнездо. Он сидел на высоком взлобке передка, как на одноколке, дёргал вожжами и шлёпал ими по ребрасту боку лошади, но она даже по пологому спуску шла с натугой, фыркая и поводя ушами. И мне было смешно смотреть на кривоногого облезлого конягу и на отца, гордого от сознания своего самосилья. Но мне тоже хотелось поехать с ним туда, на Няньгу, где высокий берег зеленел густыми зарослями ольшевника и осинника и где наша речка, заросшая лозой, разливалась широко, подпёртая трудом варыпаевской мельницы. Там много было гремучих родников, которые выбивались из зелёного плитняка. Эту студёную, кристально чистую воду хотелось пить ненасытно. Там пахло тиной, мокрой травой и горьковатым ароматом осин. Там всегда весело квакали лягушки и приманчиво плескались серебристые язи.

Вскоре я увидел Кузяря, вприпрыжку бегущего со своей стороны. Он ещё издали нетерпеливо звал меня худенькими руками и дышал запалённо — не то от трудного бега по песку, не то от смтения. Его горячие глаза застыли от ужаса, словно он спасался от преследования. Встревоженный, я побежал к нему навстречу, и мы с разбега столкнулись и, обнимаясь, завертелись на месте. Я потащил его к избе, но он вырвался и, беспокойно оглядываясь на ту сторону, задыхаясь, выкрикивал:

— Аль не слыхал? Колокольчики-то? Целая шайка... Начальство, урядники... Тихона потащили... чеботаря Филарета... На нашем порядке мужики и бабы колья из прясла вырывают... Не к тебе я, а наверх бегу... чтоб шли Тихона с Филаретом выручать. Зерно да муку прискакали отбирать... Пускай сунутся — народ близко не подпустит.

Он бросился со всех ног на гору, размахивая руками и с гибкой лёгкостью перепрыгивая через вымоины и рытвины. В нём бушевала буря, и я знал, что он будет врываться в каждую избу и с бунтом в глазах будоражить мужиков и баб.

Этот день горит у меня в памяти вихрем событий. То, что совершилось на луке, совсем не было похоже на волнения прошлой весны, когда мужики с Микитушкой и Петрушей во главе решили самосудом перехватить землю у Митрия Стоднева. Тогда поход мужиков и к барину и на поля был хоть и многолюдным, но мирным и благолепным. Полицейские тогда разогнали всех по домам, потому что мужики не держались друг за друга, действовали не сообща, а кто как хотел. Микитушка остался один — беззащитный, и никто не попытался освободить его из лап пристава, хотя они целую ночь оставались вдвоём на съезжей, и становой, пьяный, бил его и кулаками и нагайкой. Связанного по рукам и ногам, истерзанного, окровавленного, на виду у мужиков увезли его в город, в острог. Сейчас народ вёл себя по-другому. Может быть, он изголодался и обозлился до отчаяния, а мор и неурожай довели его до равнодушия к смерти, а может быть, боязнь лишиться мешков с зерном и мукой, ото-

бранных у мироеда и спрятанных в потайных местах, сбила всех в плотную толпу, как во время кулачных боёв.

Мы стояли с матерью перед избой и смотрели на ту сторону, где у пожарной обычно по наряду собирался народ. Далеко, должно быть у дома старосты, позванивали колокольцы. В пролёты между амбарами и кладовыми видны были две тройки, которые пронеслись в разные стороны по улице. Колокольцы, захлёбываясь, звякали на дугах сполошно и надрывно. Одна из троек слетела по косогору перед колодцем, промчалась через речку по сыпучему прибрежному песку и вырвалась на дорогу по нашему крутому подъёму. Двое усатых урядников опирались на сабли и пьяно орали. Один из них — краснолицый, с густыми чёрными бровями и загнутыми вверх усами, другой — начальнически злой и хмурый, он свирепо рывкал, выпучив белки. Перед избой кузнеца Потапа кучер осадил лошадей, и свирепый урядник спустил ногу на подножку тарантаса. Он хотел соскочить на землю, но в этот момент налетел на него лохматый и чёрный Потап, одурелый от пьянства.

Урядник тычком ударил его кулаком в бороду и отшвырнул назад. Потап плашмя растянулся на песке. Другой урядник неторопливо слез с тарантаса и носками сапог стал с размаху бить Потапа в бока. Потап взвыл от боли и в бешенстве вцепился в сапог урядника.

— Коршуны! Стервятники! — надсадно выл он. — Аль саваны с покойников сдирать приехали? Падаль почуяли...

Урядник никак не мог вырвать сапог из лап кузнеца и прыгал около него на одной ноге. Он пытался вытащить саблю из ножен, но она, вероятно, заржавела — не вынималась.

— Пусти! Кости переломаю... Мне тебя-то и надо. Ты у меня лошадь заковал, и я тебя доконаю.

Другой урядник задыхался от хохота, задирая фуражку на спину, но вдруг спохватился и бросился к кузнецу. С разбега он ударил его каблук в грудь и в лицо. Кузнец со стоном распластался на песке и омертвел. Петька в рваной рубашонке без пояса выбежал с надрывным криком и застыл перед распластанным отцом. Потом упал на колени и заплакал.

Урядники вскочили на тарантас, кучер взмахнул вожжами, и тройка рысью под звон колокольчиков покатила по дороге на гору.

— Чего же это делается, Федя? — в смятении шептала мать. — Чего это будет? Мы с тобой словно от стада отбились и к волкам попали.

Кузнец поднялся и с разбитым лицом, шатаясь, пошагал вместе с Петькой к избе. Колокольчики звенели и у нас наверху, и на горе за широким яром, и на той стороне. На верхнем порядке орал урядники — должно быть, гнали народ на ту сторону — к пожарной. Меня тревожили не эти солдатские рёвы и не сплошные колокольцы, а тяжёлая тишина и безлюдье на всех порядках. С крутого обрыва, с соседней верхней улицы, по узенькой пешеходной дорожке спускался верхом Терентий. Лошадь его скользила копытами, часто садилась на задние ноги, а он откидывался назад и как будто ложился спиной на её хребет. Речка в том месте круто поворачивала налево, и наш берег тянулся оттуда широкой низиной. Терентий помчался вскачь по этой низине. Хотя там был переезд и дорога поднималась к пожарной мимо церкви, но Терентий почему-то предпочёл длинный путь вдоль речки. Я очень хорошо видел его лицо: красное, искажённое не то страхом, не то судорогой, похожей на мстительный смех. Рыжая борода хлестала его по плечам, а он бил босыми ногами по бокам лошади. Кузяря я увидел уже на той стороне: он торопливо поднимался от речки по косогору к пожарной. Штаны его подвёрнуты были выше колен, а на плече он нёс вентерь. Но зачем он выгацил вентерь из заводи и нёс его к пожарной — разгадать эту смешную загадку было нетрудно. Кто из полиции или неверных мужиков мог бы поду-

мать, что он с вентерем на плече бегал на наш верхний порядок смутянить людей?

Грозовой ливень насытил и землю водою и очистил воздух от гари. Промытое мягко-голубое небо улыбалось, как живое, а радостное солнце трепетало всюду — в небе, в воздухе и плыло волнами по земле, а земля дышала пряным запахом богородской травки, полыни и мяты. Хорошо в такой ласковый день побегать по влажной прибрежной траве, побродить по песчаному дну реки, а потом сбросить на белом песке рубашонку и штанишки и с наслаждением поплескаться в прохладной воде — в глубоких вымоинах.

Но всюду чувствовалась гнетущая тревога и угрюмая насторожённость. По выжженной луке от съезжей избы, широко размахивая ногами, бежал к церкви долгоязыый сотский в длинном пиджаке. Он скрылся за колокольной, и сейчас же зазвонил большой колокол. Сам, без сторожа Лукича, Гришка задёргал звонарной верёвкой — задёргал странно, неслыханно. Раздались два набатных удара и оборвались, словно захлебнулись, потом — два удара, и опять перерыв.

Из-за амбаров по луке к пожарной через силу, как больные, зашагали старики с падогами в руках, молодые мужики с кольями и бабы. С нашей стороны тоже спускались с гор, так же неохотно и угрюмо, словно спросонья, и пожилые и молодые.

Мимо нас прошла вереница босых мужиков. Уткнув бороды в грудь, они говорили о чём-то все вместе, угрюмо и невнятно. За ними с испуганно-злыми лицами шли бабы. Кое-кто из них, поглядывая на нас, скалил зубы и покрикивал:

— Ты чего это, Настя, к воротам прижимаешься? Всё равно урядники плетью погонят!

Мать с завистью смотрела на них — ей хотелось пристать к ним, и она боролась с собою.

— И рада бы пойти с вами, товарки, да мочи нет — слаба ещё. А тут Фомич не велел...

Из кучки женщин вышла Ульяна, жена Николая Подгорнова, высокая баба, с тёмным, обожжённым лицом и страдальчески-злыми глазами. Шагала она к нам широко и угрожающе, хотя улыбалась старообразными морщинками и обиженным ртом доверчиво. А мне было неприятно видеть её длинный галчиный нос и странно белёсые, немигающие глаза. Но голос её был тихий, мягкий, вздыхающий и ласковый. Она всегда при встречах тревожила меня — и привлекала и отталкивала, хотелось и слушать её и убежать подальше.

— Пойдём, Настя-милка! — покорно вздохнула она, но решительно взяла её под руку. — Всех до одного гонят — и баб, и девок, и мужиков. Не дай бог, ворвутся к тебе супостаты эти — совсем в гроб уложат. Пойдём, станем в сторонке. Я прикрою тебя.

Люди шли к пожарной кучками — и там, на той стороне, по луке, и с нашей стороны, — все босиком; много мужиков в рубахах без пояса, взлохмаченных, словно поднялись с постели, с голодно-злыми лицами, с дрючками в руках, а бабы, как всегда, одеты были пристойно — в сарафанах, в холщёвых «рукавах» и в старательно повязанных платках, старухи — в темносиних китаяках.

Ульяна вела мать под руку и говорила скорбным голосом:

— Вася-то и сам не спасётся: на дороге перехватят и приволокут. Дождались супостатов! Митрий-то с Татьяной разве спустят! Одарили земского, станového, чтобы народ в могилу загнать. Чую, всех по череду мытарить будут. А за что? Хлеб-то раздавали по горсточке...

Жалобный голосок Ульяны звучал успокоительно, а в ожесточённых, упрямых глазах таилась мстительная усмешка. В этой рослой и строй-

ной бабе с тёмным недобрым лицом иконной богородицы были две нераздельные жизни: одна — вот эта покорно-жалостная, другая — скрытая, неукротимая, но упорно-терпеливая, которая зреет, ожидая дня, когда вырвется наружу. Она уже раза два заходила к матери. Разговора их я не слышал: они меня выпроваживали из избы. Но когда она уходила домой, я замечал в её лице хорошую улыбку, словно мать раскрывала ей какую-то тайную радость.

— А ты остался бы, подомовничал бы, Федя, — ласково пропела она баюкающим голосом. — Людей-то ведь на беду гонят. Ещё попадётся какому-нибудь псу под горячую руку.

— Аль нам в диквинку!.. — возразил я. — Мы на ватаге-то всяко видали...

Ульяна пристально поглядела на меня и встревожилась:

— Гляди за ним, Настя. Страсть я боюсь таких дошлых.

Мать шла как-то странно: то очень осторожно и неустойчиво, то вскидывала голову и торопилась.

— А мой-то — как лист на ветру... — вздохнула Ульяна и отмахнулась рукой, словно хотела отшвырнуть от себя докучливые думы. — Чужая-то сторона недоброй дорогой его повела...

Мать прижималась к ней и горячо уговаривала:

— А ты, Уленька, сама себе судьбу свою ищи. Ведь счастливее тебя и человека нет — вольная птица, лети, куда душа хочет... На твоём месте я голубкой вспорхнула бы и лазоревым цветом расцвела...

Вдруг где-то на верхнем порядке завизжала и завывала женщина, словно её били или тащили за косы по улице. Потом сразу заругалась и набросилась на кого-то с надсадным рёвом. Все остановились и поглядели на гору, только старики, покачивая головами, брели дальше. Мать схватилась за грудь и с болью крикнула:

— Кто это вопит-то, Уленька? Уж не насильничают ли? Ах, разбойники проклятые!

Ульяна сдвинула брови и знающе усмехнулась.

— Аль не узнаёшь? Катерина ваша орёт. С кем же, как не с урядниками воюет...

Из-за обрыва, от пожарной, доносился смутный рокот толпы, как бьёт на сходе, когда ещё не прискакало начальство. Народу, вероятно, собралось уж много: гул голосов похож был на шум ветра перед грозой. Когда мы поднялись на косогор, меня встретил Кузьяр и потащил за пожарный сарай. Там к дощатому скату крыши была приставлена лестница, и мы вскарабкались наверх. Миколька лежал на животе и глядел вниз, на толпу. Кузьяр обжигался словами и метался от возбуждения. В глазах его кипела вся его душа, а сухонькие и прыткие руки говорили выразительнее слов.

— Ох, и начальства наехало — три тройки! Земский, да становой, да урядники... Земский-то верзила, как колокольня, а картуз — с решето, и борода по обе стороны, как куделя. Раньше становой-то — помнишь, чай? — орал да лаялся, а сейчас стоит столбом и бельмы таращит. Ну и беда будет!

Народу собралось уже много, но густая толпа мужиков ворошилась, колыхалась перед пожарным сараем, разноголосо гомонила без обычных споров, как бывало на сходах. Видно было, что все старались быть в гуще и держаться поплотнее. В этой сплошной и упругой толпе все были одноцветны и однолики, даже седые, чёрные и рыжие бороды казались одинаково пыльными. Парни толпились отдельно, кучками, а бабы и девки теснились по обе стороны от мужиков и с оторопью смотрели на них.

В толпе мужиков Тихона не было, но Исай и Гордей появлялись и исчезали в разных местах. Исай порывисто бросался в разные стороны, словно толкали его и в спину, и в бока, и в грудь. Позади толпы метался в дырявой рубаше Иванка Юлёнков. Он показался мне совсем безумным: весь грязный, синий и опухший от голода, с угарными глазами, он визгливо кричал, ни к кому не обращаясь:

— А барина-то не тронули... Обошли барина-то... А с него, чай, и начинать-то... Собак испугались. Второй наш сноп хапал... горбы ломали... на барщине-то... А они варено-парено лопают да в молоке купаются. А тут сколь народу с голоду сгорело! Старого-то кладбища нет уж, а новые кресты — как частокол...

Отдельной кучкой стояли лобовые — Олёха с верхнего порядка, конопатый и рыжий Кантонистов и Сыгней. Одеты они были по праздничному — в пиджаках, при картузах, в сапогах, а Сыгней даже успел навести на голенищах гармошку. Дылда сотский со своей шашкой широко шагал перед толпой и, вытянув шею, следил за людьми, словно сторожил их, как бы они не разбежались. Лобовые враждебно издевались над ним: Сыгней морщился от смеха, подталкивал локтями Кантонистова и Олёху.

— Эй, ты, сотник, ефлейтор! — угрюмо насмешничал Олёха. — Зря нас караулишь да огрызаешься, как барбос. Июда на осине удавился, а тебя, продажная душа, нагишом в болото загоним — в самую топь. Кому служишь, елёха-воха? На кого начальству наклепал?

Кантонистов брезгливо дурачился:

— Это его бабы с девками разденут да вениками на моховое болото прогонят. Так и быть, я уж с гармошкой их провожу. А уж подохнет в топи он сам.

Сотский как будто не слышал издёвок парней и расхаживал по-солдатски строго. Но я чувствовал, что он боится лобовых и не забудет их озорных насмешек.

Изголодавшиеся люди, которых чудом миновала холера, потеряли страх и перед начальством, и перед голодной смертью, и холерой. Даже мы с Кузярём чувствовали их затаённую ненависть и зловещую насторожённость. Это была не робость, не привычное покорство стародавнему самовластию начальства, а свойственная мужикам враждебная замкнутость, как неотразимая самозащита. Сколько, мол, ни старайся взять нас голыми руками, сколько ни бесись, сколько ни грози поркой и всякими карами, ничего не добьёшься — выдохнешься!

Дедушку я не заметил в толпе: должно быть, он лежал на печи. А Паруша с длинной клюкой в руке неторопливо и степенно подошла к толпе мужиков, и, когда перед нею по-солдатски прошагал сотский, она гневно подняла большую голову и по-хозяйски осадила его:

— А ты чего это, пёс, расшагался тут перед народом-то? Да ещё жестянкой своей брякаешь? Перед миром-то ты без шапки в сторонке стой, дурак блудный!

Сотский рванулся к ней и свирепо выкатил белки, но Паруша стояла твёрдо и оттолкнула его гневным взглядом спокойно и сильно. Сотский струсил и, озираясь, словно ждал откуда-то удара, пробормотал:

— Ты, тётка Паруша, меня не охаль! Я, елёха-воха, при исполнении службы.

— Чего? Какой службы? Эх ты, болван безмозглый! Не простит тебе народ... Как только ответ-то держать будешь?.. На народ кобелём бросаться — хуже, чем на мать руку поднять. Мать-то твоя, мученица, в гробу переворачивается — проклинает тебя, а народу ты — Каин.

С разных сторон одобрительно закричали и мужики и бабы:

— Правда, тётушка Паруша... Хорошенько его! Как такого прохвоста земля держит!



Гришка пятился, как затравленный, испуганно и злобно оглядывался во все стороны.

— Вот придёт начальство,— хрипел он,— оно вас не помилует... Я всё доложу.

Из кучи парней кто-то презрительно свистнул, кто-то лихо крикнул:

— Держи его, рви его желянку!

Двое лобовых — Олёха и Кантонистов — с гиканьем кинулись к сотскому. Он согнулся и побежал по луке, отмахивая своими длинными ногами и подхватив саблю подмышку. Толпа хохотала и улюлюкала ему вслед.

Вдруг вся масса людей как будто вздрогнула и насторожилась. По дороге, из-за избы дедушки, на тройке карих рысаков ехала огромная туша в жёлтом халате, в белом картузе со вздёрнутой тульёй над широким козырьком и с красным околышем. Он сидел один на чёрной блестящей коляске, загромождая её всю, и казался очень грузным и тяжёлым.

— Земский скачет... — тревожно бормотали внизу. — Князь Васильчиков... косая сажень... пудов на восемь. Говорят, что к самому царю во дворец вхож.

За земским, тоже на тройке, скакали усатый становой в белом кителе, с бешеными глазами, и толстый волосатый старшина. За ними подпрыгивали на конях четверо урядников.

Обе тройки на всём скаку подкатили к толпе и разъехались в разные стороны. Становой спрыгнул с тарантаса на ходу и побежал к коляске земского начальника, слетел с коня и один из урядников и обогнал станового. Оба они протянули руки к князю Васильчикову и с большим усилием вывалили его из коляски. И когда он, огромный и тучный, отдуваясь, выпрямился перед ними, они сразу стали маленькими, совсем не страшными и смешными. Я видел на своём мальчишечьем веку и помещиков и купцов-миллионщиков, владык Волги и Каспия, видел всяких бар и образованных людей, но князя видел впервые. В книжках князя были воинами, храбрыми витязями и полководцами, как Суворов, а этот князь совсем не был похож на книжного князя: он стоял, пошатываясь, и мычал, выпучив глаза, как мирской бык, — такой же могучий по толщине и весу и такой же зловещий. Из-за амбаров шагали белые урядники по обе стороны Тихона и Филарета. Чеботарь горбился и смотрел в землю, а Тихон шёл размашисто, словно издалека ещё хотел показать себя перед народом неробким парнем, уверенным, что народ не даст его в обиду. Даже мне, подростку, ясно было, что его ходкий шаг и злая смелость во всей его сильной фигуре и высоко поднятой голове были вызывающе форсистыми. Он как будто хотел подбодрить всех, сбитых в тугую толпу, и внушить им своей насмешливо-презрительной независимостью, что голыми руками его не возьмёшь, что бояться им нечего, что сила и правда на их стороне.

Земский в жёлтом широком балахоне, как поп в рясе, переваливаясь с боку на бок, подошёл к молчаливой толпе и ткнул толстым коротким пальцем в фуражку около уха.

— Здорово, мужики! — словно выругался он стонущим басом.

Толпа ответила ему глухим невнятным гулом. Кое-где старики сняли картузы. Становой сделал свирепое лицо и хрипло гаркнул:

— Шапки долой!

От этого окрика ещё несколько картузов сползло с волосатых голов, но очень много мужиков и все парни стояли в картузах.

— Кому говорят, болваны! — закричал становой, топя сапогами.

Толпа сбивалась ещё плотнее, срастаясь плечами. Кто-то крикнул ехидно:

— Аль иконы привезли, что шапки, старики, ломаете?

В другой стороне из самой гущи толпы зло откликнулся другой голос: — Чай, сейчас не крепость, чтоб над людьми надругаться. Хватит того, что людей поморили голодом да холерой.

Становой вздёрнул голову и взмахнул нагайкой.

— Молчать, скоты! Не торопитесь ложиться под розги: каждый дождётся своей очереди.

Земский, как идол, стоял перед толпою выше всех, и фуражка его поворачивалась в разные стороны.

— Значит, так... — заговорил он властным голосом. — Значит, решили заняться самоуправством — пограбить чужой хлеб. Не эти ли негодяи и шарлатаны подзудили вас расхищать муку и зерно у Стоднева?

Он тяжёлой рукой указал на Тихона с Филаретом.

Олёха с судорогой в лице крикнул:

— Мы — негодяи, шарлатаны, а Стоднев — хороший? Аль тем хорош, что нас грабил? А чей хлеб на барыши от голодающих в город отвозил?

Земский опять промычал:

— Запомним.

Становой оглянулся на урядника и скомандовал:

— Взять его! Проучить в первую голову.

Но земский толкнул его в плечо.

— Подождите, становой, не волнуйтесь.

Олёха не спрятался в толпу, а стал боком к начальству и насупился ещё угрюмее. Вероятно, он чувствовал себя в безопасности, сдавленный телами мужиков. Становой тарачил на него жёлтые белки и корчил свирепо угрожающие рожи. В присутствии князя Васильчикова он обуздывал себя.

Тихон подошёл легко, с весёлой и вызывающей усмешкой, словно не его гнали урядники, а он тащил их за шиворот. Филарет исподлобья глядел на толпу, но как будто не видел её.

Тихон, взъерошенный, с синим кровоподтёком под глазом, с улыбкой кивал головой мужикам и, не обращая внимания на начальство, подмигивал кому-то в толпе.

Кузьяр вскочил на колени, подполз к самому краю крыши и крикнул срывающимся голосом:

— Не робей, дядя Тихон!

Эта его смелость заразила меня: я подскочил к нему и тоже крикнул:

— Оттолкни урядников-то, дядя Тиша!

Миколька яростно шикнул и дёрнул нас за ноги.

— Ложитесь, окаянные, и не высывайтесь! Пропадёшь с вами, чертями, по-дурацки!

Кузьяр погрозил ему кулаком и ехидно ощерил зубы. Он подмигнул и ткнул меня локтем.

— Видал, что у меня есть?

Он вынул из кармана порток несколько голышей, пёстреньких, похожих на голубиные яички, и высыпал их перед собою.

Рука Микольки накрыла камешки и швырнула их назад по наклону крыши. Я впервые увидел его разъярённым, как взрослого мужика: вот-вот он схватит нас с Кузьяром за шиворот и сбросит с крыши.

— У меня, чур, не озоровать! Я не хочу из-за вас ложиться под розги. Ишь, чего выдумали, недоноски!

Но этот негодующий взрыв Микольки заставил Кузьяра только отлягнуться.

Мы подползли к самому краю крыши и смело высунули головы: как-то бессознательно мы чуяли, что на нас, парнишек, никто из начальства

не обратит внимания и мы можем невозбранно быть свидетелями и участниками тех событий, которые совершаются перед нами.

Тихон стоял перед земским начальником просто, небоязно и глядел на него пристально недобрыми глазами. Должно быть, урядники пытались избить его, потому что левый глаз распух у него да и рубашка была изодрана. Но сладить с ним, вероятно, не удалось: Тихон славился в деревне как один из сильных кулачных бойцов. Становой тарачил на него бешеные глаза и бил себя по голенищам нагайкой: так и видно было, что ему не терпелось обжечь его своей кургузкой, но он стеснялся князя Васильчикова. Уж на что Тихон был высок ростом и широк костью, но перед Васильчиковым он стоял маленький, как парнишка. Сверху мне показалось, что густая толпа дрожала и по ней пробежала судорога, но все головы тянулись к Тихону и сбивались в сплошную засыпь волос и картузов.

Земский как будто не заметил, как пригнали Тихона с Филаретом, и, грузно переступая с ноги на ногу, оглядел всю толпу. Мясистый, темно-багровый нос, серые усы врзлёт и борода двумя клочьями торчали из-под широкого, низко надвинутого козырька устрашающе властно и грозно.

— Вот мы приехали в вашу деревню, которая ютится где-то в буераках и которую ничего не стоит растоптать моим сапогом, — он рыхло топнул ногой, — потому приехали, что вы посмели всей оравой произвести грабёж. Но это не простой грабёж, а бунт. Вы самоуправно разграбили хлеб из житниц, который принадлежал не вам, а такому же крестьянину, как вы.

Какой-то надрывистый голос, спрятанный в гуще толпы, крикнул:

— Такой, да не такой... Мироед! Барышник! Шкуродёр!..

Но земский только дёрнул своим странным картузом и продолжал:

— Неурсжай и голод вовсе не дают вам права распоряжаться чужими запасами, чужим добром. Вот эти негодяи уже пойманы...

Он тяжело поднял руку в широком рукаве и ткнул толстым кулаком в лицо Тихона.

Тот отпрянул от него и дико вытаращил глаза.

— Вы рукам воли не давайте, ваше сиятельство... — прохрипел он злобно. — Надо дело разобрать, а не обращаться с нами, как с арестантами.

Но его внезапно оглушил кулак станowego.

— Душу вынул!..

Рассвирепевший Тихон схватил его руку и отшвырнул от себя с такой силой, что становой отскочил назад.

— Вы меня, ваше благородие, не шевелите! — задыхаясь, но стараясь владеть собою, глухо пробасил Тихон. В него вцепились оба урядника, пытаясь заломить его руки за спину, но Тихон рванулся и оттолкнул их в разные стороны.

Несколько голосов из толпы крикнуло:

— Бьют Тихона-то... Ребята!

— Это чего же, братцы? Не давай своих в обиду!

— Вы, господа начальство, мужика не троньте, а то полетят куда куски, куда милостынки...

Земский вдруг по-барски добродушно, словно забавляясь смелостью Тихона, спросил:

— Ишь, какой строптивый! Сразу видно, что бунтарь. Как же ты решился вести себя так дерзко, неуважительно с нами... оказывать сопротивление властям, поставленным его императорским величеством? Тем самым ты сеешь вражду к государю и среди своих односельчан.

Кузьяр корчился около меня, сжимал кулачишки и яростно всхлипывал:

— И чего пыхтят, чего, как бараны, сбились в кучу? Грохнули бы на них все гушей и раскидали бы, как собак.

Толпа туго молчала. Я видел, как Исай нетерпеливо порывался вперёд, вытягивал шею, срывал картузишко и опять бросал на вихрастую голову, но Гордей сердито хватал его за плечо и осаживал назад. Исай оглядывался на него с яростным протестом, а Гордей смотрел в сторону, словно не он усмирял Исаю. Филарет одурело таращил глаза и встряхивал лохматой головой. Исаю, должно быть, невольно было вынужденное молчание и неподвижность — он выбросил руку вверх и крикнул хриплым фальцетом:

— Вы, начальство, горазды морды мужикам бить и шкуру драть. А в бедствии, когда народ дохнет и от голода и от холеры, а на душевых клочках всё погорело, — какое способие да подмогу власть крестьянству оказала? А ведь способие-то одно дворянство только получило. Это от народа не скроешь. Народ-то для вас хуже скотины.

— Молчать! — рявкнул становой. — Выходи сюда, говорок! Урядники!

Но урядники, хотя и зорко смотрели в толпу и готовы были схватить любого мужика, пробраться в гущу не могли. И мне было приятно, что вся эта масса мужиков была неуязвима: стоило урядникам вцепиться в первых же мужиков впереди — и вся толпа заворочится и втянет схваченных людей.

Кривой Максим, стоявший позади начальства, в сторонке, снял картуз и мелкими шажками, словно подкрадываясь, подошёл к земскому и почтительно, тоненьким голоском проскрипел:

— Дозвольте, ваше сиятельство, доложить...

Становой быстро обернулся к нему, а земский, словно каменный истукан, стал к нему боком.

— Докладывай, Сусин! — прохрипел становой и шлёпнул себя нагайкой по голенищу. — Я знаю, ты не солжёшь.

— Я на старости лет бегу от греха. Это вот шайка греховодников на самоуправство народ соблазнила...

— Кто? Говори!

— А вот тут они... а с ними и лобовые арбешники... да сдуру пристали к ним не то ли что голытьба, а которые были пахари да самосильны хозяевы... Вон они!..

Он разгорячился и затрясся от злобы, а так как начальство слушало его внимательно и поощрительно, он задохнулся от мстительной радости и замахал руками. Становой грозно зарычал на него:

— Перед кем махаешь своими лапами? Стой чинно!

Но в этот самый момент Кузьярь вскочил на колени, выхватил из кармана голыш и бросил его в Максима, а сам опять растянулся на досках. Максим схватился за бороду обеими руками и, низко нагнувшись, завыл по-бабьи и отвернулся. Миколька, задыхаясь от хохота, катался с боку на бок. На выходку Кузьяря никто не обратил внимания, даже бабий вой Максима-кривого никого не встревожил: все следили за начальством и за Тихоном.

— Вот как я его прострочил! — ликовал Кузьярь. — Кабы не я, он всем бы петлю на шею накинул.

Миколька сквозь хохот дразнил Кузьяря:

— Он после этого ещё злее станет — наплачешься.

Земский властно пробурчал что-то становому и опять, как каменный идол в своём балахоне, грузно повернулся с боку на бок, оглядывая толпу из-под надвинутого козырька.

— Почему всешь, скотина? — прохрипел становой, бросаясь к Максиму. — Молчать! Перед кем дурака валяешь?..

— Ваше благородие... Камнями кидаются... убить хотели... Защитите, Христа ради!

— Кто камнями?.. Дурень, мерзавец!..

Земский строго приказал:

— Становой, допрссить его... да чтобы он не корчился... Он трусит перед толпой.

Он вынул из кармана какую-то бумагу и ткнул её Тихону.

— Это твои каракули? Твоя подпись?

Тихон покосился на бумагу и твёрдо ответил:

— Я писал, я и подписывался. И не один я там, подписалась и Татьяна Стоднева. Дело у нас было полюбовное.

— Да, когда вы её ограбили, готовую бумажку ты ей подсунил и под угрозой вынудил её подписать. Иначе она с Дмитрием Стодневым не возбудила бы жалобы. Это не просто грабёж от голодного брюха, а обдуманый сговор бунтовщиков.

— Аль мы не знаем, что земство хотело кормить голодающих? — с усмешкой проговорил Тихон. — А земству губернатор запретил вспомоществование мужикам давать. Значит, бедный да голодный ложись и умирай? Ну, а ежели мы в такой беде сами у мирода по вольному согласию лишний хлеб бедноте роздали, — это грабёж называется? Нет, это сам бог велел такое дело сделать. О барах-то начальство позаботилось: деньги-то крестьянские им потекли, а нам довольно и урядников, кулаков да гробов.

— Молчать, разбойник! — заревел становой, и лицо у него разбухло и стало багровым. — Ты и при нас народ бунтуешь.

Он взмахнул нагайкой и хотел ударить Тихона, но Тихон схватил его за руку и оскалил зубы.

— Ты, становой, со мной не шути! Напорешься!

Он дышал запалённо, а голая грудь в красных волосах и плечи поднимались и опускались порывами.

Вдруг земский всей своей глыбой двинулся вперёд, взмахнул перед толпой кулаком, словно хотел сразить её одним ударом, и скомандовал:

— На колени! Все! Приказываю именем государя императора. На колени!

Но никто его не послушался, только настала тяжкая тишина, как гнетущее предчувствие. В эти короткие секунды я пережил головокружительное ожидание какого-то неизбежного взрыва: вот-вот сейчас свирепо бросятся на толпу урядники с приставом и начнут чесать нагайками и шашками по головам сбитых в густую массу людей. Кузьяр прижимался ко мне дрожащим худеньким телом и судорожно шептал:

— Черти! Балбесы! Чего боками трутся, как бараны?..

Миколька лежал на животе поодаль от нас и украдкой поглядывал вниз с козырька крыши.

— Чай, вы не чудотворные иконы, чтобы на колени перед вами падать... — с угрюмой злостью прозвучал голос Олёхи-лобового.

Исай надорванной фистулой подхватил:

— Аль мы кандалные, аль крепостные, чтобы на колених перед барами ползать?

— Молчать! — рявкнул становой. — Мерзавцы! На колени, вам говорят! Урядники, в нагайки!

Земский начальник с неожиданной живостью поворачивался в разные стороны и властно кивал огромным картузом.

Толпа забурлила, заорала, замахала руками, вся двинулась назад к дощатой стене пожарной, когда на неё бросился становой с нагайкой наотмашь вместе с шайкой урядников. Но нагайки запрыгали в воздухе: в руки станового и урядников вцепились пальцы мужиков.

Тихон, брошенный полицейскими, кинулся в толпу, вышвырнул двух урядников в стороны и крикнул, как в кулачном бою:

— Не поддавайся, ребята! Руки коротки измываться над народом!

Филарет, как не в себе, стоял неподвижно, с застывшими глазами. Визжали женщины, кто-то из них выкрикивал истерически, толпа бурлила, рычала, слышалось кряхтенье, ругань, и мне чудилось, что трещали кости у людей.

— Ребята, слышали? — будоражно крикнул Тихон. — Власть-то нагрнула к нам, чтобы народ пороть... побольше в гроб загнать.

Мужики смелели и, как всегда бывает перед дракой, угрожающе заорали все вместе, не слушая друг друга. Я слышал истошные крики Исяя, Олёхи и визг Иванки Юлёнкова. Как-то незаметно отшиблись в сторону старики и растерянно покачивали головами. Но волнение охватило и баб: несколько молодаек бросились к мужикам. За ними шла Паруша и что-то басовито кричала им вслед с палкой наотлёт, то шагала за ними, словно подталкивала их, то останавливалась, не отрывая от них глаз. Среди этих молодаек я заметил и обеих снох Паруши. Лёсынька держала под руку Машу и смущённо улыбалась, а Маша, бледная, с широко открытыми глазами, шла, как будто обречённая на муку. Сначала я не видел среди них матери, но она вдруг показалась впереди, рядом с Катей. Катя тянула её за руку назад, но она шагала вперёд и, должно быть, не чувствовала руки Кати. Я вскочил на колени, замахал ей обеими руками и закричал шёпотом, про себя:

— Не ходи! Вернись! Тащи её, Катя, назад! Это не ватага! Здесь забьют до смерти!

И как будто обе они почувствовали мой крик: Катя обняла её за шею и повернула к себе, и мать словно очнулась от самозабвения и послушно побрела назад.

— Замолчать, бараны! — гулко скомандовал земский. — Запомним и дальше расследуем. Поводыри — на виду. И дорога им одна — острог. А вы, дурное стадо, немедленно возвратите хлеб, который вы заграбастали у Стоднева.

Толпа забушевала, и злобные крики заглушили голос земского:

— Нет у нас хлеба... Мироеда не обездолишь — он сам всех обездолил.

— Ни зерна не дадим — в избах крошки нет...

— Способие давайте! Где оно, способность-то голодающим? Начальство помещикам раздарило и себя не обидело...

— Нет хлеба... И куриным крылом ни зерна не наметёшь.

— Хорошо. Запомним. А сейчас... Арестованный Тихон Кувыркин! Выходи!

— Не выходи, Тиша!.. Он от обчества шёл, обчеству служил... Не давай, мужики, Тихона!

Земский уже с уверенным спокойствием приказал:

— Если Кувыркин не трус, он сам выйдет. А за ним выйдут для душеспасительного разговора и другие.

И опять вся толпа тяжко замолчала, но подошедшие бабы пронзительно закричали наперебой:

— Не выходите, ребята! И думать не думайте! Все они, супостаты, коварные!

На них с нагайкой бросился становой, и женщины быстро отпрянули назад. К нему подскочил один из урядников, а потом бегом пустился по луке к большому порядку. По дороге от дранки ехал отец. Он сидел на ворохе ольшевника, туго увязанном верёвками, и нахлёстывал лошадь зелёной хворостиной. Видно было, что он страшно испугался, когда увидел толпу у пожарной и жёлтую хламиду земского начальника. Он мог

проехать по той стороне, за гүмнами, но эта дорога была самой короткой. Урядник бежал наперерез и грозил ему кулаком: остановись, мол! Но отец нахлестывал своего одра, который едва переступал своими кривыми ногами, и я боялся, как бы он не грохнулся на землю от надрыва. Урядник подлетел к отцу, с размаху ударил его кулаком и вскочил на зелёный ворох. Отец съёжился и задёргал вожжами, сворачивая лошадь на луку, в нашу сторону.

— Ну и отличился, дядя Вася! — вскрикнул Кузьярь. — Розги-то сам для своих мужиков приволок.

— И вовсе не розги, — запротестовал я. — Это он ездил за хворостом на плетень.

— Ну и вёз бы по своей стороне... — надрывно забунтовал Кузьярь, готовый заплакать. — Зачем его чёрт понёс по нашей луке?

Перед этим неотразимым доводом я оказался беспомощным.

## XI

Когда подъехал отец, бледный, без памяти от страха, урядник сбросил его с воза. Земский скучным басом прогудел:

— Распорядитесь, становой!

Он грузно повернулся к своей блестящей коляске. Его жёлтый балахон спускался до земли, а огромная голова в дворянском картузе с ключьями бороды под ушами властно откинулась назад. Вслед за ним бросились становой с урядником и подобоострастно засуетились по обе стороны этой бычьей туши. Они подхватили его под руки и с трудом посадили на коляску. Земский ткнул пальцем в спину кучера, и тройка поскакала по дороге к длинному порядку.

— К Измайлову погнал, — пояснил Миколька. — Они — дружки. Оба — лошатники.

После отъезда земского начальника становой сразу как будто вырос и стал таким же властным и грозным, как и князь Васильчиков. Щёлкая себя нагайкой по голенищам, он прохрипел:

— Старшина, где твои понятые? Сотский, сюда!

Сотский вытянулся перед ним с ладонью у козырька.

— Немедленно приступить к экзекуции! Урядники, приготовьте свои нагайки. Старшина с понятыми и ты, сотский, выделите вожаков и поставьте их здесь, около меня, а остальных окружают урядники. Ни одна морда не смеет удрать из толпы. А старосте я бороду выдеру, когда возвратится из города: почему он улизнул именно в это время? Делай, старшина, что приказано!

Старшина, варыпаевский мироед, такой же, как Митрий Стоднев, воротила, бородатый, упитанный, в лёгкой суконной бекешке, в новом картузе и смазных сапогах, сначала со своими мужиками-понятыми держался в сторонке и скромно глядел в землю, поглаживая жирными пальцами широкую бороду на груди. Но я уже заранее знал, что этот именитый на всю волость кулак не пощадит никого из мужиков: ведь с Митрием Стодневым он заодно, у них все мужики — на аркане, а ворон ворону глаз не выклюнет. Понятые — сторонние мужики в домоганных рубахах и портках, в лаптях и такие же дохлые, как и наши бедняки, должно быть, батраки этого мироеда-старшины, — держались кучкой за его спиной.

Необычно тонким голоском он добродушно крикнул:

— Ну-ка, православные, начнём суд божий. Сотский, отгоняй к господину становому всех ослушников да смутьянов! А вы, урядники, потрудитесь царю-отечеству! Нагаечки свои спрячьте, а лучше палочьем почешем спинки наших бунтарей. У кого колья — ишь какие, с кольями! — отобрать!.. А ежели будут супротивиться — этим же колом и погреем их..

Сотский, уверенный в своей силе и неотразимости, потому что рядом было начальство, храбро зашагал длинными ногами к толпе и протянул руку, чтобы схватить кого-то из мужиков, но в тот же момент взмахнул обеими руками и грохнулся назад, к ногам старшины. Мы с Кузярём тоже вскрикнули от неожиданности и вскочили на ноги.

Становой рванулся к толпе и начал хлестать мужиков, которые стояли в первом ряду. Толпа невольно отпрянула назад, закипела, заволновалась и опять качнулась обратно, толкая упиравшихся впереди людей. С разных сторон закричали:

— За что? Это чего такое, ребята? Опять с нагайками на народ?

— Молчать, мерзавцы! — хрипло орал становой. — Мало вас учили — сейчас прусчу до кровавого поноса. Вы знаете меня хорошо: я шутить с вами не люблю.

— Да уж лучше нас никто тебя не знает... — зло откликнулся кто-то из толпы. — А сейчас руки коротки...

— Ты, становой, народ не трог! — закричал ещё кто-то. — Не в свой час прискакал!

— Урядники! Шашки наголо! — иступлённо хрипел становой. — Гляди в оба, никого не выпускать! При сопротивлении — бей! Шестеро — по сторонам, а шестеро — ко мне. Мужик! — обернулся он к отцу, который стоял около воза. — Тащи сюда лозу!

Но отец, бледный, с ужасом в глазах, прижимаясь к толпе, робким голосом пояснил:

— Это не лоза, ваше благородие, а ольшешник... Плетень хочу обновить на дворишке.

Кто-то издевательски упрекнул его из толпы:

— Постарался, Вася, с прутьями-то для общества... Только ведь ольхато для поротья не годится...

— Кому приказывают, мужик! — заорал становой на отца. — Сваливай! Будешь у меня год рукой!

Но отец совсем обалдел от страха: он осовело озирался, плаксиво морщился и никак не мог бросить вожжи. К нему торопливо просеменил Мосей-пожарник, без картуза, с лычком на голове и взял из его рук вожжи.

— Ты, Вася, сваливай прутья-то, а я лошадку подержу, чтоб не рванулась да не понесла...

И он подмигнул мужикам, как скоморох, а отца ткнул локтем в бок. В толпе засмеялись, но сразу же смех оборвался.

Отец с несвойственной ему юркостью бросился к толпе, врезался в неё с разбега и исчез в её гуще.

— Эт-то что за балаган! Опять ты, болван, шута горохового разыгрываешь? Я тебя первого выпорю.

Мосей поклонился в пояс начальству и кротко, без юродства и без страха проговорил:

— Ты уж, ваше благородие, на мне строптивость-то свою и сорви. Я уж за всех пострадаю...

Он кинул вожжи на спину лошади и распластался на земле вниз животом. Миколька подполз на четвереньках к краю крыши, потом так же, как Мосей, распластался на досках и обхватил голову руками. Он визгливо забормотал что-то и опять вскочил на четверки. Вдруг лицо его сморщилось от смеха, и он залюбовался отцом, словно знал, что Мосей выкинет сейчас ещё какую-нибудь диковину, которая испортит начальству всю музыку. Но становой замахал нагайкой и зашлёпал ею по спине Мосей, потом пнул его сапогом в бок и захрипел:

— Встать, скотина! Запорю! Я из тебя дурь-то выблю.



И он опять начал хлестать нагайкой Мосея и с размаху бить его сапогом. А Мосей молчал и только судорожно вздрагивал на земле. Из толпы вышел Олёха, подхватил подмышки Мосея, легко поставил его на ноги и отволоч к толпе. А он повизгивал сожалительно:

— Пушай, бай... сердце-то сорвал бы на мне... Людей-то всех и ми-нул бы...

Пристав вдруг как будто растерялся и начал оправлять свой белый китель. Он вынул револьвер и поднял его над головой. Сказал он спокойно, хоть и строго:

— Вот, глядите: всякому, кто позволит себе противодействовать мне или нападёт на урядников, всажу пулю в лоб. Поняли?

Но в этот момент Иванка Юлёнков, оборванный, опухший, подскочил, как безумный, к приставу и рыдающим голосом закричал, судорожно сжимая и растопыривая пальцы:

— Кто меня обездолил? Кто жизнь мою сожрал? Ты! Ты, душегубец!

Должно быть, приставу почудилось, что Юлёнков хочет схватить его за грудь. Он размахнулся и ударил его револьвером по голове. Юлёнков кувырнулся на землю, раскинул в стороны руки и омертвел. В толпе ахнули, завизжали женщины, и все бросились к телу Юлёнкова, позабыв об угрозе станового и не слушая его окрика: «Назад! Урядники, осадить!»

— Убил! — крикнул кто-то удивлённо, и этот голос подхватили и другие голоса: — Пристукнул!.. Башку проломил! Мужики! Глядите, убивать нас прискакали... Бей, а то нас перебьют...

Тихон вскинул обе руки вверх и скомандовал:

— Ребята, всем миром на них — отнимем у них стрелялки!.. Для них закона нет.

И толпа как будто ждала этого призыва: из её гуши рванулись несколько человек, за ними бросился на урядников и пристава целый гурт мужиков с кольями, с кулаками наотмашь. Урядники были смяты. Становой попятился и дрожащей рукой тыкал револьвером в разные стороны и хрипел:

— Застрелю! Назад! Стрелять буду!

Но его сбил с ног неожиданно вынырнувший Терентий. Пристав сначала пополз на четвереньках, потом вскочил на ноги и побежал по дороге к дедушкиной избе. Револьвера в его руках уже не было.

А толпа кипела, орала, всасывала в себя урядников и тормозила их, бухая кулаками. Они болтались, как чучела, и их серые лица окоченели от страха, но белки прыгали, как у затравленных волков. Тихон, весь оборванный, всклокоченный, суетился среди бушевавшей толпы, вырывал то одного, то другого урядника и выкидывал его, растерзанного, в сторону. Урядники убегали без оглядки.

— Хватит, ребята! Прогнали полицию и — живёт! Пускай полиция уносит отсюда ноги.

Исай надсадно визжал, налетая на Тихона:

— Как это не надо! Зверей быют, а они хуже зверей. Отмолотить, чтобы помнили... чтобы за версту народ оббегали...

Мне тоже было обидно, что урядников Тихон велел отпустить. Исай, по-моему, негодовал справедливо: их надо было проучить, чтобы не распоряжались в нашем селе, не издевались над людьми, которые обречены на голодную смерть и пережили страшный холерный год.

Кузьяр уже стоял у самого края крыши, размахивал руками и радостно покрикивал:

— Лупите их, чтобы к нам и носа не показывали!.. Гришку сотского проучите! Эх, удрал, собака! Прыгает длинноногая цапля с саблей!..

А Миколька лежал на животе и бил кулаками по доскам. Он трясся от хохота и тоже подзуживал мужиков и парней залихватскими выкриками.

Толпа обмякла и отхлынула. Урядники тут же бежали по луке к амбарам. В толпе хохотали, улюлюкали и свистели. Вслед им полетели растоптанные картузы.

Старшина с понатыми вынырнул из-за церковной ограды и цагал дадеко по луке к длинному порядку. Старухи и старики тодпились над телом Иванки Юлёнкова, опираясь на клюшки. Мужики возбуждённо переговаривались, пересмеивались, победоносно поглядывая на парней, которые бежали за урядниками, и врассыпную возвращались к пожарной.

Тихон поднял руку и крикнул:

— В других сёлах тоже бунтуют!

Отец выскользнул из толпы, подскочил к лошади, схватил её под уздцы и изо всех сил потащил на дорогу, заросшую травой.

Кто-то язвительно закричал ему вслед:

— Не горюй, Вася, что обчеству не послужил. Может, ещё чистой дэзы привезёшь да на счастье сам пороть нас будешь...

Отец надвинул картуз на глаза и начал зло нахлёстывать хворостиной горбатого овра.

Мы с матерью и Катей подошли к нашей избушке раньше отца: с возом ольшевника он застрял в прибрежных россыпях песку и долго, до надсады тормозился там.

Катя впервые встретилась с нами, но как будто совсем не обрадовалась, словно расстались мы с нею только вчера. В бабьей повязке кокошником, длинноногая, она как будто постарела на несколько лет и, казалось, забыла, какой она была в девках. Когда мы перешли через речку на нашу сторону вместе с её Яковом, она сердито приказала ему:

— Домой один иди! Мне с невесткой надо покалякать.

Яков засмеялся, сорвал с головы картуз и поклонился ей.

— Будь спокойна, Катерина Фоминична! — И с весёлой гордостью в глазах похвалились перед матерью: — Она у меня хозяйка строгая, нравом своевольная, да зато работница, распорядительница. Даже мои старики стонать перестают: поёт за работой и светится. Как же её не послушаться?

Катя шутиливо ударила его ладонью по губам и нарочно грубо прикрикнула:

— Ну, иди, иди, говорю!

Мать залюбовалась им, а Катя повернула его за плечи и оттолкнула от себя. Он молодецёвато пошагал по дорожке на свой верхний порядок.

— Парень-то какой у тебя хороший! — вздохнула мать. — Словно при тебе он другим человеком стал.

И верно, Яков совсем изменился: он как будто стал выше ростом, держался молодецёвато, чёрная бородка подковкой вокруг лица сделала его привлекательным, а коричневые глаза стали весёлыми, умно насмешливыми.

Мать последила за ним, а Катя спокойно и самодовольно проговорила:

— При силе да карахтере и лошадь плясать будет. Был бы разум да согласие, а там и горе с горы колесом...

— Наука-то парущина пользительна, — задумчиво пошутила мать.

— Я, невестка, всю судьбу сама нашла, никому не кланялась, долю свою сама везала. Я знала, где клад зарыт. Он, Яша-то, страсть какой умный да речистый! Он в книгах-то и Митрию Стодневу не уступит.

Она засмеялась и широкой ладонью провела по платку матери.

— А я и не думала и не гадала, что ты бабьи косы распустишь.

И сердито решила:

— Не жить вам здесь — опять на сторону удерёте. Вы оба здесь — как чужие. Ты ещё девчонкой со свахой Натальей по чужой стороне

счастья искала, ты и родилась на краю света — не деревенская кровь. А братка любит на дыбышках пофорсить. Ему на одной земле с тятенькой тесно. Деньжонки-то много ли с собой привезли?

Мать с болью в лице остановилась и вздохнула.

Катя отвернулась от нас и широкими шагами пошла навстречу отцу, который из лощинки вёл под уздцы горбатую от натуги кобылёнку с возом ольхи. Лицо у него было злое, но испуг ещё не растаял в глазах.

— Молодец, братка! — с задором похвалила его Катя. — И пощупать не дал прутьев-то и ускакал под шумок. Да и мужикам пару поддал: словно подстегнул их прутьями-то.

Весёлая похвала Кати и её неробкая стать крепкой и умной бабы встряхнули отца: он сразу же заулыбался и выпрямился.

Катя подмигнула матери, и я понял, что она нарочно подбодрила отца. Она очень хорошо знала его слабости и умела укрощать его крутой характер напористой лестью. Мать улыбалась и благодарно поглядывала на Катю.

Распрягая лошадь у дырявого плетня, отец строго, но уже нестрашно набросился на нас:

— Это вы чего, неслухи, к пожарной-то помчались? Чего там не видали? Захотели, чтоб вас там нагайками отхлестали? Ведь я не велел вам на шаг от избы отходить.

Мать безбоязненно возразила:

— Да ежели бы мы не пошли, тут бы урядники скорее нагайками исполосовали да ещё поплясали бы на нас, как вон Потапа замордовали.

Катя опять вмешалась в разговор.

— Они, как на свадьбу, прискакали — на тройке носились. На кого наскочат — давай нагайками щёлкать. Всех под веник к пожарной гнали. Уж на что я неподатлива, да и то побежала, зато и уряднику рожу набила.

Отец с самодовольной издёвочкой стал трунить над мужиками:

— Больно уж ума много у смутьянов! Осатанели от холеры да голодухи. Я-то вот не соблазнился на чужие мешки, да и ты ведь не позарилась...

Катя вызывающе засмеялась.

— И позарилась. На своём плече мешок принесла. Досадно, что раньше не догадались стодневские сenniцы разнести.

Катя попрежнему была откровенна до озорства, но сейчас в её словах слышалась умная убеждённость и что-то похожее на упрек отцу. И мне было непонятно, почему отец и она были разные люди и по характеру и по мыслям, хотя родились от одной матери и росли в одной семье.

Но понял я одно, что Катя пришла к нам не в гости, а помешать отцу выместить на нас с матерью своё унижение и конфуз. Хотя глаза её смеялись над ним нескрывтно, но он не замечал насмешки, а верил только желанным для себя лстивым катиным словам. Повеселевший и довольный, он даже по-своему ласково позвал меня скидывать ольшеник с передков. Мать с Катей ушли в избу, а я стоял на возу, сбрасывая прутья, и смотрел на ту сторону. Около пожарной никого уже не было, только Мосей, сгорбившись, топтался на одном месте, словно замороженный: должно быть, он скорбел над телом Иванки Юлёнкова.

*(Продолжение следует)*



---

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

## ОДИН ДЕНЬ

*Из записок агронома\**

**Р**анним утром в деревне тихо. Птицы в это время ещё молчат. Звук тракторов ещё не слышно: они на техническом осмотре и заправке горючим после ночной смены. И такая тишина стоит, что кашляет кто-то в километре, а слышно.

Накатанная дорога тянется ровными автоколеями посреди широкой улицы и кажется чисто подметённой. Грач-одиночка по-хозяйски идёт по дороге и что-то высматривает, изредка клюнет потерянное зёрнышко. Телёнок бредёт по улице и суётся к каждому предмету: о дерево почешет шею, о забор потрётся боком, у яруса строительных брёвен обнюхает торец сосны и лизнёт его, постоит немного и плетётся дальше. На грача он смотрит долго и внимательно, с каким-то не то недоумением, не то любопытством. А грач будто и не заметил потомка лучшей в колхозе коровы — прошёл мимо сосредоточенно и деловито; у раннего грача-разведчика хлопот много.

А больше никаких видимых признаков жизни на улице пока нет.

Ещё не сошёл с неба на западе серовато-мутноватый налёт, но зарево на востоке уже возвещает о близком восходе солнца. И всё живое молчит. Всё ждёт солнца, не нарушая тишины. Только разве петух на ферме спросонья прогорланит и захлебнётся, будто подавившись. Собратья отвечают ему нехотя и лениво: рассвело и без нас, дескать. И снова тихо, тихо.

Но вот груженная мешками семян автомашина выползла из-за угла зернохранилища, выбралась на дорогу, набрала скорость и засигналила телёнку. Тот повернул мордочку, стал попрочнее посреди дороги, наблюдая, что будет дальше. Конечно, машине дорогу он не уступил: видели, дескать, мы тебя на ферме — не удивительно! Пришлось шофёру аккуратно объехать упряма.

— Лена! — послышался негромкий голос с фермы. — Шалапут опять ушёл. Не видела?

— Во-он! По дороге плетухает, — ответил второй женский голос.

Девушка в белом халатике показалась со двора и направилась к телёнку, беззлобно разговаривая с ним на ходу:

— Опять удрал, Шалапут?.. Ну иди, иди, горе моё!

И снова тишина. Зарево на востоке всё краснее и ярче. И жизнь становится живее и живее. С ведрами прошла к колодцу женщина. Конюх потихоньку вывел на проводку жеребца-производителя; тот заржал голосясто и призывно, ему ответил голос молодой кобылицы. Тихой развали-

---

\* Публикуемый рассказ завершает цикл «Из записок агронома» (см. «Новый мир» №№ 3 и 8 за 1953 год).

стой походкой прошёл во двор пожилой колхозник с кнутом в руках. Все движутся медленно, спросонья, а говор — несмелый, тихий. Только где-то вдали крикнул пастух, выгоняя коров на первые выпасы: «Куда пошла-а?!» — и щёлкнул кнутом, рассекая тишину.

Никто пока не спешит.

И вдруг... лопнула тишина!

Застрекотал пронзительной пулемётной очередью пускач дизельного трактора, и звук его забарабанил по селу, несколько минут тормозил хаты, позвякивая в стёкла: и трещит, и трещит, и трещит. Так же сразу он умолк, а вслед за ним послышались сначала спокойные вздохи, а затем и ровный рокот дизель-мотора. Вот и ещё такой же пускач рассек воздух, и снова уже другой дизель заговорил баском на всё поле. Весёлым перебором ворвались в общий рокот колёсные тракторы ХТЗ.

День колхоза «Новая жизнь» начался. Ездовые заспешили во двор. Плотники застучали, зацпилили, и звуки топоров, застревая в общем потоке рокочущей волны, то терялись, то возникали снова. А весёлое весёнее солнце взошло и брызнуло на колхоз чуть тёплыми лучами.

Мне необходимо было провести этот день в бригаде Митрофана Андреевича Каткова. И я решил пораньше найти бригадира: днём трудно поймать его в поле на громадном массиве бригады в тысячу гектаров. Встретились мы в воротах бригадного двора.

— Доброе утро! — поздоровался он.

— Доброе утро!

— А я домой: на завтрак.

— Что так рано? Солнце встаёт, а уже и завтрак.

— У меня заправка такая: наряд — вечером, ранним утром — во двор, а потом — в поле, на весь день.

Мы договорились о плане наших поездок по полям. Вдруг, ни с того ни с сего, он взял меня за локоть и спросил:

— А ну-ка, Владимир Акимыч, скажите: что есть блин?

— Блин? — удивился я.

— Да, блин. Не знаете? Блин — залог здоровья. Солнце, воздух, вода и... блин! — Он весело расхохотался. — Пошли ко мне, зоревой завтрак учиним. Попробуете, какие блины умеет сотворять моя хозяйка. Пошли, пошли!

Я пробовал отказываться, упирался. Но где там! Он стал против меня, взял за пуговицу ватника и молча улыбался шустрыми чёрными глазами. Не пойти было невозможно.

Мы зашагали рядом.

— Значит, залог здоровья? — переспросил я.

— Именно. Эх, сколько этих блинов поедается всем колхозом! Уму непостижимо. Есть у меня в бригаде Прокофий Иванович Филькин. Вы-то его знаете хорошо. Так вот он-то умеет есть блины. Отлично умеет. Пригласила его как-то тёща в гости: «Приходи, дескать, Проша». «С нашим, — говорит, — удовольствием, мамаша». Завела она добрую дежу теста и стала его кормить, Прокофия-то. Стал он есть. Только блин со сковороды, а он его — трубкой. Раз в сметану и — в рот, целиком! Раз! И — в рот. Раз! И — в рот. Она печёт, а он на лету поедает их. Раз! И — в рот. Раз! И — в рот. Дежа кончается — такая дежа, что пятерым хватило бы. Умаялась тёща. Испекла она последний блин, сбросила со сковороды и говорит: «Ух! Как и не пекла!» А Прокофий Иванович-то вытер пот рукавом и отвечает: «Эх-хе-хе! Как и не ел!»

Я рассмеялся. Митрофан Андреевич — тоже. Трудно поверить, что вот этому весёлому, не по летам моложавому человеку сорок два года, что он четыре раза ранен во время Отечественной войны, что на его плечах —

тысяча гектаров земли и двести человек и что сейчас — разгар весеннего сева.

Мы подошли к дому Каткова. Это не просто хата, а четырёхкомнатный домик, крытый железом, с аккуратным палисадничком. Из трубы тянулся лёгкий дымок. А когда взошли на крыльцо, то запахло и блинами.

— Фрося! — приветливо крикнул хозяин, входя в комнату.— Вдвоём пришли завтракать.

— Пожалуйста,— ответила она.— Мне хоть ещё две. Хватит.

Помыли руки и уселись за стол. Катков шутил:

— Не знаю, как оно там по медицине, но если я с утра упакую дюжину блинков в полный диаметр сковороды да закантую поясом, то целый день — хоть бы что. Правильно, Фрося?

Ефросинья Алексеевна, наливая блин на вторую сковороду, ответила:

— Хвастаешь! Больше семи блинов не съедает.

— Ну, уж и нельзя лишнего прибавить.

Ефросинья Алексеевна улыбнулась и положила горячий блин на чистое полотенце, разостланное на столе.

Запах поджаренного круглого и пышного блина захватил всю комнату. Ну и запах! Недаром же вся улица пахнет блинами там, где их пекут. Опустить такой блин в миску со сметаной, положишь его в рот, а он так и дышит во рту! Вот уж, действительно, настоящие блины, какие не каждому доводилось есть.

Шипела сковорода. Потрескивало в печке. Хозяйка стояла к нам в пол-оборота, опершись на чаплик. Голова её повязана голубенькой, с цветочками, косынкой; лицо уже покрыл лёгкий весенний загар. Она первая прервала молчание:

— Я ведь, Владимир Акимыч, насилу приучила его питаться.— Она указала на мужа.— Бывало, вскочит чуть свет, схватит кусок хлеба за пазуху и бежит. Теперь налачился. Вы ему не верьте, когда он о себе говорит. Я-то его знаю. Пришёл вот завтракать, будто только и день у него начался, а сам на рассвете уже и в тракторный отряд на мотоцикле съездил, и на ферме побывал, и наряд проверил...

— Уважаемая Ефросинья Алексеевна! — шутивно-строго обратился к ней Митрофан Андреевич. — Не переходите на личности: аппетит понижается.

Позавтракали мы отлично. Я поблагодарил хозяйку.

— Мне-то куда сегодня? — спросила она у мужа.

Митрофан Андреевич схватился за голову обеими руками и воскликнул:

— Прорыв! Развал бригады! Гроб дисциплине! Своей жене забыл наряд дать. Подскажи, пожалуйста, сама. Не на огороды ли? Точно: туда.

Жена улыбалась спокойной улыбкой.

Мы вышли. На крыльцо медленно поднялся нам навстречу отец бригадира, Андрей Петрович. Волосы у него совсем белые, как молоко, борода подстрижена аккуратно, лопаточкой, а волосы — в кружок. Сразу видно — опрятный старик. Без малого девяносто лет имеет он за плечами, но видит и слышит ещё хорошо и не может не работать.

— Здравствуйте, Андрей Петрович!

— Здравствуй, детка! (Всех, кому меньше шестидесяти, он называет «детка».) А я вот, утречком-то, в огородике покопался. Я люблю — утром.— Он присел на лавочку.— Всё торопитесь. Весна... Хорошо — весна. Торопиться надо. Только вот не пойму одного: зачем перекрёстный сев? Для какой радости два раза по одной пашне ездить вдоль и поперёк: туда — полнормы семян, сюда — полнормы? Ну ладно, пушай урожай выше на полтора центнера, но узкорядный-то так же даёт, как и перекрёстный. Вот и делали бы узкорядные сеялки, а не гоняли тракторы

вдоль и поперёк. А то, вишь ты, — обратился он к сыну, — в одном месте не начинал сеять — теряешь половину урожая, а в другом — взад-вперёд, вдоль-поперёк, вдоль-поперёк! А гасу-то, гасу сколько попалят!.. Сколько раз я тебе, Митроха, говорил: «Брось ты эту затею! Не может быть того, чтобы наука гоняла тракторы туды-сюды». Узкорядные надо! Один раз сеять по одному месту.

— План есть на перекрёстный сев, папаша. План надо выполнять.

— «План, план»... Заладили, как сороки на суку. Ты, Митроха, смотри за этим — на то ты и партейный. Значит, если план подходящий для колхоза и государства, то делай, а если не подходящий — плюнь! Аль напиши им туда. — Дед махнул рукой вверх, туда, куда, по его мнению, следовало писать. — Право слово, верно говорю, — обратился он уже ко мне. — Мне — и то доходит, а вы должны душой болеть... Ишь ты! Вдоль-поперёк, вдоль-поперёк!

— Андрей Петрович, — сказал я, — пока нет узкорядных сеялок, надо сеять перекрёстно... Урожай надо повышать.

Он, задумавшись, смотрел в пол и сразу же согласился:

— Пожалуй, так. А насчёт узкорядных — напишите туда... Блинков-то поели? — по-стариковски перешёл он вдруг на другую тему.

— Сыты, папаша.

— Блинки — это хорошо. После них человек делается прочный, тугой. Ходит себе день-денской, до самого вечера... Ну идите. Торопитесь, неугомонные, торопитесь. — И он, побряхтывая, направился в хату, но в дверях повернулся к нам и сказал: — Митроха! Денька через два, а может и завтра, дождик должен быть. Налегни на сев-то.

— Вот тебе на! Глянуть на барометр, — забеспокоился Митрофан Андреевич. Он ушёл в хату, и тут же вернулся. — Да, давление падает.

— Ты на свою машинку смотри не смотри, а на днях дождю быть, — сказал Андрей Петрович.

— Как же это вы, Андрей Петрович, узнаете об изменении погоды? — спросил я.

— Э-э, детка! Давно уж я живу-то. По всем приметам узнаю. Ласточка идёт низом, значит — мошка летит низом. Это раз. — Он загнул костлявый палец. — Курица обирается носиком, перо мажет жиром. Это два. — Он загнул ещё один палец. — У курицы, значит, шишка такая над хвостом имеется, жировая... Свинья тоже чует, тело у неё зудит, чешется, она солону в зубах таскает. Животная, она чувствует. И человек чувствует. Только иной замечает, а иному — наплевать... И в сон ни с того ни с сего клонит, и, если по старости, кости ноют, и волос на голове не такой делается, и спина — того...

Андрей Петрович загнул уже несколько пальцев, а Митрофан Андреевич нетерпеливо поглядывал на меня и будто говорил глазами: «Разошёлся папаша, а времени у нас нет». Однако вслух он, обращаясь ко мне, заметил:

— Точно узнаёт папаша! Живой барометр.

— И лебеда тоже вот хорошая примета, — продолжал загибать пальцы Андрей Петрович. — Как снизу листочков слёзки пойдут, так и смотри другие приметы. Если все приметы сходятся, то уж хочешь не хочешь, а дождю быть... Примет этих много, детка. Много. — И он ушёл в сени, так и не разогнув пальцев, будто ещё и ещё вспоминал приметы и собирался фиксировать их на пальцах. Из сеней всё ещё слышался голос старика: — Дым примерно низом стелется, в трубу плохо тянет — тоже к дождю. Солнышко в тучи садится — жди мокрости. Много примет. Много! И всё правильные.

Мы сошли с крыльца.

— Теперь минут на десять завернём во двор. Могут оказаться отстав-

шие, надо их подтолкнуть,— сказал Митрофан Андреевич и ускорил шаг. — Громадный опыт у папаши,— продолжал он на ходу.— Интересно, почему учёные метеорологи не дадут научных объяснений народным приметам? Люди тысячи лет примечали: не можем же мы выбросить эти наблюдения.

— Практически мы их и не выбрасываем, но объяснить, конечно, надо бы метеорологам,— согласился я.

Войдя в ворота бригадного двора, мы увидели двух колхозников. Один из них, Витя-гармонист, осматривал колесо, а второй, тот самый Прокофий Иванович, запрягал лошадей. Митрофан Андреевич как-то сразу помрачнел и направился прямо к ним.

— До десяти стоять будете? — спросил он строго.

Витя-гармонист — с пышным чубом, в клетчатой кепке, заброшенной на затылок так, что, казалось, вот-вот она упадёт,— ухватил рукой обод колеса брички и потряс его.

— Обратите внимание, Митрофан Андреевич: разошлось. Разваливается. Виляет по дороге восьмёркой. Не колесо, а вальс «Разбитая жизнь». Не по моей вине задержался — ищу колесо.

— А почему допустил до этого? Ты ездовой. Разве раньше не видел, что колесо надо перешиновать? Тебе что: няньку на бричку надо? — Митрофан Андреевич засыпал Витьку вопросами так, что тот не сумел ничего ответить и стоял, вытаращив свои большие голубые глаза, будто недоумевал и собирался сказать: «А ведь и правда — я виноват! Как же это я так?» Но он ничего не сказал в оправдание, а только привёл кепку в надлежащее положение и спросил:

— Ну, а сегодня-то как же?

— Сегодня получишь штраф в один трудовень за халатное отношение к колхозному имуществу. Третий раз уже тебе замечая, теперь придётся штрафовать. Колесо возьмёшь новое. Отправишься немедленно в поле. Завезёшь в кузницу старое колесо... Эх ты!.. «Разбитая жизнь»!

— Ну, вот! Скорей уж и штраф. Безо всякого подходу... Я человек старательный, а ко мне без всякого убеждения. Возражаю.

— Уже третий случай с тобой. Хватит! Убеждал, убеждал, а ты теперь и с колесом допустил. То постромку потерял, то на «Разбитой жизни» едешь.

Витя немного подумал и сказал:

— Исправлюсь. Клянусь инструментом! — И он постучал по ящику с баяном, который стоял в передке брички.

Митрофан Андреевич посмотрел на баян, потом на Витьку, брови его вздрогнули, в глазах появилась чуть заметная улыбка.

— Клянёшься? — спросил он.

— Не повторяю. Сказал твёрдо.— Витя ткнул себя большим пальцем в грудь.

— Ладно. Но только в последний раз. И кроме того — музыка музыкой, но среди бела дня не баловать, а работать.

— Днём настроения быть не может.

— Что ж ты, играешь только ночью?

— Да, вечером или ночью. «Каприччио» разучиваю.

— И как оно?

— Получается.

— Вот с колесом только не получается.

— Проза,— возразил Витька и закинул ногу на ногу, опершись на бричку.

— Да ты что на одной ноге стал? Или думаешь до обеда стоять? Я с тобой уже пять минут потерял.

— Я что? Я ничего. Вы же сами музыкальный разговор затеяли.



— На́ ключ от сарая! Бери колесо.

— Момент! Один момент, и Витька будет в поле.

— Ну куда побежал? (Витя с разбега остановился и обернулся к нам.) Наряд возьми в кузницу. Колесо не примут без него.

— Не учёл. Есть, наряд взять в кузницу.

Митрофан Андреевич развернул блокнот, положил его на грядущку брички и быстро написал наряд. Он подал листок блокнота Витьке, и тот ринулся в сарай, выкатил новое колесо, действительно моментально заменил старое и выехал со двора, снова забросив кепку на затылок.

— Ох, Витька, Витька! Горе мне с тобой,— вполголоса сказал бригадир, глядя ему вслед. — Парень окончил семилетку, а места не найдёт. В сельскохозяйственную школу отказался наотрез, в техникум ни под каким видом не хочет, а зарубил одно: в музыкальное училище.— Он помолчал.— Наверно, надо правлением хлопотать да определять его по музыкальной линии... Всё равно уйдёт сам. Ну, этот с большим талантом, у него балалайка, и та плачет... А все остальные тоже уходят. Как только окончил семилетку, так и до свидания: поминай, как звали! Из всего колхоза один Петя Федотов агрономом будет, а другие — кто куда. Даже обидно: семилетка в колхозе, а по сельскому хозяйству не учат. Только и знаний дают, как фасоль прорастает. С детства отбивают интерес от поля: выходит парень из семилетки и ни бельмеса не соображает ни в полеводстве, ни в животноводстве, ни в технике сельского хозяйства.— Митрофан Андреевич с досадой стукнул блокнотом о ладонь и заключил: — Честное слово, напишу в Цека партии по этому вопросу.— Вдруг он спохватился и глянул на ручные часы.— Уже больше десяти минут торчим здесь, а он всё запрягает,— и кивком головы указал на Прокофия Ивановича.

Прокофий Иванович — мешковатый на первый взгляд, тучный мужчина лет пятидесяти, с круглым красным выбритым лицом — медленно обходил вокруг брички. Он неуклюже переставлял мощные ноги и ощупывал колёса, постромки, поправлял хомуты, трогал вожжи. Всё как будто бы было в порядке, но он снова принимался просматривать, ощупывать, что-то всё-таки прилаживать и поминутно каким-то полусонным голосом говорил:

— От ты, ёлки тебе зелёные!

— Что он медлит? — спросил я потихоньку у Митрофана Андреевича.

— Ему стронуться с места труднее всего на свете.

— А вы пошевелите его пострее...

— Этого нельзя. Я его отлично знаю: растревожь с утра, так целый день будет мучиться. Но уж если начнёт работать, то... В общем, сами увидите.

Однако Катков не выдержал и двух-трёх минут и обратился к нему:

— Прокофий Иванович! Что у вас там?

— Хомут, — многозначительно ответил тот.

— Что — хомут?

— Не видишь: с Великана хомут.

— Великан захромал.

— Знаю — захромал... От ты, ёлки тебе...

— Ну?

— Что — ну? Другого коня дал конюх вместо моего. Сам знаешь.

— Так что ж тут такого? И поезжайте.

— А?

— Поезжайте, говорю, быстрее: спешить надо. Потник под хомут вчера подшили, подогнали хорошо.— При этом Митрофан Андреевич

потрогал хомут, сунул под него ладонь. — Хорошо сидит хомут. Не задерживайтесь.

— От ты, ёлки зелёны! У меня лошади не парные, а я сломя голову скачи. Надо всё проверить, приладить и... этого... Великана посмотреть. Ты посмотри сам. Может, лечить надо, а я уеду и не узнаю. А потом ты же и скажешь: «Прокофий, мол, такой-сякой». — Говорил он всё это будто нехотя, с расстановками, без жестов и, казалось, обдумывал каждое слово.

Наконец терпение бригадира иссякло.

— Да до каких же пор стоять-то будешь?

— Великана посмотри, — всё так же невозмутимо отозвался Прокофий Иванович.

— Тьфу! — плюнул Митрофан Андреевич и, отвернувшись в сторону, сказал: — Веди Великана! Я и без тебя его смотрел и знаю, что с ним.

— А то при мне посмотри. Лошадь, ёлки зелёны, любит хозяина... А я, ёлки зелёны, должен целый день думать, что с моей лошастью. — При этом он, казалось, пытался сойти с места, но это далось ему нелегко.

— Да веди же лошадь! — слегка повысил голос Митрофан Андреевич.

— Что ж ты сердисься? Тут без никакого сердца. Лошадь за мной закреплена, я на ей пять лет работаю. Как это так: сел — и уехал? Лошадь, она, ёлки зелёные... как бы, например, к человеку приставлена.

— Прокофий Иванович! Ей-богу, не выдержу! — воскликнул Митрофан Андреевич.

После этих слов Прокофий будто и чаще зашевелил ногами, но зато шагжки его стали мельче, и никакого ускорения не получилось — одна видимость. Наконец он вывел прихрамывающего Великана. Митрофан Андреевич поднял большую ногу лошади, зажал её меж колен и заговорил сдерживаясь:

— Плоское копыто. Намяла под стрелкой, ковать надо на войлок.

— Вот и я так думаю. Правильно.

— Подкуём завтра утром.

— Кто?

— Кузнец, конечно.

— А кто поведёт?

— Конюх.

— Не-е! Я сам. Пиши наряд! Завтра чуть свет сам поведу в кузницу.

— Ох! — вздохнул бригадир. Он написал наряд и вручил его Прокофию Ивановичу. — Ну теперь-то всё?

— Всё, — утвердительно ответил тот. Он аккуратно сложил наряд вчетверо, положил в полинялую кепку, надвинул её прочно и полез в бричку. Наконец тронул лошадей, но они, чуя характер ездового, тоже не спешили. И уже через десяток метров Прокофий Иванович остановил их: — Тпру! Елки тебе зелёные!

Теперь он сдвинул кепку логонько на лоб, почесал затылок. Оглянулся на нас. Посмотрел на лошадей. Потом снова в нашу сторону и... продолжал стоять, пока не увидел мальчика у ворот.

— Пашка-а! — крикнул он.

— А-а?

— Иди-ка!

Мальчик подбежал и спросил:

— Чего вам, дядя Прокофий?

— Поддай-ка сумку с продукцией. Вон она лежит. Заторопился — забыл.

Паша подал объёмистую сумку, а Прокофий Иванович тронулся наконец с места.

— Как уж это начнут торопить, как начнут, то обязательно, ёлки тебе зелёные, забудешь чего-нибудь... Но-о! Заснули-и! — Он слегка взмахнул кнутом, который у него был только для видимости (лошадей он никогда не бил), и выехал за ворота.

Громкоговоритель отбивал поверку времени. Митрофан Андреевич заторопился.

— Семь,— сказал он.— Задержались немного.— Он быстро выкатил мотоцикл из сарая и сразу повеселел.— Вот машина незаменимая — ИЖ-49. Три подарка нам от советской власти в последние годы: самоходный комбайн, мотоцикл ИЖ-49 и... автомашина «Москвич». — Последнее слово он произнёс с лёгким вздохом.

Никаких средств передвижения Митрофан Андреевич не хочет знать, кроме мотоцикла (хотя на «Москвич» уже собирает деньжата). Он не просто ценит мотоцикл как машину — он его любит. Вообще, Катков к машинам равнодушен. Зная эту его слабость, я прислонил ладонь к рёбрам охлаждения мотора — он был горячим — и подумал: «Э-э! Да он и правда полполя объездил ещё до солнца».

— А заводить будем полчаса? — пошутил я.

— Он у меня и холодный заводится, как часы.— В словах его послышались ревнивые нотки.

Митрофан Андреевич слегка — совсем маленечко — надавил педаль стартера, не прикасаясь руками к мотоциклу, и мотор заработал так, будто только и ждал хозяина: тихо похлопывая и слегка вздрагивая.

Я сел на заднее сиденье, и мы помчались в поле. Но около зернохранилища нам замахали руками, закричали, требуя остановки. Сильнее всех кричала Настя Бокова:

— Стой! Подожди! Митрофан Андреевич! Сто-ой! — Она стояла в кузове автомашины и махала платком.

Мы завернули к зернохранилищу.

— Что у вас тут? — спросил Митрофан Андреевич.

— Не тут, а там, — указала рукой Настя в поле. Она — сильная, раскрасневшаяся от возбуждения — была, видно, не в себе.

— Что — там?

— Беда, Митрофан Андреевич...

Отец Насти убит в боях во время Отечественной войны, мать вскоре после этого умерла, а Настя осталась десяти лет сиротой. Взял её к себе тогда Прокофий Иванович Филькин, который после ранения остался «по чистой»; воспитывал, как мог: брал ежедневно с собой в поле, ещё девчонку научил работать косой, топором, управлять лошадьми, а к семнадцати годам Настя уже умела делать любую мужскую работу. Теперь ей уже двадцать лет, и она живёт в своей собственной хате, что осталась от семьи. Но Прокофия Ивановича любит, как родного отца. Колхоз для неё — родной дом, но вот только не любит Настя женской работы, не любит полоть тяпкой, сажать овощи, вязать снопы; во время сенокоса она косит наравне с мужчинами, во время сева и уборки грузит зерно, иногда подменяет Прокофия Ивановича, когда тому надо отлучиться, и работает на его лошадях. (Кроме неё, он никому не доверяет своих лошадей, а из колхоза отлучается лишь в самых исключительных случаях.) Вообще-то Настя собирается быть шофёром. Сейчас она работает пружиком на автомашине и ещё с рассветом начала развозить семена по тракторным сеялкам.

— Митрофан Андреевич, дизельный стал — авария, — тихо произнесла Настя.

Первая песенница и шутница на селе, она и «Барыню» откаблучит так, что парни за затылки хватаются, и «Русскую» выбьет с дробью — головой закачаешь. А сейчас не узнать Настю.

Митрофан Андреевич нахмурился и посмотрел на запад, где плотные кучевые облака вылезли ватагой. Он буркнул потихоньку:

— Вот, чёрт возьми!

— Давай в отряд! Скорее! — сказал я.

— Всё теперь пойдёт вверх ногами на весь день, — возмутился бригадир. — Перекрёстного посеяли половину, а половина осталась. Пойдёт дождь — беда. — Он завёл мотоцикл и с ходу набрал скорость.

Через несколько минут мы были в отряде. Тракторная будка прилепилась в вершине лощины, в затишке. Около неё стоял гусеничный трактор ДТ-54 с отнятым картером. На гусенице рядышком сидели два тракториста — Костя Ключев и Илья Семёнович Раклин. Раклин сосредоточенно курил, а Костя держал в руках аварийную деталь и поругивался про себя чуть слышно.

— Что? — спросили мы оба сразу.

— Нижнюю головку шатуна разорвало. Картер пробило, — ответил Илья Семёнович. Голос у него с хрипотцой. Он работал в ночной смене: весь вымазан в нигроле, глаза от бессонной ночи красные.

— Что ж стоять? — загорячился Катков. — Снимайте головку, вынимайте поршень. Надо шатун заменять тоже... Чёрт возьми, и картер везти в эмтээс — сажать латку... Тьфу! Не меньше как на двое суток вышел из строя. Чего же стоите-то?

Илья Семёнович выслушал Каткова и так же сосредоточенно и спокойно ответил:

— Авария серьёзная. Без старшего механика даже бригадир отряда не имеет права разбирать трактор в таких случаях. — Он указал кивком головы на будку. — Слышите?

Из будки было слышно, как кто-то вызывал по рации:

— Урожай!.. Урожай!.. Урожай!!! Чёрт возьми!

Мы вошли с Катковым в будку. Около рации стоял вполоборота к нам бригадир тракторного отряда Федулов.

— Урожай! Ну, Урожай же! Урожай! — Он пристукивал при каждом слове гаечным ключом по столу. — Урожай!.. Тоня-а! — вскрикнул он вдруг и бросил ключ на стол. — Тоня! Где ты пропадала, чёрт возьми?

Рация отвечала граммофонным звуком:

— Я тебе, Василь Васильич, не Тоня, а Урожай. И ключом по столу не стучи. Если все так будете стучать, то связь невозможна.

— Да я же полчаса стою, как дурак...

— Я в этом не сомневаюсь.

— У меня авария, а тебе шутки.

— У меня сегодня вторая авария. Если мне с каждым плакать, то глаза высохнут, тебе же хуже будет, а рация охрипнет от мокрости. Кого тебе?

— Старшего механика. Поскорей, пожалуйста.

— Сотая доля секунды! — ехидничал граммофонный голос дежурной Тони. Потом слышно было, как она крикнула: — Иван Васильевич! У Федулова авария. — И, пока все ожидали механика, Тоня спросила: — Вася?

— А? Я, — ответил Федулов и оглянулся на нас.

— Раскис? Ава-ария-а! — И слышно, как она стучала по столу, подражая ему. — Не капризничай, Федулочка! Иван Васильевич вылечит.

— Не вылечит так скоро. Дело серьёзное, — всё ещё угрюмо возражал Федулов.

— А ты ляжь вверх животом на пашню и кричи караул... Ей-богу, поможет.

Федулов улыбнулся и снова посмотрел в нашу сторону.

— Тебе шутки, а у меня в одном дэ-тэ двадцать процентов всей силы отряда.

— Что там у тебя стряслось? — слышался в радиации голос старшего механика.

— Картер пробило. Нижнюю головку шатуна, в третьем, разорвало.

— Не может того быть! — воскликнул механик. — Сейчас выезжаю. Через двадцать минут буду.

Я подошёл к радиации и вызвал:

— Урожай!

— Я Урожай, — ответила Тоня. — Кто?

— Луков.

— Здравствуйте, Владимир Акимыч!

— Здравствуй, Тоня! Позови-ка быстренько старшего агронома, Михаила Петровича.

— Он здесь. Собирается уезжать. Сию минуту!

— Я слушаю, — вскоре отозвался и Михаил Петрович.

— Дизельный вышел из строя суток на двое. Делаю перегруппировку отряда: два ха-тэ-зэ прекратят культивацию, дадим каждому по одной сеялке и будем продолжать перекрёстный в течение суток. В графике сделаю соответствующее изменение.

— Свет для ночного сева будет на обе сеялки?

— Отвечай, Василий Васильевич, — обратился я к Федулову.

— На одну не будет, — ответил он.

— Сделаешь свет, — сказал Михаил Петрович.

— Да ведь фары нету! — воскликнул Федулов.

— Возьмёшь в восьмом отряде и сделаешь свет, — повторил твёрдо Михаил Петрович, а мне сказал: — С перегруппировкой согласен, внесите изменение.

Потом всё притихло.

Федулов как-то смущённо повёл могучими плечами, провёл по чёрным волосам ладонью ото лба к затылку и задумчиво посмотрел в окошко.

Катков, наоборот, чуть просветлел и обратился ко мне:

— А Михаил Петрович — толковый агроном! Сразу понимает дело, с полуслова понимает.

Федулов зашёл за будку, будто спрятался, но не прошло и двух минут, как оттуда рявкнул заведённый мотоцикл. Он выехал из-за будки и сквозь треск мотора крикнул:

— Доеду в восьмой отряд. У них один трактор стоит, фару возьму на ночь. Приедет механик — снимайте головку, вернусь быстро.

— Подожди-ка, Вася, — сказал Катков, сделав ему знак заглушить мотор.

Стало снова тихо.

— Ты сперва напиши трактористам распоряжение. А то уедешь, а я буду с ними договариваться полчаса. Пиши.

Федулов положил блокнот на бачок мотоцикла, написал распоряжение и вручил его Каткову. Затем он умчался, а Катков посмотрел на часы и сказал:

— Без десяти восемь. Едем? — спросил он у меня.

Я не ответил и смотрел на Илью Семёновича Ракина. Тот, как сидел на гусенице, так и заснул, откинув голову и прислонившись к капоту двигателя. Костя заметил мой взгляд и сказал:

— Он уже две ночи не спавши... И третья не предвидится. Так вот, меж делом, заснёт на ходу...

— А ты? Ты же подсменный.

— На втором дизеле тракторист болен. Мы втроем — на двух тракторах — днём сеем, а ночью культивируем... И сам Федулов сегодня ночью работал, не спал ни вот столечки, — и Костя показал самый кончик ногтя.

— Ты-то тоже не спал сегодня?

— Я что, я могу, — угрюмовато ответил он и вздохнул, глядя на кусок головки шатуна, который он продолжал держать в руке. — Вот горе-то наше! И надо же ей лопнуть сегодня! Подождала бы недельку... Ведь оно ж вон сколько кругом не сеяно!.. Смотрите! — Костя протянул мне кусок головки шатуна. — Раковина, заводской дефект. Я тут ни при чём...

— А сколько, по-твоему, придётся стоять?

— Да сколько? Картер в эмтээс везти надо. Гильзу новую надо. Поршень, шатун. Если всё это есть, то... кто её знает, а если нету, то тогда — я уж и не знаю.

Катков рванулся в будку, и оттуда было слышно, как он говорил по радию:

— Урожай! Урожай? Тоня! Узнай срочно: есть ли для дизеля запасные детали: гильзы, шатуны, поршни.

Через несколько минут Катков вышел из будки.

— Всё есть, — сказал он.

Костя несколько повеселел. Он зашёл вперёд трактора, похлопал по радиатору и сказал, как живому:

— Ну ты, инвалид! Ничего, ничего.

На душе стало немного легче, и мы с Катковым помчались переводить ХТЗ на сев. По дороге встретила нам автопоходная мастерская. Наверно, механик разыскал её в массиве по радио и направил сюда. Нам стало веселее. Митрофан Андреевич прибавил скорость и по-мальчишески крикнул:

— Держись, Владимир Акимыч!

В ушах засвистело. Борозды пошли вкруговую. Автоколея, по которой мы ехали, набежала на нас узкой лентой и проваливалась под мотоцикл, как молниеносный конвейер; а та колея, что рядом, бежала в противоположную от нас сторону. Никаких толчков — так мягко в езде ИЖ-49.

Митрофан Андреевич что-то подпевает в тон мотоциклу, но что — разобрать трудно. А телеграфные столбы несутся к нам редким частоколом. Каждый из них, проскакивая мимо мотоцикла, кажется, чуть сваливается в сторону, и звук мотора ударяет о столб хлёстко и звонко: ж-жих! И проскочил. Ж-жих! И проскочил.

Но вот близ дороги стоит трактор. Тракторист кончил загон пахоты и, видно, собирается переезжать в другое место. Мы остановились около него. В середине загона пахота была отличной — чёрная пашня лежала без единой полоски огрехов. Но края пахоты пестрели «облизайми»; треугольнички незапаханной стерни, похожие на балалайки, и канавки от небрежных заездов уродовали вид пашни. Иной бригадир, глядя на такое, будет кричать на всё поле, выходить из себя, а бываёт — что там грех тайть! — и выражаться начнёт чёрным словом, для крепости. «А как, — думал я, — отнесётся к этому Катков?»

Митрофан Андреевич сдвинул фуражку на лоб.

— Та-ак...

Он бросил пристальный взгляд на тракториста, ухмыльнулся и с хитровой улыбкой весёлостью крикнул:

— Здорово, Лёня-а! Как спалось?

— Я пахал ночью, — ответил Лёня. Мальчик он молодой, лет девяти-пятнадцати; над губой — пушок, вымазанный с одной стороны автолом.

Невысокого роста, плотный, он смотрел недоверчиво на Каткова. — Вон сколько напахал! А вы — «спалось»!

— Значит, всё отлично?

— Отлично. Пахота — во! — Лёня поднял большой палец и вытер рукавом лицо, от чего оно стало ещё грязнее.

В его покрасневших добродушных глазах исчезла искорка недоверчивости, они прямо-таки подкупали, и мне стало жаль юношу. Боялся я острого на язык Каткова... Только, как оказалось, напрасно боялся.

— А что я хотел у тебя спросить?.. — продолжал Катков серьёзным тоном.

— Что?

— Если я сошью тебе первейший из всего колхоза кожух... Чёрной дубки или хромовой, как шёлк, выделки, из самой лучшей овчины... — Он щёлкнул пальцами и вытянул ладонь, будто кожух уже висел у него на руке.

— Ну?

— Подожди — я договорю. Сошью такой вот кожух, а воротник и опушку сделаю от старой, дохлой, полинялой козы... Будешь носить такой кожух?

— Не. Не буду. Это, может, дурачок какой будет носить. А зачем портить дорогой кожух? Лучше уж не шить совсем.

— А ты-то именно так и сделал! Сшил дорогой кожух, а опушку — от облезлой козы. — И он показал Лёне на балалайки, канавки, валики, в общем, на всю «опушку».

Лёня слегка покраснел, сделал движение локтями, будто почесал бока, и не нашёлся, что ответить.

— Ну хорошо, а как ты думаешь — моя учётчица примет от тебя такую пахоту? Нет, не примет. И я акт не подпишу.

— Значит, пропахал задаром всю смену? — нерешительно спросил Лёня.

— Благо, ты первый сезон работаешь, а то бы припечатал я тебе расход. Теперь уж не знаю, как быть... Что Владимир Акимыч скажет, так и будет. — И он пошёл к мотоциклу, посвистывая, будто ему то, что я скажу Лёне, вроде бы и неинтересно.

— Опаша края хорошенько, — сказал я Лёне. — Сейчас опаша, пока старший агроном не проезжал. А в следующий раз без контрольной борозды не начинай пахоты. Сперва поперёк краёв борозду пройди, а потом и начинай. Плуг будет сразу входить в пашню. И... опушкой не будешь портить кожух.

Лёня улыбнулся.

— Опашу. Прямо сейчас и опашу. — И он облегчённо вздохнул.

Мы поехали дальше. Я оглянулся и увидел, что Лёня, держа в руке шапку, смотрел нам вслед. Ну, этот ещё молод, начинающий!.. А ведь многие трактористы, и научившись отлично обрабатывать землю, не считают нужным заправить края пахоты или сева, привести в порядок до рогу около пашни. Едешь потом близ такого посева и видишь: в середине — отличный хлеб, а с краю — бурьяны да канавы. Бьются бригадиры полеводческих бригад над этим вопросом, спорят, доказывают, настаивают, но «балалайки» — нет-нет да и выскочат над дорогой. Ну и здорово же придумал Катков — с кожухом!

Оба ХТЗ мы перевели на сев без задержки и направились на посадки лесополосы — за девять километров от села, на границу землепользования колхоза.

Снова засвистело в ушах, снова — поля, поля. Кажется, и нет края этому могучему простору. Бескрайность колхозных полей в степи черно-

зёмной зоны поражает не только человека, впервые увидевшего поле. Этот простор удивляет и того, кто в поле встречается и провожает каждую весну. Удивляет потому, что редко встречаются люди без машин. То встретите деловитый ДТ с сеялками или культиваторами, торопливо перебирающий гусеницами, будто спешащий поскорее охватить этукую громадину — поле, и кажется он рачительным хозяином, главным из всех тракторов; то вдруг из-за пригорка вынырнет поджарый тракторчик У-2 и спешит, спешит, старается изо всех сил с одной сеялкой; или старичок ХТЗ, доживающий в труде последние годы, ползёт со своим отвислым животом-картером, опираясь на неуклюжие колёса, и урчит, урчит себе по-стариковски, напоминая о том, что он совсем недавно был лучшим из всех марок тракторов (теперь уже таких не делают). И снова ДТ — такой молодчина-трактор!

На каждом прицепе — один-два человека, не больше. Так мало людей, и так много земли они засевают. Поразительна сила машины в наше время! Люди управляют машинами и сами подчиняются ритму техники. Разве только на склонах, над яром, да на огородах увидите отдельные группы людей — на ручной работе, а так везде машина, машина! И уже много лет мы видим такое, а — поди ж ты! — радостное удивление возникает снова и снова, когда весна приходит с птичьим перезвоном в поле, когда тракторные будки лепятся в затишке лощины под огромным голубым небом.

Мы оставили мотоцикл на дороге и пошли через пашню к месту лесопосадок пешком. Это близенько, метрах в ста пятидесяти от места остановки. Митрофан Андреевич мне сказал, указывая на лесопосадки:

— Дедовская «техника» из одиннадцати деталей.

— Как это? — не понял я.

— Очень просто. Лопата плюс десять пальцев. — Он чуть помолчал и добавил: — Одну бы лесопосадочную машину на эмтээс — и вполне достаточно. Вот буду сидеть целую весну на посадках всей бригадой, а плана всё равно не выполню. Не успею.

— Надо успеть.

— Это ты, Владимир Акимыч, по обязанности говоришь. Давай по душам говорить.

— Давай.

— Почему наш колхоз имеет хорошие посадки, мы знаем оба. Сажаем столько, сколько осилим прополоть. Почти ежегодно не выполняем плана, а лесополосы хорошие и — много. Бьют нас за это и в хвост и в гриву, а лесополосы есть. Но почему же в большинстве колхозов района посадки — не посадки, а рассадник бурьянов? Вот и вы, небось, скажете: «Секретарь колхозной партийной организации товарищ Катков, а говорит не так, как надо». Пойдите, пойдите! Дайте — сам буду отвечать, — заторопился он, будто боясь, что я снова буду говорить «по обязанности». — Да потому, что спустят — понимаете? — он засмеялся, — спустят план в двадцать гектаров на весну, доведут — понимаете? — доведут саженцы до колхоза этак тысяч на двести, и — выполни! Выполняют старательно многие. Сажают до июня месяца, когда уже и саженцы распускают листья и земля просохнет. План-то выполняется, а леса нет. Так я ответил или не так?

— Что ж тебе сказать, Митрофан Андреевич? Говоришь ты правильно. И то, что лесопосадочные машины есть замечательные, а у нас в эмтээс — ни одной, это тоже правильно. Но то, что они будут в каждой эмтээс, — за это ручаюсь — тоже правильно. И сажать лес в поле мы будем. Никто и никогда не отменит учения Мичурина — Докучаева.

— С этим я согласен на сто процентов. Но только, думаю, промахи есть в этом деле большие. Денег ухлопываем по району уйму, а дело с



лесозащитными полосами в колхозах — не ахти как ловко. — Митрофан Андреевич помолчал — Я вот думаю написать и министру машиностроения...

— О чём?

— О чём с неделю назад говорили: о навозоразбрасывателях, о туковых сеялках. Ведь этакая машина навоза пропадает зря только потому, что не успеваем его внести «машинкой в одиннадцать деталей...» А удобрений разбрасываем так, как сеяли сто лет тому назад, при царе Николашке, — из лукошка. Понимаете ведь — невозможно! — Лицо Каткова вспыхнуло, он рубил ладонью воздух при каждом вопросе. — Как же вы думаете, товарищ министр, с этим делом? Нет, не писать об этом невозможно, Владимир Акимыч!

— Надо писать, — подтвердил я. — Напишем вместе.

Мы подошли к лесопосадочным звеньям. Женщины работают здесь уже несколько дней. Мы поздоровались. Все ответили приветствиями, сразу же окружили нас кружком и заговорили в несколько голосов, разом:

— Саженцы кончаются.

— Вода на исходе!

— Без поливки сажать или нет?

— Митрофан Андреевич! Хвист приедет?

Митрофан Андреевич замахал руками, затем приставил к ушам ладони трубочкой, повернулся в кругу женщин и тоже закричал:

— Ничего не слышу! Не слышу! Громче!

Женщины засмеялись. А он уже спокойно, без шутки, говорил:

— Поодиночке, не все сразу.

Но он всех услышал и всех понял. Он привык слушать хоровой разговор колхозниц, которые часто высказываются все вместе, но замолкают, если предложить выступать поодиночке. Не дожидаясь возобновления вопросов, он ответил:

— Саженцы и воду привезёт автомашина в обеденный перерыв. Без полива не сажать. Товарищ Хвист должен приехать: была от него записка ещё вчера. Разрешите зачитать?

И, опять не дожидаясь ответа, достал записочку и прочитал шутливо-торжественным тоном, упершись одной рукой в бок:

— «Глубокоуважаемый товарищ Митрофан Андреевич Катков! Согласно плану, спущенному со стороны райпотребсоюза, и развёрнутому графику движения полевой торговли сельпо в горячие дни весенней посевной кампании, в вашу бригаду прибудет разъездная торговля разными товарами. Продажа в порядке живой очереди. С горячим кооперативным приветом — предсельпо Е. Хвист».

Все слушали улыбаясь и молча. А Катков спросил тем же шутливым тоном:

— Какие будут соображения?

— Хвисту взбучку дать, — коротко сказала звеньевая Анята. — Давайте, бабочки, баню ему устроим!

— Покритиковать не мешает, — поддержал и Митрофан Андреевич, — но только по-хорошему, вежливо.

— А мы и так — вежливо, — сказала всё та же Анята. — А то до чего дошёл: неделю сидим без спичек, а у мужиков без табаку уши попухли. Приди в магазин и спроси у него: «Спички есть?». «Есть, но для полевой торговли». — При этом Анята вздёрнула лицо вверх, сморщила и без того маленький носик, сложила руки по-наполеоновски, отставила одну ногу и, подражая председателю сельпо, произнесла: — «У меня план спущен сверху донизу!»

Все разом захохотали: очень уж похоже изобразила Анюта товарища Хвиста.

— «Я тебе продам табак, — продолжала она в той же позе, — а план должен провалиться! Ин-те-рес-но! Хм! Я план полевой торговли выполню на пятьсот процентов! Я пять дней накопляю силы! Я — во!» — И она под общий хохот ударила себя кулаком в грудь.

Весело смеясь и переговариваясь, женщины стали занимать свои места на линии посадки и принялись за работу. Я прошёлся по рядам новой лесополосы: всё было в порядке. А работающие нет-нет да и оглянутся на меня — не найдёт ли, дескать, какого изъяна.

Мы отправились с Митрофаном Андреевичем дальше пешком. Метрах в двухстах от нас расположен склон, на котором работа на тракторах почти невозможна. Такие участки обрабатываются всегда лошадьми. Надо было решить на месте, судя по почве, нужна там культивация в этом году или можно обойтись двухследным боронованием. Вдоль яра, по краю, протянулась приовражная лесополоса, посаженная восемь лет назад; молодые листочки уже распустились, и уже какая-то пичуга приветливо чиркнула нам из-за веток. Облака стали менее густыми, и солнце, проглядывая на землю в просветы, помаленьку расталкивало их в разные стороны. Было тихо. Там и сям, поперёк склона, колхозники бороновили зябь во второй след.

Прямо к нам двигалась пара лошадей, запряжённых в бороны, а сбоку около них шагал Прокофий Иванович Филькин. Он держал вожжи в руках, поигрывая ими и покрикивая на лошадей. Шаг его был ровным и размеренным настолько, что казалось, он подчиняется какой-то неслышной команде: шаг, шаг! Шаг, шаг! И так целый день по мягкой пашне, в которой утопают ноги по щиколотки. Уже по одной этой мягкости пашни видно, что никакой культивации здесь не требуется.

— Добрый день, Прокофий Иванович! — приветствовали мы разом.

— Здоровеньки были! — ответил он, но не остановился, а продолжал отмеривать свой бесконечный путь.

Мы пошли с ним рядом.

— Ну, как сменная лошадка? — спросил Митрофан Андреевич.

— Да... как? Так себе. До Великана — куды там ей! Великан — конь! То лошадь такая: брось вожжи и пусти по пашне — сам поведёт бороны и огреха не сделает, и назад повернёт сам. То лошадь — ум! — Он вздохнул и прикрикнул на лошадей: — Но-о! Заслушались, ёлки тебе зелёны!.. Разговору рады!.. Я на том коне, — продолжал он снова спокойным и ровным голосом, — пять лет работаю, изо дня в день. Цены нету Великану...

— Может, покурим? — предложил я.

— Не занимаюсь: некурящий.

— И никогда не курили?

— Кури-ил. Курил здорово. Давно уж бросил.

— Говорят, трудно бросить? — спросил Митрофан Андреевич.

— То-ись, как это трудно? Есть дела потруднее. А это — надумал и бросил. Но-о! Разговоры!.. Куды ей до Великана!.. Бросил курить. Пришёл с работы и надумал... Бросил кисет в печку, а цыгарку положил на подоконник, готовую. Да. Положил... Да куды ты лезешь, ёлки тебе зелёны! — беззлобно увещевал он лошадь. — Как это потянет меня курить тогда, а я подойду к цыгарке и говорю: «И не совестно тебе, Прошка, — сам себя не пересилишь?» — и положу опять цыгарку на своё место. Пересилил. За два дни пересилил. — Он немного помолчал и продолжал тем же неизменно ровным и спокойным голосом: — Себя пересилить можно... А вот бабу... не пересилил.

Митрофан Андреевич подмигнул мне незаметно.

— А что такое случилось? — спросил я.

— Да что... Настя-то ушла от меня через бабу. Вот, ёлки тебе зелёны...

— Надо было как-нибудь уладить, — вмешался Митрофан Андреевич.

— Где там «уладить»!.. Женился-то я второй раз. Мне было сорок пять, а бабе — тридцать. Сперва ничего. А потом пошли у нас споры да разговоры. Настя по воскресеньям книжки читает, а баба зудит, а сама, ёлки тебе зелёны, по грамоте — ни в зуб ногой. Я и так, я и этак — ничего не выходит. Ты, говорит, обуваешь-одеваешь неродную. Это она про Настю так... Ты, говорит, вставь мне золотой зуб... На тебе золотой зуб, ёлки тебе зелёны, думаю себе. На! Вставил за сто рублей: таскай сотенную в зубах, ёлки тебе зелёны, только утихомирься. Я их улаживаю, а она, баба-то моя, опять. Ты, говорит, каракулевый воротник к пальто купи и мне, как у Насти... На тебе каракуль, ёлки тебе зелёны, за четыре сотни!.. Да. Ну, теперь-то, думаю, всё! Одежда, как на крале, харч у меня всегда настоящий. Нет — одно: зачем неродная живёт в хате?.. Ушла Настя... Выпил я тогда с беспокойю. Хоть и немного — одну кружку медную, грамм на четырёста, — но выпил... Рассерчал. Прогнал бабу из дома. Теперь один.

— А как же дальше теперь? — спросил Митрофан Андреевич.

— Кто её знает как. Настя всё время говорит: «Возьмите жену обратно. Не надо из-за меня жизнь расстраивать. Я, говорит, сама на себя заработаю всегда, а вас, говорит, всегда, как родного отца»... — У Прокофия Ивановича дрогнул голос, и он с горечью сказал: — Вот, ёлки тебе зелёны... А Настю я обязан и замуж выдать по-настоящему, как полагается.

— А как она, женщина-то?

— Серафима-то? Да баба она работающая, стготовить умеет хорошо — любой харч в дело произведёт... Правда, одеться любит... И из себя отличная баба... Всё при всём... Но ведь я же сироту воспитал. А у неё к Насе неприятность... Значит, человек без сердца... Ух ты, ёлки тебе зелёны! — крикнул он сердито. Но нельзя было понять, к кому это относится: то ли к новой лошади, то ли к бабе.

Мы прошли, разговоривая, до края загона. Он повернул лошадей, глянул, не останавливаясь, на солнце и произнёс:

— Двенадцать.

Митрофан Андреевич посмотрел на часы и подтвердил:

— Почти точно: без десяти двенадцать. Можно на обед отпрягать.

— Не. Осадку надо сделать. Иначе ноги не отдохнут, без размину.

Прокофий Иванович пошёл за боровами медленнее, сдерживая лошадей и, как мне показалось, притормаживая ногами. Сразу остановиться он, наверно, не мог, как не мог быстро размяться утром. Какая-то громадная сила внутренней трудовой инерции в этом человеке: он трудолюбив до бесконечности, но медлителен до невозможности.

— Лавка приедет, — крикнул ему вслед Митрофан Андреевич. — У лесополосы станет, под курганчиком.

— Там и моя бричка, — отозвался Прокофий Иванович.

— Как по-твоему: хороший он колхозник? — немного погодя спросил я Каткова.

— Неплохой, я так думаю, — ответил Митрофан Андреевич. — Сколько ему попадало от всех семнадцати председателей за нерасторопность — ай-яй-яй! А я его всегда защищал: человек такой.

Мы вернулись к приовражной лесополосе. Там уже собрались на отдых женщины, девушки и несколько мужчин. Вскоре подкатила автомашина. В кузове стояла Настя и придерживала рукой связки саженцев.

— Ну-ка, дружно прикопать! — крикнула она.

Несколько человек встали, перенесли саженцы в заготовленную канавку и забросали их землёй, оставив на поверхности одни лишь верхушки. Настя открыла борт, подложила на край кузова два бревна-накатки и, одну за другой, ловко скатила четыре бочки с водой. Пустые бочки она вкатила в кузов по тем же накаткам и закрыла борт автомашины. Всё это она делала быстро и уверенно, по-мужски, а бочками, казалось, просто играла.

— Экая сила! — шепнул мне Катков.

— Молодчина девушка! — поддержал и я.

А Настя, закончив разгрузку-погрузку, выпрямилась в кузове, поправила закатанные до локтей рукава кофточки, поправила косынку, даже приладила привычным движением колечко-локон. Эти движения были у неё мягки и женственны. Вот она взглянула вдаль, в поле, и несколько минут присматривалась к чему-то. Чёрные узкие брови, длинные ресницы, чётко очерченные губы и румяные щёки были некоторое время неподвижны.

И вдруг она улыбнулась как-то иронически, вздёрнула брови вверх и громко сказала:

— Бабочки! Хвист плетётся. Во-он! — Она показала рукой вдаль и, взявшись за борт, легко прыгнула вниз.

Вскоре на дороге показалась странная подвода. Большой ящик, прикреплённый к дрогам, тащила тощая кобылёнка с обтрёпанным хвостом. Ящик был похож на те, в которых возят хлеб, но значительно шире и высокий — в рост человека. На передке, свесив ноги, сидел возница, старый и дряхлый старикан с трубкой в зубах, по прозвищу «Затычка». Дед хотя и состоит в колхозе, но никогда в нём не работает, а отирается то около кооперации, то в сельсовете, а то и просто уходит из села нивесть куда. Спросу с него никакого нет: стар уже. Рядом с ним, в той же позе, сидела продавщица сельпо, тётя Катя, в белом фартуке и таких же нарукавниках. Полное её тело колыхалось при каждом покачивании возка, а лицо было сердитым. Дед Затычка, наоборот, был весел, как всегда, и когда подъехал к нам, то приложил руку к козырьку и произнёс тоненьким голосом:

— Прибыл на каникулы!

Он, крихтя, сполз с передка на землю и немедленно пристроился отдыхать прямо на земле, животом вниз.

Вдруг из-за фургона, с задка, ловко соскочил тощий, щупленький председатель сельпо и молодцевато воскликнул:

— Привет трудовому народу! — Он отряхнул брючишки, дунул почему-то на рукав коричневой тужурки, поправил серенькое кепи, тронул двумя пальцами узел галстука и произнёс: — Приступим, Катерина Степановна! Пожалуйста!

Но та слезла не сразу. Она поставила сначала ногу на оглоблю, — отчего дуга перекосилась, а клячонка пошатнулась, — а затем уже грузно спустилась вниз.

— Фух-х! Боже ж ты мой! — произнесла она, вытирая лицо фартуком, и открыла двери фургона.

Товарищ Хвист заглянул внутрь своего походного магазина, осмотрел, всё ли в порядке, и улынулся. Серые бесцветные глаза устремились на тётю Катю. Говорят, что глаза выражают работу мысли, а вот у товарища Хвиста они, например, ничего не выражают абсолютно: наверно, крут люди... Поэтому, может быть, и трудно сразу понять, насколько он глуп или неглуп. Одним словом, он посмотрел на тётю Катю и обратился к ней так:

— Для начала, многоуважаемая Катерина Степановна, понимаешь, кружечку пивка — начальству. Без этого, каб-скть, нельзя... Начин —

великое дело. (Часто употребляемое «как бы сказать» он произносил скороговоркой: «каб-скть».)

— Ты уж третью кружку вылакал: чем я буду расплачиваться? — проворчала продавщица вполголоса, но пива всё-таки налила.

— Напрасно, каб-скть, волнуется. — Он подмигнул тётке Кате, принял от неё кружку пива, отхлебнул глоток и объявил столпившимся колхозникам: — Только — в порядке очереди!

Настя о чём-то пошептала с Анютой и сказала громко — так, чтобы все слышали:

— А горшков привезли, Ерофей Петрович?

От взрыва общего хохота даже и лошадёнка засемила ногами. Казалось бы, что тут смешного? Но это был намёк на то, как в прошлом году Ерофей Петрович выехал без возницы и забыл торбу; когда же потребовалось дать лошади овса, он попробовал накормить её из горшка. Кончилось всё это тем, что лошадь укусила его за плечо. С тех пор Ерофей Петрович возненавидел всякую глиняную посуду и прекратил торговлю ею. А колхозницы прямо-таки взвыли без этой посуды. Вообще, по сельскому хозяйству Ерофей Петрович соображал плохо. По этой причине он завёз в селъпо сотню хомутов громадного размера, из которых только один годился на Великана. Все же остальные валяются на складе и по сей день. А ведь он, по его словам, руководствовался совершенно правильным принципом: «Маленький хомут налезет не на каждую лошадь, а большой — на любую». Вероятно поэтому же кобылёнка, запряжённая в фургон, могла бы при желании пролезть в свой хомут с ногами.

И почему только люди смеются? Не понять. Вот и теперь, когда все смеялись, Ерофей Петрович не пошевелил бровью: он пил пиво и изредка посматривал вверх, на облака.

Все стали подходить к дверцам фургона и покупать — кто спичек, кто табаку, кто платок.

— В порядке очереди! — ещё раз предупредил Ерофей Петрович. Но никто его не слушал.

Подошёл и Прокофий Иванович. Сначала он бросил взгляд на фургон и ухмыльнулся; затем обошёл вокруг лошади, просунул руку до локтя под хомут, покачал головой и с горьким сожалением произнёс:

— Животная.

Ерофей Петрович искоса осмотрел его с ног до головы, тоже ухмыльнулся и отвернул лицо в сторону.

— Папаша! От меня — пивка! — сказала весело Настя и подала Прокофию Ивановичу бокал пива. (Больше никто пива не купил, а возил его Ерофей Петрович, вероятно, «для начину».)

— Можно, Настенька, — согласился Прокофий Иванович. И большими глотками, разом, осушил сосуд. — Та-ак, — произнёс он удовлетворённо, — перед обедом пиво пользительно... А эта косынка что стоит?

— Двадцать восемь, — ответила уже повеселевшая тётка Катя. Глаза у неё, оказывается, добрые и немножко хитроватые. — Двадцать восемь — не деньги, а расцветка — лучше быть не может.

— Настя! Померь-ка косыночку, — ласково обратился Прокофий Иванович.

Тётка Катя набросила на неё косынку, быстро приладила и, любясь, затараторила:

— Это ж, прямо-таки, для неё делано! Ай, мамушки, как идёт!

Прокофий Иванович неторопливо вынул кошель, рассчитался, отошёл к нам, развязал сумку с «продухцией» и принялся обедать. А Настю окружили девчата и все разом принялись обсуждать косынку, попивая ситро. Мы с Катковым полужёлча наблюдали торговлю. Всё шло весело.

Тётя Катя раздобрела окончательно: предлагала девочкам конфеты, женщинам — фартуки, чулки. Но вот Анюта снова пошептала с Настей и крикнула:

— Ерофей Петрович! К нам!

Тот улыбнулся, потрогал ещё раз двумя пальцами галстук и приблизился к девушкам.

— Ерофей Петрович! А можно мне купить полный ящик спичек? — спросила Анюта.

— Даже для вас, каб-скть, хоть вы и симпатичны, но — нельзя. Не больше, понимаешь, пяти коробок.

— Как же нам быть-то, девчата? А?.. А вы, Ерофей Петрович, ещё будете «силу набирать»? (Девчата прыснули со смеху.) Мы совсем без товару остаёмся, пока вы набираете прыть на пятьсот процентов.

— Всегда и везде. А к посевной — обязательно, — ответил Ерофей Петрович.

Митрофан Андреевич сказал мне тихонько:

— Дурака не выправишь — это верно. И тут обидно не то, что он дурак. Обидно другое: ты ему говоришь, что он дурак, а он ни капельки не верит. — Он помолчал и добавил: — До общего собрания пайщиков как-нибудь дотянет, но не больше.

А Настя снова пошептала с Анютой, и обе подбежали к нам. Но обратились они к Прокофию Ивановичу:

— А где Витя?

Прокофий Иванович резал сало на квадратики толщиной с большой палец руки и, пожёывая, ответил:

— Лошадь упустил. Отпрягал — убежала. Приедет! Куды ему деться.

Отошли они медленно, видно приуныли. Но через несколько минут Витя вынырнул из лесной полосы, привязал лошадей к бричке, задал им корму и уселся на колесе с независимым видом. Девушки потянулись к нему и заговорили:

— Витенька! Ситреца стаканчик!

— Витя! Пару «Ривьер» от имени девичьего населения!

— Сперва поесть надо. Умаялся.

Торговля прекратилась совсем. Дед Затычка спал около фургона. Ерофей Петрович разбудил его:

— Поехали!

— Куды? — спросил тот не вставая.

— Домой.

Дед Затычка поднял голову, посмотрел вокруг и сказал:

— Съездили бы во вторую бригаду. Всё равно завтра тащиться.

— План, понимаешь, каб-скть, график.

— А там без табуку-то им теперь — график?

— Ну-с?

— Вот тебе и ну-с. Налаживаю. — И он стал подтягивать чересседельник и прилаживать неказистую сбрую.

Тем временем Настя что-то шептала на ухо Вите, а тот кивал головой, поглядывая в сторону фургона. Там уже сидел на своём месте дед Затычка, уже примостился позади на приспособленном стульчике сам Хвист, а тётя Катя ещё не уселась.

Наконец дед Затычка поплевал на ладони, свистнул кнутом и крикнул:

— Вперёд!

Лошадка потопталась на месте, натужилась, бедняга, и стащила с места странную повозку. И в то время, когда тётя Катя помахивала на прощание рукой, а Хвист сидел надутый, как индеец, Витя прекратил

еду. Он быстро достал баян, растянул его и грянул весёлую «частушечную». Настя и Анюта, подбоченившись, запели под переборы баяна:

У товарища Хвиста  
Кобылёнка без хвоста  
Потащилась шажком.  
Подкорми коня горшком!

Ерофей Петрович заёрзал на стульчике, потом перегнулся на бок фургона и замахал деду Затычке. Что он кричал, не было слышно, но ясно — торопился отъехать.

Митрофан Андреевич встал, подошёл к девушкам и сказал коротко: — Спать! Отдыхайте! — Посмотрел на Настю и добавил: — Машину за народом надо прислать вечером.

Волей-неволей все подчинились бригадиру и разошлись по лесополосе. Автомашина уехала. Витя продолжал есть. А Митрофан Андреевич обратился к нему:

— Вечерком, Витя, вечерком поиграешь девчатам. Сейчас — спать.

— Безусловно, — согласился Витя.

— Лошадь-то как же упустил? — тихонько спросил бригадир, так, чтобы никто не слышал.

— Жавороночек бросился от коршуна под бороны. Я боялся: тронут — сомнут птичку. Ну и... отложил построжки. А Казарка — хвост трубой и — вдоль яра... поймал!

— Кого — птичку?

— И птичку и лошадь. Птичку пустил... Дрожит в руках, бедняжка.

— А лошади полчаса без корма. Какой же им отдых так-то?

— А что ж, давить жаворонка? — удивлённо спросил Витя.

— Да не-ет. Надо бы и птичку не давить и лошадь не упустить.

— А-а! Попробовал бы.

— Ну, ладно. Пусть так. — Митрофан Андреевич вздохнул и неопределённо сказал: — Ох, Витька, Витька!

— Ну вот, опять — «Витька, Витька»! Я же стараюсь.

— Да я ничего, — примирительно и даже с ноткой ласки утешил его Митрофан Андреевич.

Мы договорились с Митрофаном Андреевичем об использовании второй половины дня. Ему — проставить вежи для начала сева на завтра, проверить работу тракторной сеялки на севе овса; остального времени еле хватит для повторного объезда поля и проведения учёта выработки за день по всем работам и каждому колхознику в отдельности. Мне — разбить под гнездовой посев два участка, расположенных близко отсюда, и выверить гнездовую сеялку на норму высева.

Митрофан Андреевич пошёл к мотоциклу и вскоре умчался по шляху.

Стало тихо. Все отдохали. Слышно, как лошади жуют овёс: хррум, хррум, хррум... За яром равномерно урчат тракторы. Я расстелил ватник и лёг животом вниз, подложив ладони под грудь, а щёку — на рукав ватника. Это — самое лучшее положение для отдыха в поле весной, когда ещё земля не прогрелась по-настоящему. Немало молодых агрономов, по неопытности, ложились отдыхать на спину или на бок и потом отлёживались в больнице месяцами.

...Уже и дрёма находила, когда я услышал тихий говор.

— От самой Польши? — спрашивал Витя.

— От самой Польши, — отвечал Прокофий Иванович приглушённым баском.

— И как же вы столько тыщ на конях проехали?

— Вишь, какое дело, ёлки тебе зелёны... Мы, значит, отступали, а он напирал нам на пятки. Едем и едем, едем и едем: и день и ночь. Кони

попристали, мы — тоже, харч пошёл никудышный. Одним словом, дело было, эх... ёлки тебе зелёные... Вспомнишь: сон. Прямо сон. Я в обозе, конечно, всю войну. Оружие у нас — одна винтовка полагалась. Бывало, едешь и на сижку спишь и на сижку ешь. Возьмёшь его, кусок хлеба-то, посмотришь, посмотришь, да ножичком и разметишь: это — на завтрак, это — на обед, это — на ужин. А на завтра — неизвестно. Иной раз и по два дни не евши. Да. А около коней, сам знаешь, сколько хлопот: много. Захудал я тогда здорово, но... ехать надо. То раненых везёшь, то амунцию, то снаряды: чего-чего только не возил я.

— А награду где получили? — спросил Витя.

— Это уж потом. Когда за Дон пришли. Тут мне перед полком благодарность была и, конечно, орден, как и полагается. Командир полка речь сказал нам в роте. «Вот,— говорит,— товарищ Филькин от границы Польши до Дона проехал на своей подводе и сохранил всё до последней супони. Сотни,— говорит,— раненых были спасены им при отступлении». Вот как он сказал... Конечно, все так, не я один. — Прокофий Иванович умолк, и разговор у них больше не возобновлялся.

Я задремал.

...Наверно, я всё-таки не спал как следует, потому что сквозь дрему услышал голос Прокофия Ивановича. Он говорил громко, во весь голос:

— Витя! А ну-ка, побуди народ. Два часа ровно. Начинать надо.

Сразу же после этих слов Витя ударил «Марш футболистов». Люди вставали, потягивались, обмывали около бочки лица и как-то все разом приступили к работе. Только Прокофий Иванович ещё некоторое время ровнял постромки, поглаживал лошадей и вполголоса разговаривал с ними о чём-то. Наконец и он медленно повёл лошадей к боронам.

Я взял с собой на подмогу двух девушек и отправился на разбивку.

До самого вечера мы работали по подготовке участков для гнездового посева подсолнечника. И всё время беспокоил вопрос: что там с аварийным трактором ДТ-54? Хуже всего бывает, когда ускорение какой-либо работы не только не зависит от тебя, но ты даже не имеешь возможности вмешаться в исправление недостатка. Так и теперь: торчать над душой трактористов — бесполезно и, более того, вредно (они и без того из себя выходят), а ждать — терпение надо большое. Тут уж приходится делать очередное дело, а мозгами шевелить: что делать завтра, если ДТ будет стоять ещё сутки? Агроном обязан предусмотреть заранее: не сумеешь этого сделать — не агроном. И мы спешили дать работу гнездовой сеялке. Маленький У-2 здесь да два ХТЗ на зерновых сеялках — это уже немало, а с культивацией придётся навёрстывать ночами. В общем же, как бы я ни раздумывал, а бригада Каткова из-за аварии трактора сразу превратилась в «узкое место». Но ведь есть ещё две бригады. Что там? Такие вопросы волнуют агронома целый день. И всё же, если он не умеет отдохнуть в обеденный перерыв, не умеет во-время спать, не найдёт времени почитать, то — пропащее дело! Либо будет мотаться из бригады в бригаду, высунув язык, либо вовсе упустит вожжи из рук. Только с годами пришло убеждение: если ты приехал в бригаду, то на целый день, никак не меньше, — тогда предусмотрись здесь на несколько дней вперёд.

...Уже заходило солнце, когда я подошёл снова к курганчику около приовражной полосы. Автомашина уже приходила и увезла женщин. Остались несколько девушек, которые стояли около витиной брички и ожидали, когда он запряжёт. Настя не поехала сейчас обратно с автомашиной и была тоже около Вити: то помогала ему запрягать, то отряхивала ему ватник. Прокофий Иванович «ладил сбрую», запрягая лошадей. А когда у него всё было готово и он уселся, то пригласил меня:

— Подвезу с большим нашим удовольствием. У меня не тряско.



Я забрался в бричку. Девушки, в том числе Настя и Анюта, сели к Вите. И мы поехали. Витя бросил вожжи и взял баян. (Его пара лошадей шла за бричкой Прокофия Ивановича.) Вот он сначала прошёлся по клавишам уверенным перебором, порокотал басами—и замолк. Думал ли он, с чего начать, или прислушивался к предвечерним звукам поля, не знаю.

А вечер опускался на поле тихо, тихо. Воздух замер. Ни малейшего дуновения ветерка! Край неба ещё горит там, где зашло солнце, а уже весёлая звезда-зарница приветливо начинает мигать из темнеющей синевы: мигнёт и скроется. И на земле уже не то, что днём. Пашня вдаль уже сливается в предвечернем полусвете с озимью, а озимь, уходя, тает где-то там, в небе. Это ещё не вечер, но уже и не день. Это — время, когда небо натягивает над землёй завесу, под покровом которой всё постепенно начинает менять свои очертания, линий сглаживаются, тают и, мало-помалу, исчезают. Запоздалый жаворонок ещё прозвенит невысоко и сразу умолкнет. У тракторов не такой чистый треск, как утром, и не так они рокочут густо, как в ясный день: они осторожно шевелят тишину приглушённой и плавной густой нотой...

Но что это? Мне почудилось, что трактор и впрямь звучит уже басовым аккордом... Да. Звучит... Да ведь это Витя! Он нашёл бас в тон звучанию трактора, некоторое время тянул его, прибавляя к нему другие басы, затем прибавился аккорд мягких звуков и постепенно перешёл на мотив песни «Мне хорошо, колосья раздвигая». Настя запела эту песню чистым, сильным грудным голосом. Анюта включилась второй.

Прокофий Иванович слушал, слушал, да и опустил голову задумавшись. Ему, видно, взгрустнулось. Он покачал головой и произнёс вздыхая:

— Эх-хе-хе!.. Елки тебе зелёные...

Но вот песня кончилась. Не прошло после этого и пяти минут, как Настя и Анюта соскочили с брички и подбежали к нам.

— Папаша, пересаживайтесь к нам, — сказала Настя. — Владимир Акимович! И вы тоже.

Анюта уже теребила Прокофия Ивановича, а Настя тащила меня за рукав ватника. Сопровивлялись мы не очень. Нашу подводу девчата перегнали назад, за бричку Вити. Прокофий Иванович уселся на футляре баяна, девушки сели на грядущки, а я — на задке.

Все наперебой стали приставать к Прокофию Ивановичу с просьбой спеть. Он сначала отмалчивался, а потом задумчиво сказал:

— Ну давай, Витя... «Ямщика».

Тот не замедлил взять нужные аккорды. Прокофий Иванович кашлянул, поправил картуз, расстегнул ватник и запел:

Когда я на почте служил ямщиком,  
Был молод, имел я силёнку...

Певец грустил. Голос его на высоких нотах жаловался, а в конце каждого куплета заунывно дрожал так, что последние слова он выговаривал совсем тихо, будто говорило само сердце. Прокофий Иванович преобразился: это был уже не медлительный, как утром, не распотевший от бесконечной ходьбы по пашне ездовой и не удивительный силач, поднимающий куль муки одной рукой. Грустил ли он о безвременно умерших жене и дочке, жалел ли Настю, тосковал ли о новой жене?..

Налейте, налейте бокал мне вина...  
Рассказывать больше нет мочи.

Прокофий закончил песню, поле повторило последний печальный звук, и он, дрожа, растаял в полусумерках.

Настя сидела на грядущке и задумчиво смотрела в сторону, а мне показалось, что у неё глаза стали влажными. Анюта потупила глаза в дно брочки. Все молчали.

Прокофий Иванович вдруг улыбнулся и сказал, обращаясь ко всем:

— Ну, вы! Приуныли, ёлки зелёные... Оно так — песня, она штука такая: может и за сердце взять, если протяжная, и за животик ухватиться, если весёлая. Без песни, ёлки зелёные, никуда... Сроду так на селе.

Витя перебирал клавиши. Казалось, он переключал настроение, всё учащая ритм перебора.

Против тракторной будки я сошёл с подводы. Прокофий Иванович пересел в свою брочку. И мы расстались.

У тракторной будки я увидел мотоцикл Каткова. А вот и он сам: улыбающийся, видно в отличном настроении. Мне даже пришло в голову: «Не похоже что-то на Каткова. У него «узкое место», а он весёлый». Но я ошибся. Оказалось, что старший механик ещё среди дня привёз картер от старого выбраванного трактора и все необходимые детали, а сейчас заканчивается полевой ремонт. В ночь трактор пойдёт в работу.

...Уже смеркалось, когда мы с Катковым, оставив мотоцикл в бригадном дворе, подошли к его домику. Немного посидели на крылечке. Поговорили о том, о сём. (О работе не говорили — всё теперь ясно и войдёт в норму.) Вдруг я услышал в открытое окно что-то похожее на тихое бормотанье и прислушался. Митрофан Андреевич заметил это и сказал вполголоса:

— Папаша богу молится.

— Молится? — переспросил я.

— Угу. — Он подсел ко мне вплотную, наклонился над ухом и зашептал: — Очень верующий... Молится... Но в последние годы с богом, вроде бы, на равную ногу становится. В прошлом году, летом, подслушал я его молитву.

— Интересно: какая же? — спросил я так же тихо.

— Вот, слушайте. «Господи, отче наш, царю небесный... Да будет воля твоя... Сушь-то какая стоит, господи. А? Ни одной приметы на дождик. Хлеба-то незавидные, господи... Я не партийный человек, и то болею сердцем, а ты всё-таки бог. Как же без дождя-то? Надо ведь обязательно. Или уж мы, на самом деле, грешники какие? Вот посохнет, тогда что? Ну, пушай старики, может, и нагрешили, а детишки-то тебе не виноваты. Ты должен сочувствовать, господи». Потом он, вроде, спохватился и закончил: «Да приидет царствие твое. И во веки веков. Аминь».

Пока мы этак шептались, бормотанье прекратилось. Мы помолчали. Я встал, подал руку на прощание и сказал:

— Ну, теперь увидимся не раньше, как через два дня.

И вдруг село заполнилось звуками баяна. Витя где-то поблизости играл вальс. Сразу не захотелось уходить, и мы всё стояли и стояли заслушавшись.

— Эх, Витя, Витя! — тихо и задумчиво заговорил Митрофан Андреевич. — Всё простишь тебе, Витя!

...Шёл я до квартиры тихо. Уж очень хорош вечер. Да и на душе было спокойно и легко. Проходя мимо какого-то палисадничка, я услышал тихий девичий голос и неустоявшийся, ещё переломный баритончик.

— Уедешь, значит? — спрашивала она.

— Осенью уеду.

— Забудешь, Витя...

— Нет, Настя, никогда тебя не забуду.

Чтобы не быть невольным свидетелем, я тихо отошёл на середину улицы и продолжал путь.

Взявшись за щеколду своей калитки, постоял немного и прислушался к звуку тракторов. Оба ДТ урчали — значит и Костя выехал.

Вот и кончился ещё один день...

Покойной ночи, добрые люди!

г. Острогожск, Воронежской области.



---

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

★

## ВСТРЕЧИ В КИТАЕ

### 1. Тай Лю

**Я** любил по вечерам в Пекине, когда выпадало свободное время, бесцельно бродить по улицам районов старого города.

Подхваченный никогда не иссякающей рекой пешеходов, следуя её неторопливому течению, я добирался до самых окраин, где начинались огороды и поля, возделанные с поразительной тщательностью.

Пагоды из обветшавшего камня торчали здесь, как зазубренные наколенники гигантских копий. Высеченные из серого скользкого мрамора изображения черепашек, львов, мифических животных служили надгробиями на могилах старинных вельмож и военачальников, жестокие деяния их прославлялись в жеманных и высокопарных стихах, написанных на поминальных таблицах, сделанных на дощечках из нетленного камфорного лавра.

И тут же брала своё начало чёрная стремительная лента нового шоссе, лоснящегося свежим асфальтом. По шоссе катились сотни машин к возвышавшимся вдали железобетонным каркасам будущих цехов и заводских зданий. Стройки нового Китая вставали гигантами над глиняными хижинами, тесно прилипшими друг к другу.

Я немало бывал на новостройках Китая и видел, как мощно и единокорно народ преобразует страну. Тем сильнее хотелось мне познакомиться с жителями глиняных лачуг, увидеть людей, чья жизнь столько веков была невыносимо трудной и горестной. Я хотел узнать, как отразились в их судьбах великие преобразования, совершаемые народом. Но просьбы сводить меня к обитателям этих окраин, с которыми я обращался к своему другу и переводчику Ли Мин-шену, каждый раз повергали его в смущение. Наконец, после длинных предупреждений о том, что там живут всякие люди, среди которых ещё не всюду проведена глубокая воспитательная работа и некоторые из них не имеют определённых занятий,— после этих предупреждений мы с Ли Мин-шеном всё-таки переступили порог первой попавшейся на нашем пути глиняной фанзы на окраине города.

Высокий, худой человек с бритой головой и глубоко запавшими глазами поднялся нам навстречу с кана<sup>1</sup>. Выслушав Ли Мин-шена, он движением руки предложил мне сесть на низенькую скамейку, где стоял огромный глиняный горшок, в котором, видимо, давно уже мокла кожа какого-то животного.

— Имя этого человека — Тай Лю,— сказал Ли Мин-шен.— Он говорит, что служил в гоминдановских войсках и восстал против коммунистов. Он просит передать вам, что если, узнав об этом, мы решим уйти, он всё

<sup>1</sup> Кирпичная печь-лежанка.

равно будет считать себя счастливым, потому что его дом посетил советский человек.

Несмотря на явное желание Ли Мин-шена не злоупотреблять гостеприимством хозяина, я решительно уселся на скамейку и раскрыл пачку «Казбека». Но хозяин фанзы не притронулся к папиросам.

— Тай Лю просит извинения за то, что он сказал о себе не вполне точно,— перевёл мне Ли Мин-шен.— Он просит сказать, что он был не солдатом, а бандитом.

Теперь уже я встрепенулся и вопросительно посмотрел на Тай Лю и вдруг увидел, как его костлявое лицо расплывается в довольную улыбку.

— Но почему он улыбается, когда говорит, что был бандитом?

Ли Мин-шен, как и всякий настоящий переводчик, умевший забывать о себе и как бы перевоплощаться в того человека, слова которого он переводил, ответил:

— Гоминдановские солдаты были бандитами, говорит Тай Лю, поэтому он считает, что он был не солдатом, а бандитом. Улыбается потому, что, по его мнению, когда человек говорит правду, ему от этого становится приятно, а когда человеку приятно, он должен улыбаться.

После нескольких минут оживлённого разговора с Тай Лю Ли Мин-шен, вынув блокнот, что-то быстро записал и, снова обратившись ко мне, пояснил: Тай Лю спрашивал, не слышал ли я что-нибудь о человеке по фамилии Ин Чао. Когда Тай Лю был гоминдановским солдатом, он некоторое время охранял тюрьму, где был заключён коммунист Ин Чао. Ин Чао каждый день подвергали пыткам. Но, когда он приходил в сознание, он беседовал с Тай Лю.

Тай Лю говорил, что если бы этого человека сторожила собака, то и собака, находясь подле такого хорошего человека, не смогла бы больше никогда бросаться на людей.

За несколько дней до казни Ин Чао подвешивали за ноги и офицер Тянь Хуа подставлял ему под голову жаровню с углем — и у него лопнули и вытекли глаза.

Тай Лю говорил, что он участвовал в расстреле Ин Чао и, хотя выстрелил мимо, он считает, что кровь этого человека лежит на его сердце.

Если бы он нашёл мать, жену или родственников Ин Чао, он пошёл бы к ним в услужение до конца жизни.

— Что же он делал после казни Ин Чао?

— Говорит, что ничего не делал. Но во время сражений с красными он не стрелял из винтовки, боясь попасть пулей в такого человека, каким был Ин Чао.

Однажды после боя офицер проверял патроны, и за то, что Тай Лю не израсходовал ни одного патрона, его наказали палками. С него сняли обмундирование, ботинки и бросили голым на дороге, а рота ушла дальше в поход.

Так поступали не только с провинившимися, но и с теми солдатами, которые получали ранения в бою. Если раненый не мог следовать за частью, у него отбирали оружие, обмундирование и оставляли на дороге. А вместо раненых и убитых в армию забирали первых встречных крестьян.

В каждой роте находился палач, который умел выполнять приговор так, что, если солдат не умирал во время наказания, через три дня он снова годился для несения службы.

Ротой, где служил Тай Лю, командовал сын помещика Тянь Хуа. Он купил себе офицерское звание за двести долларов у полковника Ян Фу, который тоже ничего не понимал в военном деле и приобрёл чин, уступив генералу свою жену.

В дивизии было два американских офицера-инструктора. Во время походов их носили в паланкинах шестнадцать самых сильных солдат.

Когда дивизия стояла в Ханькоу, американский офицер предложил казнить пленных электричеством. Но рабочие электростанции испортили машины, и плечных стали снова убивать по-старому.

Когда брошенный на дороге Тай Лю очнулся, он постарался уползти подальше, боясь, как бы его не нашли крестьяне села, где стояла рота, так как гоминдановцы совершили там большие бесчинства.

Пока не зажили раны, он жил в пещере и питался корнями растений. Выздоровев, он пришёл к помещику, и тот взял его как бывшего солдата к себе в телохранители. У помещика было десять телохранителей, и он заставлял их совершать нападения на соседние деревни, а всё награбленное отбирал себе. Но крестьяне организовали партизанский отряд и сами напали на помещичью усадьбу. Помещика судили и казнили. А Тай Лю народ отпустил живым, заставив произнести клятву никогда не брать в руки оружие.

Тай Лю скитался по стране больше трёх лет, бездомный и одичавший. Он нанимался работать в рудниках, где добывались драгоценные камни. Для того чтобы шахтёры не могли украсть камни, их держали в шахтах безвыходно по нескольку месяцев. А когда наконец выпускали на поверхность, надсмотрщики заставляли принимать очень сильно действующие рвотные и слабительные средства, чтобы проверить, не проглотил ли кто-нибудь из шахтёров найденного драгоценного камня.

Покинув шахты, Тай Лю вместе с одним стариком из Тибета промышлял в горах охотой на змей.

Змеиный яд они сбывали деревенским лекарям. Но лекари требовали, чтобы змеи отдавали яд в их присутствии. Приходилось носить змей в полых бамбуковых палках за несколько сот ли, а потом тащить их обратно, так как старику его религия запрещала убивать пресмыкающихся. Когда Тай Лю во время охоты убил ужалившую его ушастую кобру, старик оставил Тай Лю одного, предав страшным проклятиям. Тай Лю разрезал ранку на месте укуса и обложил её змеиным мясом.

Он выжил и, спустившись в долину, продал аптекарю земляных гусениц, на теле которых растёт лекарственный грибок, и купил две плоские корзины и коромысло. Тай Лю стал собирателем нечистоты и продавал их огородникам для удобрения полей.

Во время отступления чанкайшистских войск Тай Лю попал в облаву и, как тысячи других крестьян, был превращён в носильщика. Специальные погонщики гнали этих носильщиков по пыльным дорогам долин, по горным перевалам. Во время одного из последних переходов они были достигнуты частями Народно-освободительной армии и освобождены.

Тело Тай Лю, как и многих других носильщиков, было покрыто множеством ран; его по приказу офицера Народно-освободительной армии отправили в армейский госпиталь, где он впервые в жизни познакомился с кроватью, простынёй и ел досыта.

Во время часов отдыха с кули проводили беседы выздоравливающие раненые политработники.

И здесь Тай Лю слушал о том, как будет по-новому жить китайский народ и Народно-освободительная армия, кто такие коммунисты, что они хотят сделать для того, чтобы китайский народ стал счастливым.

Тай Лю убежал из госпиталя, считая, что он недостойн пользоваться тем, против чего он сражался в рядах чанкайшистской армии.

И снова он скитался по земле в поисках своего места на ней.

Однажды, когда Тай Лю лежал, выбившись из сил, на пустынной дороге, проходившая мимо артель землекопов подобрала его, и вместе с землекопами он добрался до реки Хуайхе, где начиналась в то время народная стройка.

Здесь, на народной стройке, он узнал, что существуют уважение к человеку труда и законы, оберегающие его достоинство; что на охране этих законов стоят прежде всего коммунисты, и каждый коммунист считает для себя высшим долгом помочь простому человеку, с какой бы трудной просьбой тот ни обращался.

Тай Лю окреп и стал много зарабатывать, берясь за самую тяжёлую работу. Он завёл себе сундук, в котором лежали хлопчатобумажный костюм, три полотенца и отрез на женский халат, так как Тай Лю стал мечтать, что если он и дальше так будет зарабатывать, то у него хватит денег на приобретение приданого для девушки, которая согласится стать его женой.

Но вдруг на стройке он опознал в старосте артели плотников офицера Тянь Хуа, который подставлял жаровню под голову Ин Чао в тюрьме. Тянь Хуа тоже узнал Тай Лю. Вызвав Тай Лю в такое место, где их никто не мог услышать, Тянь Хуа сказал: «Если ты попробуешь меня выдать, то вспомни, что ты сам участвовал в расстреле коммуниста. А потом, кто поверит тебе, нищему кули? У меня всегда найдутся почтенные свидетели, которые охотно подтвердят всё то, что будет угодно мне. И если тебя после этого не казнят власти, никто не удивится, если ты будешь найден удушенным. Это сделают мои друзья, но они скажут, что это сделали с тобой коммунисты, потому что всем понятно, что ты их враг».

И Тай Лю решил молчать. Каждый раз, когда в бараке беседчики рассказывали о новой жизни китайского народа, Тай Лю чувствовал на себе насмешливый, жгучий взгляд Тянь Хуа, и, хотя всё его существо было переполнено восхищением тем, что рассказывал докладчик, присутствие Тянь Хуа говорило ему, что он не может пользоваться благами и счастьем этой новой жизни, потому что он виноват перед всеми людьми, которые боролись за эту жизнь.

Тай Лю решил покончить со своими муками и одновременно наказать Тянь Хуа.

Однажды в воскресенье, когда все землекопы и плотники были в бараке, ожидая выступления артистов, прибывших из Пекина, Тай Лю подошёл к столу и постучал большой поварёшкой о чугунный чайник, как это делали беседчики, призывая к тишине. Когда тишина наступила, он рассказал о своей жизни и о преступлениях перед народом.

Он кончил говорить, но все молчали, и эта тишина была невыносимой. И Тай Лю, ужасаясь этой тишины, считая, что все думают о том, какой наиболее мучительной казни его предать, робким шёпотом спросил, стараясь улыбаться как можно более заискивающе:

— Может, почтенные люди учтут, что я сам признался в своей вине?

Но никто ему ничего не ответил, и Тай Лю чувствовал, как на спине его кожа деревенеет от ужаса.

Первым нарушил тишину парторг барака Лян. Он спросил очень тихо, но Тай Лю казалось, что он кричит:

— Почему всё это ты решил рассказать нам, Тай Лю?

— Я сделал это для того,— произнёс холодеющими губами Тай Лю,— чтобы вы убедились, что я не боюсь говорить правду и могу говорить правду.

— Да, ты умеешь говорить правду,— согласился парторг Лян.

Тогда Тай Лю сказал:

— Если вы поверили, что я могу говорить правду, не боясь наказания, какое бы оно ни было страшное, тогда знайте, что старшина плотников, Тянь Хуа,— гоминдановский офицер и он подставлял жаровню к голове коммуниста Ин Чао, когда его пытали и в казни которого я принимал участие. Хотя свою пулю я и послал мимо, кровь этого человека горит на моём сердце.

Четыре вечера обсуждали жизнь Тай Лю строители. Тай Лю слушал и удивлялся их терпению. Ведь всё было так просто и понятно.

Решение удивило Тай Лю. До приезда суда коллектив постановил воспитывать его, прикрепив к нему двух молодых коммунистов.

Каждый вечер они беседовали с Тай Лю, читали газеты, показывали картинки в журналах. Тай Лю считал, что они придумали для него тяжёлую пытку — дразнить жизнью.

Чтобы избежать этих бесед, он стал работать две смены подряд. Но прикреплённые люди не оставили его в покое. Скоро его имя было написано красными иероглифами на деревянных щитах и ему дали звание отличника труда.

Тай Лю много работал, но только для того, чтобы ему в уши не лезли слова о хорошей жизни. Эти слова и мысли делали лишь более трудным его переход через реку, текущую между этим и тем миром.

Он ждал всё время приезда настоящих судей, без которых по новому порядку нельзя казнить даже самого скверного преступника. Когда суд приехал на стройку, Тай Лю склонил на грудь голову, как приличествует преступнику, и пошёл в барак, где уже сидел под стражей Тянь Хуа. Но стража не давала ему сесть на корточки рядом с Тянь Хуа. Он обиделся, стал кричать судьям, что все преступники равны перед законом. Но его вывели из барака, где происходил суд, и велели ждать на улице, пока не позовут. Он стоял один возле барака, и его трясло от обиды. Он думал о том, что даже в новом суде предпочтение отдадут офицеру, а простой человек, как и раньше был собакой, так и теперь остаётся собакой. Так думал Тай Лю. Потом, когда его вызвали в суд, он был так взволнован, что ничего не понимал из тех вопросов, которые ему задавали. Встав на колени и отвешивая бесчисленные поклоны, он говорил, что готов к смерти. Но прикреплённые к нему воспитатели, взяв его под руки, заставили сидеть перед судьями на скамье. И, сидя на скамье, он пытался понять, за что же его лишили даже права приговорённого пребывать в смиренной позе и покорностью и унижением взывать к милосердию судей.

Слушая выступления землекопов и плотников, которые рассказывали судьям о нём, Тай Лю старался погрузиться в сон, потому что слушать о самом себе ему было неинтересно. Он считал, что сам о себе он знает лучше, чем кто-либо другой.

Когда судья спросил Тай Лю, были ли случаи, когда он уклонялся выполнить какой-нибудь преступный приказ своего офицера, Тай Лю, обуреваемый солдатской гордостью, заявил:

— Каждый хороший солдат должен слушать своего офицера.

И когда все люди, присутствовавшие на суде, загудели от негодования, судья, поднимая руку, призвал к тишине и сказал:

— Теперь вы видите все, какой это тёмный человек и как много нам ещё предстоит работать по перевоспитанию таких несчастных людей, которые до сих пор ещё остаются слепыми. Но мы должны открыть им глаза на новую жизнь.

Но Тай Лю не слушал судью. После негодующих возгласов рабочих он окончательно решил, что суду не за что снисходительно относиться к нему. И, чтобы не было страшно, он всё время играл сам с собой мысленно в кости. К этому способу прибегали старые солдаты во время сильного огня, чтобы не думать о смерти. И он не услышал того, что говорил судья, оглашая приговор. Он сохранял каменное выражение на своём лице и только шевелил губами, подсчитывая очки на воображаемых костях.



Когда солдаты повели Тань Хуа из барака, Тай Лю попробовал пойти рядом с ним, но солдаты грубо оттолкнули его. Тай Лю остался один в бараке, так как все рабочие пошли провожать судей, выражая этим своё удовольствие их приговором.

Потом в барак пришли двое молодых ребят, которые были прикреплены к Тай Лю, и стали разъяснять решение суда.

Тай Лю был очень взволнован тем, что его не приговорили к казни, и их слова не доходили до его сознания.

Потом он работал на стройке, и снова каждый вечер прикрепленные проводили с ним беседы. Но Тай Лю никак не мог поверить, что народ простил его и он может теперь спокойно, до конца своей жизни, равноправно со всеми пользоваться счастьем, которое добыли те люди, против которых он сражался.

И вот как-то ночью, забрав из сундучка своё имущество, Тай Лю ушёл тайком со стройки и пешком добрался до Пекина. Узнав, где помещается главный суд, он стал ходить туда и униженно упрашивать служащих, чтобы его судил главный суд. И он ночевал на улице возле здания суда до тех пор, пока уличный комитет не обратил на него внимания и не поручил одному из активистов заняться устройством Тай Лю на работу. Этот активист познакомил Тай Лю со скорняком Лян Яном, и тот обучил Тай Лю своему ремеслу.

Потом Тай Лю женился на дочери Лян Яна и купил вот эту фанзу, где он и живёт сейчас.

Первое время Тай Лю работал на торговца, который давал ему сырьё и платил за труд не очень много. Но потом с помощью того же самого активиста уличного комитета, которому было поручено воспитание Тай Лю, он поступил работать на государственную кожевенную фабрику, и теперь он зарабатывает столько, что если бы, как он говорит, все его родственники были живы, он мог бы прокормить их.

И, повернувшись к Тай Лю, стоящему возле столба, подпирающего кровлю фанзы, в горделивой позе человека, знающего себе цену, Ли Мин-шен сказал:

— Я говорю советскому товарищу, что ты теперь живёшь богато. Ты ведь это просил ему передать?

Тай Лю с достоинством кивнул головой. Оглядев озабоченно фанзу, он зажёл масляный светильник. Но, видимо, не удовлетворившись этим освещением, он достал из маленького шкафчика медную, ярко начищенную керосиновую лампу и зажёл её. Потом он стал решительно раздеваться. И я увидел спину Тай Лю, покрытую чёрными глубокими рубцами, словно выжженными прикосновением раскалённой железной решётки. Хлопая себя по спине ладонью, Тай Лю произнёс хрипло: «Гоминдан!»

Потом Тай Лю скрылся за бамбуковой циновкой, разделявшей фанзу на две половины. И появился он снова из-за занавески, но в каком виде!

На голове у него были одновременно зимняя шапка и кепка. Он был одет в новый топорщащийся синий костюм, верх которого был наброшен сатиновый халат, стёганный на вате. На ногах у него были надеты новые резиновые туфли, а в руках он держал коробку, где в мягкой стружке лежали жёлтые полуботинки. Сохраняя на своём лице торжественное выражение, Тай Лю неторопливо повернулся несколько раз, чтобы мы могли со всех сторон оглядеть его одежду. Потом он снова исчез за занавеской и, вернувшись обратно в своём прежнем виде, закурил трубку с длинным, тонким чубуком и, обратившись к Ли Мин-шену, кивая на меня головой, сказал:

— Передай советскому другу, я недавно чуть было не стал совсем богатым человеком. Если бы шоссе проходило немного правее, я получил бы за свой дом и за огород от государства кучу денег — столько, сколько получили мои соседи. Но счастье пришло ко мне с другой стороны. Скоро я перееду в рабочий посёлок. На нашей фабрике построили дома из камня, вода в них течёт прямо из железной трубы, и её можно брать сколько угодно.

Потом Тай Лю повёл нас в харчевню, расположенную у глиняного забора, и заказал пельмени с грибной и рыбной начинкой. Мы пили тёплое и ароматное шаосинское вино из крохотных и тонких, как яичная скорлупа, чашечек, и Тай Лю рассказывал нам о том, какие необыкновенные машины установлены сейчас на его кожевенной фабрике. Он рассказывал, что он работает сейчас на машине, которая за несколько минут шлифует буйволую кожу, а раньше эту работу двое самых сильных рабочих делали четыре полных дня.

Мы возвращались обратно в город, когда огромная луна уже висела над его старинными серыми стенами. Улицы города были освещены разноцветными неоновыми огнями.

На площади, расположенной недалеко от башни, называемой «Башня преклонения перед культурой», сотни юношей и девушек играли в баскетбол (игру, так же распространённую в Китае, как у нас футбол), и музыканты подбадривали игроков звуками барабанов, медных труб и смычковых инструментов, похожих на зурну.

Огромный город, утопающий в зелени, был полон света, музыки, движения.

## 2. В деревню пришёл лектор

Дун Би спал, сидя на корточках, опустив руки между коленями, опершись спиной о шершавый ствол белого бука.

Изгибаясь среди ступенчатых холмов, просёлочная дорога дымилась горящей пылью. По дороге шли мулы и лошади, запряжённые в двуколки с мешками зерна и тюками хлопка. Погонщики шагали позади повозок и пели пронзительными голосами.

Увидев спящего под деревом человека, они вежливо смолкали, и толькобряканье медных украшений на упряжи нарушало тишину.

Солнце висело посередине неба. В небе цвета жемчужной пыли — ни одного облачка. Глиняная почва цвета меди источала жар. На холмах, изрезанных террасами полей и от этого ступенчатых, торчали ввысь изваянные из белого камня пагоды.

Словно змея, юлила в берегах, заросших плакучими ивами, чахлая речушка, называемая Слезой Черепахи.

Буйвол в надетой на рога широкой тростниковой шляпе, закрывающей ему глаза, неспешно ходил по кругу, вращая ворот поливочной машины. Из бамбукового ствола, лежащего на дамбе, толчками выскакивала вода и падала в арык.

Голый мальчик с треугольничком чёрных волос на круглой бритой голове собирал листья бука в плетённую из соломы корзину, стараясь не очень шуметь, чтобы не разбудить усталого путника.

Веки Дун Би вздрагивали. Он стонал и дёргался во сне. Но когда это ему не снилось, а происходило с ним несколько лет тому назад, он не стонал и не дёргался, а сохранял невозмутимое спокойствие, как и все другие коммунисты, приговорённые к смерти.

Они стояли в узких ямах, руки их были скручены на спине проволокой. Солдаты бросали лопатами сухую, пыльную глину. Сначала их засыпали

по бёдра, потом по плечи. Когда уже нельзя было пошевелить головой, иностранный офицер, командующий казнью, начал фотографировать торчащие из земли головы коммунистов, становясь при этом на одно колено. Он даже лёг на живот, чтобы было удобнее фотографировать лица людей, заживо закапываемых в землю.

Тогда один из товарищей Дун Би плюнул в лицо офицеру. Взбешённый иноземец выпустил из пистолета всю обойму в голову этого человека.

Дун Би улыбался, глядя, с какой гримасой отвращения офицер вытирает своё лицо платком. Офицер, увидев, как Дун Би смеётся, стал бить ногами по его торчащей из земли голове. Дун Би потерял сознание. Когда партизаны выкопали его из земли, лицо его было разможено каблуками офицера, а нос сломан.

Голой мальчик смотрел на беспокойно спящего путника и думал, стоит будить этого человека или нет. Ведь сон в полуденный зной не приносит отдыха.

Дун Би открыл глаза и увидел склонившегося над ним голого мальчика.

— Здравствуй, приятель,— сказал Дун Би.— И почему такой молодец ходит без пионерского галстука?

Мальчик смутился.

— Здесь нет никого, кого бы я должен воспитывать или оказать тимуровскую помощь.

— А я разве недостойн быть воспитанным тобой или воспользоваться твоей помощью?

— А вы в этом нуждаетесь? — недоверчиво спросил мальчик.

— Ещё бы! — сказал Дун Би.— Мне очень нужна помощь толкового человека.

— Я сейчас к вам приду,— сказал мальчик и побежал к реке.

Дун Би вынул из бокового кармана вылинявшей синей куртки пачку сигарет и закурил.

Он прошёл сегодня утром больше тридцати ли. Ноги у него сильно болели. До того, как он их отморозил в горах во время зимнего похода, Дун Би ничего не стоило отмахать без отдыха сорок и пятьдесят ли, но теперь ходить много было очень трудно.

В 1943 году, после боя, молодой солдат Лю хотел снять с убитого врага американские ботинки. Дун Би разъяснил Лю, что солдаты Народно-освободительной армии должны быть образцово воспитанными людьми, и он напомнил Лю «восемь правил» солдата Народно-освободительной армии.

1. Если ты снял дверь с крестьянского дома, чтобы спать на ней, навесь её снова, прежде чем уйти из деревни.

2. Перед уходом свяжи солому, на которой ты спал, и отнеси её туда, откуда взял. Ставь на место всё, что берёшь. Прежде чем уйти, подмети пол.

3. Будь скромн, правдив, приветлив.

4. Никаких реквизиций. Плати по рыночной цене за всё, что ты покупаешь.

5. Если ты что-нибудь одолжил, верни взятое тобой.

6. Если ты причинил ущерб, возмести его.

7. Не загрязняй деревни.

8. Не приставай к женщинам.

Выслушав наставления, Лю обул мёртвого врага. Но когда через год рота совершала зимний поход в сорокаградусную стужу, Лю, у которого на ногах были только резиновые туфли, напомнил Дун Би о том, что он теперь страдает от холода из-за того, что послушался его. Дун Би молча

сел на снег, снял свои кожаные ботинки и отдал их Лю, а сам надел его резиновые туфли.

Во время разведки, натолкнувшись на засаду врага, Дун Би, отстреливаясь, пролежал в снегу двое суток и отморозил ноги. Он долго ходил на костылях, пока раны на месте отрезанных пальцев не зажили. Потом Дун Би шутил с солдатами, что его походка теперь напоминает движение ивы, колеблемой ветром.

Мальчик снова появился у дерева. На нём были коротенькие штанишки, а на голой шее — буро-го цвета косынка. Озабоченно нахмурив брови, он сказал, словно не узнавая Дун Би:

— Я хочу знать сначала, кто вы такой. Может быть, вы враг и американцы переправили вас на подводной лодке с Тайваня.

— Ты хороший пионер,— сказал, улыбаясь, Дун Би,— ты знаешь, как надо обращаться с незнакомым человеком! — и похлопал по земле ладонью, приглашая мальчика сесть рядом. — Вот такой же путник вроде меня совсем недавно оказался врагом нашего народа. Он хотел взорвать дамбу на реке. Но крестьяне разоблачили его. А мне пришлось разряжать его адскую машину.

Но мальчик не дал увлечь себя столь соблазнительным разговором. Отойдя на несколько шагов для безопасности, он сказал:

— Тут недалеко работает мой отец. Он очень острым серпом срезает ивовые прутья. Скажите мне, кто вы такой, или вам придётся сказать это моему отцу.

— Я лектор, — сказал Дун Би. — Лектор, присланный сюда из уезда. Меня зовут Дун Би.

Лицо мальчика осветилось улыбкой. Он вежливо поклонился Дун Би и сказал, почтительно улыбаясь:

— Здравствуйте, товарищ Дун Би. Я вас приветствую от имени нашей пионерской организации. Моё имя — Цзень Цзунь.

— Садись, Цзень Цзунь, — приветливо сказал Дун Би. — Я знаю твоего отца. Он почтенный человек, хотя в прошлом имел грубые политические ошибки. Я до сих пор не могу вспомнить без раздражения, как он посадил в бочку помещика Лю Гэ и предложил крестьянам выливать по ведру воды в бочку за каждое свершённое помещиком злодеяние. Он чуть не утопил Лю Гэ, вместо того чтобы предать его уездному суду.

Юный Цзень Цзунь вздохнул и сказал:

— Я не могу осуждать своего родителя.

— Достаточно того, что его осудила партия, — сурово проговорил Дун Би. Потом лицо его, покрытое шрамами, снова расплылось в добродушную улыбку. — Твой отец хорошо учится в политическом кружке. Я рекомендовал зачислить его на курсы активистов уезда.

— Отец очень страдает,— сказал Цзень.— Когда я стал пионером, он спросил, не стыжусь ли я того, что случилось с ним.

— Это очень хорошо, что у него так сильно болит сердце, — сказал Дун Би. — Лишиться партии — большее горе, чем потерять родителей. Как у вас с урожаем?

— В кооперативе не бывает плохих урожаев, — гордо сказал мальчик. — Зимой мы вывезли весь лёд с реки на наши поля, и земля хорошо увлажнилась. Мы построили новую дамбу, такую же толстую, высокую и крепкую, как Великая стена.

— Вы посеяли украинскую пшеницу из Советского Союза. Как она?

— Она не боится морозов, сухих ветров, болезней. Мы получили знамя провинции за рекордный урожай.

— О, ты, наверное, будешь агрономом.

— Об этом знают все мальчишки нашего села.

— Скромность — признак воспитанного человека. А как вдова Вань, всё плачет?

— Мы написали над дверями её фанзы: «Здесь живёт вдова героя». Пионеры убрали участок её поля и по очереди пасут её козу.

— Что пишут вам из Москвы?

— Жалуются, что плохо взошли семена нашей капусты. Мы устроили заседание и послали юным мичуринцам свои советы. Но просили их написать нам о великом канале Ленина. Мы спрашивали учителя, почему наше правительство не пригласит советских пионеров в гости. У нас есть дела, о которых хотелось бы посоветоваться с ними лично.

Дун Би рассмеялся и сказал:

— Три года тому назад, когда мы вели последние бои с гоминдановцами и интервентами, я знал, какой будет наша страна после победы. Но что наци дети так быстро станут такими умными, мы не думали.

— Сын походит на свой век больше, чем на отца и мать, — важно сказал мальчик.

— Я тебе тоже отвечу поговоркой, — строго сказал Дун Би. — Прежде чем яйцо станет курицей, оно долго питается теплом птичьего зада. Я вижу ты из зазнаек. Это большой недостаток.

Мальчик смутился, и на глазах его появились слёзы.

— Хо, хо, здравствуйте, Дун Би! — Высокий, широкоплечий человек, с головой, повязанной полотенцем, мускулистый и, повидимому, необычайной силы, держа огромный серп в руке, уселся рядом с Дун Би и, ласково заглядывая ему в глаза и нежно глядя его руки, задушевно произнёс:

— Я не видел тебя с тех пор, как ты тогда выступал на собрании, требуя, чтобы меня исключили из партии. Я до сих пор помню твои слова: «Коммунист, который угрожает классовому врагу, и коммунист, который левацки искажает классовую политику партии, в равной мере являются врагами партии». Я думал, что ты стал с тех пор большим начальником. А вот ты сидишь под деревом, и ноги у тебя в пыли, как у человека, носящего почту. Ты что, тоже совершил какие-нибудь ошибки?

— Я учусь, — коротко сказал Дун Би.

— Хо, хо, ты стал студентом?

— Я учусь на курсах, чтобы стать студентом.

— На кого же ты учишься?

— Я хотел бы стать агрономом.

— Агрономом?! Но ведь ты мог руководить уездом. Ты старый кадровый работник партии, и таких у нас здесь не много.

— Да, у нас в партии всё меньше становится старых кадровых коммунистов без образования, и я не хотел бы увеличивать их число.

— Ты всё такой же. Не женишься, наверное, потому что считаешь, семья будет отвлекать тебя от партийной работы. Не ешь мяса, не пьёшь вина, не носишь шерстяной одежды и кожаной обуви, считая, что, пока всего этого не будет вдоволь у народа, ты не можешь всем этим пользоваться. Не пойдёшь ко мне обедать до тех пор, пока не поработаешь у меня на поле, чтобы никто не подумал, что крестьянин накормил тебя обедом не как гостя, а как уездного начальника. Ты тащился пешком столько ли, хотя любой крестьянин послал бы за тобой лошадь, а сам впрягся в плуг. — Цзень оглянулся на своего сына и сказал с гордостью: — Видишь, сынок, какие они, старые кадровые коммунисты? С ними неинтересно пить вино. Но можно смело пойти на тигра с голыми руками.

— Ты стал отличником труда? — спросил Дун Би.

Цзень вытянул свои руки, оплетённые железными мышцами, и в свою очередь спросил:

— А кто может тягаться в нашей деревне со мной силой?

— Но почему ты, отличник, возражал против посадки картофеля квадратно-гнездовым способом?

Цзень смущённо опустил голову и пробормотал виновато:

— Я не знал, что это советский способ.

— Неправда, — сурово сказал Дун Би, — ты просто не хотел заниматься в агрономическом кружке и не понимаешь ничего в агротехнике.

— Но я сейчас занимаюсь сразу в двух политических кружках, и мне недавно доверили сделать доклад.

— Политика тогда становится оружием, когда она опирается на деловые знания.

— Но товарищ Мао говорит: «Китайцы нашли всеобщую истину марксизма-ленинизма, применимую повсюду, и лицо Китая изменилось».

— Ты плохо изучил труды председателя Мао Цзэ-дуна. Революционная теория сильна тем, что она всегда опирается на революционную практику. Квадратно-гнездовой способ — это и есть революционная практика советских крестьян.

— Ты всегда во всём только критикуешь меня, — горестно произнёс Цзень.

— Друзей критикуют, с врагами борются. Друзей воспитывают, врагов уничтожают, — лаконично произнёс Дун Би.

Цзень снял с головы полотенце, вытер им вспотевшее лицо и грустно сказал:

— Я не знаю, чему ты там учишься, но ты уже сейчас всё знаешь и мог бы даже руководить провинцией.

Потом он встал, сложил руки на груди и, низко поклонившись, произнёс:

— Почтенный Дун Би, я и моя семья будем бесконечно счастливы, если ты не откажешься сегодня от нашего скромного обеда.

— Хорошо, — сказал Дун Би, — я благодарю тебя, но сначала позволь мне, для того чтобы аппетит был лучше, помочь тебе по хозяйству.

— Ты непреклонный человек, у тебя вместо сердца кусок железа! — И, обернувшись к сыну, Цзень сказал повелительно: — Беги, обрадуй мать тем, что у нас сегодня такой дорогой гость. Захвати по дороге утку с хромой ногой. Ей уже давно надоело глотать лягушек. Я заставлю сегодня Дун Би совершить политическую ошибку. Он будет есть утку, даже если для этого понадобится связать его.

Цзень захохотал так громко, что воробьи испуганно взлетели с дороги.

Мальчик побежал во всю прыть с холма. Взрослые долго с улыбкой следили за ним. Дун Би сказал:

— У тебя хороший сын. — И, положив свою руку на могучее плечо Цзэня, участливо спросил: — Ты сильно страдаешь, старик?

Цзень опустил потускневшие глаза и тяжело вздохнул.

— Тебе очень больно, я знаю. Но то, что ты не обиделся на партию, а всё время старался заслужить снова её доверие, мы знаем. Приезжай зимой в районный комитет. Мы обсудим твою жизнь за то время, когда ты был не в рядах партии, и, может быть, партия вернёт тебе своё доверие.

Лицо Цзэня побагровело. Он долго бил себя по груди рукой, сжатой в кулак, не находя слов. Потом обнял своего друга, поднял его над землёй и, держа в своих мощных руках, бегом понёс его с холма, высоко вскидывая ноги, не зная, как излить переполнявшую его буйную радость.

Солнце склонилось к западу. Серые тени от белых пагод легли на широкие золотые ступени холмов, где вызревал хлеб нового урожая.

Поверхность речушки стала синей. По дороге шли крестьяне в широких тростниковых шляпах и несли на коромыслах в корзинах овощи и снопы риса.

Буйвол перестал качать воду. Он спустился в реку и улёгся там в тину.

Дун Би и Цзень, мерно взмахивая большими тяжёлыми серпами, рубили гибкие и тонкие ветви, из которых Цзень плёл для кооператива огромные, как цистерны, корзины для зерна.

Из деревни доносился мелодичный, серебряный звон гонга; человек, колотивший по нему сухой заячьей лапкой, оповещал жителей о том, что сегодня в Народном доме состоится лекция кадрового партийного работника, товарища Дун Би.



ГОВАРД ФАСТ

★

## ПОДВИГ САККО И ВАНЦЕТТИ

*Легенда Новой Англии*

Тем мужественным американцам, которые сегодня, как и вчера, предпочитают тюрьму и даже смерть измене принципам, в которые они верят, земле, которую они любят, и народу, который вручил им свои надежды.

### ПРОЛОГ

*15 апреля 1920 года в городке Саут-Брейнтри, штата Массачусетс, был безжалостно осуществлён тщательно обдуманый налёт, во время которого бандиты убили кассира и охранника.*

*Впоследствии были арестованы и обвинены в грабеже и убийстве сапожник Николо Сакко и разносчик рыбы Бартоломео Ванцетти, в прошлом пекарь, а ещё раньше — рабочий на кирпичном заводе. Они предстали перед судом присяжных в Дедхэме (штат Массачусетс), и суд признал их виновными.*

*По законам штата, ходатайства и заявления сторон рассматриваются до того, как судья выносит свой приговор. В деле Сакко и Ванцетти судебная процедура длилась семь лет. Лишь 9 апреля 1927 года судья приговорил обоих обвиняемых к смертной казни и постановил привести приговор в исполнение 10 июля 1927 года. Однако, по разным причинам, исполнение приговора откладывалось до 22 августа 1927 года.*

### Глава первая

**Ш**есть часов утра — это начало дня. Если день начался, восемнадцать часов остаётся до полуночи, которую люди считают концом дня.

В шесть часов утра животные и существа, близкие к ним, чуют наступление дня, а рыбы, повернувшись на бок, вглядываются в мутный серый свет, падающий на воду. Птицам, парящим высоко в небе, уже виден краешек солнца; на земле же пыль ещё смешивается с утренним туманом, а из тумана, словно средневековый замок, поднимается восьмиугольное здание тюрьмы.

Стражники на тюремных стенах обращают угрюмые, бездумные взоры к утреннему свету. Скоро запоют петухи и на земле снова засветит солнце. Тюремный страж — тоже человек. И он думает свои думы, и у него есть свои мечты, но он чувствует, что вся история человечества, в которой веками отдавался свист бича, вырыла пропасть между ним и обыкновенными людьми, такими, как вы или я. Он не такой, как все, этот тюремщик лучших надежд человека и его самых мучительных страхов, которые он должен стеречь с помощью ружья и дубинки.

В этот утренний час в тюрьме, в камере смертников, проснулся вор. Чуть слышные шорохи земли, согретой первым проблеском дневного света, разбудили его; он вытянулся на койке, зевнул, и вместе с пробу-



дившимся сознанием к нему вернулся страх; страх сразу же пополз по его телу, забился у него в крови.

Имя этого человека — Селестино Мадейрос. Он ещё очень молод — ему едва исполнилось двадцать пять лет, и он совсем не дурён собой.

Страшные годы, годы вражды, насилия и низменных страстей, отпечатались на его лице куда менее явственно, чем можно было ожидать. У него правильный нос, крупный рот и прямые брови. Его тёмные глаза полны тоски и страха.

Человек этот — Мадейрос, вор. Он переходит от сна к яви и сознанию того, что сегодня — последний день, отпущенный ему на земле. Мысль о смерти вызывает у него дрожь, холодный озноб пробегает по его телу. Сейчас лето и тепло, но он плотнее натягивает одеяло, пытаясь одолеть озноб и хоть немножко согреть своё сердце. Но одеяло не помогает, и по телу снова и снова ползёт холод. Так он просыпается совсем, леденев от страха.

Сначала Мадейрос пытается успокоить себя, мысленно перенесаясь в другое место; он закрывает глаза и попружается в воспоминания; ему хочется поверить, будто он вовсе не здесь, будто он не взрослый двадцатипятилетний мужчина, а снова школьник в городке Нью-Бедфорд, штата Массачусетс. Он вспоминает школьные дни. Вот он в классе, где его учат арифметике; она ему давалась без труда: голова его легко справлялась с числами; вот он в другом классе, где другой учитель учит его писать слова на том трудном языке, который выбрали для него его родители; они выбрали для него не только язык, но и город Нью-Бедфорд, и штат Массачусетс, и страну, которую зовут Америкой. В этом классе учение давалось ему с трудом: он никак не мог одолеть чужие слова.

Мысль о выборе, который за него сделали его родители, и об их переезде в эту страну снова возвращает его в тюрьму. И он клянёт их за то, что они не остались там, на Азорских островах, где жило столько поколений его предков; за то, что они поднялись с места и приехали сюда, в Америку. Но, поняв, что вст здесь, сейчас, в последний день своей жизни, он поносит своих родителей — родного отца и горячо любимую мать, — он сползает с койки, падает на колени и начинает молиться.

Вор просит отпустить ему грехи. Грехов у него множество, куда больше, чем положено человеку. Он пил, играл в карты, распутничал, крал и убивал. Сжав руки, он прижимается лицом к постели и бормочет:

— Матерь божия, прости меня. Я грешен во всех грехах человеческих, но я жажду твоего милосердия. За эти долгие дни и месяцы я столько передумал о себе и о своей судьбе, о том, что я совершил, и о том, что привело меня сюда. И я понял, что не всё в моей жизни произошло по моей вине. Разве я кого-нибудь просил сделать меня грешником? Единственное, чего я всегда просил, это прощения. Всё остальное в моей жизни случилось само собой. Я не хотел, чтобы ложь оставалась ложью. Я старался исправить неправду. Никто не должен страдать за меня. Я сознался в своей вине. Я снял вину с тех двоих — с сапожника и разносчика рыбы. Что ещё мог я сделать? Разве я просил, чтобы меня родили на свет божий? Разве я просил тебя об этом? Но раз уж так случилось, я жил, как умел. И вот пришёл конец. И я прошу — прости меня!

Так он закончил молитву, а потом долго бормотал своё имя, словно оно было магическим заклинанием.

— Я Селестино Мадейрос, — шептал он.

И повторив своё имя снова и снова, раз двадцать, он не выдержал — опустил голову на руки и заплакал. Он плакал очень тихо, зная, что ещё рано и он может разбудить других заключённых. И если бы в эту минуту люди могли его видеть или слышать, они не остались бы равнодушными.

Его глубокая печаль о своей судьбе и о конце, который его ожидает, надрывала душу.

Он был приговорён к казни на электрическом стуле, и сегодня приговор приведут в исполнение. Вор прожил на свете каких-нибудь двадцать пять лет и часть из них провёл в тюрьме; просто удивительно, сколько зла он умудрился сотворить в свой короткий век.

Ребёнком он бегал без присмотра, как зверёныш, задыхаясь от злобы, ненависти и отчаяния; он рос хилым, кривоногим и сутулым мальчонкой в грязных закоулках Нью-Бедфорда, в штате Массачусетс, а потом Провиденса, в штате Род-Айленд. В школе он научился немногому. Его считали тупицей, и ребята травили его за то, что учение давалось ему с таким трудом. «Тупица, болван, дубина», — слышал он со всех сторон. А дело объяснялось просто: у него были слабые глаза, и они болели, когда он смотрел на что-нибудь слишком долго или слишком пристально.

И вот он стал убегать из школы и учиться другим вещам. Когда ему исполнилось двенадцать лет, он уже воровал со складов, а в четырнадцать — обкрадывал товарные вагоны. В пятнадцать лет он овладел ремеслом сутенёра и моралью сводника. Он метался между игорными притонами и публичными домами, жадно поглощая все прелести той цивилизации, которая была предоставлена к его услугам. В семнадцать лет он совершил пять вооружённых налётов, через полгода впервые убил человека.

Короче говоря, Мадейрос был самый настоящий разбойник. Но он не мог ни понять, ни объяснить, что сделало его таким, каким он стал, какое сложное стечение обстоятельств определило его судьбу. А кому другому было интересно в этом разбираться? Он был исконным жителем трущоб и тёмных закоулков, порождением и неотъемлемой их частью. Когда его ловили полицейские, они его били, ибо видели, что он вор; печать его ремесла была выгравирована, выжжена на всём его облике, — разве его не следовало бить? Поэтому он напрягал весь свой скудный ум, стараясь, чтобы полиция его не поймала.

Время от времени, когда ему представлялась возможность заняться честным трудом, он отказывался от него. Он не умел работать, так же как не умел жить, не воруя. Работы он не любил, он ею гнушался. Поэтому, когда она попадалась ему, он бежал от неё.

Как только жизнь его отлилась в определённую форму, всё остальное стало неотвратимо. События догоняли друг друга, следуя злосчастной логике его существования. А логика его существования требовала, чтобы, рано или поздно, он стал соучастником убийства.

Когда ему исполнилось ровно восемнадцать лет и один месяц, логика его жизни привела к тому, что в городе Провиденс, где его знали, к нему пришли какие-то два человека. У них были жёсткие, холодные глаза и повадки бандитов; они не сомневались в том, что он, Селестино Мадейрос, — их поля ягода. Вот они и пришли к нему, чтобы рассказать о деле, которое задумали и подготовили, и спросить, хочет ли он принять в нём участие.

— Да, — сказал он, — хочу.

Дело сулило большую наживу. Если он примет в нём участие, он будет жить, как король; карманы его будут набиты деньгами, а виски, кокаина и женщин будет столько, сколько душе угодно...

Да, он согласен участвовать в этом деле.

На другой день после этого разговора, 15 апреля 1920 года, вор Селестино Мадейрос сел в машину вместе с тремя другими людьми. Из города Провиденс, штата Род-Айленд, они поехали на север, в город Саут-Брейнтри, штата Массачусетс, куда они и прибыли около трёх часов пополудни. Машину они остановили перед обувной фабрикой. На фаб-

рике в это время должны были платить жалованье рабочим — 15 776 долларов. Приехавшие знали об этом, потому что на фабрике у них были свои люди. Они остановили машину и стали ждать кассира с деньгами. Было без одной или двух минут три, когда к фабричным воротам охранник и кассир поднесли тяжёлые железные ящики с деньгами. Тогда два человека подошли к ним и хладнокровно застрелили их, не дав им даже возможности поднять руки или бежать. Грабители схватили ящики с деньгами, вскочили в машину и скрылись.

На долю Мадейроса выпала несложная задача — он должен был сидеть в машине с револьвером наготове. На этот раз ему не пришлось даже убивать, — за него убивали другие. А когда добыча была поделена, ему досталось почти три тысячи долларов.

Если течение жизни Селестино Мадейроса было неотвратимым, то и смерть его была так же неминуема. Если его обходило стороной одно преступление, другое нагоняло его по пятам. И вот, семью годами позже, очутился он, двадцати пяти лет отроду, здесь, в камере смертников, ожидая часа своей казни.

И какая страшная ирония судьбы: в тот же день должны были казнить ещё двоих людей, обвинённых в том самом убийстве, соучастником которого был Мадейрос.

Мадейрос это знал. Ему были известны и оба осуждённых. Один из них был сапожником, его звали Сакко. Другой — разносчиком рыбы, по фамилии Ванцетти, и оба они были простыми итальянскими рабочими. Сам Мадейрос был португальцем, а не итальянцем; однако ему казалось, что у него с этими людьми какое-то сродство. При мысли о них на сердце у него становилось теплее. За годы, проведённые в тюрьме, он много передумал об этих людях, приговорённых к смерти за преступление, которого они не совершали, но к которому имел прямое отношение он, Мадейрос. Сидя в тюрьме, он передумал и о многом другом. Думать ему было нелегко. У него не было ни знаний, ни умения осознать или обобщить жизненный опыт, и потому мысли его текли медленно и трудно, редко превращаясь в ясные понятия или в логический вывод. И то, над чем обычный человек размышлял бы несколько часов, требовало от Мадейроса долгих недель мучительного раздумья.

Однако мысли всё же привели Мадейроса к смутному пониманию того, что с ним происходит: его жизни, судьбы, тех неотвратимых сил, которые, играя им, шаг за шагом приближали его к ужасному концу. Мысли рождали в нём неясную жалость к самому себе, жалость к другим, и он иногда молился, а порою плакал. Однажды он решил, что те двое — Сакко и Ванцетти — не должны умереть за преступление, в котором они были неповинны и в котором участвовал он, Мадейрос. Стоило ему это решить, как на душе у него сразу стало покойно, он словно избавился от давившего его гнёта. И теперь, много времени спустя, он вспоминал, с какой душевной ясностью он писал своё первое признание и как старался переслать его из тюрьмы в редакцию газеты, которую он время от времени читал, — «Бостон Америкэн». Однако признание его попало не в газету, а в руки человека, которого звали шерифом Кэртисом; тот спрятал письмо и попытался сделать вид, будто никакого письма и не было.

Но Мадейрос не захотел, чтобы дело на этом кончилось; он вторично написал признание и отдал его одному заключённому, который пользовался правом свободного передвижения по тюрьме, и тот отнёс письмо в камеру, где сидел Николо Сакко. Позже этот арестант описывал Мадейросу, как Сакко читал письмо, как задрожал он, прочтя его, а потом заплакал и слезы ручьём потекли по его лицу. И когда бедняга

Мадейрос услышал этот рассказ, сердце его снова переполнилось радостью.

Однако с тех пор прошло много, много месяцев. Мадейрос не знал, какая судьба постигла его признание. Но он знал, что оно ничуть не изменило намеченного хода событий, не изменило его участи или участи Сакко и Ванцетти. Все они должны были умереть. Он, Селестино Мадейрос,— за преступления, в которых он был виновен, а сапожник и разносчик рыбы — за преступление, которого они не совершали...

Мадейрос встал и подошёл к окошечку, откуда ему был виден только что родившийся свет нового дня. В мутном, колеблющемся тумане утра перед ним открывался лишь кусок тюремной стены. Но воображение унесило его далеко за пределы этой стены, и вдруг он почувствовал радость, что сегодня, наконец-то, он будет свободен и душа его унесётся туда, где её ждёт справедливый суд. Но радость эта была мимолётной. Она умерла, едва успев родиться, и Мадейрос вернулся на свою койку снова один на один с томящим его страхом.

Он хотел было ещё помолиться, но не смог вспомнить ни одной подходящей молитвы. Тогда он сел на койку, опустил голову на руки и снова заплакал. Слёзы приходили к нему куда легче, чем молитвы.

## Глава вторая

Начальник тюрьмы пробудился от знакомого сна. Были такие сны, которые повторялись каждую ночь, как приступ болезни, и почти всегда в этих снах роли менялись, и он, начальник тюрьмы, становился заключённым, а тот, кто был заключённым, превращался в начальника тюрьмы. Теперь, когда он проснулся совсем, уже был день, светило солнце, в окно заглядывал кусок яркоголубого неба, однако видения его сна — люди, краски и слова — были ему куда ближе, чем то, что его окружало в действительности.

Во сне всегда происходил один и тот же спор. Он чувствовал всё тот же страх, всё то же мучительное бессилие. Он повторял: «Но ведь я начальник тюрьмы!» — «Подумаешь! Что из этого?» — «Вы, повидимому, не понимаете... Я начальник этой тюрьмы». — «Нет, это ты не понимаешь. Мы уже говорили тебе: здесь это не имеет значения. Никакого. Ни малейшего значения». — «Кто вы?» — «Это тебя не касается. Ты знай одно: сиди смирно и делай то, что тебе говорят. Не бузи». — «Вы не знаете, с кем вы разговариваете. Вы разговариваете с начальником тюрьмы. Я могу приходить и уходить, когда мне вздумается. Я могу уйти отсюда, когда мне заблагорассудится». — «Ну, нет, шалишь! Ты не можешь уйти отсюда, когда тебе заблагорассудится. Ты не можешь уйти отсюда вообще». — «Нет, могу». — «У тебя мания величия. А величие тут ни при чём, и нам плевать на твою манию. Ты в тюрьме. Делай, что приказано. Заткни глотку, подчиняйся правилам, делай, что тебе говорят, и всё будет, как надо».

Так обычно шёл разговор. Они не верили, что он начальник тюрьмы. Сколько бы он ни молил, ни убеждал, ни спорил, ни приводил тех или иных доводов, — они его всё равно не слушали. В свою очередь они тоже приводили доводы. Однажды во сне его спросили: «Кто решает, задумывает или мечтает стать тюремщиком, надзирателем или даже начальником тюрьмы? Кто? Ребёнок хочет стать пожарным, солдатом, доктором, адвокатом, кучером, — но разве хоть один ребёнок на свете мечтал когда-нибудь стать тюремщиком?»

Проснувшись, начальник стал раздумывать над глубокой истинностью этого довода. В минуты жалости к себе ему казалось, что люди, которые служат в тюрьме, занесены туда попутным ветром, что судьба их реши-

лась помимо их желания. Сегодня утром ему особенно хотелось в это верить. Он проснулся с тоскливым чувством пустоты. Во сне он словно что-то утратил и знал, что сегодня он этого уж не вернёт. Он настойчиво повторял себе, что такой день, как сегодня, наступил не по его воле.

Размышляя таким образом, он сел на край постели, сунул ноги в комнатные туфли и пошёл мыться, бриться и приводить себя в такой вид, какой приличествовал начальнику тюрьмы. Он полоскал горло и причёсывался, не переставая доказывать себе, что он, начальник тюрьмы, несколько не виноват в том, что происходит. И вдруг он понял, что каждый, кто в какой бы то ни было мере причастен к сегодняшней казни, говорит себе то же самое; каждый хочет снять с себя ответственность. Его роль в этом деле была, так сказать, второстепенная. Он не был ни самым важным, ни самым последним из участников того, что предстояло. Он был начальником тюрьмы до сегодняшнего дня и, без сомнения, останется им и завтра. Волнение понемножку уляжется. Люди ведь обладают бесценным даром забывать. Они могут забыть всё на свете. Даже самая искренняя любовь изглаживается из памяти влюблённого, как бы он ни любил. Начальник тюрьмы был в своём роде философом. Ничего не поделаешь, профессиональная болезнь, так сказать, издержки производства! Он знал, что все начальники тюрем были философами. Им, как и капитанам на море в прежние времена, самый ковчег, которым они управляли, придавал некую значительность; кто виноват, что она так отличала их от их же команды и от тех пассажиров, которых вёз корабль.

«Хватит,— сказал он себе в это утро.— Довольно об этом думать. Рано или поздно сегодняшний день должен был настать. Когда-нибудь кончится и он. Надо заниматься своим делом и проследить за тем, чтобы всё было в порядке и прошло как можно легче и спокойнее».

Он оделся и решил перед завтраком взглянуть, что делается в камерах смертников. Проходя по двору, он поздоровался с начальником охраны и даже с одним или двумя заключёнными, которые уже занимались своим делом. Жизнь тюрьмы, которой он управлял, шла полным ходом. Со скрежетом раздвигались и задвигались железные двери. Шагали заключённые, катя перед собой тачки с бельём. Из дверей кухни и пекарни, где деловито сновали люди, доносился лягг кастрюль и противней; уже скребли, чистили, мыли мутной водой со щёлочком тюремные коридоры. В это время, сразу же после семи, заключённые отправлялись завтракать. Начальник слышал мерный шум их шагов, ритмический топот тысячи ног, шаркающих по бетону. Немного позже в тюремных корпусах загремели миски и ложки. Уши начальника привыкли к шуму и разнообразным звукам тюремного обихода, ибо шум этот и звуки наполняли всю его жизнь. В этом смысле сон его и вправду был явью. Вся его жизнь проходила в тюрьме.

Он приблизился к камерам смертников. Начальник решил поговорить с Ванцетти. В этом не было ничего удивительного — ведь с Ванцетти разговаривать всегда было легко. Подходя к камере Ванцетти, начальник тюрьмы потирал руки; он был весел, бодр, деловит. К чему эти траурные настроения? Нужно держаться просто, спокойно, без излишней нервозности и суеты.

Ванцетти, уже одетый, сидел на койке. Он встал навстречу начальнику, и они обменялись рукопожатием.

— Доброе утро, Бартоломео,— сказал начальник.— Я очень рад, что вы так хорошо выглядите. Поверьте, очень, очень рад!

— Наружность порою бывает обманчива.

— Не сомневаюсь, что вы себя чувствуете неважно. Боюсь, что на вашем месте любой бы чувствовал себя не так уж важно.

— Пожалуй,— кивнул Ванцетти.— Наверно, то, что вы сейчас ска-

зали, люди всегда говорят, не подумав. Да это и не меняет дела. Как ни верти, что правда, то правда. Частенько вещи, которые говоришь, не подумав,— очень верные, правильные вещи.

Начальник смотрел на него с любопытством. Начальник знал, что, будь он на месте Ванцетти, он не сумел бы себя так вести. Насмерть перепуганный, он просто дрожал бы от страха; его горло было бы стиснуто, голос прерывался, тело покрылось бы холодным потом, и его трясло бы, как в лихорадке. Начальник хорошо себя знал и ни на йоту не сомневался, что он вёл бы себя именно так. Но Ванцетти почему-то вёл себя иначе. Казалось, что он совершенно спокоен. Его глубоко посаженные глаза смотрели на начальника испытующе. Под густыми усами пряталась лукавая усмешка, а мужественное, несколько грустное лицо с выдающимися скулами выглядело совсем как обычно.

— Видели вы сегодня утром Сакко? — спросил Ванцетти у начальника.

— Ещё нет. Зайду к нему попозже.

— Я волнуюсь за него. Уж очень он ослаб от голодовки. Совсем болен. Я так за него беспокоюсь.

— И я. Я тоже за него беспокоюсь,— сказал начальник.

— Да, у вас свои беспокойства. Во всяком случае, хорошо бы вам его повидать.

— Ладно. Зайду. Что, по-вашему, мне ещё нужно сделать?

Ванцетти вдруг улыбнулся. Он улыбнулся начальнику, как взрослый, зрелый человек улыбается ребёнку.

— Неужто вы и вправду хотите знать, что, по-моему, вам нужно сделать? — спросил Ванцетти.

— Речь может идти о том, что в моих силах,— ответил начальник.— Я, конечно, не смогу сделать всё, что вы попросите, но то, что смогу, я сделаю с радостью. Сегодня я вам дам кое-какую поблажку. Вы можете заказать себе еду по вкусу, можете в любое время пригласить к себе священника...

— Я хотел бы побыть с Сакко. Вы это устроите? Мне ему многое надо сказать, и почему-то до сих пор это ещё не сказано. Если я смогу провести с ним хоть несколько часов, я буду вам очень признателен!

— Думаю, что это легко устроить. Попытаюсь. Однако не огорчайтесь, если из этого ничего не выйдет.

— Поймите, я не сильнее и не мужественнее его. Кое-кому так может показаться, но наружность обманчива. Сердцем он не слабее меня, а гораздо мужественнее.

— Оба вы очень хорошие и смелые люди,— вдруг сказал начальник.— Мне от души жаль, что всё так получилось...

— Вы тут ни при чём.

— Во всяком случае, поверьте, мне очень жаль. Обидно, что всё так нехорошо обернулось.

Начальнику больше не хотелось продолжать беседу. Ему нечего было сказать, и подобные разговоры его очень расстраивали. Он извинился перед Ванцетти, объяснив, что в такие дни, как сегодня, у него уйма дел, куда больше, чем обычно. Ванцетти, повидимому, всё понял.

Когда начальник сел завтракать,— а он любил плотно поесть с утра,— у него вдруг пропал аппетит; тогда он стал почему-то внушать себе, что сегодня, как это бывало не раз и как это было всего на прошлой неделе, казнь будет снова отложена; Сакко и Ванцетти не умрут. Правда, подумал он, вор Селестино Мадейрос всё равно будет казнён; однако, хотя эта казнь и сулила ему много неприятных хлопот, ему не придётся так портить себе нервы, как если бы речь шла о казни Сакко и Ванцетти.

Подумав об этом, начальник сразу почувствовал себя гораздо лучше,

и чем дольше он убеждал себя в том, что казнь непременно будет отложена, тем больше ему казалось, что так действительно и будет. Настроение его исправилось, он повеселел, заулыбался и объявил жене, что, по его мнению, казнь будет непременно отложена.

Начальник тюрьмы принадлежал к той породе людей, которые не позволяют себе волноваться, потому что жизнь не даёт им поводов для приятного волнения и редко сулит им радости впереди. Жена его была удивлена, заметив его возбуждение и услышав, с какой уверенностью он утверждает, что казнь непременно будет отложена.

— Но зачем же её снова откладывать? — простодушно спросила она.

Он проглотил ответ, который напрашивался сам собой. Ему хотелось сказать: «Казнь будет отложена потому, что всякому, знакомому с этим делом, ясно, что двое итальянцев ни в чём не виноваты». Но он не рискнул сказать это даже своей жене.

Он счёл, что подобное замечание слишком бы его обязывало. Ведь он постоянно твердил, что вина или невиновность заключённого вовсе не касаются начальника тюрьмы; поэтому он беспристрастно изложил своей жене кое-какие подробности дела Сакко и Ванцетти, напомнив ей, что имеются некоторые основания сомневаться в виновности обоих итальянцев.

— Но как можно всё это пережить? — удивилась жена. — Ведь процесс длится семь лет. И всё время — казнь и отсрочка, казнь и отсрочка. По-моему, куда легче было бы положить всему этому конец. Я лично не могла бы этого вынести.

— Покуда человек жив, он надеется.

— Не понимаю, — сказала жена. — Ведь все так хорошо отзываются об этих людях!

— Очень симпатичные люди. Такие не часто встречаются. Да, непонятно. Подумать только — такие милые, добрые люди! Тихие, вежливые. Ни разу не слышал от них грубого слова. И на меня не в претензии. Я даже спрашивал Ванцетти, не сердится ли он на меня. Он говорит, что я тут ни при чём и что злость не по адресу неразумна.

— Очень странно всё это, — заметила жена.

— Почему же странно? Всё это довольно обычно... Однако очень милые люди...

— А говорят, что анархисты...

— Что мы, в сущности, знаем об этих самых анархистах? — перебил её начальник. — При чём тут анархисты? Понятия не имею о всяких там анархистах, коммунистах, социалистах... Может быть, Сакко и Ванцетти и то, и другое, и третье. Может, они исчадие ада. Я только говорю, что по ним это не заметно. Когда с ними разговариваешь, кажется, что такие люди ни при каких обстоятельствах не могут совершить убийства. Во всяком случае, такого убийства, в каком их обвиняют. Подобные преступления совершают только бандиты. Они могут хладнокровно пристрелить человека, как собаку. А эти двое — совсем не такие. Не знаю, как тебе объяснить, но они оба очень душевно относятся к жизни вообще. Они не могли бы вот так просто убить. Имей в виду, это строго между нами, я не хочу, чтобы мои слова были взяты на заметку. Но я-то уж знаю, что такое убийца, поверь мне!

— Ну, положим, убийцы бывают разные, — возразила жена.

— Ну, вот видишь, и ты туда же. Да я тебя и не обвиняю. Все вы так. Удивляетесь: как же их могли осудить, если они не виноваты? Ведь это удивляет тебя, правда?

— Возможно, — призналась жена.

— Утром я зашёл к Ванцетти, а он сидит тихо и спокойно, как ни в чём не бывало...

Разговор их прервал надзиратель, который сообщил начальнику тюрьмы, что у Мадейроса истерика и не разрешит ли начальник впрыснуть ему немного морфия. Начальник извинился перед женой, торопливо вытер рот салфеткой и пошёл следом за надзирателем. По пути они зашли в тюремную больницу, прихватили врача и втроём направились к камере Мадейроса. Ещё издали они услышали вопли, которые по мере приближения к камере становились всё громче и пронзительнее.

Камера Мадейроса находилась совсем рядом с камерами Сакко и Ванцетти. Начальнику пришлось пройти мимо них, но на этот раз он даже не заглянул к ним в окошечко.

А Мадейрос лежал на полу; тело его корчило и извивалось в конвульсиях. В его деле было записано, что он страдает эпилепсией, и в тюрьме у него был уже не один припадок. Начальник попытался заговорить с ним, но тот ничего не слышал; он кричал и колотил руками по каменному полу. Из рта у него текла кровь, смешанная со слюной; его вид и пронзительные вопли вконец расстроили начальника.

— Тише, тише,— приговаривал он,— всё уладится, мы ведь здесь, с тобой, успокойся же, всё будет в порядке. К чему себя так изводить?

— С ним бесполезно разговаривать,— сказал врач.—Самое лучшее— это впрыснуть ему морфий. Вы разрешаете?

— Хорошо, колите,— сказал начальник.—Чего же вы ждёте? Колите!

Они с надзирателем держали Мадейроса, пока врач впрыскивал ему морфий. Через несколько минут Мадейрос успокоился, сведённые судорогой мускулы расправились, и крики перешли во всхлипывание.

Начальник вышел из камеры. Его тошнило. Уверенность в том, что казнь сегодня снова будет отложена, почему-то улетучилась; наоборот, теперь он был совершенно уверен в том, что сегодня всё будет кончено. Значит, тягостный день только начинался. Было всего лишь восемь часов утра. Не дай бог, чтобы весь день прошёл таким образом. Право, он этого не вынесет!

### Глава третья

Просто удивительно, как это люди стали вдруг проявлять такой интерес к Сакко и Ванцетти,— вдруг всем захотелось узнать о них хоть что-нибудь, узнать, кто они и как они выглядят. Но удивительно и то, как мало знали люди о Сакко и Ванцетти прежде, чем им пришлось время умереть.

Год тысяча девятьсот двадцать седьмой был странным годом; это был год сенсаций, и заголовки в газетах теснили друг друга, крикливые и неистовые. Это было «самое лучшее из всех возможных времён», и Чарльз А. Линдберг впервые, в одиночку, перелетел через Атлантический океан, дав «Балтимор сан» право воскликнуть: «Он возвысил род человеческий!» Красотка Броунинг и её стареющий супруг, папаша Броунинг<sup>1</sup>, тоже возвысили род человеческий, а потом через океан перелетели Чемберлин и Левин<sup>2</sup>, а Джек Демпси побил Шарки, а потом сам был побит Джинни Тэнни<sup>3</sup>.

Но Сакко и Ванцетти были не то коммунистами, не то социалистами или анархистами, словом, завзятыми бунтовщиками того или иного толка, и потому многие газеты в стране ни разу не упомянули о них до тех пор, пока им не пришлось время умереть. Даже крупные газеты в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии лишь изредка посвящали процессу строчку-другую.

<sup>1</sup> Красотка Броунинг и папаша Броунинг — персонажи из американской скандальной хроники. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Чемберлин и Левин — американские лётчики. (Примеч. перев.)

<sup>3</sup> Джек Демпси, Шарки, Джинни Тэнни — боксёры. (Примеч. перев.)



Ведь с тех пор, как началось это дело, прошло столько лет! «В конце концов, — могли бы сказать в свою защиту газеты, — дело Сакко и Ванцетти началось в 1920 году, а теперь идёт уже 1927-й».

Близость смерти сделала сапожника и разносчика рыбы красноречивыми; даже молчание их было красноречиво. И с самого утра, с самого раннего утра 22 августа, в воздухе чудились звуки, запахи, дыхание смерти. И не странно ли, что в мире, где сотни и тысячи людей умирают невоспетыми и неоплаканными, смерть двух агитаторов вызвала такое волнение и превратилась в событие такой удивительной важности? Но как ни странно, дело обстояло именно так, и с этим приходилось считаться.

Все газеты знали, с какими заголовками они выйдут на следующее утро, но одних заголовков им было мало. Вот почему в это утро репортёр пошёл туда, где жила семья Сакко: жена и двое его детей. Репортёру сказали, что многие интересуются Ванцетти, но куда больше интересовал людей Николо Сакко. Дело Николо Сакко давало возможность покопаться в его личной жизни, и только такой дурак мог бы это упустить. Вот вам Сакко, ему всего тридцать шесть лет, а он уже стоит на краю великой зияющей бездны — один из немногих, кому выпало на долю знать точный час своего ухода в потусторонний мир. Репортёру сказали, что, по представлениям миллионов простых людей его страны, Николо Сакко, умирая, оставлял бесценные сокровища, ибо он был человек семейный.

У Сакко была жена и двое детей. Его жену звали Розой. Мальчик, которому было около четырнадцати лет, носил имя Данте. Девочку, которой не было ещё и семи, называли Инес. Репортёру сказали, что от него требуется статья, которая удовлетворила бы жадную потребность публики узнать личную жизнь Николо Сакко, и поручили повидать мать его детей. Репортёр должен был выяснить, как себя чувствовала она и как чувствовали себя дети.

Поручение его не обрадовало, что не удивительно: будь он даже бесчувственным, как камень, ему нелегко было бы пуститься в такое предприятие. Но дело есть дело, и он отправился поутру в погоню за сенсацией, боясь, как бы его кто-нибудь не опередил. В восемь часов утра он постучался в дверь дома, где жила семья Сакко.

Роза Сакко подошла к двери, открыла её и спросила, чего он хочет. Он поглядел на неё, и его вдруг охватило волнение. «Боже мой! — подумал он. — Как она прекрасна. Ведь это одна из самых прекрасных женщин, которых я видел в жизни!»

Было раннее утро. Её ещё не расчёсанные волосы были небрежно заколоты, и на лице не было ни пудры, ни румян. Может быть, она и не была так прекрасна, как показалось репортёру. Но он не ожидал увидеть её такой. Она поразила его прямою взглядом, ясностью карих глаз, пугающим спокойствием невыносимо грустного лица. Горе её переливалось через край, как из переполненной чаши. В это утро, на взгляд репортёра, горе и было красотой; он был так потрясён, что ему вдруг мучительно захотелось бежать. То был страх перед неожиданно открывшейся правдой. Его ремесло было не в ладах с правдой, но, как бы там ни было, оно его кормило. Он остался и приступил к расспросам.

— Пожалуйста, уйдите, — сказала мать детей Сакко. — Мне нечего вам сказать.

Он попытался объяснить ей, что не может уйти. Разве она не понимает, что таково его ремесло и что это ремесло, быть может, самое важное на свете?

Но она не понимала. Она сказала ему, что дети её ещё спят. В каждом слове её слышалось горе, говорить ей было трудно, но она попросила его не будить детей.

— Я не хочу их будить, — возразил он оправдываясь. — Меньше все-

го на свете я хотел бы разбудить ваших детей. Но не разрешите ли вы мне зайти на минутку?

Она вздохнула, пожала плечами и, кивнув, впустила его.

Первое, что бросилось ему в глаза, были спящие дети. Потом он понял, что ничего, кроме них, он так и не увидел. Он был ещё очень молод, этот репортёр, ему было не к лицу сочувствовать детям какого-то итальянца-сапожника. Сам-то он ведь был настоящим янки и сыном самых подлинных, чистокровных янки. Он не только сам родился в Бостоне, — ещё дед его родился в Бостоне, а прадед родился в Плимуте, штата Массачусетс, а пра-прадед — в Салеме, того же штата Массачусетс.

И тем не менее он увидел, как спит маленькая девочка. В этом зрелище есть что-то необыкновенное, ничто в мире не может сравниться с ним. Спящая девочка, которой не исполнилось и семи лет, — это прообраз всех снов об ангелах, которые когда-либо снились людям. А маленькая девочка лежала, разметав тёмные волосы по подушке, раскинув руки, и её лицо было так покойно в его безмятежной невинности. Даже дурные сны не тревожили её этим ранним утром. В своей жизни она уже вдоволь насмотрелась дурных снов, — может быть, она перевидала их все до единого. Теперь ей снился электрический стул, но она видела его во сне по-своему, по-детски.

Во сне она видела стул в сиянии электрических огней; он весь горел и искрился в сверкающем блеске, а на этом стуле сидел её отец, Николо Сакко. Этот плод её детской фантазии родился из мучительных попыток проникнуть в неясный и пугающий смысл двух слов: «электрический стул», которые проникли в её сознание, подслушанные случайно в разговоре взрослых, двух слов, которыми её дразнили дети. Ей, конечно, не могло прийти в голову задуматься над тем, как бессовестно государство, заставившее маленькую девочку столкнуться с такой вещью, как электрический стул.

Слово «голодовка» ей тоже было трудно понять, и во сне она находила для него своё толкование. Ей снилось, что ей хочется есть, что ей так хочется есть, как никогда ещё не хотелось. Недавно, когда ей приснился страшный сон о том, что она голодна, девочка проснулась в слезах. Матери не было дома, и брат Данте, взяв её на руки, утешал её и старался объяснить, что сон этот совсем не похож на то, что бывает на самом деле. «Видишь, — сказал он ей, — вот письмо от папы, там сказано, как это бывает на самом деле».

Он пообещал прочесть ей письмо на другой день и, конечно, так и сделал. Она сидела, охватив колени руками, а брат читал ей письмо, которое написал её отец. Вот что он прочёл:

«Дорогой мой сын и товарищ!

С того самого дня, когда я видел тебя в последний раз, мне всё время хотелось написать тебе, но моя долгая голодовка и боязнь, что я не сумею выразить мои мысли, всё время меня останавливали.

Теперь я кончил голодовку и сразу же решил написать тебе; хотя у меня мало сил и я могу писать только понемножку, я всё равно хочу это сделать до того, как нас снова переведут в камеры смертников. Я ведь убеждён, что, как только суд откажет нам в пересмотре дела, нас снова туда переведут. И если ничего не произойдёт между пятницей и понедельником, то они сразу же после полуночи 22 августа пропустят через нас электрический ток. Вот почему я пишу тебе с любовью и открытой душой, пишу такой, каким я был с тобой всегда.

Если я и прекратил голодовку, то сделал это только потому, что во мне не осталось больше жизненных сил. А я ведь устроил голодовку, борясь за жизнь, и продолжаю бороться сейчас за жизнь, а не за смерть.

Сын мой, не плачь, будь сильным, чтобы утешить мать, а когда ты

захочешь отвлечь её от душевного горя, послушай, что я тебе посоветую: поведи её далеко за город. Там вы будете собирать полевые цветы, отдыхать в тени деревьев, наслаждаясь гармонией журчащего ручья и мирной тишиной природы. Я уверен, что ей будет очень хорошо, а значит, и ты будешь счастлив. Но запомни, Данте, запомни: помогай слабым, которые просят о помощи, помогай обездоленным и гонимым — это твои лучшие друзья, твои товарищи; они борются и гибнут за радость и свободу для всех бедняков, как боролись и погибли отец твой и Бартоло Ванцетти. В этой жизненной борьбе ты поймёшь, что такое любовь, ты полюбишь людей и будешь любим ими.

Сколько я передумал о тебе, когда сидел в тюремной камере, прислушиваясь к пению и нежным голосам детей, игравших в сквере. Их голоса несли с собой жизнь и радость свободы сюда, за эту стену, где замурованы трое заживо погребённых людей. Дети всегда напоминают мне о тебе и о твоей сестре Инес, — мне так хотелось бы видеть вас всегда. Но всё же хорошо, что ты не был в камере смертников, что ты не видел ужасного зрелища трёх людей, ожидающих казни, — не знаю, какой бы отпечаток остался на твоей юной душе. А с другой стороны, если бы ты не был так впечатлителен, тебе было бы полезно сохранить в памяти, а когда ты вырастешь — бросить в лицо всему свету позорное воспоминание о том, как жестоко и несправедливо умеет преследовать и казнить эта страна. Да, Данте, они могут умертвить наше тело, и они это делают, но они не могут уничтожить наши идеи, которые мы оставляем в наследство будущим поколениям.

Данте, прошу тебя ещё раз: люби мать и в эти горестные дни будь самым близким человеком на свете ей и дорогим нашим друзьям; я уверен, что твоё мужественное сердце и душевная доброта поддержат их. Не забывай меня, люби и помни своего отца хоть немножко, ведь я так люблю тебя, сынок, так много и часто о тебе думаю.

Передай самый братский привет всем нашим близким, мою любовь и поцелуи маленькой Инес и маме.

Обнимаю и целую тебя от всего сердца.

Твой отец и товарищ.

Р. С. Бартоло шлёт тебе самый сердечный привет. Надеюсь, мать сможет тебе понять это письмо: я мог бы написать его куда проще и лучше, если бы чувствовал себя здоровее. Но я так ослабел».

Хотя маленькая девочка не всё тут поняла, а брат, жалея её, кое-что опустил при чтении, — письмо всё равно привело её в смятение. И она попробовала придумать какие-то слова; ей так хотелось сказать их отцу!

Едва смятение её чувств улеглось, как она получила другое письмо, на этот раз адресованное ей, с обращением: «Моя дорогая Инес!» Отец сам заговорил с ней. Ведь каждое слово его письма означало, что он разговаривает с ней.

«Я так хотел бы, чтобы ты могла понять то, что я тебе скажу! Как жаль, что я не умею писать совсем, совсем просто, — ведь мне страстно хочется, чтобы ты слышала биение сердца твоего отца, так сильно любящего тебя, моя дорогая малютка.

Как трудно рассказать тебе всё так, чтобы ты поняла, — ты ведь совсем ещё маленькая, — но я постараюсь вложить всю душу в мои слова, чтобы ты почувствовала, как ты мне дорога. Если это не удастся, я знаю, ты спрячешь моё письмо и перечтёшь потом, когда станешь старше. Тогда ты вникнешь в мои слова, почувствуешь глубочайшую нежность, с которой я пишу тебе.

В моей жизни, полной борьбы, самой дорогой мечтой, самой сладостной надеждой было поселиться с тобой, с твоим братом Данте и с мамой в маленьком домике, слушать твой простодушный лепет и радоваться

твоей нежной привязанности. Сесть с тобой рядом возле дома под тенистым дубом и учить тебя, как надо жить, как читать и писать, следить за тем, как ты бегаешь по зелёным полям, хохочешь, поёшь, срываешь цветы и прячешься за стволами деревьев, перебегая от одного из них к другому, от прозрачного, быстрого ручья — в объятия твоей матери.

Я знаю, какая ты добрая и как ты любишь маму, Данте и всех наших близких, и я верю, что ты любишь и меня немножко, — ведь я так люблю тебя, что больше любить нельзя. Ты не подозреваешь даже, как много я о тебе думаю. Ты живёшь в моём сердце, в моих мыслях, в каждом уголке этой мрачной, голой камеры, в облаках, что бегут за окном, во всём, что видит мой взор.

Передай мой горячий отеческий привет всем друзьям и товарищам, а особенно — нашим близким. Брату и матери передай любовь и поцелуи.

Прими самый горячий поцелуй и безграничную нежность от того, кто так любит тебя и сжует по тебе.

Горячий привет всем вам от Бартоло.

Твой отец».

Пока отец разговаривал с ней, она сидела, закрыв глаза, и старалась увидеть его лицо, движение его губ и усмешку, которая иногда появлялась в его глазах даже в тюрьме.

Но всё это, однако, было в прошлом. По календарю взрослых с тех пор прошло всего несколько дней, но по исчислению маленькой девочки и по тому, как для неё бежало время, всё это случилось давным-давно. Сейчас, ранним утром, она безмятежно спала наедине со своими снами и воспоминаниями, — кто знает: горькими или радостными?

— Уйдите, пожалуйста, — попросила репортёра её мать.

Молодой человек снова взглянул на детей и ушёл. Он был не в силах оставаться дольше. Он ушёл и, шагая по дороге, пытался составить в уме заметку о том, что он видел. Его тревожил и мучил рой мыслей, внезапно, без спроса нахлынувших на него, и он не умел в них разобраться.

Никогда прежде он не чувствовал такой потребности понять, какие силы движут бедным разносчиком рыбы и работягой-сапожником, которые были оба не то анархистами, не то коммунистами или чем-то в этом роде. Такие люди появлялись неизвестно откуда и, как ему казалось, шли стороной от того мира, в котором он жил. Они вступали на свой путь, и этот путь приводил их к насильственной смерти, в тюрьму, к голодовке, на электрический стул; такой конец был приуготовлен подобным людям. Они не были обитателями его мира и не затрагивали его совести.

И вдруг они стали обитателями его мира и делом его совести. Как-то раз он гулял с девушкой и по-мальчишески хвастал ей, с какими необыкновенными историями приходится сталкиваться газетчику. Да, в это утро он столкнулся с одной из таких историй. Расскажет ли он о ней когда-нибудь кому-нибудь в том же хвастливом, мальчишеском тоне? Конечно, если бы он смог рассказать о ней, значит он смог бы и написать заметку, а ему это надо сделать.

Но о чём же ему писать? Он чувствовал как-то смутно и в какой-то степени трагически, что на спокойных и прекрасных лицах спящих детей была написана повесть, которой он ещё нигде не читал и никому не рассказывал.

Школьные воспоминания подсказали ему, что «Данте» было именем итальянского поэта, хотя он никогда не читал Данте. Но его удивляло, почему итальянский сапожник назвал девочку Инес? Недоумение сменилось мыслью о том, что этот ребёнок, повидимому, родился, рос и прожил свой маленький век в те семь лет, которые Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти провели в тюрьме.

Репортёр был потрясён: то, что пережил он сегодня утром, поразило его всё же менее сильно, чем эта простая мысль.

Он стал другим и никогда уже больше не будет таким, каким был прежде. В нём родилось предчувствие горьких перемен. Он слишком близко подошёл к смерти и — через неё — к жизни. Она отняла у него юность.

#### Глава четвёртая

Около девяти часов утра 22 августа профессор уголовного права — одновременно он был и одним из виднейших адвокатов штата Массачусетс — пересекал лужайку перед зданием юридического факультета, где он должен был прочесть свою шестую и последнюю лекцию летнего семестра. Ему впервые приходилось читать лекции летом. Пока тянулись томительные жаркие дни, он разрывался между желанием как следует отдохнуть где-нибудь в горах или на взморье и чувством облегчения, что он остался здесь, в Бостоне, и может следить за последними стадиями процесса Сакко и Ванцетти.

В душе он изредка позволял себе признаться, как много значило для него это дело, — а ведь признаваться в этом было небезопасно. Когда же то или иное событие вынуждало его сказать себе, что процесс Сакко и Ванцетти стал основной движущей силой его повседневного существования, он едва сдерживал ярость против тех сил, которые определяли ход этого процесса. И это волновало его, пожалуй, больше всего, ведь ещё в молодости он приучился решительно подавлять в себе приступы гнева.

Но в то особенное, такое спокойное и такое трагическое утро ярость его хоть и не прорывалась наружу, но распирала его, как туго сжатая стальная пружина. Накануне вечером он узнал, что ректор университета, который возглавлял Советательную комиссию при губернаторе штата по делу Сакко и Ванцетти, в крайне неприятных выражениях высказался об участии профессора в этом деле.

Говоря о нём, ректор назвал его «этот еврей» и заявил, что пыл, с которым евреи ринулись на защиту «двух итальянских коммунистов», был сам по себе очень подозрителен.

В том, что ректор университета не любит евреев, не было ничего нового или неожиданного. С первых же дней своего пребывания в университете профессор неизменно ощущал подчёркнутую неприязнь ректора к людям его национальности. Правда, надо сказать, что ректор питал почти такую же неприязнь и к другим национальным меньшинствам Соединённых Штатов, и если его нелюбовь к евреям выражалась чаще и резче, это происходило потому, что ему труднее было закрыть двери университета перед ними, чем перед представителями некоторых других национальностей.

Торопливо пересекая лужайку, профессор с горечью сознавал это. Он не мог забыть также и о своей наружности, что беспрестанно задевало его чувствительность. Всего того, чем обладал ректор университета, недоставало профессору уголовного права: профессор не был янки; он даже не был американцем по рождению; не был он голубоглазым, не был и аристократом по виду. Когда он разговаривал, к его речи примешивался отзвук чужого языка. Острый взгляд его тёмных продолговатых глаз скрывался за толстыми стёклами очков, а большая голова была неловко посажена на тонкой шее. Даже если бы он сумел вытравить из сознания навязчивую мысль о своей внешности, город Бостон в 1927 году этого бы ему не позволил.

«Пусть так, — говорил он себе в то утро, проходя по лужайке, — я — еврей. И вот сейчас этот еврей совершит поступок, может быть, сме-

лый, а может быть, и глупый — он посвятит последнюю лекцию своего курса процессу Сакко и Ванцетти».

Решение, которое он принял вчера вечером, утешало его и разжигало в нём гнев. На юридическом факультете все знали, что блестящий, уничтожающий памфлет, который профессор опубликовал в защиту Сакко и Ванцетти, привёл в негодование ректора университета. Ректор счёл этот поступок не только неразумным, — он воспринял выступление профессора уголовного права и как выпад против него, ректора, лично. Ректор университета по-своему понимал создавшуюся ситуацию. Он видел, что эти безоружные и беззащитные бунтовщики, ожидающие своей смерти, обладают необъяснимой силой, поднявшей на их защиту полмира. Их таинственная сила приводила его в ужас. И он не мог понять, как профессор уголовного права, который и без того его раздражал, не замечает этой силы, а видит перед собой лишь двух покинутых всеми людей, ожидающих своего конца.

Войдя этим утром в здание юридического факультета, профессор встретил трёх репортёров, дожидавшихся его. Не тратя времени даром, они тут же стали допытываться, правда ли, что его последняя лекция из цикла памяти Роджера Вильямса<sup>1</sup> будет посвящена делу Сакко и Ванцетти.

— Правда, — отрезал профессор сухо и нелюбезно.

— Не расскажете ли вы нам что-нибудь об этой лекции или о заключении Советательной комиссии, профессор?

Они имели в виду комиссию, возглавляемую ректором университета, которая была назначена губернатором штата для окончательного заключения по делу Сакко и Ванцетти.

— Мне нечего вам рассказывать, — ответил профессор. — Если хотите послушать лекцию, войдите в аудиторию. Двери для вас открыты. А никаких сообщений я вам делать не стану.

Приглашение было великодушным, и они последовали за профессором в аудиторию. Там уже собралось около трёхсот студентов — почти все слушатели факультета. Для летнего семестра лекции профессора уголовного права посещались очень неплохо. Острый ум и язвительная ирония, за которые его так побаивались и не любили одни, завоевали ему почтительное восхищение других.

«Во всяком случае, — подумал он, занимая своё место на кафедре, — студенты не питают ко мне отвращения».

Он облокотился на кафедру и скользнул взглядом по возбуждённым молодым лицам. Аудитория была старомодной, построенной в виде амфитеатра. Профессор стоял как бы на дне пропасти, а вокруг него до самого потолка — ряд за рядом — возвышались истёртые скамьи, на которых сидели студенты; они вынули свои блокноты и приготовились записывать лекцию; многие из них сидели, подперев подбородок, и глядели на него сосредоточенно и пытливо.

«Во всяком случае, — продолжал размышлять профессор, — я никогда не навевал скуку, а если у меня и есть неистребимая жажда к самоуничтожению, она, повидимому, доставляет мне удовольствие. Правда, она раздражает ректора университета не меньше, чем другие мои качества, — ведь ректор так старательно избегает всяких треволнений». Впро-

---

<sup>1</sup> Вильямс Роджер (1607—1684) — общественный деятель Новой Англии в период английского колониального владычества. За свои выступления в защиту свободы совести, против вмешательства государства в религиозные дела был в 1635 году осуждён особым судом Массачусетса к изгнанию. Основал город Провиденс, положив начало поселениям колонистов в штате Род-Айленд. Вильямс считается основателем штата Род-Айленд. (Примеч. перев.)

чем, сейчас уже даже и это не играло роли, ибо, размышляя о деле Сакко и Ванцетти и о своём собственном отношении к нему, профессор пришёл к некоторым весьма важным выводам.

Сначала перед профессором встал вопрос: нужно ли ему вообще иметь свою точку зрения на это дело — какую-нибудь точку зрения? Следует ли ему признать, что обвиняемые виновны, или, наоборот, отрицать, что они виновны, а может быть, на худой конец, лишь сожалеть о том, что некоторые детали ведения процесса были не совсем на высоте?.. Много месяцев кряду его терзала тревожная мысль — искать ли ему свою точку зрения в этом вопросе, пойти ли ему на то, что его могут припутать к красным, больше того — назвать красным? В конце концов, в результате мучительной борьбы с самим собой, он решил изучить все обстоятельства дела самым тщательным образом.

Он отлично помнил, как подошёл к этому решению и как он его принял. Ведь это решение обусловило всё, что за ним последовало. Он действительно тщательно изучил все обстоятельства процесса. Может быть, он сперва собирался заглянуть в дело Сакко и Ванцетти лишь мельком; но кончилось тем, что он погрузился в него целиком, и ему пришлось принять и второе решение — ответить на вопрос: «Виновны они или не виновны?»

Когда он ответил и на этот вопрос, следующий шаг был сделан куда быстрее. Он знал, чем грозит ему этот шаг, и боязнь последствий владела им долгие дни и недели. Профессору нелегко было добиться в жизни успеха; добиваясь его, ему пришлось завоевывать новую страну, новый язык, чуждых ему людей, узнать неведомый раньше стыд и неиспытанное прежде презрение. И он прошёл через всё это.

Приняв решение, он понял, что ему, быть может, придётся потерять всё, что он отвоювал, всё, чего он достиг; тем не менее он сказал себе прямо и чистосердечно: «Трудно жить в мире, построенном на лжи. Человек может стать лжецом, но лично я в таком качестве чувствую себя неуютно. Может быть, я когда-нибудь и стал бы влиятельным судьёй или очень богатым адвокатом. Кто знает, чем я стану теперь, но я буду чувствовать себя не так неуютно».

И тогда он сел и написал свой памфлет о деле Сакко и Ванцетти.

Всё это профессор вспомнил сейчас, глядя на юные лица. Он собрался с мыслями и разложил свои записи, чтобы начать лекцию. Взглянув на часы над дверью, он заметил: было ровно девять часов и одна минута. Он откашлялся, кивнул своей большой головой и постучал карандашом по кафедре.

— Итак, — сказал профессор, — мы приступаем к последней из наших лекций, посвящённых теории судебных доказательств. Мы рассмотрели ряд дел, взятых, если можно так выразиться, из чертогов судейской славы... а подчас и бесславия. Все эти дела принадлежат прошлому. Но сегодня я осмелюсь подвергнуть разбору дело, которое принадлежит настоящему. Тот факт, что сегодня двадцать второе августа, усугубляет значение моей лекции, а также и избранного мною предмета. Сегодня — день, назначенный губернатором штата для казни Сакко и Ванцетти: двух итальянцев-агитаторов, которые ожидают своего конца в камере смертников.

Найдутся люди, которые сочтут не только бестактным, но и непозволительным, что за несколько часов до исполнения смертного приговора я подвергаю обсуждению доказательства, основываясь на которых были осуждены два человека. Но я не встал на этот путь необдуманно и не считаю это ни бестактным, ни непозволительным. Изучение истории должно иметь дело не только с мёртвыми, но и с живыми. Хороший юрист сознательно включается в ход исторических событий.

Уместно и то, что такой теме посвящена заключительная лекция из цикла памяти Роджера Вильямса. Слишком часто мы произносим имена, не думая об их значении и не вникая в то, что с ними связано. Роджер Вильямс посвятил свою жизнь борьбе против всякого принуждения — как церковного, так и государственного — в делах человеческой совести, и потому его помнят и будут помнить до тех пор, пока существует наша страна. Это налагает известную ответственность на всякого, кто решился участвовать в чтении имени Роджера Вильямса. Свобода совести — не пустые слова. Это образ жизни, за который надо бороться неослабно и упорно. Опасности грозят каждому, кто хочет сражаться за человеческое достоинство; но награда соразмерна дерзанию.

Сегодняшний день не похож на другие дни. Он не похож ни на один день, который я могу припомнить в своей жизни. Сегодняшнему дню суждено остаться в памяти людей, ибо сегодня готовят жестокий удар всем, кто любит справедливость и искренне верит в свободу совести. Вот почему то, что я собираюсь сказать, имеет такое глубокое значение.

Тут профессор оглядел аудиторию. Почти все лица выражали нетерпение и внутреннюю тревогу. Да и он сам волновался всё больше и больше; все силы его были напряжены, и он чувствовал, что кожа его покрывается испариной. Профессор, зная по опыту, что к концу лекции он совершенно обессилеет, стал говорить медленно и раздельно:

— Я хочу начать с обзора некоторых обстоятельств данного процесса. В отведённое нам время мы, конечно, не можем воспроизвести всё дело полностью. Но я убеждён, что в общих чертах вы с ним знакомы. Наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть факты в свете определённых норм и практики судебных доказательств. Постараемся это сделать.

Как вы знаете, события, которые привели к предстоящей казни, произошли немного более семи лет назад, пятнадцатого апреля тысяча девятьсот двадцатого года, в городе Саут-Брейнтри, штата Массачусетс. В этот день кассир Парменгер и охранник кассира Берарделли были застрелены двумя вооружёнными людьми. В качестве оружия были применены револьверы. Кассир и охранник несли два ящика, в которых находилась заработная плата рабочих и служащих фабрики Слэйтера и Моррила в сумме 15 776 американских долларов и 51 цент. Деньги несли по главной улице города из помещения конторы фирмы на фабрику. В момент убийства к месту преступления подъехала и остановилась машина, в которой находилось ещё два человека; убийцы бросили ящики с деньгами в машину, вскочили в неё и скрылись с большой скоростью. Машина, которой пользовались для совершения грабежа, была через два дня найдена в лесу на некотором расстоянии от Саут-Брейнтри; полиция обнаружила следы машины меньшего размера, которые вели от этого места. Иными словами, другая машина встретила машину преступников, она пересели в неё и скрылись.

В это самое время полиция вела следствие по делу о сходном преступлении, совершённом неподалёку — в городе Бриджуотер. Сходство между тем и другим преступлением заключалось в том, что в обоих случаях убийцы пользовались машиной и в обоих случаях свидетели высказывали предположение, будто преступники — итальянцы.

Таким образом, в руках полиции оказалась какая-то нить, ведущая к виновникам убийства: ищут итальянца, владеющего автомашиной. Поскольку в одном из этих преступлений — в бриджуотерском — машина уехала по направлению к Кочезетту, полиция пришла к вполне допустимому предположению, что итальянец, владлец машины, живёт в этом городе.



Здесь я должен заметить, что такое предположение могло быть отнесено к любому промышленному городу Новой Англии<sup>1</sup>, ибо каждый промышленный город в нашем штате населяет значительное число итальянцев, а по закону средних чисел, по крайней мере один из итальянцев в каждом городе может быть владельцем машины. Но это не смутило полицию. Она обнаружила в Кочезетте итальянца, по фамилии Бода, который являлся владельцем машины.

Опуская кое-какие подробности, переходим к новому месту действия — к гаражу некоего Джонсона, где была найдена машина Бода, доставленная туда для ремонта. Полиция установила слежку, чтобы выяснить, кто придёт за этой машиной. Вечером пятого мая, то есть через три недели после преступления, за машиной действительно явились четверо — Бода и трое других итальянцев.

Следует остановиться на обстановке, в которой произошли эти события, а также коснуться того представления об окружающем мире, которое имел в то время любой итальянский радикал. Я говорю — итальянский радикал потому, что, по сути дела, именно этот термин приложим как к Сакко, так и к Ванцетти, кем бы мы их ни считали — анархистами, коммунистами или социалистами. Во всяком случае, они были радикалами. В то время, весной тысяча девятьсот двадцатого года, жизнь радикала была не слишком привольной. Генеральный прокурор Пальмер предпринял массовые судебные преследования красных с целью их поголовной высылки из страны. Особенно жестоко обращались с радикалами иностранного происхождения; очень часто действия властей носили такой характер, с которым нам сегодня трудно согласиться. Чтобы пролить свет на истинное положение вещей, напомним о деле некоего Сальседо — итальянца, печатника и радикала, — который содержался весной тысяча девятьсот двадцатого года по указанию министерства юстиции в заключении на четырнадцатом этаже здания на улице Парк-Роу в Нью-Йорке. Владелец машины Бода и его товарищи были друзьями печатника Сальседо. Четвёртого мая они узнали, что искалеченный труп Сальседо был найден на тротуаре перед зданием на Парк-Роу — в результате насилия или несчастного случая он упал с высоты четырнадцатого этажа. Бода и его товарищи законно сочли, что и над ними нависла угроза. У них имелась радикальная литература; они решили, что нужно её спрятать. У них были друзья, которые, по их мнению, тоже находились в опасности; их следовало предупредить. Для всего этого им понадобилась машина. Бода и его трое друзей пришли справиться, отремонтирована ли она. Им сказали, что машина ещё не готова. Едва только они ушли, как миссис Джонсон, жена владельца гаража, тут же дала знать полиции об их приходе.

В числе тех троих, кто пришёл за машиной вместе с Бода, были Сакко и Ванцетти. Выйдя из гаража, они сели в трамвай. В трамвай вместе с ними сел полицейский и там же их арестовал. Судя по всему, Сакко и Ванцетти и не подозревали, за что они арестованы, и не оказали никакого сопротивления; они тихо и мирно пошли за полицейским.

Такова в нескольких словах картина, положившая начало цепи событий, которые тянулись семь лет и привели этих злосчастных людей туда, где они сейчас находятся.

До сих пор я говорил о преступлении. Даже самое простое преступление становится необычайно запутанным, если подходить к нему с точки зрения юридической. Но вопрос, который я хочу рассмотреть сегодня, меньше касается характера преступления, чем характера судебных доказательств. Вы, наверно, уже обратили внимание на то, что вопрос о судеб-

<sup>1</sup> Новая Англия — старинное название северо-восточной части США, бывшей в XVII—XVIII веках английской колонией. Новая Англия включает шесть штатов: Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. (Примеч. перев.)

ном доказательстве выглядит в данном случае довольно просто. Он состоит в необходимости опознать Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти как участников той шайки из четырёх человек, которые в момент совершения грабежа и убийства действовали на улице и находились в машине. Но, прежде чем перейти к деталям судебного доказательства, нужно отметить, что, когда их арестовали, Сакко и Ванцетти очень плохо говорили по-английски. В то время они оба не могли ни членораздельно объясняться по-английски, ни понимать беглую речь. Теперь положение изменилось. За семь лет заключения оба они изучали английский язык и в значительной степени овладели им. Но тогда они часто неправильно понимали заданные им вопросы, а ответы, которые они давали, неправильно переводились. Приёмы, которые позволял себе судебный переводчик, вызывают серьёзные сомнения в его добросовестности.

Сакко и Ванцетти предстали перед судом больше чем через год после их ареста. Процесс продолжался семь недель. Четырнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать первого года оба они были признаны виновными в преднамеренном убийстве.

Если говорить о судебных доказательствах, главный вопрос, как я уже отметил, сводится к опознанию Сакко и Ванцетти в качестве участников шайки налётчиков. В ходе процесса давали показания пятьдесят девять свидетелей обвинения, выдвинутых прокуратурой штата Массачусетс. Некоторые из них заявляли, что видели обвиняемых в Саут-Брейнтри утром в день убийства, другие опознали Сакко как одного из убийц, а Ванцетти как одного из тех, кто находился в машине. С другой стороны, свидетели защиты установили алиби как Сакко, так и Ванцетти. Свидетели защиты показали под присягой, что пятнадцатого апреля Сакко находился в Бостоне, где он наводил справки о порядке получения заграничного паспорта для отъезда в Италию. Показания этих свидетелей подтверждались одним из служащих итальянского консульства, который заявил под присягой, что Сакко посетил консульство в Бостоне в день убийства в два часа пятнадцать минут пополудни. Другие свидетели говорили, что пятнадцатого апреля, в тот самый день, когда было совершено убийство, Ванцетти торговал вразнос рыбой на довольно большом расстоянии от Саут-Брейнтри. Иными словами, один свидетель за другим подтверждали под присягой, что как Сакко, так и Ванцетти не могли участвовать в преступлении, совершённом в Саут-Брейнтри.

В свете всех этих фактов можно было бы полагать, что здравомыслящие люди не станут с лёгкостью решать вопрос о виновности или невиновности Сакко и Ванцетти. Однако дело обстоит не так просто, да и не все люди являются достаточно здравомыслящими. К тому же нельзя забывать, что многие свидетели обвинения показали под присягой, что Сакко и Ванцетти участвовали в преступлении. Таким образом, мы очутились перед лицом совершенно противоречивых свидетельских показаний.

В отведённое мне здесь время я не могу и не хочу вдаваться в анализ всех свидетельских показаний или в характеристику каждого из тех, кто давал эти показания. Вместо этого я хотел бы остановиться на некоторых общих положениях и, в частности, на вопросе о том, заслуживают ли доверия показания раздражённых или предубеждённых людей.

К примеру, одна из свидетельниц проявила сверхъестественную наблюдательность и удивительную память. Показания её следует привести хотя бы потому, что этот случай очень характерен для методов, которыми было обеспечено опознание Сакко и Ванцетти в качестве преступников. Имя этой свидетельницы — Мэри Э. Сплайн. Вскоре после того, как было совершено преступление, сыское агентство Пинкертона предьявило мисс Сплайн коллекцию фотокарточек известных преступников, и мисс Сплайн отобрала карточку Тони Пальмизано, указав на него как на одного из

бандитов, которых она видела в машине. Тем не менее четырнадцать месяцев спустя она опознала в качестве лица, замеченного ею в машине, Николо Сакко.

Не менее любопытны обстоятельства, при которых она сделала своё первоначальное наблюдение. Она работала на втором этаже здания по другую сторону улицы. Когда раздались выстрелы, мисс Сплейн бросила работу и кинулась к окну. Можете себе представить, в каком возбуждении она находилась. Когда она подбежала к окну, автомобиль с убийцами уже отъезжал, и, таким образом, она могла лишь мельком увидеть машину, прежде чем та исчезла. Но, давая показания четырнадцать месяцев спустя, она проявила удивительную память. Я приведу выдержку из судебного отчёта.

**«Вопрос.** Можете ли вы описать его этим джентльменам?

**Мисс Сплейн.** Да, сэр. Этот человек был, пожалуй, чуть выше меня ростом. Он весил, вероятно, от 140 до 155 фунтов. Он был мускулистым... он выглядел энергичным человеком. Особенно приметилась мне его левая рука; это была довольно крупная рука, рука, которая свидетельствовала о силе, а плечо...

**Вопрос.** А где он держал руку?

**Мисс Сплейн.** Его левая рука уже лежала на спинке переднего сиденья. Он был одет во что-то серое; кажется, это была рубашка такого сероватого, словно темносинего цвета, а лицо было, так сказать, ясно очерченное, резкое. Вот здесь оно немножко суживалось, совсем немножко суживалось. А лоб был высоким. Волосы были зачёсаны назад, а длинной они были приблизительно в два — два с половиной дюйма, брови были тёмными, а лицо бледное, такое странно бледное, почти зеленоватое».

Так она описывает картину, которая на мгновение мелькнула у неё перед глазами четырнадцать месяцев назад. Заодно в ходе этих воспоминаний мисс Сплейн опознала Николо Сакко как человека, которого тогда видела.

Можно утверждать, что в обычное время и в нормальных условиях подобное опознание было бы не только невозможно, но и выглядело бы попросту чудовищным. Насколько оно чудовищно, ясно видно на примере некоего Люиса Пельцера. Как и мисс Сплейн, Пельцер сперва не смог опознать Сакко и Ванцетти, но опять-таки, как и мисс Сплейн, его впоследствии озарила удивительная память. Когда Сакко и Ванцетти были арестованы, полиция показала их Пельцеру. Он заявил, что никак не может опознать их в качестве преступников. Вслед за тем Пельцер, работавший на одной из сапожных фабрик, тесно связанных с ограбленной фирмой «Слэйтер и Моррил», был неожиданно уволен и остался без работы. Несколько недель спустя его память освежилась: он вдруг оказался в силах опознать Сакко и Ванцетти в качестве преступников. Ему сразу же была предложена работа на той же фабрике.

Но Пельцер был не одинок. Во многих случаях отсутствие памяти влекло за собой безработицу. Когда же человека нельзя было уволить, прокурор и его сотрудники, усердствуя во славу правосудия, прибегали к угрозам, как прямым, так и косвенным. Подчас их методы были столь откровенны, что следы этого сохранились даже в судебном отчёте.

Право же, горько выдвигать такие обвинения, но в связи с делом Сакко и Ванцетти они как нельзя более уместны. Казнь, назначенная на сегодняшнюю ночь, является логическим следствием этого невероятного и безжалостного процесса. Некоторые лица глубоко убеждены в том, что Сакко и Ванцетти нельзя оставить в живых. Я заявляю об этом со всей серьёзностью и без всяких колебаний.

Важно напомнить, что преступление в Саут-Брейнтри произошло в необычную пору — странную и в некотором роде ужасную пору в истории

нашей страны. Печальной памяти массовые аресты, произведённые генеральным прокурором Пальмером, разожгли страсти по всей Америке. Красных и большевиков видели повсюду — за каждым углом, в каждом тёмном переулке, на каждой фабрике и в особенности на тех фабриках, где рабочие роптали, потому что на свой заработок они не могли прокормить и одеть семью. Удивительно ли, — а может быть, и совсем не удивительно, — что за каждым кустом видели каких-то бородатых чертей с бомбами, а газеты ежедневно внушали, что все эти большевики и агитаторы — люди иностранного происхождения. Миллионы и миллионы американцев были запуганы тем, что красные угрожают свободе и независимости Америки. В такой накалённой атмосфере здесь, в Массачусетсе, было совершено зверское преступление, и довольно убедительная версия о том, что преступниками были итальянцы, ещё больше усилила царившее предубеждение.

И вот Сакко и Ванцетти приводят в зал суда в качестве подсудимых. Они не умеют говорить по-английски. Они напуганы, загнаны, плохо одеты. Вызывают одного свидетеля за другим; их спрашивают, являются ли обвиняемые теми людьми, которые принимали участие в преступлении, совершённом более года назад столь молниеносно и оставившем в воображении свидетелей такой неизгладимый след. И один свидетель за другим опознают Сакко и Ванцетти.

Джентльмены, что всё это должно означать с точки зрения теории судебных доказательств?.. Согласно англо-саксонскому праву, о котором многие из нас говорят с такой гордостью, человека нельзя осудить за убийство, если налицо нет неопровержимых показаний очевидцев, ибо это ставит под угрозу его жизнь. Так оно и должно быть. Правда, людей осуждали иногда и на основании косвенных улик; но роковой акт незаконного уничтожения человеческой жизни требует предосторожностей. Сакко и Ванцетти были осуждены на основании показаний очевидцев. Но загвоздка, джентльмены, заключается в том, что эти очевидцы были лишены возможности говорить правду. Куда более достоверные показания очевидцев свидетельствуют, что Сакко и Ванцетти находились за много миль от места преступления в тот момент, когда оно совершалось. Одно из косвенных доказательств невиновности подсудимых так и осталось совершенно непоколебленным.

Я перехожу теперь к этому косвенному доказательству. При аресте Сакко и Ванцетти у Сакко обнаружили револьвер. Этот револьвер и был предъявлен на процессе в качестве улики. Известному эксперту по огнестрельному оружию, капитану Проктору, было предложено исследовать револьвер, найденный у Сакко, и высказать своё мнение о том, могла ли из этого револьвера быть послана пуля; изъятая из тела жертвы. В таких случаях умелый эксперт по огнестрельному оружию может сделать вполне определённое заключение, а капитан Проктор считался опытным экспертом. Он произвёл исследование и пришёл к выводу, что пуля, с помощью которой было совершено убийство, не могла вылететь из револьвера, принадлежавшего Николо Сакко и найденного у него. Однако похоже на то, что прокурор, не желая, чтобы обвинительное заключение развеялось в дым, в частной беседе убедил капитана Проктора уклончиво ответить на поставленный ему вопрос, который гласил: «Составили ли вы себе мнение о том, могла ли пуля номер три быть послана из автоматического револьвера системы Кольт, который предъявлен в качестве улики (револьвер Сакко)?» Ответ Проктора звучал поистине странно: «Я придерживаюсь мнения, что эта пуля не даёт возможности утверждать, что она не могла бы быть послана из этого револьвера». Вот ответ, джентльмены, который оставит печальную память в нашей истории. Что означал

ответ эксперта? Присяжные приняли его за признание револьвера Сакко орудием убийства. Так, мне кажется, только и можно было понять его, если мы знаем немного английский язык. Однако капитан Проктор не имел в виду ни его полубрата. Ответ, данный им, был просто компромиссом, к которому пришли прокурор и эксперт по огнестрельному оружию. Впоследствии этот эксперт показал под присягой: «Если бы мне задали прямой вопрос: нашёл ли я определённое доказательство тому, что эта так называемая смертельная пуля вылетела из револьвера Сакко, я ответил бы отрицательно, как я это и делаю сейчас без всяких колебаний».

Казалось бы, джентльмены, что это показание, аннулирующее первоначальное заявление эксперта и приложенное к одной из апелляций Сакко и Ванцетти, должно было обеспечить им пересмотр дела. Но этого не случилось. Ранее я уже говорил о показаниях очевидцев. Я взвесил их показания в свете возможности, вероятности и очевидности, ибо слишком часто человек видит то, что он хочет видеть. Точно так же язык слабого человека произносит слова, которые своекорыстный прокурор и предубеждённый судья вкладывают ему в уста.

А в тысяча девятьсот двадцатом году в Соединённых Штатах в Мас-сачусетсе, равно как и в Саут-Брейнтри, некоторые лица возжелали, чтобы люди, подобные Сакко и Ванцетти, были обвинены и осуждены за убийство, а следовательно, приговорены к смерти. Разве они не были радикалами, а следовательно, врагами всякой благопристойности? Разве они не были красными, а следовательно, не похожи на честных и порядочных граждан? Разве они не выступали против капитализма, который, право же, является единственно верным, дарованным самим господом богом образом жизни в наших Соединённых Штатах? Разве они не протестовали против войны, а мы ведь только что кончили войну во славу демократии во всём мире — войну, против которой не посмел бы протестовать ни один честный и порядочный гражданин? Разве они не глумились над общественным строем, основанным на погоне за прибылью, тогда как нам предначертано богом и конституцией вечно сохранять экономический строй, основанный на погоне за прибылью, на неистребимом желании одного человека заработать больше денег, чем его ближний, даже если для этого ему понадобится содрать со своего ближнего шкуру?

Может быть, невежливо задавать такие вопросы, джентльмены, но я задаю их для того, чтобы вы лучше поняли практику нашего суда. Я полностью сознаю серьёзность моих заявлений. Но никто не может найти своего места в жизни, пока не подчинит свои поступки требованиям, которые предъявляет ему жизнь. И тут не место легкомыслию. Не место легкомыслию и в деле Сакко и Ванцетти, а ведь не успеет минуть сегодняшний день, как их заставят заплатить своей жизнью за убеждения, которых они придерживаются, а не за преступления, которых они не совершали.

Джентльмены, свидетельские показания могут быть либо господином, либо слугой правосудия, как я уже вам показал и собираюсь показать ещё более отчётливо...

Профессор продолжал говорить ещё минут двадцать; тем не менее, когда он кончил, он почувствовал, что не сказал чего-то очень важного, что ему хотелось сказать. Он хотел сказать, что в суде, которым правили ректор университета и губернатор штата, где орудовал их судья, не могло быть правосудия для таких людей, как Сакко и Ванцетти. Но, если бы он это сказал, он бы навсегда отрезал себе путь к будущему.

Лекция кончилась, но он всё ещё находился во власти своих мыслей. Он чувствовал ту удивительную слабость, которая постоянно овладевала

им после продолжительной лекции; как и всегда в таких случаях, ему захотелось немедленно остаться одному. Но студенты столпились вокруг него; некоторые из них благодарили его, другие всё ещё находились под впечатлением того, что он сказал. Один из них так выразил владевшую им мысль:

— Неужели, сэр, их казнят сегодня ночью! Что нам делать? Ведь, наверно, можно что-нибудь сделать?

— Боюсь, что ничего сделать нельзя, — ответил профессор.

— Не хотите же вы сказать, сэр, что правосудие — это балаган, что суд — чепуха, а закона нет вовсе?

Профессор был потрясён. Он пристально посмотрел на студента, бросившего ему в лицо такие слова; это был рыжий парень с живыми глазами. И профессор стал ещё мрачнее; он как-то сразу протрезвел и испугался. «Что ж, — невольно подумал он, — в наше время есть чего бояться».

— Вы ведь именно это хотели сказать, сэр? — настаивал студент.

— Если бы я пожелал это сказать, — услышал профессор свой собственный голос, — моя жизнь была бы бесплодной, да и ваша тоже.

— Однако всё, что вы сказали, свидетельствует о несправедливости. Какое же может быть правосудие, если все силы закона творят неправое дело?!

— Ну, это уже тема для совсем другой лекции...

Он взглянул на часы, извинился и кинулся к выходу, отмахиваясь от репортёров, которые хватали его за полы пиджака и забрасывали жадными вопросами.

### Глава пятая

Покончив с завтраком и допивая вторую чашку кофе, ректор университета устремил недвижный взор на портрет Ральфа Уолдо Эмерсона<sup>1</sup>, прищурился и отрыгнул. Нельзя сказать, что он отрыгивал изящно, но он делал это с тем же неподражаемым достоинством, с каким ковырял в носу. Недаром кто-то на факультете английского языка охарактеризовал его манеры, как «бесстыдство барственного высокомерия», высказав таким образом нечто среднее между афоризмом и паралогизмом типа «*non sequitur*»<sup>2</sup>. Манеры ректора давно заслужили бы другому человеку столь же преклонных лет кличку «грязный старикашка», но его яростный и почти неправдоподобный снобизм внушал окружающим уверенность в том, что он ведёт себя выше всякой критики.

Сидевший напротив преподаватель закончил свой рассказ.

— Только что, каких-нибудь пять минут назад? — Ректор едва верил своим ушам. — Немыслимо! Этого еврея наконец прорвало! Неужели мы не развяжемся с ним до гробовой доски? — И он снова вперил взгляд, который принято было называть «пронзительным», в портрет Эмерсона. — Говоря «еврей», я подразумеваю не отдельного человека, а, так сказать, видовое понятие, — разъяснил он своему собеседнику. — А ну-ка, повторите, что он сказал насчёт кровожадности?

— Я не стану утверждать, что он употребил именно это выражение...

Тут в комнату вошёл декан юридического факультета. Почуввав в воздухе бурю, он готов был и сам метать громы и молнии. Декан прошёл в угол просторной, красивой столовой, обставленной дорогой старинной мебелью, оклеенной расписанными от руки обоями и застланной чудесным, слегка выцветшим от времени ковром XVIII века, и уютно сложив

<sup>1</sup> Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882) — американский писатель и буржуазный философ-идеалист. Родился в Бостоне. Выступал против рабства. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Логическая ошибка, где вывод не вытекает из аргументов. (Примеч. перев.)

ручки на пухлом круглом животике, встал в позу как раз под портретом Генри Торо<sup>1</sup>.

— Сэр, предупреждаю вас, он идёт сюда.

Хмыкнув, декан попытался выразить и скорбь и предвкушение чего-то очень пикантного. Ректор, однако, не удостоил его своим вниманием и продолжал придирчиво допрашивать молодого преподавателя.

— Не в этих выражениях? Но вы же так сказали!

— Речь идёт о смысле его слов, сэр. Я хочу быть добросовестным...

— Похвальное желание, которого — увы! — не разделяют многие, — сказал ректор университета.

— Желая быть добросовестным, я вынужден привести его слова с максимальной точностью. Он намекнул, что некоторые высокопоставленные лица из чистой, как он дал понять, кровожадности желают смерти этих двух итальянцев — Сакко и Ванцетти.

— Ха! Вот именно! Из кровожадности!

— Это подразумевалось, сэр, только подразумевалось.

— Вы слышите? — спросил ректор у декана юридического факультета. Тот кивнул. — Он этого не утверждал, но подразумевал! А почему вы не пресекли этого безобразия?

— Как же я мог? — стал защищаться декан юридического факультета — Я вошёл в аудиторию, когда он уже говорил минут пятнадцать, и я решил — как мне кажется, совершенно справедливо, — что попытка остановить его будет куда более пагубной, чем всё, что он захочет сказать. Ведь, если можно так выразиться, у него очень сильные позиции. С этим тоже надо считаться. Он хитёр! Это, так сказать, их черта...

— Ну да, это их черта. Они существуют благодаря своей хитрости. Не вижу, однако, чем его позиция так уж сильна. Он оклеветал честных людей и пусть расплачивается за это! Я старый человек, сэр...

— Много ли молодых обладает вашей энергией и юношеским темпераментом! — ввернул декан.

— Может быть, вы и правы. И всё же я должен беречь себя. Силы, которые я расходую, уже больше не восстанавливаются. Когда человеку за семьдесят, смерть стоит у него за плечами. Но я себя не жалел. Когда силы мои понадобились обществу, я с готовностью отдал их ему. Дело ведь не в том, что они итальянцы. У меня нет предубеждения к ромским народам. Говорят, что я не люблю евреев. Ложь! Предки мои вырастили на этой земле крепкую нацию, красивую, голубоглазую породу людей. У нас тогда не было таких имён: Сакко, Ванцетти... Мы знали Лоджей и Каботов, Брюсов и Уинтропов, Батлеров, Прокторов и Эмерсонов... А теперь? Поглядите вокруг, где эта порода? Но я не выставял таких мотивов, когда меня попросили высказаться. Глава нашего славного штата предложил мне принять участие в Совещательной комиссии; она должна была ещё раз взвесить все обстоятельства процесса, который сделал нашу страну притчей во языцех. И я согласился. Я отдал дань обществу. Я взвесил факты. Я отделил злаки от плевел. Я...

Речь его прервало появление профессора уголовного права, и обоим присутствующим — и декану юридического факультета и преподавателю — показалось, что профессор ступил туда, куда сейчас ни мудрецы, ни даже ангелы небесные не отважились бы ступить.

<sup>1</sup> Торо Генри (1817—1862) Американский писатель, последователь Руссо. Родился и жил в штате Массачусетс. Торо резко критиковал правительство США; в 1849 году он опубликовал трактат «Гражданское неповиновение», в котором призвал соотечественников не подчиняться правительственным мероприятиям, направленным на укрепление рабства. За отказ от уплаты налогов был заключён в тюрьму. (Примеч. перев.).

Неказистый, он неловко перешагнул порог комнаты, косо поглядывая из-за стёкол очков, и подошёл к ректору университета.

— Вы хотели меня видеть? — спросил он резко.

Ректор вдруг почувствовал лёгкую дрожь. «Годы,— подумал он.— Видно, злость мне уже не под силу». И сказал отдельно:

— Я слышал, что сегодня утром на лекции вы изволили высказать суждения, о которых разумному человеку стоило бы пожалеть.

— Быстро же вам доложили,— ответил профессор спокойно. — Однако я не вижу причин жалеть о чём бы то ни было. Хоть и не считаю себя таким уж неразумным человеком.

— Подумайте всё же, сэр.

— Я уже достаточно думал об этом и серьёзно думал,— ответил профессор.— Я потерял счёт часам, взвешивая все «за» и «против». И решил: то что должно быть сказано, будет сказано.

Хотя профессор уголовного права и выговаривал слова очень старательно, в речи его отчётливо слышалось иностранное произношение. Ректор университета ощущал неправильность его речи очень остро, и сегодня она раздражала его больше, чем обычно. Несколько дней он жил в приятном ощущении собственной силы и успешно выполненного долга: они ведь так решительно высказались — он и его коллеги из Совещательной комиссии. Он, конечно, никогда не позволил бы себе заявить так прямолинейно, как это сделал судья: «Ну, я выдал этим анархистским ублюдкам сполна, что им причиталось!» Однако нельзя отрицать, что его обуревали почти те же чувства. Но сегодня утром приятное удовлетворение почему-то всё больше испарялось, и вот сейчас, когда он услышал о неуместном, как ему казалось, и невоздержанном выступлении профессора уголовного права, удовлетворение это и вовсе исчезло.

Что они подразумевали, говоря о том, что позиции профессора так сильны? Неужели они думают, что профессору могут сочувствовать различные люди, люди, имеющие вес здесь, в Бостоне? Неужели они так думают?

— Вы очень самоуверенны,— холодно сказал ректор.

— Да. Я уверен в себе.

— И это дало вам право обвинять почтенных людей в том, что они хотят смерти двух итальянцев?

— Кое-кто из них хочет их смерти. Именно высокопоставленные лица. Весь мир об этом знает. Я это сказал. И не жалею, что сказал.

— Среди них вы подразумеваете и меня?

— Простите, сэр?

— Вы обвиняете и меня?

— Зачем же? Я вас не называл,— сказал профессор. — Вы сами обвиняете себя. Вы оберегаете свой покой, а те двое сегодня умрут. Понимаете — умрут. Сколько раз вы умирали?

— Вы невыносимы!

— Разве? А их защитник, он, по-вашему, тоже был невыносим? Ведь он куда красноречивее меня. Я прочёл его речь один раз, но я её не забыл. Помните, как он кончил? «Если вы не можете судить этих людей по законам справедливости, помилуйте их, помилуйте их, ради всего святого. Христиане создали себе бога — бога милосердия. Вы сидите здесь, подобно богу, и жизнь человеческая в ваших руках». Так он говорил или вроде этого? И совсем недавно. Разве я могу забыть, что вам захотелось стать палачом?

Гнев прошёл, и ректор университета вдруг почувствовал леденящий страх. Даже мысль о предках не могла согреть его душу. В ушах у него



гудело, словно тот человек, о котором напомнил ему профессор уголовного права, — защитник Сакко и Ванцетти — стоял перед ним снова.

«Да сядьте же, — сказал он тогда тому, другому юристу, пришедшему к нему несколько дней назад, чтобы в последний раз просить о помиловании; он стоял перед ним тогда так же, как стоит теперь этот еврей. — Что за скверная привычка стоять или бегать по комнате?»

«Я не умею убеждать сидя, — ответил защитник. — Я пришёл, чтобы убедить вас отменить решение судьи. Если же, выслушав столько новых показаний, вы не сможете пересмотреть дело, вы должны их помиловать. Разве они виноваты в том, что штат Массачусетс держит судью, который называет подсудимых «анархистскими ублюдками», грозит, что он им «здорово вспылет» и что это «уймёт их», хвастает тем, что он им уже сделал и что он с ними сделает ещё? Сакко и Ванцетти его не выбирали в судьи. Не их вина, что штат Массачусетс терпит такого судью.

Если отменить решение судьи не в юрисдикции Верховного суда штата, потому что Верховный суд обязан оберегать авторитет судьи, пусть он помилует обвиняемых, как бы это ни было для него унизительно. Ведь ещё более унизительно для любого гражданина вашего штата знать, что можно поступить с людьми так, как поступили с этими обвиняемыми. Придётся проглотить унижение, стерпеть его, что поделаешь! И всякая попытка обойти вопрос, замазать его, замаять, положить под сукно — сделать чёрное белым — не выйдет! Все знают подробности дела, повсюду, во всём мире. Показания свидетелей были переведены на все европейские языки. Их знают во Франции или в Германии не хуже, чем здесь, в Штатах. Нас припёрли к стене.

Самые опытные юристы Массачусетса, люди, уважающие правосудие, поставлены в тупик. Мы должны либо представить какие-то объяснения, которые ни для кого не будут убедительны, в том числе и для нас самих, либо признать, что процесс был ошибкой, нарушением законности, что он вёлся неправильно, что с самого начала возникли серьёзные сомнения в виновности подсудимых, что сейчас эти сомнения необычайно усилились, что суд наш не смог исправить первоначальной ошибки и поэтому губернатор должен помиловать этих людей, верите вы или не верите в их вину, верите вы или не верите в то, что через пять лет их вина будет ещё больше или ещё меньше доказана. Время для сомнений прошло, у суда была возможность исправить свою ошибку, но вот процесс окончен, результаты его налицо. Что до меня — я покончил с этим делом. Я сделал всё, что было в моих силах. Год за годом я добивался самого элементарного правосудия, и, если меня постигла неудача, я буду жестоко огорчён, но ни в чём не раскаиваюсь. Я сделал всё, что мог, и прошу вас сделать то, что вы можете, чтобы избавить нашу страну от вечного позора».

«Да сядьте же вы, бога ради, прошу вас», — единственное, что он тогда нашёлся сказать защитнику. Тогда он оставил без внимания те слова, которые сейчас вспоминает с такой убийственной отчётливостью.

Окончив свою речь, защитник Сакко и Ванцетти продолжал стоять, глядя на него так же, как глядит на него сейчас профессор уголовного права.

Мысленно ректор пытался произнести слова, которых не мог выговорить вслух: «Мне придётся просить вас подать в отставку». Но он не произнёс и не мог произнести этих слов. «Я так одинок», — вдруг подумал он.

— Вы старый человек, — с горечью заметил профессор уголовного права, — и подумать только — вы любите смерть! Вы — палач...

— Как вы смеете!

Преподаватель смотрел на них с немим ужасом, а декан юридического факультета закричал:

— Вы сошли с ума!

— Ну нет, ни в коей мере. Зачем меня сюда позвали?

Старик, который принадлежал к высшей аристократии той страны, где, как уверяют, нет и не может быть аристократии, мысленно перечёл документ, который он тогда подписал, и мысленно же подписал его снова. Дряхлая рука его дрожала, а глаза скользили по строчкам, которые он сам продиктовал:

«Алиби Ванцетти нельзя признать убедительным. Один из свидетелей в его пользу, Розен, под перекрёстным допросом Совещательной комиссии давал сбивчивые показания; есть основания подозревать, что он лгал на суде. Другой свидетель в его пользу, миссис Брини, подтвердила его алиби по Бриджуотерскому делу, а не по убийству в Саут-Брейнтри; остальные двое свидетелей недостаточно твёрдо устанавливали тот день, когда они видели Ванцетти, покуда, повидимому, не сговорились друг с другом. Таким образом, надо считать доказанным следующее: если в тот самый день Ванцетти был либо вместе с Сакко, либо в машине налётчиков, либо вообще находился в городе Саут-Брейнтри,— он несомненно виновен в убийстве. Ведь если бы он был в городе по какому-нибудь невинному поводу, зачем бы стал он клясться, что весь этот день провёл в Плимуте? В противовес этому, четверо людей утверждают, что в указанный день видели Ванцетти в Саут-Брейнтри: Долбер, который показал, что видел его утром в машине на главной улице; Леванжи, который также показал, что видел его в то время, как машина пересекала железнодорожные пути, сразу же после того, как раздались выстрелы,— тот факт, что он ошибся, говоря, будто Ванцетти сидел за рулём, не имеет значения,— и Остин Т. Рид, который показывает, что Ванцетти выругал его, сидя в машине, у железнодорожного переезда. Четвёртый свидетель, Фолкнер, утверждает, что Ванцетти обратился к нему с вопросом в вагоне для курящих, в поезде из Плимута в Саут-Брейнтри, утром в день убийства. Он видел и то, как Ванцетти вышел на станции. Показания Фолкнера опровергались защитой: во-первых, потому, что Фолкнер утверждает, будто вагон, в котором он ехал, был наполовину багажным, а наполовину — вагоном для курящих, а в поезде такого вагона не было вовсе; однако внутренний вид вагона, описанный Фолкнером, очень напоминает вагон для курящих; во-вторых, на том основании, что в то утро ни в Плимуте, ни на станциях, прилегающих к Плимуту, не было продано ни одного билета в Саут-Брейнтри, не было получено денег за таковой билет и он не был прокомпостирован. Но не исключены другие возможности. Правда, кроме этих свидетелей, никто другой не показывал, что видел Ванцетти или другого человека, не Ванцетти, хоть и похожего на него. Но надо иметь в виду, что лицо у Ванцетти значительно менее обычное, чем у Сакко, а потому легче запоминаться. Следовательно, надо думать, что Ванцетти старался не попадаться на глаза. Таким образом, принимая всё это во внимание, мы считаем, что и Ванцетти, безусловно, виновен.

Делались попытки доказать, что подобного рода преступление могло быть совершено только профессиональными бандитами и что виновников его следует искать среди соучастников какой-либо из известных бандитских шаек. Однако, по мнению Совещательной комиссии, это преступление, так же как и более раннее преступление в Бриджуотере, не носит следов деятельности профессиональных бандитов, а, наоборот, явно совершено неопытными преступниками».

Таково было заключение ректора после того, как Совещательная комиссия, председателем которой он являлся, ознакомилась с показаниями свидетелей. Он же и подписал это заключение, как подписывают смертный приговор.

Чего же он боится сейчас, если тогда он выполнил роль палача с такой уверенностью в своей правоте?

— Зачем вы меня позвали? — повторил профессор уголовного права. — Чтобы сделать мне нагоняй? Чтобы попросить меня подать в отставку? Я не подам в отставку. Чтобы поиздеваться над тем, что я еврей? Я не позволю издеваться над тем, что я еврей!

— Вы просто невыносимы. Убирайтесь вон! — крикнул ректор университета.

— Вы совсем старый человек, а Сакко только тридцать шесть лет. Ванцетти тоже нет сорока. Оглянитесь, вокруг вас — смерть, смерть и ненависть!..

Сказав это, профессор уголовного права резко повернулся и вышел.

Позади себя он оставил комнату, скованную тишиной. В ней не было ни малейшего движения, если не считать дрожи, с которой не мог совладать старик, имевший всё — имя, богатство, почёт, положение — и чувствующий себя в эту минуту самым несостоятельным человеком на земле, ибо в нём жили только страх и тяжкое предчувствие смерти.

Что же до профессора уголовного права, он тоже не мнил себя победителем. Он сказал то, что ему хотелось сказать, ибо у него была сильная позиция и он выступал в тоге обличителя. Но разве он сделал всё, что мог сделать, и сказал всё, что мог сказать? Разве он сам понимал до конца, почему эти двое должны умереть? Или было в их смерти нечто такое, что он и сам не решался понять?

## Глава шестая

В одиннадцать часов утра к Чарльстонской тюрьме прибыли подкрепления, и людям, которые их видели, почудилось, будто началась маленькая война и войска ринулись в бой с противником. На грузовиках сидели вооружённые полицейские, в колясках мотоциклов были установлены пулемёты, а позади везли прожектор, луч которого мог прорезать тьму и туман на целых три мили. С рёвом сирен отряд подкатил к тюрьме, и начальник её, которому уже сообщили, что ожидаются беспорядки и что в связи с этим к тюрьме высланы подкрепления, вышел навстречу прибывшим, недоверчиво поглядывая на них.

Когда начальник полиции штата Массачусетс заявил начальнику тюрьмы по телефону, что, по указанию губернатора, он посылает к тюрьме дополнительную охрану, тот ворчливо спросил у него:

— Какие тут могут быть беспорядки?

Ему так и не объяснили, о каких именно беспорядках шла речь. Да и откуда они могли знать, каких надо было ждать беспорядков? Им казалось, что в воздухе пахнет грозой и что нужно принять какие-то меры.

— Пожалуйста, если вы считаете это необходимым. Дело ваше. Должно быть, у вас есть для этого основания, — сказал начальник тюрьмы начальнику полиции, думая, что до конца этого злосчастного дня случится ещё немало неприятностей. Только совсем не тех, каких они ожидают.

О чём они только думают? — удивлялся начальник тюрьмы. Неужели они предполагают, что появится какая-нибудь армия и взорвёт тюремные стены, чтобы освободить двух анархистов?! В душе начальник тюрьмы даже обиделся за Сакко и Ванцетти. Он привык считать, что знает приговорённых к смерти куда лучше, чем те там, на воле. Разве они подозревают, какие покладистые и тихие эти два итальянца? Настоящее знание людей даётся только в тюрьме, и нигде больше.

Выйдя к воротам, начальник раздражённо сказал капитану полиции, возглавлявшему вооружённый отряд, что тот может расставить людей по

своему усмотрению — и тут, и там, и всюду, где только найдёт нужным.

— Каких беспорядков вы ждёте? — спросил его капитан.

— Я не жду никаких беспорядков,— отрезал начальник тюрьмы. — Во всяком случае, тех беспорядков, на которые вы намекаете!

Он вернулся в свой кабинет, а капитан полиции заметил лейтенанту:

— Чего это он вдруг взъелся? У него такой вид, словно ему хочется дать нам по шее.

Начальник тюрьмы вошёл в кабинет с лицом, потемневшим, как грозовое небо. Люди, которые ждали его, чтобы получить распоряжения по тому или иному делу, раздумали к нему обращаться, решив, что дело их потерпит, покуда у начальника не отляжет от сердца. Один только электротехник не мог отложить своего дела, ведь не он и не начальник придумали сегодняшний день со всеми его неприятностями, ему, как и начальнику, сегодняшний день свалился как снег на голову, и ему нужно было обсудить кое-какие вопросы, невзирая на то, в каком расположении духа пребывает начальство. Он вошёл к начальнику и прямо приступил к делу: сейчас-де уже четверть двенадцатого, а он ещё не проверил электропроводку.

— Ну и какого же чёрта вы её не проверяете? — раздражённо прервал его начальник тюрьмы.

— Да ведь мне было приказано зайти к вам, прежде чем я начну её испытывать, — стал оправдываться электротехник.

Начальник вспомнил, что он и в самом деле дал такое распоряжение. Вызвано оно было, конечно, его обычной отзывчивостью. Обитатели тюрьмы всегда болезненно реагировали на манипуляции со светом. Когда свет меркнул, тускнел и почти угасал, а потом снова загорался с прежней силой, в тюрьме знали, что в электрический стул включили ток и там идёт казнь или репетиция казни. Не будучи человеком бесчувственным, начальник понимал, что каждый заключённый в его тюрьме в какой-то степени делит с тремя обречёнными на смерть их страдания и тоже ждёт казни со страхом и душевной болью. Тюрьма связывает своих обитателей воедино. Они словно образуют некий живой организм, и когда часть этого организма отмирает, остальные его члены тоже, кажется, умирают понемножку. Люди, никогда не бывавшие в тюрьме, не сидевшие или не работавшие там, не поймут этого, да и не захотят понять, как могут обыкновенные, рядовые преступники испытывать такое сострадание к приговорённым к смерти. А между тем начальник тюрьмы знал, что подобное сострадание было вполне реальным фактом. Ему не хотелось зря растревать души сотен людей, к тому же он мог представить себе, как мучительно отразится эта маленькая репетиция на Сакко, Ванцетти и Мадейросе. Сколько раз им ещё придётся умирать за сегодняшний день! К чему ещё одно ненужное испытание?

Начальник тюрьмы высказал свои соображения электротехнику, и тот согласился с ним, заявив, однако, что ничего не поделаешь, у него нет другого выхода.

— Видите ли, — сказал электротехник, — никогда нельзя знать заранее, выдержат ли провода и предохранители ту нагрузку, которую надо дать на электрический стул. Строго между нами, сэр, это — самый растрепанный способ убивать человека, и зачем его только придумали, один чёрт их знает. Виданное ли это дело: сажают человека на стул и пропускают через него электрический ток. Если кому-нибудь кажется, что это не больно, — он кретин. Стоит только разок поглядеть на эту процедуру, чтобы убедиться — больно человеку или не больно! Уверю вас, если бы мне пришлось выбирать между этой самой штукой и виселицей,

лично я предпочёл бы виселицу. Лучше пусть меня расстреляют или повесят, чем я сяду на электрический стул.

— Меня, уважаемый, не интересуют ваши вкусы в этой области, — жёлко прервал его начальник. — Я спрашиваю вас: какого чёрта вам надо целый день испытывать этот проклятый стул?

— Я же вам объясняю, — ответил электротехник. — Представьте себе, что вы посадили кого-нибудь на стул, включили ток и вдруг произошло замыкание. Скажем, сгорели предохранители или не выдержал провод. Весёленькая история, а? Приятно вам будет, если бедняга просидит там с завязанными глазами, весь увешанный электродами, часика два, покуда не будет найден разрыв или короткое замыкание, чтобы продолжать казнь?

— Ни в коем случае! — сказал начальник. — Будьте уверены, этого я не хочу ни за что на свете! Но почему вы не хотите испробовать проводку один раз, вечером?

— Невозможно, — объяснил монтажёр. — Мне надо заранее засесть слабые места. Даю ток и пробую, пока все слабые места не будут обнаружены. Неполадки надо устранить до ночи и знать, что, когда вы дадите полную нагрузку, провода выдержат и вся осветительная система тоже не пострадает.

— Что ж, валяйте. Валяйте, к чёртовой матери! — сказал начальник. — Делайте, что полагается.

Электротехник кивнул головой и вышел; вскоре Сакко и Ванцетти заметили, как в их камерах померк свет, на секунду-другую он стал тусклым, а потом вновь разгорелся. Когда это произошло, они застыли, как будто умерли ещё при жизни, и, поверьте, это не пустые слова!

В тюрьме было всего три камеры смертников. Строители того крыла тюремного здания, где эти камеры находились, — оно неведомо почему называлось «Вишнёвой горкой» — не предполагали, что более трёх человек одновременно могут ожидать своей казни. Поэтому отделение для смертников и состояло всего из трёх мрачных, душных и тёмных камер. Все они были расположены рядом, одна за другой, и вместо обычной решётки затворялись тяжёлой дубовой дверью с прорезанным в ней маленьким зарешеченным окошечком. Свет в этих камерах, следовательно, был искусственный, и, когда испытывали проводку, человеку, находившемуся там, казалось, что его камера вдруг начинает сжиматься, съезжаться, стискивая его со страшной силой и рождая в нём чувство медленно нарастающего ужаса.

Когда Николо Сакко, сидя на краю койки, увидел, как замигал свет, он вдруг услышал неистовый, душераздирающий крик, полный острой, нестерпимой боли; так могло кричать только животное, но этот крик доносился из соседней камеры, из камеры Мадейроса. Крик замер, сменился стоном, и Сакко почувствовал, что за всю свою жизнь он не слышал ничего более жалобного, ничего более сиротливого, чем стоны несчастного, всеми проклятого и полумёртвого от страха вора. Слух его привык улавливать малейшие звуки, и он услышал, как Мадейрос упал ничком на койку и зарыдал. Сакко не мог больше вынести. Он вскочил, подбежал к двери своей камеры и закричал в окошечко:

— Мадейрос, Мадейрос, ты меня слышишь?

— Слышу. Чего вы хотите? — отозвался Мадейрос.

— Я хочу тебя немножко утешить. Мужайся.

Говоря это, Сакко подумал: «Что нас может утешить и откуда нам взять мужество или надежду?» И, словно в ответ на его мысли, Мадейрос воскликнул:

— Чем же вы меня утешите?

— Ещё есть надежда.

— У вас, может быть, и осталась надежда, мистер Сакко. Может быть, для вас ещё есть надежда, у меня же её больше нет. Я должен умереть. Ничто на свете этого не изменит. Очень скоро я должен буду умереть.

— Какие глупости! — крикнул Сакко, почувствовав себя куда лучше от того, что ему приходится бороться со страхом, обуявшим другого. — Ты говоришь глупости, Мадейрос. Они не могут лишить тебя жизни, покуда они не лишат жизни нас с Ванцетти. И пока мы живы, им придётся остаться в живых и тебя, потому что ты — самый важный свидетель по всему делу, по делу Сакко и Ванцетти. Ты погляди сам, подумай! Почему, по-твоему, мы находимся здесь втроём? Мы вместе потому, что наши судьбы связаны друг с другом. Но пока нам ещё не о чем плакать.

— Разве смерть это не то, о чём плачут? — горестно спросил Мадейрос.

Только дети порой задают такие бесконечно трогательные и бессмысленные вопросы. И ответ на его вопрос был такой же трогательный и такой же бессмысленный:

— Вот ты всё твердишь: смерть, смерть... Сейчас не время думать о смерти и толковать о смерти. Что из того, что им хочется позабавиться с электричеством! Что нам до этого, что нам до их электричества! Пусть они включают его и гасят хоть целый день, если им так нравится...

— Они проверяют электрический стул, на котором мы умрём.

— Ну вот, ты опять своё! — закричал Сакко. — Неужели тебе не о чем говорить, кроме смерти? Беда в том, что ты отчаялся.

— Верно. Я отчаялся. Всё это зря.

— Что зря?

— Да вся моя жизнь, как есть. Ни черта из неё не вышло. Всё было неправильно. С самого первого дня, как я родился, всё было неправильно и ни к чему. И ведь не по моей вине. Понимаете, мистер Сакко? Я не хотел, чтобы так получилось. Тут виновато что-то другое. Я уж говорил об этом с мистером Ванцетти, и он старался мне объяснить, почему так вышло. Я его слушал, слушал... Вот, кажется, сейчас пойму. А потом вижу: нет, не понимаю. Знаете, о чём я говорю, мистер Сакко?

— Знаю, — сказал Сакко. — Конечно, знаю, бедняга!

— Ну вот, вся моя жизнь и пошла прахом.

Но Сакко сказал:

— Жизнь не может пойти прахом. Клянусь, Мадейрос, говорю тебе чистую правду. Жизнь никогда не проходит даром. Неправильно думать, что вся твоя жизнь прошла зря, только потому, что ты совершал дурные поступки. Вот, например, мой сынишка, Данте. Когда он совершал дурные поступки, разве я запираю его в тёмную комнату? Нет. Я старался объяснить ему, что он сделал. Я старался показать ему, что хорошо и что плохо. Иногда мне трудно было показать ему эту разницу, ведь маленький мальчик — это совсем не то, что взрослый, разумный человек. Что ж, у него был отец, его счастье, что у него был отец, который мог ему всё объяснить. Но если человек делает что-нибудь дурное, когда ему лет семнадцать или двадцать, как это случилось с тобой, Мадейрос, тогда дело другое. Никто не хочет уделить тебе немножко времени и объяснить что хорошо, а что плохо...

Он услышал, что Мадейрос снова рыдает, и закричал ему:

— Мадейрос, Мадейрос, прошу тебя, я ведь не хотел огорчать тебя ещё больше. Я ведь только старался показать тебе, что жизнь не может пройти зря. Ведь я в это верю, хочешь, я скажу тебе, почему я в это верю?

— Да, пожалуйста, скажите, мистер Сакко, — попросил вор. — Простите, что я заплакал. Я часто не могу совладать с собой. Вот, к примеру,

мои припадки. Ведь я не хочу, чтобы у меня был припадок, а он всё равно случается. Я не хочу плакать, а вдруг, ни с того ни с сего, возьму да заплачу, хочу я этого или не хочу.

— Понятно, — мягко сказал Сакко, — понятно. Так вот что я думаю, Мадейрос. Я думаю, что во всём мире всякая человеческая жизнь связана с каждой другой человеческой жизнью. Словно нити, которых ты не можешь увидеть, ведут от каждого из нас ко всем другим людям. В самые страшные и отчаянные минуты, когда сердце моё было полно ненависти к судье, который так жестоко и бесчеловечно приговорил нас к смерти, я внушал себе: ты должен понимать, за что ты его ненавидишь. Он ведь часть человечества, в то время как ты — другая часть человечества. Он тоже связан со всеми нами незримиыми нитями. Но эти нити, о которых я говорю, — его злорадия и ненависть к нам, к таким, как я, Бартоло, ты... Понимаешь, что я хочу сказать, Мадейрос?

— Я стараюсь, я так стараюсь понять, — ответил Мадейрос. — Это не ваша вина, если я не понимаю.

— Нет, жизнь не проходит зря, — настаивал Сакко. Он возвысил голос и окликнул Ванцетти. — Бартоломео! Бартоломео! — звал он. — Ты слышал, о чём мы говорили?

— Да, я слышал, — сказал Ванцетти; он стоял у двери своей камеры, и слёзы текли по его лицу.

— Разве я не прав, говоря Мадейросу, что никакая жизнь не проходит бесплодно?

— Ты прав, — ответил Ванцетти. — Ты бесконечно прав, Ник. Ты его слушай, Мадейрос. Он такой добрый и умный.

В эту минуту пробили тюремный колокол, возвещая наступление полудня. Было ровно двенадцать часов дня 22 августа 1927 года.

### Глава седьмая

Полдень в городе Бостоне и в штате Массачусетс отделён шестью часами от полудня в городе Риме, в Италии. Когда на восточном побережье Соединённых Штатов бьёт двенадцать часов, длинные предвечерние тени ложатся на прекрасные древние руины, нарядные площади и нищенские трущобы Рима.

В этот час диктатор, как всегда перед обедом, занимался гимнастикой. Сегодня он боксировал в лёгких перчатках. Он не любил однообразия в своих упражнениях: иногда он прыгал через верёвочку, в другие дни занимался боксом, а то и фехтовал древнеримским коротким мечом, со шитом в руке. Он очень гордился своей физической силой; когда он боксировал, как он любил выражаться, «в американском стиле», он доводил своего противника до седьмого пота, не давая ему никакой пощады. Хочешь не хочешь, злосчастному партнёру приходилось покорно сносить удары, понимая, что равноправие в спорте имеет свои границы даже для такого, самого выдающегося спортсмена среди властителей. Диктатор же получал неизъяснимое удовольствие от звонких шлепков кожей перчаткой по чужому телу, от ощущения физического превосходства над противником, которое давал ему бокс.

У диктатора был заведён прекрасный и очень здоровый распорядок: десять минут он ожесточённо крутил педали укреплённого на станке велосипеда, пять минут занимался греблей на такой же неподвижной лодке; десять минут боксировал с двумя партнёрами — то, что их было двое, необычайно лыслило его тщеславию, — затем он погружался в бассейн и, наконец, принимал освежающий ледяной душ.

Голый, в чём мать родила, диктатор провёлся по ванной, похлопывая себя по животу и вдыхая воздух полной грудью; трое слуг расти-

рали его полотенцами. Ему нравилось проделывать эту процедуру перед зеркалом, чтобы лишний раз полюбоваться мощью своей грудной клетки, крепостью ног и чистотой гладкой кожи. Часто он сопровождал растирание массажем. Он любил растянуться на столе и чувствовать, как умелые пальцы массажиста прощупывают каждый его мускул, каждую жилку. Ему шекотала нервы беззащитность его наготы, опасность такой безраздельной власти массажиста над его телом. Он лежал голый и беспомощный, расслабив мышцы, а кровь всё свободнее и быстрее бежала по его членам и кожу пощипывало ощущение вернувшейся свежести.

В такие минуты в нём просыпалась чувственность и он наслаждался предвкушением тех маленьких радостей, которые он разрешал себе в предобеденный час. Ему не к чему было отказывать себе в этих радостях, и он любил говорить своим приближённым, что свидание с женщиной всего приятнее и куда полезнее именно перед обедом. Он и сегодня дал волю воображению и рисовал прихотливые картины в той особой области сознания, которую он выделял специально для подобных забав. Сегодня он позволил себе общий массаж. Когда на него лили ароматное масло и освобождали его члены от усталости и напряжения прошедшего дня, он потягивался, как большой кот. Разве не уместно было в такие минуты размышлять и о наслаждениях плоти и о важных государственных делах? Поднявшись на ноги, он почувствовал бодрость не только от массажа, но и от своих мыслей. Он с новым интересом посмотрел на себя в зеркало, внимательно разглядывая мускулы живота и проверяя, не появились ли дряблость или жирок, свидетельствующие о приближении старости.

Старость пугала его так же, как ужасала смерть, и хуже всего он чувствовал себя тогда, когда размышлял о старости или о смерти. В последнее время он задумывался над этими гнетущими вопросами чаще, чем это вызывалось обстоятельствами или его самочувствием.

Обстоятельства сами по себе были куда как хороши, ибо никогда, как казалось ему, ни его собственное положение, ни обстановка в государстве, которым он управлял, не были благоприятнее. Последние очаги сопротивления в стране были подавлены. Угроза коммунизма предотвращена раз и навсегда. Всего несколько дней назад он горделиво выступал со своего балкона, возвышаясь над морем человеческих лиц, над тысячеголовой толпой, приветствовавшей его рёвом:

— Дуче! Дуче! Дуче!

Он говорил им о том, чего он для них добился. Большевизм — это богопротивное, ядовитое чудище — повержен в прах! Разве не так повергали в прах коварных драконов рыцари без страха и упрёка! Большевизм в Италии мёртв! Коммунизм в Италии мёртв! В стране царит порядок, а для фашизма грядут тысячелетия довольства и благоденствия. Сокровища всего мира станут достоянием тех, кто верил, повиновался и безропотно шёл за своим дуче.

И несмотря на это, несмотря на восторженные рукоплескания толпы, несмотря на преклонение вокруг, несмотря на растущий престиж в дипломатическом мире и признание со стороны великих держав — Франции, Англии и Соединённых Штатов, — которым он завидовал, несмотря на доказательства того, что его физическая сила и его способность играть роль породистого производителя ему не изменили, — несмотря на все эти счастливые для него обстоятельства, в последние дни он был чем-то расстроен и выведен из равновесия, не понимая при этом причин своего дурного расположения духа.

Всего несколько дней назад он обедал с известным психиатром из Вены — у него было непреодолимое, хотя и тайное влечение к этой



профессии — и поставил перед ним вопрос: верит ли этот психиатр в то, что императоры древнего мира были убеждены в своём богоподобии и в своём бессмертии?

— Нам лучше рассматривать эти понятия порознь, — ответил австриец. — Богоподобие и бессмертие отнюдь не синонимы. Ведь это только в наши дни мы награждаем богов способностью жить вечно. В древние времена существовали боги, которые жили подолгу, и другие, которые гибли так же легко, как гибнут люди. Древние цивилизации вряд ли приписывали своим богам бессмертие: они просто не задавались этим вопросом, их ведь не тревожила, как нас, жажда вечной жизни.

Диктатор усомнился, так ли это было на самом деле. Диктатор частенько отождествлял себя с былыми властителями Римской империи. Гильдия скульпторов Тосканы преподнесла ему три бюста древних римлян; любой из них легко мог быть его двойником. Ему нередко снилось, что он бог, и, проснувшись, он не сразу мог отделить своё «я» от бога или бога от своего «я». Добродушно посмеиваясь над своими маленькими причудами, он, однако, всерьёз подумывал о том, что всё может быть, ведь ещё так много тайн не познано наукой... Он опасливо коснулся этой темы в разговоре с австрийским психиатром, ибо знал, что люди болтливы, а уж о ком им сплетничать, как не о великих мира сего! Ему же не хотелось, чтобы шла молва о том, будто он тешит себя иллюзиями относительно своего божественного происхождения. Однако австрийский психиатр был человеком чутким к малейшим желаниям диктатора и сразу понял, что у того на уме; он сам поднял этот вопрос, разъяснив диктатору, что тот имеет столько же прав на божественность, сколько их имел бы любой преемник Юлия Цезаря.

— Мы так мало знаем о нашем теле, — рассудительно заметил психиатр. — Загадки его бесчисленны и почти совсем не раскрыты. Возьмём хотя бы железы внутренней секреции — какие тайны могли бы они нам открыть, заговори они на своём языке, на языке химии? И представить себе невозможно! Кто сказал, что человек есть прах? «Прах ты и в прах обратишься...» Почему люди умирают? Мы можем только гадать. Да и старость ведь тоже загадка.

— Но ведь все люди смертны, — возразил диктатор, настойчиво желая, чтобы психиатр продолжал этот разговор.

— Разве? — Австриец многозначительно поднял брови. — Откуда мы знаем? Мы ведь не располагаем сведениями о рождении и смерти всех людей на земле. Подумайте сами. Предположим, что тело и дух какого-нибудь человека победили смерть, не в мистическом, а в физическом смысле слова; человек увидел, что годы идут, а он не стареет. Стоит этому факту стать очевидным, как человеку приходится принимать какие-то меры. Другими словами, продолжая жить, он вынужден симулировать смерть, то есть либо исчезнуть, либо изобразить самоубийство, эмигрировать, бежать, перебираться из города в город. Откуда мы знаем, что такая судьба не постигла множество людей? Тайну бессмертия хранят куда строже всякой другой тайны: ведь если люди низшей породы — они-то уж, конечно, умрут в положенный им срок! — разносят эту тайну, они кинутся на бессмертного и разорвут его так же безжалостно, как волки раздирают оленя.

Затаив дыхание, диктатор не пропускал ни слова из фантастических разглагольствований психиатра; хотя он и пытался скрыть свой жгучий интерес, ему это не очень удавалось.

— Но если таким даром будет обладать человек, власть имущий, ему ведь не надо будет прятаться и жить крадучись!

— А сколько людей, обладающих властью, насчитывает история человечества? — мягко спросил психиатр. — Если подойти к этому вопросу

с точки зрения статистики, надо признать, что для того, чтобы доказать мою гипотезу, число живших на нашей планете властителей было слишком невелико. Я говорю, конечно, о людях, обладавших неограниченной властью. Ведь только раз в тысячелетие неоспоримое могущество даётся в руки человеку огромной силы, мудрости, самообладания и приверженности великой идее...

Да, беседа с психиатром была поистине одной из самых благотворных бесед в его жизни. В ту ночь он спал, как дитя, не зная ни страхов, ни чёрных мыслей; перед сном его не мучило ужасное предчувствие смерти, не знающей воскрешения.

Однако сегодня, сразу же после такого приятного возбуждения и отдыха, как гимнастика, ванна и массаж, он почему-то был мрачен и встревожен. Он сам не мог понять, куда девался его душевный покой.

Диктатор закутался в великолепный купальный халат и направился в гардеробную, но в это время вошёл секретарь с бумагами в руках, надеясь, что диктатор разрешит ряд государственных дел во время своего туалета.

— Всё это может обождать, — запротестовал диктатор. — У меня нет настроения для дел. Неужели вы не видите, что у меня нет никакого настроения для дел?

— Смотря каких дел. Одни из них могут ждать, а другие не могут...

Они прошли в гардеробную. Одеваясь с помощью двух слуг, диктатор проглядывал бумаги, требовавшие его внимания.

— Подождёт. Ну, а это уж и подавно. Как вы смеете приставать ко мне с такой ерундой, ведь я заявил вам, что не желаю заниматься делами! Например, прошение от этой жирной свиньи Джинетти относительно трамвайной концессии. Мы сообщили, во сколько она ему обойдётся. Он делает вид, будто нас не понял и не знает, какая сумма с него причитается. Такое поведение может вывести нас из себя. Верните ему прошение. Скажите ему, что я им недоволен. Если он не заплатит, пусть идёт ко всем чертям со своим прошением! Голландский посланник может обождать. Чем больше унижений я причиняю этим голландцам, тем легче мне носить моё отвращение к немцам. Что касается Сантани — то он бандит. Я не стану иметь с ним дело меньше чем за миллион лир. Если жулик хочет стать приличным человеком, пусть платит за это, а если он не заплатит в течение месяца — проволочка ему обойдётся в два миллиона лир. Опять дело Сакко и Ванцетти! Когда ему будет конец? Неужели мне суждено до скончания века возиться с Сакко и Ванцетти? Меня тошнит от них! Да пусть они сгорят, эти коммунистические ублюдки! Говорю вам, меня тошнит от них. Не желаю о них больше слышать!

Он оделся. Секретарь терпеливо дождался конца его туалета, а потом сказал:

— Вы совершенно правы. Однако для народа Сакко и Ванцетти значат много...

— Скажите им: мы уделяем этому вопросу внимание и сделаем всё, что в наших силах, чтобы смягчить справедливую участь красных ублюдков.

Они прошли в кабинет; по дороге к ним присоединился министр труда. Секретарь и министр труда шли на шаг позади диктатора; на ходу они поглядели друг на друга и перемигнулись. Они отступили ещё на четыре шага, когда диктатор вошёл в кабинет, и, вытянувшись, подождали, пока он не сделал двадцать шагов по пушистому ковру до письменного стола. Когда он сел и резко повернулся к ним, лицо его, перекошенное капризной гримасой, потемнело от злости. Они его просто изводят, эти двое! Подумать только: его слуги, его подручные, его холуи осмеливаются изводить его, диктатора!.. Он, видите ли, не может располагать своим временем

так, как ему заблагорассудится, они вынуждают его тратить этот драгоценный час перед обедом на всякую ерунду!

— Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти... — заговорил секретарь.

— С вопросом о них покончено, — твёрдо сказал диктатор.

Министр труда сделал два шага к диктатору и произнёс тоном, в котором смешивались и насторожённая, и благообразная, и некая доверительная фамильярность:

— Вам не придётся долго заниматься ими, дуче. Сегодня они оба будут казнены. Таким образом, в известной мере, этому делу будет положен конец. Оно, видите ли, вошло уже в ту стадию, где финал, так сказать, напрашивается сам собой.

Не имея возможности проникнуть в мысли диктатора или угадать истинную подоплёку его гнева, министр труда сделал паузу, подождал, не услышит ли он чего-нибудь в ответ, и осведомился:

— Разрешите продолжать? Следует учесть некоторые обстоятельства этого дела и принять кое-какие меры. Быть может, вам будет угодно, чтобы я изложил эти обстоятельства?

— Говорите, — жёстко бросил диктатор.

— Хорошо. Как я уже сказал, всё будет кончено сегодня ночью. Они будут казнены, и, каков бы ни был резонанс, шум скоро утихнет. Нельзя продолжать политическую кампанию в защиту мертвецов. Нерушимость смерти делает такую кампанию бессмысленной. Она ничего не может изменить, ибо смерть — факт непреложный!

— Откуда вы знаете, что казнь снова не будет отсрочена? — спросил диктатор.

— В этом я почти совершенно уверен. Днём, когда рабочие шли обедать, они устроили многотысячную демонстрацию перед американским посольством. Кидали камни, били стёкла, перевернули и подожгли случайно стоявшую там машину французского поверенного в делах. Полиция разогнала демонстрацию; арестованы двадцать два зачинщика. Мы почти уверены, что двое из них коммунисты. Остальные, однако, совершенно незнакомые нам люди и в наших списках не числятся. Это показывает размах пропаганды вокруг дела Сакко и Ванцетти и то, как умело она ведётся. Полиция поставлена в ложное положение, ибо пропаганда в пользу Сакко и Ванцетти идёт под лозунгом защиты чести и достоинства всей нации. Слишком уж много болтают о том, каким обидам и унижениям подвергаются в последнее время в Америке итальянские эмигранты. Народ не может равнодушно относиться к этому! Он считает, что тут имеет место оскорбление национального престижа. Мне пришлось дать распоряжение полиции выпустить всех арестованных, в том числе и тех двоих, кого мы подозреваем в принадлежности к коммунистам, — их-то мы уж во всяком случае возьмём под наблюдение, в будущем это может быть полезным. Надеюсь, дуче, вы сочтёте, что в данных обстоятельствах наши действия были благообразны?

Диктатор кивнул:

— Продолжайте.

— В два часа дня я встретился с американским послом. Он чрезвычайно предан вам и заверил меня, что вам не стоит тревожиться по поводу этой надоевшей всем истории. Он утверждает, что очень скоро источнику всех неприятностей будет положен конец.

— Он так сказал? — переспросил диктатор. На лице его уже не было прежнего гнева.

— Дословно, в этих самых выражениях.

Министр труда обратился к секретарю:

— Разве я не говорил вам того же самого, буквально в тех же выражениях?

— Слово в слово, — подтвердил секретарь.

— Видите, дружба никогда не пропадает зря. — Диктатор улыбнулся впервые с тех пор, как он слез со стола для массажа. — Однако дружба дружбе рознь. Дурак дружит с кем попало, а умный — с людьми влиятельными.

— В три часа дня, — продолжал министр труда, — у меня, по совету посла, была краткая беседа с одним из секретарей посольства. Он подтвердил мне, что вы можете быть совершенно спокойны: казнь состоится. Он понимает, что оттяжка казни ставит дуче и его правительство в крайне затруднительное положение. Он просил меня заверить вас в том, что в его стране полностью сознают деликатность вашего положения и его крайне щепетильный характер. Он добавил, что весьма высокопоставленные особы откровенно восхищены вашей позицией в этом вопросе.

— Видите! — воскликнул диктатор, подчёркивая каждое слово ударом кулака по столу. — Что если бы я послушался совета наших медных лбов. Они ведь знают только одно: коммунист — это коммунист! У таких людей касторка вместо мозгов!

Он придумал этот афоризм только что и не мог удержаться от самодовольной улыбки. И министр и секретарь тоже улыбнулись: афоризм был, действительно, точным и едким.

— Касторка вместо мозгов! — повторил диктатор. — Однако люди с такими мозгами не представляют всю нацию. Разве судьба этих двух красных ублюдков волнует только коммунистов? Нет, говорю я вам! Разве обиды и унижения, которым были подвергнуты Сакко и Ванцетти, не являются поношением каждого итальянца, который любит свою родину и почитает свободу? Народ знает, что его дуче не может быть безразличным к страданиям любого итальянца, где бы тот ни находился. Честь Италии священна! Вы уверены, что этот секретарь посольства говорил правду?

— Совершенно уверен, — подтвердил министр труда. — Кроме того, как раз сейчас вас дожидается делегация из города Виллафалетто; она покорнейше молит вас дать ей аудиенцию. Виллафалетто, как вы знаете, это город, где родился Ванцетти. Семья его и сейчас живёт там. Правда, двое из этой делегации — представители города Турина.

— Вы взяли на заметку их фамилии? — спросил диктатор уже совсем другим тоном; гнев его прошёл, и в голосе появилось отеческое благодушие.

— Конечно. У нас есть их имена и оттиски пальцев, мы уже наводим справки и о них, и об их связях, и об их прошлом... Когда они выйдут отсюда, за ними будет установлено круглосуточное наблюдение.

— Вы поступили разумно и со знанием дела, — похвалил диктатор. — Отсутствие технической сноровки — вот проклятие нашей нации! Я доволен, что вы проявили сообразительность. Не сомневайтесь: когда в Рим за сотни километров направляется делегация, за её спиной всегда надо искать коммунистов. Каждый участник делегации может быть заражён проказой коммунизма. Помните об этом. А теперь введите их.

Когда делегация переступила порог огромного кабинета диктатора, он встал из-за стола, обошёл его и медленно, с простёртыми руками, двинулся ей навстречу. Его тёмные глаза были полны сочувственного понимания того, что переживает в этот день Италия; печаль на его лице словно отражала их горе.

Делегацию возглавлял старик, который, это было видно, всю жизнь трудился своими руками. Диктатор в знак приветствия протянул старику руки и замер в глубоком молчании. Старый рабочий вытащил из кармана бумагу и тщательно её расправил. Остальные стояли позади, с кеп-

ками в руках, слушая, как он, боязливо запынаясь, нетвёрдым голосом читал петицию:

«— Тысячи крестьян и трудящихся Италии собрались в городе Виллафалетто, где родился Бартоломео Ванцетти. Мы пришли туда ради честного и доброго итальянца, которого так несправедливо обрекли на смерть. Мы решили сделать всё от нас зависящее, чтобы предотвратить его гибель, для чего мы и посылаем делегацию от жителей деревень, расположенных вокруг Виллафалетто, а также от города Турина к дуче, чтобы просить его обратиться к правительству Соединённых Штатов с протестом против этого неслыханного судебного злодеяния. Мы знаем, как влиятелен голос дуче, и мы почтительно и смиренно призываем его возвысить свой голос, чтобы испросить помилование для двух сынов нашего рабочего класса — Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти».

Когда старик кончил читать, его воспалённые, усталые глаза наполнились слезами и он стал шарить в карманах, отыскивая носовой платок. Несомненно, он был лично заинтересован в судьбе приговорённых к смерти.

Диктатор вдруг обнял старика; всех присутствующих растрогал этот порыв. Когда они выходили из кабинета, половина членов делегации плакала, да и сам диктатор расчувствовался. Сев за стол, он вызвал стенографистку и продиктовал следующее коммюнике для прессы:

«Дуче обратился к президенту Соединённых Штатов с просьбой сохранить жизнь двум гражданам итальянского происхождения — Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти. Он просил президента Соединённых Штатов сделать этот шаг в целях укрепления отношений между Италией и Соединёнными Штатами, развивающихся вот уже много лет в атмосфере искренней дружбы».

Президент Соединённых Штатов подтвердил получение послания дуче и выразил своё крайнее сожаление по поводу того, что государственное устройство США предоставляет решение поднятого дуче вопроса властям штата Массачусетс. Несмотря на то, что президент Соединённых Штатов отдаёт себе отчёт в том искреннем интересе и глубочайшем участии, которыми движем дуче, он, к сожалению, вынужден признать себя бессильным вмешаться в это дело».

Покончив с диктовкой, диктатор указал министру труда, что это коммюнике должно полностью соответствовать официальному заявлению Вашингтона и, прежде чем коммюнике будет напечатано, министру надлежит получить подтверждение из Америки. Министр труда заверил его, что такое благополучное окончание столь неприятного дела не встретит на своём пути никаких препятствий.

Диктатор почувствовал облегчение; на душе у него посветлело. Не прошло и двадцати минут, как он смог покинуть свой кабинет и перейти в спальню. Внезапно и сегодняшний день, и будущее, и весь распорядок его жизни стали снова лучезарны и радостны.

### Глава восьмая

С самого утра 22 августа перед резиденцией губернатора расхаживали пикетчики. Вначале их была горсточка; с раннего утра они молча шагали по тротуару с поднятой головой, хотя и с некоторым чувством неловкости. Позже пикетчиков стало больше, а в обеденный перерыв, около полудня, тут уже собралась толпа: мужчины и женщины присоединялись к ним хотя бы на полчаса, прежде чем снова вернуться к своим делам. Но и без того число пикетчиков сильно возросло, особенно к десяти часам утра, когда на сцене появилась полиция; десятки полицейских вытянулись в цепочку и окружили пикетчиков с таким видом, будто

стойко оберегают население от какой-то опасной угрозы. Сначала здесь была только городская полиция, потом городскую полицию усилили полицией штата, затем подъехала машина с четырьмя пулемётчиками, готовыми немедленно пустить в ход своё оружие в случае чего-нибудь этакого... хотя, собственно, никто из пикетчиков и не понимал, какой-то такой для этого требуется случай. Истинной целью всех этих воинственных приготовлений было, конечно, запугать пикетчиков, а не защищать от них жителей; надо сказать, что попытки полиции запугать пикетчиков увенчались кое-каким успехом.

В течение трёх или четырёх дней в Бостон стекались люди со всех концов Соединённых Штатов. Когда губернатор принял окончательно решение о том, что в полночь 22 августа Сакко и Ванцетти должны умереть, множеству людей во всех углах страны почудилось, будто они явственно услышали тихий, мучительный стон, донёсшийся к ним издалека. Подобное чувство охватило самых разных людей. Врачи и домашние хозяйки, сталелитейщики и поэты, писатели, кочегары и даже погонщики скота, в одиночку разъезжавшие верхом на дальнем, дальнем Западе, чувствовали это удивительное единодушие с жизнью, надеждами и страхами Сакко и Ванцетти. Казнь стара, как мир. Немало невинных людей и раньше посылалось на смерть, однако впервые в истории этой страны ожидаемая казнь взволновала и потрясла такое множество людей.

Накануне 22 августа в городе Сиэттле, штата Вашингтон, негритянский священник методистской церкви произносил проповедь о деле Сакко и Ванцетти. Он начал свою проповедь с воспоминания о том, что он ещё мальчиком пережил в штате Алабама. Его переживания, так хорошо знакомые неграм, рождённым и выросшим на Юге, нашли отзвук в сердцах слушателей. Проповедник рассказывал, как в маленьком городе, где он рос, вдруг раздался вопль: «Крови! Крови!» Жалкая, глупая истеричка закричала, что её изнасиловали. И вот все силы ада были выпущены на волю. В то время священник был ещё совсем ребёнком, но он отчётливо видел, как паутина обстоятельств запутала совершенно невинного человека и этого невинного человека линчевали. Священник вспоминал, как трагически сплелись обстоятельства, как мучился и страдал затравленный человек.

— Что видится мне в деле Сакко и Ванцетти? — вопрошал он с амвона. — Я обращаюсь к тебе, моя паства, как слуга божий, а это не так легко. Но я говорю с тобой и как человек с чёрной кожей. Нельзя в этой жизни расстаться со своей кожей так же, как нельзя расстаться и с душой. Я много, очень много думал о деле Сакко и Ванцетти и чувствовал, что настанет день, когда я больше не смогу молчать и должен буду сказать мою проповедь. Я не тешу себя надеждой, что одна проповедь одного священника может изменить судьбу этих несчастных. Не тешу я себя и тем, что моё бессилие оправдывает меня, если я смолчу.

Ночью я разговаривал с женой и детьми о Сакко и Ванцетти. Мы сидели рядом, пятеро людей с тёмной кожей, чей хлеб зачастую был так невыносимо горек, и плакали. Потом я спросил себя: о чём же мы плачем? Я вспомнил, что недавно читал, будто некоторые историки не могут найти доказательств страстей господина нашего Иисуса Христа. Ну, не глупцы ли эти люди! Они ищут доказательств жизни одного Христа и одного распятия; а ведь история того времени знает десять миллионов распятий. Вчера я и мой народ были рабами, закованными в цепи; две тысячи лет назад жил раб по имени Спартак с душой, исполненной гнева. Он поднял свой народ против рабства, призвал его восстать и сбросить оковы. Когда он потерпел поражение, римляне распяли шесть тысяч его соратников. Кто же уверит меня после этого, что история не знает подвига христового? И неужели через тысячу лет кто-нибудь, листая страницы

истории, будет тщетно искать следов подвига Сакко и Ванцетти? Спросят: где это написано, в какой главе и в каком стихе? И, не найдя их, скажут, что никогда, видно, сын человеческий не умирал за нас. Так я говорил себе, и беспросветная печаль овладела мной, на душе у меня стало тяжело, и, вглядываясь во мрак, я не видел ни пути, ни света. Тогда я сказал себе: мало у тебя веры и ещё меньше понимания и, разгневавшись, стал поносить себя всячески. Как же мог я так скоро забыть, что и я, и моя жена, и трое моих детей плакали потому, что двух итальянских иммигрантов сбросили на смерть, потому что сеть обстоятельств опутала этих людей и никакая сила на свете, кажется, уже не может им помочь? Если, несмотря на это, я вижу лишь мрак и отчаяние, значит действительно я утратил веру и в бога и в сына его, Иисуса Христа.

Но луч света всегда пронизывает тьму. Я намеревался сказать вам проповедь, и я спросил себя, к кому же обращаю я слова мои. Мысленно я оглядел скамьи, где сидят мои прихожане, и увидел их такими, какими не видел прежде. Я никогда ведь не думал о том, что паства моя — это простые труженики: дровосеки и водоносы. Я думал о них, как о людях вообще, — к чему было говорить, что они рабочие люди? Однако мой народ воистину рабочий народ. Разве это не правда? Я вижу, вы утираете слёзы. Это хорошо. Скоро вы будете плакать, ибо страдания Сакко и Ванцетти — это ваши страдания и мои страдания. И подвиг их — это наш подвиг. Это подвиг и страдания всех рабочих людей нашего времени, какого бы цвета у них ни была кожа: чёрного или белого. Это страдания несчастного загнанного негра, повешенного озверелой толпой обезумевших от ненависти людей. Это подвиг трудящегося человека, который бродит с места на место в поисках куска хлеба, прося, чтобы кто-нибудь купил силу его рук, потому что жена его и дети голодают. Это подвиг и сына божия, который тоже был плотником.

Мы терпеливый народ. Разве можно счесть, во что обошлась нам наука терпения? Разве можно счесть кровь, и слёзы, и сердечную боль? Но мы терпеливый народ, гнев приходит к нам не сразу. Однако теперь я уже не знаю — порок это или добродетель? Они заявили, что Сакко и Ванцетти умрут через несколько дней. Не знаю, где лежит наш долг, — ведь нас так мало и мы так далеко от них. Был ведь такой человек, его звали Пётр, он не мог смотреть на то, как воины и служители схватили господина его и спутника; он извлёк меч, чтобы поразить врагов своих. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны; неужели мне не испить чаши, которую дал мне отец мой?» Долго я раздумывал над этими словами, стараясь побороть сомнение, которое твердило: «Этого мало. Так нельзя!» Но я не находил ответа. Сердце моё полно печали, и я приношу вам мою печаль, прося вас помолиться вместе со мной за тех двоих — Сакко и Ванцетти. Они ведь умрут за нас...

Слова негритянского священника выразили то, что чувствовали многие люди.

Другие выражали свои чувства по-иному: душевная тревога заставила их отправиться в Бостон. Большинство из них смутно представляло себе, чего они там могут добиться. Как и негритянского священника, их томила потребность дать выход тому, что в них накопилось, крикнуть во весь голос. Но, чтобы выразить гнев, ярость, протест, нужны умение и дисциплина, а у этих людей не было ни умения, ни дисциплины. Некоторые из приехавших в Бостон были поэтами; они ощущали горечь, но не могли выразить её словами. Другие были врачами; им казалось, что вот она — та боль, которую не может облегчить их наука. Третьи — они были рабочими — чувствовали ещё сильнее других, словно их самих приговорили к казни, что человек не должен умирать безропотно и смиренно. Съехавшись в Бостон, все эти люди на митингах протеста зада-

вали вопросы, на которые нельзя было ответить ни просто, ни определённо; и большинство из них — кто раньше, кто позже — направило свои стопы к резиденции губернатора, где уже много дней стояли пикеты.

Кое-кто из них не мог заставить себя присоединиться к пикетчикам. Не так-то легко переступить через страх, отчуждение, непривычку и предубеждение для того, чтобы стать в ряды тех, кто ходит в пикете. Многие из приехавших в Бостон ни разу в своей жизни не видели пикета и тем более не участвовали в нём; они сталкивались с чем-то совсем новым для них. Люди не очень хорошо понимали, что должно всё это значить, какова тут цель, чего можно добиться, а некоторым из них казалось смешным это расхаживание взад и вперёд с транспарантами в руках, а выкрикивание лозунгов им очень напоминало глас вопиющего в пустыне. Поэтому кое-кто и не смог заставить себя присоединиться к пикетчикам. Хотя они и принуждали своё тело сделать необходимый шаг, внутреннее противодействие было сильнее их воли, и они стояли, словно парализованные, смутно отдавая себе отчёт в том, что означает их бездействие. Для скольких людей в стране такое бездействие было символическим? Те, кто приехали в Бостон и стояли теперь, как парализованные, были отнюдь не одиночки. С ними были миллионы тех, кто не приехал в Бостон; они тоже не могли сделать нужного шага, а следовательно, и добиться чего бы то ни было; они были способны лишь проливать слёзы бессилия, в то время как двое честных рабочих — сапожник и разносчик рыбы — должны были умереть.

Правда, были тут и другие; те, кто сумели справиться со своими опасениями, сделали шаг вперёд и заняли своё место в пикете. «Подумать только! — говорили они себе. — Я открыл новое оружие, о котором и не мечтал! Прекрасное, могучее оружие, которым я могу воспользоваться не хуже другого!»

Они стали плечом к плечу с людьми, которых никогда не видели прежде, и сила потекла от одного плеча к другому. Некоторые из этих людей были молоды, другие — средних лет, были здесь и старики, — но все они были схожи в том, что делали нечто, чего никогда не делали раньше, и таким путём открыли в себе силу, которой прежде не обладали. Многие из них присоединялись к пикетчикам нехотя, стыдливо, шагали сперва робко, потом более уверенно, а потом уже с новой осанкой, полной достоинства и решимости. Они расправили плечи, подняли головы и выпрямили спины. Гордость и гнев стали неотъемлемой частью их существа, и те, кто сначала ходили с пустыми руками, вдруг стали жадно отнимать транспаранты у соседей, которые носили их уже много часов подряд. Транспаранты тоже стали оружием; люди почувствовали, что уже больше не безоружны, и поняли, хотя бы и подсознательно, что этим простым, почти будничным актом — совместным маршем в знак протеста бок о бок с другими мужчинами и женщинами — они связали себя с могучим движением, которое охватило всю землю. В мозгу их рождались новые мысли, ими овладевали новые чувства, сердца их бились быстрее, они познали скорбь, неведомую им прежде, и обычная человеческая злоба превратилась в их душе в чувство протеста.

Полиция снова и снова подстраивала провокации против пикетчиков. В первой половине дня 22 августа их ряды были дважды смяты; оба раза было много арестованных, которых увозили в местные отделения полиции. И это было ново для многих пикетчиков: поэтов, писателей, адвокатов, мелких торговцев, инженеров и художников — словом, людей, проживших всю свою жизнь в покое и поразительной безопасности; они вдруг почувствовали, что их теснят, толкают, тащат, словно каких-то преступников, и вся их уверенность в собственной безопасности исчезла; они увидели, что закон, который, как им казалось, всегда оберегал их,



стал вдруг орудием убийственной злобы, направленным против них. Некоторые перепугались насмерть, другие, напротив, ответили злобой на злобу, ненавистью на ненависть; арест вызвал в них необратимую перемену, которая не могла не повлиять на всю их последующую жизнь.

Для арестованных рабочих всё было куда проще — они не почувствовали ни удивления, ни страха перед тем, что не было для них ни новым, ни необычным. В числе других арестовали и рабочего-негра, подметальщика на текстильной фабрике в Провиденсе, штата Род-Айленд. Он взял за свой счёт выходной день, целый рабочий день, чтобы поехать в Бостон и поглядеть, что там делают люди, которые, как и он, не могут смириться с мыслью, что смерть невозбранно настигнет Сакко и Ванцетти. Этот рабочий не раздумывал слишком много или слишком подробно над делом Сакко и Ванцетти, однако в течение многих лет оно жило в его сознании, являлось неотъемлемой частью окружающего мира, в самом простом и ясном смысле этого слова. Он и не думал разбираться в показаниях свидетелей, но время от времени до него доходили высказывания Сакко или Ванцетти, он читал что-нибудь об их прошлом и понимал так же просто и ясно, что эти два злосчастных человека не могли совершить никакого преступления, а были такими же обыкновенными тружениками, как и он сам. Порой он и вправду мучительно задумывался над своим сродством с ними, особенно когда прочёл в газете слова Ванцетти, сказанные им в одном из его писем: «Нашим друзьям надо кричать, чтобы их услышали наши убийцы,— врагам же достаточно прошептать или даже вовсе промолчать, чтобы мысли их были подхвачены».

Негр долго раздумывал над словами Ванцетти, и впоследствии они-то и привели его в Бостон 22 августа, где он присоединился к пикетчикам, стоявшим возле резиденции губернатора. Он не преувеличивал значения своего поступка, хотя знал ему цену, он воспринимал его таким, каков он есть, прекрасно отдавая себе отчёт, что такой незначительный шаг не перевернёт вселенной и не освободит тех двоих, кого он уже давно считал своими друзьями. Но всю свою жизнь этот рабочий боролся за то, чтобы его не уничтожили, и боролся при помощи вот таких маленьких и по виду безнадёжных поступков; его богатый жизненный опыт подсказывал ему, что презирать повседневную борьбу — значило презирать всякую борьбу вообще. Он не тешил себя несбыточными мечтами о завтрашнем дне, а решал непосредственные, практические задачи, которые вставали перед ним сегодня.

В те часы, которые он провёл, шагая в пикете, ему удалось запечатлеть себя в сознании окружающих. Ростом он был не очень высок, но мускулистая фигура говорила о том, что это был выносливый, положительный человек. У него было приятное широкое лицо, размеренные и обдуманые движения — весь он словно излучал силу, вселяя в окружающих чувство уверенности. Он шагал непринуждённо, как и многие другие рабочие, относясь к пикетированию, как к привычному и обыденному делу. В первой стычке с полицией, когда она пыталась смять ряды пикетчиков и спровоцировать их, он сдерживал своих товарищей, приговаривая: «Спокойно, только спокойно! Не обращайтесь на них внимания, делайте своё дело», — тем самым помогая людям сохранять самообладание и дисциплину. Однако его спокойная уверенность привлекла внимание полиции. Сыщики в штатском, переглянувшись, кивнули на него, явно переоценив его значение среди пикетчиков. В неприметной борьбе и драматических событиях, разыгрывавшихся перед резиденцией губернатора, негр был отобран для уничтожения; вторая полицейская провокация была уже направлена прямо против него. Его отнесли, арестовали, и в час дня 22 августа он был доставлен в полицейское управление и посажен в одиночку.

Такой поцёт встревожил его. Он был одним из тридцати арестованных, среди которых были белые сапожники и белые текстильщики, домашние хозяйки, знаменитый драматург из Нью-Йорка и поэт с мировым именем; но всех этих людей поместили вместе. Почему же его выделили и заперли в одиночку?

Ему не пришлось долго ждать разгадки. Был последний день перед казнью, и счёт времени вёлся на часы и минуты; то, что должно было случиться, не допускало никаких проволочек. Негр это почувствовал. Он пробыл в одиночестве очень недолго: вскоре за ним пришли и отвели в комнату, где его дожидались несколько человек. Там были двое полицейских в форме, двое других — в штатском и агент министерства юстиции. В комнате находился также и стенограф, сидевший в углу за столиком с тетрадкой наготове, выжидая, как пойдёт дело и что ему придётся записывать: стоны или признания.

Двое полицейских в штатском были вооружены резиновыми дубинками длиной в двенадцать дюймов и диаметром в один дюйм. Когда негр вошёл, он увидел, как они сгибали и разгибали свои дубинки; стоило ему взглянуть на это, на их лица, на голые стены и безобразное убожество комнаты, как он понял, что его ожидает. Негритянский рабочий был обыкновенным и довольно простодушным человеком, и, когда он понял, что его ожидает, сердце у него сжалось и ему стало страшно. Всё его тело напряглось до боли; он начал озираться по сторонам, не столько думая о бегстве, сколько всем своим существом протестуя против того, что должно было произойти. Люди, находившиеся в комнате, заулыбались, и он понял, что означают эти улыбки.

Представитель министерства юстиции объяснил ему, зачем его сюда привели.

— Видите ли, — сказал он негру, — мы не хотим причинять вам никаких неприятностей. И уж во всяком случае делать вам больно. Мы просто хотим задать вам кое-какие вопросы и просим вас говорить правду. Если вы нас послушаетесь, вам не о чем беспокоиться, вас очень скоро отпустят. Вот зачем вас сюда позвали: ответить на ряд вопросов. Вы ведь человек честный и хороший американец, не так ли?

— Да, я хороший американец, — серьёзно ответил негр.

Полицейские в штатском перестали играть резиновыми дубинками и улыбулись ему. У обоих были рты до ушей с тонкими губами; это делало их похожими друг на друга, словно они были братья. Они улыбались часто и без всякого усилия, но вместе с тем и без юмора.

— Если вы хороший американец, — повторил человек из министерства юстиции, — тогда всё в порядке и дело у нас пойдёт как по маслу. Нам ведь надо выяснить один очень простой вопрос: кто заплатил вам за участие в пикете?

— Мне никто за это не платил, — ответил негр.

Полицейские в штатском перестали улыбаться, а человек из министерства юстиции с некоторым сожалением пожал плечами. Голос его утратил прежний дружеский тон, но в нём ещё не было вражды.

— Как ваше имя? — спросил он у негра.

Тот сказал ему. Представитель министерства юстиции попросил его говорить погромче, чтобы слышал стенограф. Негр исполнил его просьбу.

— Сколько вам лет?

Негр ответил, что ему тридцать три года.

— Где вы живёте? — осведомился человек из министерства юстиции.

Негр ответил ему, что живёт в Провиденсе и приехал в Бостон сегодня утром поездом Нью-Йорк — Нью-Хейвен — Хартфорд.

— Вы работаете в Провиденсе?

Этот вопрос отнял у негра всякую надежду. Как бы он ни вёл себя дальше, всё равно ничего не изменится. Если он им не скажет, где он работает, они узнают сами — у них ведь для этого есть и время и пути. А когда они узнают, вот тут-то он запоёт! Он отлично знал, какую он запоёт песню и кто для этой песни сложит музыку. Негр был испуган и несколько не стыдился себе в этом признаться. Он всё же попробовал уклониться от расплаты, пусть она, по крайней мере, наступит как можно позже. Он сказал им, где он работает, и они это записали. Негр знал, что там он больше работать не будет. Он знал, что никогда и нигде больше не будет работать в этих краях. У него была жена и трёхлетняя дочь. Мысль о них усугубляла его горе. Что поделаешь, так уже случилось, он тут ровно ничем не поможет. Но случилось ещё далеко не всё, что могло случиться; многое ещё было впереди.

— Зачем вы приехали в Бостон? — всё ещё довольно любезно спросил его человек из министерства юстиции.

— Мне казалось, что мы не можем позволить Сакко и Ванцетти умереть, вот почему я и приехал.

— Что ж, вы думали — ваш приезд помешает им умереть?

— Нет, не думал.

— Если вы этого не думали, значит вы сами себе противоречите и всё, что вы говорите, — просто чепуха. Разве это не чепуха?

— Нет, не чепуха.

— Что же вы хотите сказать?

— Видите ли, либо я вовсе ничего не должен был делать, либо я мог приехать сюда, в Бостон, и поглядеть, нельзя ли что-нибудь сделать здесь для этих бедняг.

— Например?

— Вроде того, что я делал: ходить в пикете.

Голос человека из министерства юстиции вдруг стал визгливым от злости:

— Ты врёшь, будь ты проклят! Я не позволю, чтобы мне врал такой ценюк, как ты! Тебе не поздоровится.

Человек из министерства юстиции сел на стул, а двое полицейских в штатском — на ободренный стол в углу. Полицейские подошли к запертой двери и стали по бокам, опираясь о косяк. По комнате словно прошёл ток, и негр понял, что, повидимому, первая часть процедуры закончена и они теперь собираются приступить ко второй. Некоторое время его не трогали, а только смотрели на него. Он знал, что означает, когда белые люди смотрят на тебя вот таким образом. Он подумал о жене, о ребёнке, и ему стало так грустно, словно у него умер кто-то близкий. Он понял, что грусть овладела им потому, что в воздухе повеяло смертью. Они ведь и хотели, чтобы он почувствовал это веяние смерти.

— Ты лжёшь, — сказал человек из министерства юстиции, — а мы хотим, чтобы ты говорил правду. Если ты будешь лгать, тебе не поздоровится. Если ты скажешь правду, мы расстанемся друзьями. Кто-то не зря посылал тебя сюда, в Бостон. Кто-то тебе заплатил за то, чтобы ты участвовал в пикете. Вот ты нам и скажи: кто тебя сюда послал и кто заплатил за то, чтобы ты был в пикете? Ты, наверно, думаешь, что он был тебе другом, но ты дурак, если так думаешь. Оглянись вокруг, и ты поймёшь, что человек, который впутал тебя в это дело, тебе не друг! Ничего хорошего он тебе не сделал, и ты ему ничем не обязан. Самое лучшее для тебя сказать нам правду: кто он и сколько он тебе заплатил.

«Господи! — подумал негр. — О господи! Видно, плохи мои дела». Но он покачал головой и сказал, что никто ему ничего не платил, он приехал сюда сам по себе, никто его не посылал, он сделал это потому, что знал о Сакко и Ванцетти и глубоко им сочувствовал. Он попытался объяснить,

что одна из причин, по которым он приехал сюда, в Бостон, состояла в том, что Сакко и Ванцетти такие же простые рабочие люди, как он сам. Но стоило ему заговорить об этом, как полицейские надвинулись на него и стали его бить; слова его повисли в воздухе, и никто так и не дослушал его рассказа.

На первый раз они его били не очень долго. К нему подошли полицейские в штатском — один сбоку, а другой со спины. Тот, что был позади, несколько раз сильно ударил его по спине, так что удар пришёлся по почкам, а когда он с криком метнулся от него в сторону, другой стал хлестать его дубинкой по лицу так, что в глазах у него потемнело от слёз и боли, а из носа пошла кровь. Он попятился назад, издавая тихие стоны, и они оставили его. Негр увидел, как по рубашке течёт кровь, вынул из кармана платок, вытер кровь и прижал платок к носу. У него очень сильно болела спина, а в голове шумело. Он видел всё, как в тумане, глаза его были полны слёз, и слёзы всё продолжали течь и течь.

— Слушай, — сказал человек из министерства юстиции, — давай лучше договоримся: ты нам поможешь, и мы не будем тебя больше бить. Господи, да ведь мы сами этого не хотим. Думаешь, нам приятно тебя бить? А знаешь ли ты, что кто-то пытался бросить бомбу в дом судьи? Представь себе только: сидит почтенный судья в самом что ни на есть законном суде нашего штата, да и вообще Соединённых Штатов, приводят к нему этих сукиных детей, Сакко и Ванцетти, и он, выполняя благородный долг, возложенный на него нашей конституцией, выслушивает свидетелей, разбирается в обстоятельствах дела и выносит приговор. Подумать только, такой человек, столп и опора нашего существования — и твоего ведь не меньше, чем моего! Казалось бы, что перед таким человеком надо преклоняться, воздать ему хвалу! Но ничего подобного! За то, видите ли, что он осудил этих красных ублюдков, в него собираются бросить бомбу! По-твоему, хорошее это дело — бросать бомбы? Ведь это чудовищно!

Негр кивнул. Да, это чудовищно. Он считает, что люди, бросающие бомбы, проливающие кровь, люди, которые убивают и мучат других людей, поступают чудовищно.

— Вот и отлично. Очень рад, что ты так думаешь, — сказал агент. — Теперь всё пойдёт куда проще, раз ты так думаешь. Мы, кажется, знаем, кто бросил бомбу. И ты тоже знаешь. Я сейчас напишу всё, что мы знаем, и от тебя потребуется только подписать то, что я напишу. Это будет означать, что ты станешь законным свидетелем обвинения и хорошим американцем. Тогда мы тебя выпустим. Тогда мы тебя и пальцем не тронем.

— Но я ничего не знаю, — сказал негр. — Как я могу подписать, если я ничего не знаю? Это будет означать, что я подпишу ложно. Я не хочу лгать в таком деле — ведь дело серьёзное.

Последние его слова насмешили всех присутствующих, кроме разве агента министерства юстиции. Двое в штатском улыбнулись, полицейские улыбнулись тоже. Только человек из министерства юстиции оставался попрежнему деловитым и серьёзным — ведь работа была ещё не кончена...

Когда работа была кончена, негра отнесли в камеру и бросили на койку. Там его и увидел профессор уголовного права. Профессор был одним из юристов, участвовавших в процессе Сакко и Ванцетти или добровольно помогавших им. Но сегодня, 22 августа, каждый из этих юристов был занят по горло. Они пускались на самые отчаянные шаги, чтобы хоть что-нибудь сделать в последнюю минуту; если в этом была хоть капля надежды, они подавали петиции, ходатайствовали об отсрочке казни, хлопотали за людей, арестованных за участие в пикете или за какие-нибудь другие проявления протеста.

Арестованные сегодня перед резиденцией губернатора белые очень волновались за судьбу пикетчика-негра и сообщили Комитету защиты, что полиция его куда-то упрятала. Комитет защиты спросил профессора уголовного права, не может ли он заняться этим делом. Профессор ответил согласием и, говоря правду, был рад, что может сделать хоть что-нибудь, хотя бы и косвенно относящееся к делу Сакко и Ванцетти. Беспомощное ожидание, да и всякая бездеятельность в этот день казались ему невыносимыми. Добившись ордера на освобождение, он отправился в полицию и потребовал, чтобы его провели к негру. Профессора там знали, знали также и то, что он пользовался довольно большим влиянием, и поэтому начальник полиции сам разыскал агента министерства юстиции и стал советоваться с ним, что им делать. Он сказал:

— Это тот адвокат-еврей, из университета. Он хочет видеть твоего черномазого. Имей в виду, вони не оберёшься! У него ордер.

— Он не должен его видеть, — сказал агент министерства юстиции. Стоявший рядом сыщик сказал:

— Ну да, вы тоже хороши птицы! Налетите из центра, заварите кашу, а потом вас и след простыл! А нам в этом городе жить. Завтра, может быть, с делом Сакко и Ванцетти будет покончено, а нам попрежнему надо здесь, в Бостоне, зарабатывать себе на хлеб насущный! Что ты собираешься делать с черномазым? Упрятать в холодильник на весь остаток его жизни? Пусть юрист повидает его. Что за важность? Никто не станет поднимать шум из-за того, что немножко помяли чёрную каналью!

— Да, но он неважно выглядит, — неуверенно запротестовал начальник полиции.

— Ну и что из того? Может, он и раньше неважно выглядел. Пусть этот еврей вопит, сколько хочет. Плевать мне на него с десятого этажа. Кому нужна эта чёрная каналья?!

Профессора пустили к негру, и вот он стоял в камере, где чернокожий рабочий лежал, вытянувшись на койке, с лицом, превращённым в кровавое месиво, с затёкшими глазами и перебитым носом; изо рта, по пересохшей губе, текла кровь. Он стонал и всхлипывал от боли, а профессор уголовного права старался хоть как-нибудь его утешить, подбодрить и заверить в том, что не позже чем через час-другой его выпустят на свободу.

— От души вам за это благодарен, — прошептал негр, — только мне так больно, что я даже не могу с вами разговаривать и поблагодарить вас как следует. Они ведь повредили мне глаза; я так боюсь, что больше не буду видеть.

— Будете, — сказал профессор. — Я сейчас вызову врача. Не волнуйтесь насчёт глаз. За что это они с вами так?..

— Я не стал подписывать признание, будто знаю человека, который, по их словам, бросил бомбу, — медленно, запинаясь от боли, сказал негр. — Я не знаю никого, кто бросает бомбы. Я им просто не верю. Они на кого-то стряпают дело, не мог же я итти против своей совести?

— Конечно, не могли, — сказал профессор с горечью. Ему было очень тяжело. — Успокойтесь. Я сейчас вызову врача, а через несколько часов вы будете на свободе и всему этому будет конец.

*Перевод с английского  
Е. Голышевой и Б. Изакова.*

*(Окончание следует)*



---

## К 30-летию со дня смерти В. И. Ленина

С. СУТОЦКИЙ

★

### ПОД ЗНАМЕНОМ ЛЕНИНИЗМА

**Н**езабываемые дни января тысяча девятьсот двадцать четвёртого года... Окончил свой жизненный путь Владимир Ильич Ленин.

На всю Советскую страну, на весь мир прозвучал тогда голос Центрального Комитета Коммунистической партии:

«Он ушёл от нас навеки, наш несравненный боевой товарищ, а мы пойдём бесстрашно дальше. Пусть злобствуют наши враги по поводу нашей потери. Несчастные и жалкие! Они не знают, что такое наша партия! Они надеются, что партия развалится. А партия пойдёт железным шагом вперёд. Потому, что она — Ленинская партия. Потому, что она воспитана, закалена в боях. Потому, что у неё есть в руках то завещание, которое оставил ей товарищ Ленин...

Да здравствует, да живёт и побеждает наша партия!»

Вся жизнь В. И. Ленина была посвящена служению рабочему классу, трудящимся, народу. Великим делом В. И. Ленина явилось создание боевой революционной партии пролетариата — Коммунистической партии Советского Союза.

С каждым годом, отдаляющим нас от дня кончины В. И. Ленина, всё более ярко проявляется всеобъемлющая, мобилизующая и вдохновляющая, воспитательная и организаторская деятельность Коммунистической партии. Верная заветам Ленина, высоко подняв знамя ленинизма, партия идёт всё вперёд и вперёд, от победы к победе.

Минувшее тридцатилетие проверило мощь и стойкость Советского государства, основы которого заложил великий Ленин. Под испытанным руководством партии советский народ построил социалистическое общество, в ожесточённых битвах с врагами отстоял завоевания социализма, свободу и независимость нашей Родины и ныне уверенно идёт по пути к коммунизму.

Большое, славное тридцатилетие!

1

Есть глубокий смысл в том, что первая книга В. И. Ленина, увидевшая свет весной 1894 года, была направлена против тех, кто мнили себя друзьями народа. «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — так называлась эта книга.

Друзья народа... Это высокое звание присваивали себе народники, утверждавшие, будто народ является слепой, безвольной массой, «толпой», управлять которой призваны «герои», «критически мыслящие» личности. Народные массы, по мнению этих «друзей народа», не способны играть сколько-нибудь активную роль в истории, не способны сознательно, творчески влиять на общественное развитие. «Друзья народа», третируя народ и поклоняясь «героям», «критически мыслящим» личностям, мешали рабочему классу России понять и осуществить его руководящую роль в революции, препятствовали созданию революционной партии трудящихся.

История достаточно убедительно показала, кому выгодны подобные проповеди. В руках эксплуататорских классов теория «героев» и «толпы» является средством закабаления миллионов людей труда, оружием в борьбе против революционного движения масс. Так использовала эту лживую теорию буржуазия в России. Так исполь-

зует её империалистическая реакция и сейчас в странах, где властвует капитал. Идеалистическая теория «герсев» и «толпы» подготовила гитлеровско-муссолиниевский и современный заокеанский фашистский культ «сверхчеловека» и «высшей расы» с его бредовыми идеями «мирового господства».

Книга В. И. Ленина возвестила о выходе на поле боя новой когорты политических деятелей, безгранично верящих в народ, готовых сделать всё для того, чтобы способствовать развёртыванию революционной энергии трудящихся — творцов истории. Она нанесла сокрушительный удар по либеральному народничеству, разгромила его реакционную, антинародную идеологию.

На основе научного анализа объективных законов общественного развития В. И. Ленин гениально определил будущее России и российского пролетариата, их ведущую роль в борьбе за победу коммунизма. Ленин указал единственно правильный путь к освобождению народа — свержение царизма и власти буржуазии. Главное средство достижения победы на этом пути, учил Ленин, — создание единой революционной партии пролетариата, вооружённой передовой марксистской теорией.

Так с глубокой верой в народ, в революционную энергию трудящихся начал свою деятельность Владимир Ильич Ленин. Так первая книга Ленина пробудила в трудовой России веру в свои силы и показала, как невиданный возрастут они, когда во главе народа встанет боевая, революционная партия, когда партия объединит революционную роль и энергию народа и направит её на сокрушение старого и строительство нового мира. Это будет великая борьба, говорил Ленин, и она завершится великой победой...

И вот перед нами документы этой победоносной борьбы, документы, освещающие более чем полувековой путь созданной Владимиром Ильичем Лениным Коммунистической партии Советского Союза. Перед нами — подготовленное Институтом Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина при ЦК КПСС новое, седьмое издание сборника «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК».

По исторической значительности идейного содержания этот сборник поистине неocenим. В нём заключена коллективная мудрость Коммунистической партии Советского Союза, воплощающей ум, честь и совесть нашей эпохи. В нём запечатлена практическая история Коммунистической партии, по богатству опыта не имеющая себе равной в свете.

Эта книга — подлинная энциклопедия жизни и борьбы нашего народа на протяжении последних пятидесяти с лишним лет. Эта книга показывает марксизм-ленинизм в действии, показывает, как великие идеи Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, овладевая сознанием широких масс трудящихся, становились непобедимой и всепобеждающей материальной силой. Страницы этой книги дышат пафосом творчества и созидания во имя и во славу людей труда.

История знает немало политических партий, существовавших ещё до возникновения Коммунистической партии в России. Многие из этих партий именовали себя и «революционными», и «народными», и «рабочими». Некоторые из них проделали работу, имевшую определённое положительное значение для своего времени.

И вместе с тем В. И. Ленину пришлось строить новую, новую партию. В 1899 году он указывал, что хотя история социализма в Западной Европе, история русского революционного движения, опыт рабочего движения в России и дают материал для выработки целесообразной организации и тактики новой партии, но «обработка» этого материала должна быть однако самостоятельная, ибо готовых образцов нам искать негде...»; наличие этого опыта, этих традиций, подчёркивал Ленин далее, «отнодь не избавляет нас от обязанности критически относиться к ним и самостоятельно вырабатывать свою организацию»<sup>1</sup>.

Необходимость создания новой партии, партии нового типа диктовалась всем ходом мировой истории. В этот период капитализм вступил в свою высшую и последнюю,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 197.

империалистическую фазу развития; на очередь встала задача практической подготовки пролетарской революции, которая открыла бы человечеству путь перехода к новой общественной формации — путь к коммунизму.

Ни одна из политических партий, существовавших тогда в Западной Европе и России, не могла выполнить роль организатора и вождя этой революции. Они были заражены ядом оппортунистической идеологии, тащили рабочее движение на путь реформизма, приспособления его к интересам царизма и капитализма. Оппортунистическая идеология и оппортунистическая практика этих партий отражали неверие их лидеров в народ, в трудящиеся массы, неверие в способность рабочего класса самостоятельно, без буржуазии и против буржуазии вершить судьбы общественного развития.

Величайшая заслуга В. И. Ленина перед историей, перед народами нашей страны и всем трудящимся человечеством состоит в том, что он, творчески развивая марксизм и обогащая его новыми данными науки и новым опытом классовой борьбы, разработал учение о партии как руководящей организации пролетариата, способной возглавить пролетариат в борьбе за революционное преобразование общества, за победу коммунизма.

Счастье трудовой революционной России состояло тогда в том, что Ленин и объединившиеся вокруг него русские революционные марксисты разоблачили оппортунистическую сущность народников, «экономистов», «легальных марксистов» и развернули энергичную работу по созданию революционной партии пролетариата.

Подготовить и возглавить пролетарскую революцию, закрепить и расширить её завоевания, построить социалистическое общество и проложить дорогу к торжеству полного коммунизма, говорил В. И. Ленин, может только подлинно народная партия, тесно связанная с массами, выражающая коренные интересы трудящихся и подчиняющаяся борьбе за эти интересы каждый свой шаг, каждое своё начинание.

Страница за страницей, документ за документом книга «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» раскрывает перед нами конкретное воплощение этой ленинской идеи в политике Коммунистической партии с первых шагов её деятельности до наших дней.

Вот программа Российской социал-демократической рабочей партии, принятая на II партийном съезде, положившем начало боевой, марксистской партии рабочего класса, партии нового типа — Коммунистической партии.

«Самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного собрания, составленного из представителей народа...»<sup>1</sup>

Самодержавие народа, вся власть — народу!

Революционная программа партии, предложенная «Искрой», Лениным и его сторонниками и принятая II съездом РСДРП, выдвигала как основную задачу — установление диктатуры пролетариата, завоевание пролетариатом всей полноты власти в стране. Каждый пункт этой программы проникнут ленинской заботой о политическом и экономическом раскрепощении всего трудового народа. Программа ориентировала партию на подготовку социалистической революции, ибо только она может создать все условия для «обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества... уничтожит деление общества на классы и тем освободит всё угнетённое человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другой»<sup>2</sup>.

Никто, никакая из существовавших тогда политических партий не выдвигала таких требований, не ставила осуществление этих требований в качестве своей важнейшей программной задачи. Это требование впервые выдвинул Ленин и отстоял его в развернувшейся на съезде ожесточённой борьбе против «экономистов», бундовцев и мсашевиков.

Революционной программе отвечали и революционные принципы организации партии, выдвинутые Лениным, «искровцами». Эти принципы обеспечивали железную про-

<sup>1</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Госполитиздат, 1953, ч. I, стр. 40.

<sup>2</sup> Там же, стр. 32.



летарскую дисциплину в партии, твёрдые нормы партийной жизни, выдержанность и чистоту партийных рядов. Ленин исходил из того, что великая классовая битва будет тем скорее, тем меньшей кровью выиграна пролетариатом, чем лучше будет организован и сплочён, дисциплинирован и сознательнее его авангард — партия.

Против Ленина, большевиков выступила меньшевистская часть съезда, отвергавшая необходимость установления диктатуры пролетариата, необходимость утверждения в партии революционных организационных принципов. Меньшевики восприняли самые худшие идеи и традиции буржуазных партий; они боялись народного движения гораздо больше, нежели разгула реакции. Ненависть к трудящимся руководила меньшевиками, когда они восставали против завоевания власти трудовым народом. Страх перед возможностью завоевания власти трудящимися руководил ими, когда они отвергали необходимость создания боевой, централизованной, дисциплинированной революционной партии и ратовали за партию, организационно неоформленную, соглашательскую.

Но никакие силы не могли остановить неодолимо нараставшее движение революционного народа. Всё более грозно бушевало море народного гнева, и гордо реял над ним воспетый Горьким смелый Буревестник:

— Буря! Скоро грянет буря!

Ленин, большевики звали пролетариев усилить натиск и победить. С огромной силой звучали ленинские слова, уверенные, бодрые, вдохновляющие:

«Старая Россия умирает. На ее место идет свободная Россия..»

Товарищи-рабочие! давайте же с удвоенной энергией готовиться к близкой решительной борьбе! Пусть крепче смыкаются ряды социал-демократов — пролетариев!»<sup>1</sup>

Документы книги «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» показывают, что образовавшаяся на II съезде группа большевиков во главе с В. И. Лениным была единственной ведущей революционной силой в стране. Эта группа последовательно и неуклонно, настойчиво и энергично проводила революционную линию, отвечающую коренным интересам пролетариата, крестьянства, всех трудящихся России.

Большевики были с народом, во главе народа в бурный период 1905—1907 годов. Они разоблачили антинародную сущность меньшевистской политики, отстаивавшей гегемонию либеральной буржуазии в революции, и решительно взяли курс на развертывание революции народной, провозгласив гегемоном её пролетариат, объединяющий вокруг себя крестьянство и руководящий им.

Ленин вооружил партию тактической программой, ясной перспективой перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Большевики смело вели за собой массы на вооружённое восстание, на захват власти. В самый разгар революционной борьбы, в декабре 1905 года, Таммерфорская конференция РСДРП — первая Всероссийская конференция большевиков — выдвинула боевую задачу момента: «Восстание должно быть немедленно подготовлено, организовано повсюду, ибо только его победа даст возможность созвать действительное народное представительство...»<sup>2</sup>

Жизнь показала, насколько правильна была эта линия на развязывание революционной энергии народа. Направляемое ленинцами, революционное творчество рабочих масс вызвало к жизни новую форму государственной власти — невиданную ещё в истории массовую политическую организацию рабочего класса — Советы. Эта подлинно государственная инициатива народа свидетельствовала о способности его не только свергнуть власть царя и буржуазии, но установить и развивать новую власть, обеспечивающую быстрый переход к социализму.

Эта инициатива революционного народа, с оружием в руках утверждавшего свою, народную власть, вызывала страх в рядах буржуазии и всех её прислужников, ещё больше ожесточала их ненависть к народу.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 7, стр. 184.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 101.

А Ленин торжествовал, радовался за народ, за партию, поднявшую трудящихся к великому историческому творчеству. «Хорошо ли это, — писал Владимир Ильич, — что народ применяет такие незаконные, неупорядоченные, непланомерные и несистематические приемы борьбы, как захват свободы, создание новой, формально никем не признанной и революционной, власти, применяет насилие над угнетателями народа? Да, это очень хорошо. Это — высшее проявление народной борьбы за свободу. Это — та великая пора, когда мечты лучших людей России о свободе претворяются в дело, дело самих народных масс, а не одиночек героев»<sup>1</sup>.

Ленинцы не свернули своих боевых знамен и после поражения первой русской революции. Они не дрогнули перед наступавшей реакцией. Верные трудовому народу, они остались с народом и в этот труднейший период истории.

Царизму и буржуазии не удалось сломить большевиков террором, не удалось удушить рабочее движение петлей «стольпинского галстука». Тогда особенно активизировалась агентура буржуазии в рабочем движении. Меньшевики-ликвидаторы, отзовисты, бундовцы и троцкисты ещё шире развернули свою подрывную работу. Выступая против революционного народа, они целили в самое сердце его, в его мозг — они добивались ликвидации пролетарской партии.

Борьба Ленина за сохранение партии, за чистоту её рядов отвечала жизненным интересам революционного народа.

Состоявшаяся в декабре 1908 года пятая конференция РСДРП, подчеркнув в своих решениях основную, главную задачу — «сохранение целостности и единства партии и борьбу против дезорганизаторских тенденций внутри неё, ведущих к разрыву этого единства», — призвала широко развернуть «самую решительную идейную и организационную борьбу с ликвидаторскими попытками...»<sup>2</sup>.

Документы книги «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», относящиеся к этому периоду истории, отражают кровную заинтересованность народа в торжестве ленинских революционных принципов строительства пролетарской партии.

Революционный народ России в лице своих лучших сынов — передовых рабочих — поддержал ленинское большинство РСДРП, потребовал создать действительно единую, централизованную пролетарскую партию, свободную от оппортунистов, не разьедаемую изнутри ржавчиной оппортунистической ликвидаторской идеологии. «Эта мысль, — говорилось в Извещении о шестой Всероссийской конференции РСДРП, состоявшейся в январе 1912 года в Праге, — стала неотступно сверлить мозг передовых с.-д. рабочих. И отсюда родилась только что закончившаяся Всероссийская конференция нашей партии — конференция, которая, несомненно, будет иметь такое же огромное значение для РСДРП, как самые важные её партийные съезды»<sup>3</sup>.

Как много говорят эти несколько слов! Какой огромный смысл заключён в них! Это воля широких масс трудящихся, признание ими линии большевиков единственно правильной линией борьбы, способной привести революционный народ к победе.

Пражская партийная конференция изгнала из РСДРП меньшевиков-ликвидаторов и положила начало окончательному оформлению большевиков в самостоятельную партию. Борьба Ленина и объединившихся вокруг ленинского руководящего ядра большевиков за партию нового типа получила поддержку революционного народа и увенчалась полной победой. Это была великая победа идей ленинизма, полное торжество ленинских идеологических, организационных, политических и теоретических принципов, определяющих всю деятельность подлинно народной Коммунистической партии.

В те дни Владимир Ильич писал А. М. Горькому:

«Наконец удалось — вопреки ликвидаторской сволочи — возродить партию и её Центральный Комитет. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с нами»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения. т. 10, стр. 222.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 195.

<sup>3</sup> Там же, стр. 268.

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Сочинения. т. 35, стр. 1.

И вскоре в одном из ленинских писем — первая оценка партийной деятельности после Пражской конференции:

«Работа пошла и пойдет»<sup>1</sup>.

## 2

Наступило пятилетие ожесточённых битв трудового народа России, увенчавшихся всемирно-исторической победой Великой Октябрьской социалистической революции. Партийные документы этого периода показывают, как окрепла, насколько сильнее стала партия после изгнания из её рядов меньшевиков-соглашателей, изменников рабочего дела. Партия ещё теснее сплотилась вокруг победоносного ленинского знамени. Всё новые и новые отряды российского пролетариата вливались в революционную армию, ведомую партией.

Документы этого пятилетия отражают особый накал борьбы, в них чувствуется приближение решающего штурма самодержавия, непреклонная решимость Коммунистической партии возглавить ряды штурмующих и во что бы то ни стало сокрушить ненавистную народу неприятельскую крепость.

Этому пятилетию суждено было стать и последним пятилетием существования мировой капиталистической системы как единой, обнимающей все страны, все государства мира. Это был канун гигантского взрыва, положившего начало последующему выпадению всё новых и новых звеньев из цепи мирового капитализма, крушению капитализма.

Порождённая первым кризисом капиталистической системы мирового хозяйства, империалистическая война 1914—1918 годов тяжёлым бременем легла на плечи народов. Пытаясь оправдать ужасы войны, уничтожившей десятки и сотни тысяч человеческих жизней, оправдать вызванные войной экономические трудности, обрекавшие на голод и нищету миллионы людей, буржуазия отравляла сознание народа ядом шовинизма. Партии II Интернационала, меньшевики и эсеры, Каутский и Троцкий сразу же встали на защиту империалистов — организаторов войны. Это было новое, чудовищное предательство интересов пролетариата, интересов народа.

И снова, как всегда, Ленин, Коммунистическая партия встали на защиту трудящихся. Партия разоблачила корыстную ложь буржуазии всех стран и её лакеев — социал-предателей, стремившихся обмануть народ, изобразить войну несправедливой, империалистической, грабительской справедливой, народной, оборонительной. Партия ещё выше подняла знамя социализма и пролетарского интернационализма, знамя борьбы за осуществление жизненных интересов трудящихся, всего народа.

Буржуазия, меньшевики надеялись, что война сойдёт, затушит пламя рабочего революционного движения в России. Ленин, партия звали трудовой народ использовать созданную войной обстановку в стране для решения задач народной революции. Исходя из интересов рабочего класса и трудящихся масс всех народов России, манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия» снова подчеркнул необходимость добиваться удовлетворения основных требований народа.

Как единственно правильный пролетарский лозунг партия провозгласила превращение империалистической войны в гражданскую войну против монархии, против буржуазии. «Как бы ни казались велики трудности такого превращения в ту или иную минуту, — говорилось в манифесте Коммунистической партии, — социалисты никогда не откажутся от систематической, настойчивой, неуклонной подготовительной работы в этом направлении, раз война стала фактом. Только на этом пути пролетариат сможет вырваться из своей зависимости от шовинистской буржуазии и, в той или иной форме, более или менее быстро, сделать решительные шаги по пути к действительной свободе народов и по пути к социализму»<sup>2</sup>.

Величественную революционную перспективу открыл пролетариату России и всего мира гениальный ленинский вывод о возможности прорыва цепи мирового фронта империализма в её наиболее слабом звене, вывод о возможности победы социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 4.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 324.

Гениальную ленинскую теорию социалистической революции Коммунистическая партия воплотила в конкретную программу действий, мобилизовала миллионы трудящихся на претворение этой программы в жизнь и привела их к победе.

Следуя за Лениным, за партией, рабочие России первыми в мире успешно использовали ослабление мирового капитализма в ходе империалистической войны. Вторая русская революция — буржуазно-демократическая революция в феврале 1917 года — покончила с многовековым господством царизма.

Меньшевики и эсеры стремились теперь к тому, чтобы купленную дорогой ценой народной крови победу использовать в интересах контрреволюционной буржуазии, захватившей власть в стране. Всеми силами поддерживая эту антинародную власть, оберегая её, меньшевики и эсеры стремились остановить революционное движение масс, снова связать руки народа.

Предательская тактика меньшевиков вполне устраивала не только российскую буржуазию, но и империалистов всего мира. Им было выгодно удушение революционной инициативы масс. Это облегчало им осуществление колонизации России, превращение её в колониальный придаток мирового империализма.

Реальная угроза национальной катастрофы нависла над Россией. Действия работавшего перед мировым империализмом буржуазного Временного правительства всё более и более приближали Россию к краю пропасти.

Где выход? Какая сила может спасти Россию? Эти вопросы волновали широкие массы трудящихся.

Ленин ответил народу, указал путь спасения России от национальной катастрофы: «Только беззаветно-последовательный разрыв с капиталистами и во внутренней и во внешней политике в состоянии спасти нашу революцию и нашу страну, зажатую в железные тиски империализма... или погибнуть или вручить свою судьбу самому революционному классу для быстрого и радикальнейшего перехода к более высокому способу производства»<sup>1</sup>.

Ломая сопротивление соглашательских партий, большевики взяли курс на дальнейшее развёртывание революционной энергии народа, на переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической. Исторический VI съезд партии (август 1917 года) нацелил партию на подготовку вооружённого восстания против контрреволюционной диктатуры империалистической буржуазии, на социалистическую революцию.

Ко всем трудящимся, к рабочим, солдатам и крестьянам России обращала партия свой призыв: «...грядёт новое движение и настанет смертный час старого мира.

Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетённые деревни! Да здравствует социализм!»<sup>2</sup>

Началась напряжённая работа по подготовке социалистической революции. В основе её лежала ленинская идея соединения в едином мощном революционном потоке общедемократической борьбы за мир, крестьянско-демократического движения за ликвидацию помещичьего землевладения с передачей помещичьей земли крестьянам, национально-освободительного движения народов нашей страны и социалистического движения пролетариата за свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата.

Победоносная социалистическая революция в октябре 1917 года показала, что нет для народа непреодолимых преград, если во главе его идёт революционная партия, вооружённая передовой революционной теорией, обладающая величайшим мужеством и героизмом, готовая принести любые жертвы в интересах народа и Родины, партия, имеющая глубочайшую связь с широкими массами трудящихся. Именно такой партией показала себя могучая партия коммунистов, созданная и выпестованная Лениным. Именно благодаря руководству Коммунистической партии наша Родина была спасена,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения. т. 25. стр. 337.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, стр. 394.

перед нею открылся широкий, светлый путь невиданных ещё в истории человечества социалистических преобразований, путь строительства счастливой и радостной жизни.

Победа социалистической революции, организованная Коммунистической партией, явилась великим торжеством надежд и чаяний широчайших народных масс.

## 3

Понятно и оправдано особое волнение, с каким каждый приступает к изучению документов книги «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», характеризующих послеоктябрьскую деятельность Коммунистической партии Советского Союза. Речь идёт о новой эре в истории человечества, открытой Великим Октябрём, — эре крушения капитализма и торжества социализма и коммунизма. Речь идёт о деятельности Коммунистической партии по созданию и укреплению могущества и славы первого в мире народного социалистического государства, — не тех утопических «городов солнца», где правящей силой должно было быть стоящее над массами, над народом некое «сословие мудрых», а подлинно народного государства, где широчайшие массы, все трудящиеся «привлекаются теперь к постоянному и непремennomу, притом решающему, участию в демократическом управлении государством»<sup>1</sup>.

Каждый документ послеоктябрьской эры раскрывает всё новые и новые великолепные качества Коммунистической партии, демонстрируя её умение не только решительно разрушать старое, отжившее свой век, но энергично строить новое и самоотверженно защищать это новое от посягательств внутренних и внешних врагов советского строя. Документы послеоктябрьской эры воссоздают перед нами чудесную картину становления и расцвета советской жизни, по богатству содержания превосходящей самые смелые мечты лучших сынов человечества. Они раскрывают перед нами основной фактор новой, социалистической современности — живое творчество масс, показывают сущность социализма, о которой говорил В. И. Ленин: «...социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс»<sup>2</sup>. Эти документы показывают, что значит претворённое в жизнь гениальное положение марксистской философии и политики Коммунистической партии: народ — творец истории.

Книга «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» — сокровищница победоносного опыта строительства нового мира. В документах этой книги во всей полноте отражены намеченные Коммунистической партией, проверенные и подтверждённые жизнью пути победного решения задач экономического и культурного строительства, обеспечившие торжество социализма в нашей стране и ныне позволяющие нам осуществлять постепенный переход от социализма к коммунизму.

Наступление новой, советской эпохи сразу же потребовало от Коммунистической партии разработки новой политики, которая должна была стать жизненной основой нового, социалистического строя. Политика партии в период, предшествовавший Октябрю, целиком и полностью оправдала себя, обеспечив свержение царизма, разрушение старого, помещичье-капиталистического государства и переход власти в стране в руки трудящихся. Теперь предстояло выработать политику, направленную на строительство нового, рабоче-крестьянского социалистического государства.

Изменилась задача политики партии. Но неизменной осталась цель её: благо трудового народа. Неизменным осталось и основное средство реализации политики: революционная творческая инициатива широких народных масс.

Выступая на первом партийном съезде после победы Великой Октябрьской социалистической революции — VII съезде РКП(б), — В. И. Ленин обосновал главную особенность политики Коммунистической партии, отличающую её от политики любой буржуазной правящей партии: «...политика начинается там, где миллионы; не там, где тысячи, а там, где миллионы, там только начинается серьезная политика...»<sup>3</sup> Политика

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 28, стр. 443.

<sup>2</sup> Там же, т. 26, стр. 255.

<sup>3</sup> Там же, т. 27, стр. 77.

должна полностью отвечать интересам многомиллионных народных масс, всех народов нашей страны, она должна быть одобрена и принята ими как руководство к действию.

Владимир Ильич отмечал при этом огромную ответственность партии за правильность, жизненность, реальность этой политики. Ленин подчёркивал, что партия, если она является подлинно народной, обязана считаться с мнением народа, всех трудящихся, требующих проверки политики «опытом, делом, никогда не дающих себя увлечь легкими речами, никогда не дающих сбить себя с пути, предписываемого объективным ходом событий»<sup>1</sup>.

Нельзя назвать судью более справедливого и строгого, нежели народ. Не может быть испытания более ответственного и трудного, нежели испытание перед лицом народа.

Ни одна партия, кроме нашей великой Коммунистической партии, не выносила свою политику на суд народа, не признавала мнение народных масс решающим для себя. Только Коммунистическая партия смысл всей своей деятельности, смысл своей политики видит в том, чтобы, как говорил Ленин, правильно выражать то, что народ сознаёт. Наша Коммунистическая партия исходит из того, что не может быть настоящего руководства партии «без правильной политики партии, подкреплённой опытом борьбы масс, и без доверия рабочего класса...»<sup>2</sup>

Вникая в содержание книги «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», мы вновь и вновь убеждаемся в том, что политика Коммунистической партии на каждом историческом этапе получала единодушное одобрение и всестороннюю активную поддержку всего советского народа.

Партия в своих документах с великой радостью и гордостью отмечала доверие народа, признание народом правильности партийной политики, являющейся воплощением ленинизма.

...Первые годы после победы социалистической революции. Тяжёлые, трудные годы. Они прошли в огне гражданской войны, в ожесточённой борьбе против вооружённых до зубов полчищ американских, английских, французских и иных иностранных интервентов. Все силы народа партия бросила на защиту Октябрьских завоеваний, достижению победы в войне она подчинила всю жизнь страны, превращённой в единый военный лагерь.

Организовав победу на военном фронте, партия развернула фронт борьбы за восстановление народного хозяйства, разрушенного четырёхлетней империалистической войной и трёхлетней войной с интервентами. Партия развернула гигантскую работу, направив неиссякаемые творческие силы народа на претворение в жизнь разработанной Лениным научно обоснованной программы превращения экономически отсталой России в передовую, могучую социалистическую державу.

Это была мирная, бескровная, но не менее трудная и тяжёлая борьба.<sup>3</sup>

Враги партии и советского народа за рубежом и внутри страны тешили себя надеждой: не выдержит советский народ тяжёлых испытаний, отвернётся от Коммунистической партии, свернёт с указанного ею пути.

Тщетными оказались эти надежды.

«Огношение широчайших масс рабочих к РКП есть один из лучших критериев правильности политики партии за истекший год, — говорилось в резолюции состоявшегося в 1923 году XII партийного съезда по отчёту Центрального Комитета.— Партия завоевала безраздельную поддержку со стороны всего пролетариата, внушив доверие к работе РКП даже тем более отсталым слоям рабочих, которые в течение пяти лет революции так или иначе чуждались работы коммунистов и с известным скептицизмом относились к Советской власти. Подняты производительность труда и зарплата рабочих, увеличился интерес рабочих к вопросам политического и хозяйственного строительства...»<sup>3</sup>

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 77.

<sup>2</sup> И. В. Сталин. Сочинения, т. 8, стр. 46.

<sup>3</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, стр. 682.

Исход гражданской войны, разгром иностранных интервентов подтвердил ленинскую уверенность в непобедимости народа, ставшего хозяином и строителем Советского государства, в борьбе с врагами отстаивающего то дело, победа которого обеспечивает народу возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда. Огромные успехи в осуществлении намеченной партией программы восстановления народного хозяйства подтвердили ленинскую уверенность в способности советского народа построить социалистическое общество, сделать нашу Родину могучей и обильной, всесильной и непобедимой.

В ноябре 1922 года мир услышал слова Владимира Ильича Ленина, выступавшего на пленуме Московского Совета: «Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу нашей эпохи. Позвольте мне закончить выражением уверенности, что, как эта задача ни трудна, как она ни нова по сравнению с прежней нашей задачей, и как много трудностей она нам ни причиняет, — все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России неповской будет Россия социалистическая»<sup>1</sup>.

Это было последнее выступление Владимира Ильича перед страной, перед советским народом. Слова Ленина о возможности превращения России неповской в Россию социалистическую стали ленинским заветом партии и народу.

Смерть не дала Ленину возглавить борьбу за окончательное решение этой всемирно-исторической задачи. Но вся предшествующая деятельность Коммунистической партии и Советского правительства под руководством Ленина вывела советский народ на путь победоносного строительства социализма. Осененный знаменем Ленина, вооруженный всепобеждающим ленинским учением, советский народ уверенно пошел по этому пути.

Коммунистическая партия под руководством Центрального Комитета во главе с И. В. Сталиным, великим продолжателем дела Ленина, высоко подняв знамя ленинизма, творчески развила и конкретизировала ленинский план строительства социализма, вооружила наш народ боевой программой действий — программой социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Эта программа нашла своё практическое воплощение уже в первой советской пятилетке. Основные задачи пятилетки, указывал И. В. Сталин, состояли в том, чтобы превратить СССР из страны аграрной и немощной, зависимой от капризов капиталистических стран, — в страну индустриальную и могучую, вполне самостоятельную и независимую от капризов мирового капитализма; создать в нашей стране такую индустрию, которая была бы способна перевооружить и реорганизовать не только промышленность в целом, но и транспорт, но и сельское хозяйство — на базе социализма.

Перед страной, перед народом встали большие, сложные задачи. Решение их требовало мобилизации огромных сил и средств.

Враги партии и советского народа, враги ленинизма тешили себя надеждой, что советский народ не сможет осилить грандиозных масштабов работ, намеченных первым пятилетним планом, что народ не поддержит политику партии и партия окажется изолированной от народа, а народ, отвернувшись от партии, окажется обезглавленным, потеряет свою боеспособность.

И снова тщетными оказались надежды врагов.

XVI съезд ВКП(б), подводя первые итоги организованного партией наступления социализма по всему фронту, с огромным удовлетворением констатировал, что «правильная ленинская политика ЦК обеспечила мощный размах социалистической индустрии, вызвала громадный подъем производственного энтузиазма в рабочих массах, позволивший партии поставить перед собой задачу осуществления пятилетки в четыре года»<sup>2</sup>.

Предначертанная политикой партии великая цель — социализм — рождала великую энергию широчайших народных масс.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 405.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 350.

На прочном фундаменте социалистической экономики, заложенном первой пятилеткой, росло величественное здание социалистического общества. Это здание возводил весь советский народ по планам партии коммунистов.

Развёрнутое социалистическое наступление решительно сметало со своего победного пути все препятствия, все преграды. Ведомый партией, народ успешно преодолевал трудности, на которые с такой надеждой уповали все враги социализма. Народ единодушно одобрил действия Коммунистической партии, окончательно разгромившей троцкистско-бухаринскую банду шпионов и убийц, ликвидировавшей «пятую колонну» мирового империализма в нашей стране.

Новая Конституция СССР законодательно закрепила великие результаты деятельности Коммунистической партии, направленной на утверждение подлинно народного советского общественного и государственного строя, обеспечивающего народу всю полноту власти, подчиняющего всю деятельность Советского государства интересам народа.

XVIII съезд партии в своих документах отразил важнейшие явления нашей жизни, особенно наглядно подтверждающие всенародное признание правильности политики Коммунистической партии: создание и победу блока коммунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет СССР и в Верховные Советы союзных и автономных республик, рост вокруг партии многочисленных кадров «непартийных большевиков, передовых рабочих, крестьян и интеллигентов, активных и сознательных борцов за дело партии, проводников её линии в массах»<sup>1</sup>.

Но не унимались враги Советской державы. Выпестованные империалистами США, поощряемые «умиротворителями» из правящих кругов США, Англии и Франции, гитлеровско-фашистские орды развязали вторую мировую войну, совершили вероломное нападение на Советский Союз. Фашистская пропаганда и немалое число политических деятелей за океаном в своих сколь изуверских, столь и нелепых предположениях о якобы неминуемой гибели СССР исходили из убеждения, будто единство Коммунистической партии и советского народа не выдержит испытания войной и Советский Союз будет побеждён.

Что же оказалось в действительности?

По зову Коммунистической партии весь советский народ, от мала до велика, единодушно поднялся на Отечественную войну против фашистских захватчиков. Именем Ленина партия напутствовала советских людей на защиту свободы и независимости Родины. В своём обращении к народу 3 июля 1941 года И. В. Сталин сказал: «Великий Ленин, создавший наше Государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза... Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»<sup>2</sup>

В суровые годы войны советский народ ещё сильнее ощутил значение руководства партии, её вдохновляющую, мобилизующую и организующую роль. Война явилась новой, особенно строгой проверкой правильности политики, которую партия осуществляла в предшествующие исторические периоды, готовя страну к активной обороне.

Война подтвердила правильность этой политики.

В самой жестокой и тяжёлой из всех войн, когда-либо пережитых нашей Родиной, мы победили выкованным партией могуществом советского общественного и государственного строя. Мы победили неодолимой мощью созданной по планам партии социалистической индустрии. Мы победили открытой партией и утверждённой под её руководством силой социалистического сельского хозяйства. Мы победили стойкостью и всепокрушающим натиском выпестованных партией советских вооружённых сил. Мы победили нашей советской, ленинской идеологией, в духе которой партия воспитала советских людей.

<sup>1</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 910.

<sup>2</sup> И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Госполитиздат, М. 1951, стр. 13, 14 и 40.



Самоотверженным, героическим трудом в тылу, кровью, пролитой на фронтах, советский человек подтверждал свою верность Родине и партии, своё одобрение партийной политики. Нерушимое единство партии и народа принесло великую победу, спасло честь, свободу и независимость нашей Родины.

Нерушимое единство Коммунистической партии и советского народа явило миру новый великий пример созидания и творчества и в послевоенный период.

Партийные документы этих лет говорят о гигантских масштабах работ, обеспечивающих в кратчайшие сроки не только ликвидацию огромного урона, нанесённого хозяйству страны вражеским нашествием, но и новый подъём всех областей советской экономики, дальнейшее повышение материального благосостояния народа.

Будет сделано! — заявляли советские люди, одобряя намеченную партией и правительством строительную программу. Будет сделано! — и слова свои подтверждали новым подъёмом трудовой энергии, ещё более широким размахом социалистического соревнования, дальнейшим развёртыванием творческой инициативы. И сделали, выполнили всё, что намечала партия, выполнили досрочно, своими силами, без какой бы то ни было помощи извне, без кабальных иностранных кредитов. Сделали, вновь всенародно заявив миру: политика партии правильна, политика партии — политика народа и народ одобряет её, народ готов и впредь сделать всё для претворения политики партии в жизнь.

В отчётном докладе XIX партийному съезду о работе ЦК партии товарищ Г. М. Маленков говорил: «Историческая победа советского народа в Великой Отечественной войне, досрочное выполнение плана четвёртой пятилетки, дальнейшее развитие народного хозяйства, повышение материального благосостояния и культурного уровня жизни советского народа, укрепление морально-политического единства советского общества и дружбы народов нашей страны, сплочение вокруг Советского Союза всех сил лагеря мира и демократии — таковы главные итоги, подтверждающие правильность политики нашей партии».

Так на всех решающих этапах истории нашей Родины жизнь вновь и вновь подтверждала, что Коммунистическая партия в своей политике правильно выражает то, что народ сознаёт; что политика партии является подлинно народной политикой, она утверждает господство порядка, «предписываемого объективным ходом событий», отвечает потребностям развития материальной жизни общества, способствует более быстрому продвижению его к коммунизму.

## 4

Никогда ещё история не развивалась столь быстро, как в нашу эпоху, в нашей Советской стране. В основе такого быстрого развития лежит сознательная историческая деятельность широких народных масс, руководимых Коммунистической партией, вооружённых победоносным учением Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Вспомним, как встречались буржуазными кругами во всём мире первые заявления Коммунистической партии о том, что с победой Великой Октябрьской социалистической революции наша Родина начнёт быстрый переход от капитализма к первой фазе коммунизма — социализму. Они называли эти заявления партии и разработанные партией планы социалистического строительства несбыточной фантастикой, утопией. Они отрицали возможность осуществления социализма, ибо не хотели признать за народом право и способность вершить судьбы истории, трудом своим двигать общественное развитие вперёд.

Даже спустя пятилетие после Октябрьской победы западноевропейские социалисты и «герои» II Интернационала — меньшевики, — выражая убеждения и надежды буржуазии, на всех перекрёстках эмигрантских задворков Европы кричали о невозможности победы социализма в России, об отсутствии у неё необходимого для этого уровня развития производительных сил, цивилизации.

Ленин отвечал этим «европейским мешанам»: «Для создания социализма, — говорите вы, — требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как итвиание помещиков

и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?» «Несомненно,— утверждал Ленин,— что с точки зрения основной задачи современности мы были правы, ибо без классовой борьбы за политическую власть в государстве социализм не может быть осуществлен»<sup>1</sup>.

В первых партийных документах советской эпохи речь шла ещё о необходимости ликвидации в нашей стране капиталистического уклада, к тому же хранившего в себе остатки феодализма, патриархальщины. Ещё не полностью была завершена экспроприация экспроприаторов, капиталистические элементы орудовали в промышленности, кулаки не сдавали своих позиций в деревне, купцы, спекулянты и прочие частники хозяйничали в значительной части товарооборота. Вынужденная основные силы бросить на борьбу против иностранных интервентов и белогвардейской контрреволюции, молодая Советская республика в течение долгого времени не могла развернуть широкий фронт работ по социалистическому преобразованию народного хозяйства, экономики страны.

Но вот прошло всего лишь тринадцать лет с момента, когда партия, завершив разгром интервентов, смогла приступить к восстановлению народного хозяйства, а затем развернуть строительство основ социализма.

XVII партийный съезд возвестил миру об огромной победе, одержанной советским народом: «Героической борьбой рабочего класса уже за годы первой пятилетки построен фундамент социалистической экономики, разгромлен последний капиталистический класс — кулачество, а основные массы крестьянства — колхозники стали прочной опорой Советской власти в деревне. СССР окончательно укрепился на социалистическом пути»<sup>2</sup>.

Прошло ещё пять лет, наполненных упорным, самоотверженным трудом советского народа, пять лет кипучей деятельности Коммунистической партии по строительству социализма. XVIII съезд партии, характеризуя итоги успешного выполнения второго пятилетнего плана (1933—1937 гг.), указал, что «в СССР разрешена основная историческая задача второй пятилетки — окончательно ликвидированы все эксплуататорские классы, полностью уничтожены причины, порождающие эксплуатацию человека человеком и разделение общества на эксплуататоров и эксплуатируемых. Решена труднейшая задача социалистической революции: завершена коллективизация сельского хозяйства, колхозный строй окончательно окреп. В нашей стране «осуществлена в основном первая фаза коммунизма, социализм» (Сталин). Победа социализма законодательно закреплена в новой Конституции СССР»<sup>3</sup>.

В исторически кратчайший срок наша Родина совершила гигантский скачок вперёд, превратилась из отсталой аграрной страны в могущественную индустриально-колхозную социалистическую державу. Это — торжество ленинизма, торжество политики Коммунистической партии.

Победа социализма ликвидировала безработицу и принесла советскому народу коренное улучшение материального благосостояния, создала необходимые условия для зажиточной и культурной жизни трудящихся. Это — торжество ленинизма, торжество политики Коммунистической партии.

В СССР осуществлена подлинная культурная революция, расцвела новая культура всех народов нашей страны, социалистическая по содержанию, национальная по форме; далеко вперёд шагнули в своём развитии советская наука, литература и искусство. Это — торжество ленинизма, торжество политики Коммунистической партии.

Все нации нашей Родины сплотились в единую братскую семью; возникло могучее многонациональное социалистическое государство — Союз Советских Социалистических Республик. Это — торжество ленинизма, торжество национальной политики Коммунистической партии.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 439, 434.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 744.

<sup>3</sup> Там же, стр. 879.

В нашей стране развернулись и окрепли неодолимые движущие силы советского общества — морально-политическое единство, дружба народов СССР, советский патриотизм. Это — торжество ленинизма, торжество политики Коммунистической партии.

Война временно нарушила мирный труд советского народа. Но как только отгремели бои и солнце победы возшло над советской землёй, Коммунистическая партия повела широкие народные массы на новые трудовые подвиги, на новые свершения. Исторический XIX съезд КПСС сформулировал главные задачи партии на современном этапе, и основная среди них — «построить коммунистическое общество путём постепенного перехода от социализма к коммунизму...»<sup>1</sup>

Вот основные этапы исторического пути, пройденного нашей Родиной и нашим народом под знаменем ленинизма, под руководством Коммунистической партии за тридцать шесть советских лет.

В кратчайший исторический срок наша страна навсегда покончила с миром капитализма и вступила в новый, светлый и радостный мир социалистических отношений и ныне практически решает всемирно-историческую задачу постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Вот что может сделать народ, ведомый партией, имеющей правильную политику! Вот что может сделать партия, политика которой поддерживается народом!

Как не вспомнить замечательные слова Ленина: «В фантастическую быстроту каких бы то ни было перемен у нас никто не поверит, но зато в быстроту действительную, в быстроту, по сравнению с любым периодом исторического развития, взятым, как он был, — в такую быстроту, если движение руководится действительно революционной партией, в такую быстроту мы верим и такой быстроты мы во что бы то ни стало добьемся»<sup>2</sup>.

Коммунистическая партия добилась такой быстроты исторического развития. Это — торжество ленинизма, торжество политики Коммунистической партии.

## 5

Большой путь пройден Коммунистической партией и народами нашей страны. Много сил и творческой энергии вложено в победоносное строительство социалистического общества. Великими достижениями увенчан подвиг советского народа, не знающий равных себе в веках.

Применительно к капиталистическому строю кощунственно звучат такие общепринятые экономические термины, как «народное хозяйство», «национальный доход». Народ в капиталистических странах создаёт все материальные ценности, всё, на чём зиждется хозяйство. Но он не владеет этими ценностями. Огромны доходы, добываемые трудом народа. Но в капиталистическом обществе эти доходы присваиваются кучкой эксплуататоров.

В условиях советского социалистического строя народное хозяйство не только создаётся народом. Оно и является всенародным достоянием. Национальный доход при советском социалистическом строе принадлежит трудящимся, народу.

Забота о благе советского человека, о процветании всего советского народа является высшим законом для Коммунистической партии. Программа партии, принятая VIII съездом в самый разгар войны против иностранных интервентов и белогвардейской контрреволюции, провозгласила задачей партии «превращение средств производства и обращения в собственность Советской республики, т. е. в общую собственность всех трудящихся... немедленно и во что бы то ни стало увеличить количество необходимейших для населения продуктов...». «Практическими результатами в этом отношении, — говорилось в программе, — должна измеряться успешность работы каждого советского учреждения, связанного с народным хозяйством»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 1122.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 355.

<sup>3</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 421.

Вся программа, каждый раздел, каждый пункт её свидетельствуют о том, что главным, основным, определяющим в политике Коммунистической партии является забота о трудящемся человеке, об удовлетворении его потребностей. Поэтому политика партии так единодушно поддерживалась нашим народом на всём протяжении пройденного партией полувекового исторического пути. Поэтому политика партии, отражающая знание ею законов развития общества, её умение правильно понять смысл процессов жизни и разумно управлять ими в интересах народа, так невиданно ускорила продвижение нашей страны к первой фазе коммунизма — социализму.

Во имя интересов народа, следуя по указанному Лениным пути, партия всемерно укрепляла советский общественный и государственный строй. Во имя интересов народа, верная заветам Ленина, партия разработала и осуществила программу социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, создав тем самым основную предпосылку для наилучшего удовлетворения растущих материальных и культурных запросов народа.

Изучая документы сборника «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», мы вновь убеждаемся в том, насколько правильной была политика, которую проводила Коммунистическая партия за годы, минувшие после смерти В. И. Ленина. Благодаря этой политике теперь оказалось возможным в целях дальнейшего, ещё более быстрого повышения материального и культурного уровня жизни народа круто повернуть дело с производством предметов народного потребления, форсировать развитие лёгкой и пищевой промышленности.

«Коммунистическая партия последовательно проводила курс на всемерное развёртывание тяжёлой индустрии, как необходимого условия успешного развития всех отраслей народного хозяйства, и добилась на этом пути крупнейших успехов. На решение этой первоочередной народнохозяйственной задачи было обращено главное внимание, сюда направлялись основные силы и средства. Делом индустриализации страны были заняты наши лучшие кадры. У нас не было возможности обеспечить одновременное развитие высокими темпами и тяжёлой индустрии, и сельского хозяйства, и лёгкой промышленности. Для этого нужно было создать необходимые предпосылки. Теперь эти предпосылки созданы. Мы имеем могучую индустриальную базу, окрепшие колхозы и подготовленные кадры во всех областях хозяйственного строительства»<sup>1</sup>.

XIX съезд КПСС в своих решениях отразил наличие этих предпосылок и указал, как следует практически использовать их, чтобы реализовать записанную в Уставе КПСС задачу партии: непрерывно повышать материальный и культурный уровень общества. Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы предусматривали значительное увеличение к концу пятилетки производства предметов потребления по сравнению с 1950 годом.

В своём стремлении как можно быстрее и лучше удовлетворить растущие потребности населения, сделать счастливой, радостной, обеспеченной жизнь советского народа — строителя коммунизма — партия нашла реальные возможности для того, чтобы, продолжая и впредь развивать тяжёлую индустрию, одновременно развернуть производство предметов народного потребления в таких масштабах, которые позволят значительно раньше, чем в 1955 году, выполнить это задание пятилетнего плана.

Основное внимание партия обращает теперь на вопросы, связанные с дальнейшим развитием и подъёмом сельского хозяйства, снабжающего население продовольствием, а промышленность — сырьём. Партия наметила проведение ряда крупных мер, которые будут способствовать скорейшей ликвидации серьёзного отставания некоторых важных отраслей сельскохозяйственного производства. Осуществление этих мер позволит обеспечить мощный подъём всего социалистического сельского хозяйства и в ближайшие два-три года в достатке удовлетворить растущие потребности населения нашей страны в продовольственных продуктах и обеспечить сырьём лёгкую и пищевую промышленность.

Постановление сентябрьского (1953 года) Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» рассматривает задачу создания обилия сель-

<sup>1</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 1155.

скохозяйственных продуктов как важнейшую составную часть разработанной партией программы коммунистического строительства в нашей стране. «В современных условиях, — указывается в постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС, — эта задача встала перед нами как насущная, всенародная задача. Успешное решение этой задачи будет способствовать также дальнейшему укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянства»<sup>1</sup>.

Постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС, намеченные и уже реализуемые мероприятия партии и правительства в области развёртывания лёгкой и пищевой промышленности и торговли, жилищного строительства, культурно-бытового обслуживания населения — всё это является новым ярчайшим подтверждением того, что служение интересам народа, забота о его благе являются высшим законом всей деятельности Коммунистической партии.

В интересах народа партия проводит большую работу по развитию культуры, улучшает дело народного образования, неустанно заботится о развитии советской литературы и искусства. Об этом свидетельствуют, в частности, включённые в новое издание сборника «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК» исторические постановления партии «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели».

Исходя из указаний В. И. Ленина об особой ответственности художника перед народом — творцом истории, о том, что передовой отряд международного пролетариата — трудящиеся нашей страны первыми завоевали право на настоящее великое искусство, партия энергично борется против безидейности, аполитичности «искусства для искусства», за высокую идейность и соответствующий ей высокий уровень художественного творчества писателей, мастеров театра, музыки и кинематографии. Партия призывает советскую художественную интеллигенцию в своей деятельности неуклонно руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — политикой партии и государства.

Интересы народа превыше всего. Этот основополагающий принцип Коммунистическая партия проводит и в области строительства материальной культуры и в области развития культуры духовной. Силу советской литературы, самой передовой литературы в мире, партия видит в том, что «она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства». Задача советской литературы партия видит в том, что она должна «помочь государству правильно воспитать молодёжь, ответить на её запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие препятствия»<sup>2</sup>.

В. И. Ленин учил литераторов, художников внимательно «наблюдать, как строят жизнь по-новому... наблюдением отделить разложение старого от ростков нового»<sup>3</sup>, знать жизнь народа и правильно показывать её в своём творчестве. Следуя этому ленинскому завету, Коммунистическая партия призывает писателей, артистов, художников в произведениях литературы и искусства отображать полную изумительного величия, подлинного героизма и высокой, одухотворённой революционной романтики «жизнь советского общества в её непрерывном движении вперёд, всячески способствовать дальнейшему развитию лучших сторон характера советского человека...»<sup>4</sup>

В указаниях по вопросам идеологической работы, литературы и искусства партия выступает против неправильной, немарксистской трактовки вопроса о роли личности в истории, против культа личности, ведущего к принижению роли партии, её коллективного руководящего центра и к снижению творческой активности партийных масс и всего советского народа. Призывая деятелей литературы и искусства отображать в своём

<sup>1</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 1196.

<sup>2</sup> Там же, стр. 1030.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 349—350.

<sup>4</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 1035.

творчестве замечательные, героические качества советского человека — творца новой жизни, партия особенно подчёркивает необходимость в романах и поэмах, в спектаклях и кинофильмах «показывать, что эти качества свойственны не отдельным, избранным людям, героям, но многим миллионам советских людей»<sup>1</sup>.

Интересы народа всегда и во всём определяют внутреннюю политику Коммунистической партии. Интересами народа партия руководствуется и в своей деятельности в области внешней политики. Генеральная линия этой деятельности — борьба за мир во всём мире, обуздание империалистических поджигателей грабительских, захватнических войн, обеспечение безопасности народов.

Миролюбивая внешняя политика Коммунистической партии ещё выше подняла авторитет нашей Родины на мировой арене. Голос советского народа мощно звучит сегодня при решении всех международных проблем.

Вокруг Советского Союза тесно сплотился могучий восьмисотмиллионный демократический лагерь. На стороне Советского Союза, советского народа любовь и симпатии всех миролюбивых народов земли, видящих во внешней политике нашей партии выражение своих коренных жизненных интересов, своих стремлений к миру.

Советские люди единодушно поддерживают внешнюю политику Коммунистической партии, ибо знают, что эта политика обеспечивает им возможность мирно трудиться, строить коммунизм, пользоваться всеми благами, которые даёт народу утверждённый в нашей стране социалистический общественный и государственный строй.



Так благодаря мудрой политике Коммунистической партии, высоко несущей победоносное знамя ленинизма, в нашей стране впервые в истории человечества народ получил возможность как никогда, ни при каком другом общественном строе, широко развернуть свои творческие силы и стать единственным обладателем всех созданных и создаваемых им благ жизни, материальных и духовных ценностей.

Партия пробудила в народе великие творческие, созидательные силы. Народ сознательно отдаёт эти силы на дальнейшее осуществление политики партии. В этом — источник побед, уже одержанных нашей Родиной. В этом — залог торжества коммунизма в нашей стране.

---

<sup>1</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. II, стр. 1635.



---

---

В. ЩЕРБИНА

★

## В. И. ЛЕНИН И ПРОБЛЕМА НАРОДНОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

1

**В** своих теоретических работах и в высказываниях о литературе Ленин выдвинул положения, ставшие основой нашей эстетики, указывающие пути критического усвоения художественного наследия и создания нового, социалистического искусства. Ленин отстаивал принципы правдивости, народности и идейности литературы. Он воинственно выступал против натуралистического описательства, субъективизма и декадентства. Идеи Ленина подняли на новую, высшую ступень эстетическую мысль всего человечества.

Ленин — вождь нового типа, опирающийся на движение самих масс, глубочайших «низов» человечества. Ни один из исторических деятелей до Ленина не говорил так проникновенно о народе, не раскрывал так глубоко величие его труда и борьбы, его решающую роль как творца истории. Только тот победит и удержит власть, утверждал Ленин, кто верит в народ, кто постоянно черпает из родников народного творчества. В самое напряжённое время жизни молодого Советского государства Ленин писал:

«Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за них сила числа, сила массы, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейного, честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего гигантского запаса энергии и талантов так называемого «простонародья», рабочих и крестьян»<sup>1</sup>.

Ленин не оставляет камня на камне от лживых теорий идеологов буржуазии, ставших запутать и исказить вопрос о роли народных масс и личности в истории. Идейные прислужники паразитических классов всячески изощрялись в попытках свести историю к действиям правителей и завоевателей, в потугах представить народ как некую инертную и безликую массу, лишённую творческого начала. Эти глубоко антинародные концепции приобрели особенно отвратительную форму в эпоху империализма.

Ленин указывает, что, вопреки лжетеориям идеологов империализма, нельзя сводить историю общественного развития к действиям «избранных» личностей. Основным героем и творцом истории, учит Ленин, является народ.

Неустанно разоблачал Ленин буржуазно-помещичьи попытки принизить русский народ. Клеветническим измышлениям о культурной и духовной неполноценности русского народа Ленин противопоставил основанную на историческом опыте идею о талантливости, свобододолюбии, творческих силах русского народа.

Отношение Ленина к русскому народу верно охарактеризовал Горький: «Он был русский человек, который... внимательно разглядывал свою страну... Он правильно оценил потенциальную силу её — исключительную талантливость народа, ещё слабо выраженную, не возбуждённую историей, тяжёлой и нудной, но талантливость всюду, на тёмном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звёздами».

Духовные свойства русского народа были предметом гордости Ленина. Решительно не соглашался он с любыми неверными представлениями о сущности своего народа

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 26, стр. 364.

Когда в 1913 году Горький выступил со статьёй «Ещё о «карамазовщине», Ленин одобрил это выступление, но некоторые формулировки статьи вызвали с его стороны протест. В частности, Горький ошибочно писал о «хрупкости русского характера», о «жалостной шаткости русской души» и т. п. В письме к Горькому Ленин категорически заявил о своём несогласии с этими формулировками: «...Вы изволили очень верно сказать про душу — только не «русскую» надо бы говорить, а мешанскую, ибо еврейская, итальянская, английская — все один чорт, везде паршивое мещанство одинаково гнусно, а «демократическое мещанство», занятое идейным труположеством, сугубо гнусно...»<sup>1</sup>

Как известно, реакционная публицистика и литература прошлого века приписывали русским людям черты кротости, смирения, религиозности, покорности угнетателям. Такие представления о русском народе идеологи помещиков и буржуазии клали в основу и своих суждений о народности литературы. Наоборот, прогрессивные деятели литературы вкладывали в слово «народность» другой смысл. Типичными чертами русского народа они считали свободолюбие, настойчивость, патриотизм; народны те произведения, в которых воплощены лучшие черты народа, народные идеалы, которые содействуют историческому развитию масс трудящихся.

Ленин разъяснил, из какого источника черпает свою силу передовая русская литература. Он указал на те передовые национальные черты и традиции, которыми должно гордиться, которые следует всесторонне развивать.

«Мы полны чувства национальной гордости...» — утверждает Ленин в статье «О национальной гордости великороссов». Статья его — гимн созидательной, творческой силе нашего народа, выдвинувшего из своей среды замечательных учёных, писателей, военных и политических деятелей, обогативших мировую культуру. Мы гордимся тем, развивает Ленин свою мысль, что среда великоросов «выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свертгать попа и помещика»<sup>2</sup>.

Ленинское положение об определяющей роли, которая принадлежит в истории народным массам, имеет огромное значение для построения научной истории литературы. Рассматривая литературу под этим углом зрения, мы ясно видим положительные передовые и отрицательные реакционные черты и тенденции в её истории; становится очевидной несостоятельность порочной «теории» единого потока развития литературы. В то же время определение роли народа в развитии культуры, данное Лениным, сокрушает всякие виды вульгарного социологизма, нигилистически охаивающего художественное наследие прошлого. Перед нами ярко и глубоко раскрывается значение деятельности великих передовых мастеров культуры, оказавших мощное воздействие на сознание народов, на их историческое развитие, способствовавших их движению вперёд. Ленинское положение о народе как решающей силе в общественном развитии служит незыблемой основой марксистского понимания народности искусства и неотделимо от других сторон эстетики социалистического реализма. Подлинно народная литература, по мысли Ленина, должна быть правдивой, глубоко раскрывать сущность явлений, борьбу нового со старым, воинственно защищать и поддерживать новое, указывать народу пути в будущее.

Буржуазные историки литературы игнорировали роль народа. Всё развитие русской общественной мысли, а следовательно, и художественной литературы они ставили в зависимость от узкоинтеллигентских настроений. Например, по сложившемуся мнению, Белинский выражал идеи небольшой кучки образованных людей, а многомиллионный русский народ жил своей обособленной жизнью. Следовательно, передовая русская литература шла мимо народных настроений и чаяний. Ленин резко восстал против такой узкой, кастовой точки зрения.

Статья Ленина «О «Вехах», направленная против искажения и фальсификации идейного наследия вождей русской революционной демократии, подчёркивает связь

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 90.

<sup>2</sup> Там же, т. 21, стр. 35.



передовой русской литературы и публицистики с интересами широких народных масс. Иронизируя над утверждением «Вех», что письмо Белинского к Гоголю есть «пламенное и классическое выражение интеллигентского настроения», Ленин писал:

«Или, может быть, по мнению наших умных и образованных авторов, настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело от настроения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?»<sup>1</sup>

Не интеллигентские настроения, а интересы миллионного угнетённого народа выражал в своей деятельности Белинский. Связь идейного содержания передовой классической русской литературы с настроениями широких народных масс Ленин доказывает и на примере других русских выдающихся писателей — Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Щедрина, Л. Толстого, М. Горького.

Вытравляя революционно-патриотическую идейность «Письма Белинского к Гоголю», либеральная критика окрестила это письмо «манифестом западничества», а великого критика — «западником». Эта версия оказалась живучей.

Ленин решительно возражал против попыток буржуазных историков и публицистов представить всю общественную борьбу в России прошлого века как «пресловутую борьбу либералов с крепостниками». В свете этого указания не выдерживает научной критики стремление свести всё содержание публицистики эпохи Белинского к столкновениям между западниками, с одной стороны, «охранителями» и славянофилами — с другой. Воззрение это не соответствует истине, так как оно сбрасывает со счётов народ, миллионы угнетённых крестьян, от имени которых выступал Белинский.

Характеристика позиций Белинского как «западничества», несмотря на десятки оговорок, например, о «левом западничестве», даёт искажённое представление о направлении деятельности великого критика. Белинскому были враждебны либерально-западническая умеренность, безудержное восхваление всего иностранного и пренебрежение ко всему своему, русскому. Замалчивая подлинные взгляды Белинского, буржуазные либералы и меньшевики, прибегая к понятию «западничество», стремились принизить значение Белинского как основоположника революционного демократизма, социалистического направления русской общественной мысли.

Из всего этого следует важнейший вывод для истории литературы. Старая, буржуазная история литературы всё прогрессивное содержание классической русской литературы сводила к убогим либеральным идеям. Чернышевский и Добролюбов для буржуазных историков литературы были только разночинцами. Роль народа, влияние борьбы миллионов масс трудящихся на передовую литературу и публицистику оставались в стороне. Основные исторические противоречия эпохи замалчивались.

Марксизм-ленинизм выдвигает на первый план в русском историческом развитии классовый антагонизм между угнетённым крестьянством и крепостниками. Борьба либералов и крепостников не была и не могла быть главнейшим, ведущим противоречием эпохи, так как она была борьбой внутри господствующих классов. Марксизм-ленинизм основным деятелем истории считает массы народа. Эти массы народа, развитие их исторического сознания определили основное содержание нашей передовой литературы, и мы никак не сможем понять величие нашей классической литературы, не понимая исторической роли масс.

Идейно-художественную силу Толстого Ленин видел в том, что писатель сумел с замечательной силой передать настроения широких масс, угнетённых современным порядком, обрисовать их положение, выразить их протест и негодование. Для Ленина Толстой — писатель, в произведениях которого затрагивались коренные политические вопросы, отражалось великое народное море, взволновавшееся до самых глубин. Устами Толстого, пишет Ленин, говорит вся та многомиллионная масса русского народа, которая ненавидит хозяев современной жизни, но которая ещё не дошла до сознательной, последовательной борьбы с ними. Именно это основное противоречие крестьянской революции отразилось в противоречиях мировоззрения и творчества Льва Толстого. Произведения Толстого, отразившие целую эпоху народной истории, пронизан-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 108.

тельно предсказывал Ленин, всегда будут ценны и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов.

Неразрывную связь передовой литературы с народной жизнью Ленин подтверждает и примером Горького, выразившего идеи эпохи социалистической революции, крепко связавшего себя с революционным рабочим движением. Вся история передовой русской и мировой литературы подтверждает важность и верность ленинского понимания роли народа как творца всех материальных и культурных ценностей.

Считая передовую культуру результатом деятельности народа, Ленин горячо выступал против нигилистического отношения к достижениям культуры прошлого, против всяких псевдоноваторов, выдававших свои кривлянья за новую, пролетарскую культуру. Именно поэтому Ленин в первые годы революции жестоко осудил пролеткультовцев, которые проповедовали вредную теорию искусственного, лабораторного создания так называемой пролетарской культуры и пренебрежительно относились к богатейшему классическому наследию искусства и литературы.

Ленин, отвергая схоластические «теории» пролеткультовцев, последовательно раскрывает глубокие народные корни передовой культуры. Он неопровержимо доказал: в классовом обществе, разделённом острейшими общественными противоречиями, не может быть и единого национального искусства, единой национальной литературы. «В каждой национальной культуре, — писал Ленин, — есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры»<sup>1</sup>.

Социалистическая культура возникла не на голом месте и не является продукцией неких «специалистов» по пролетарской «культуре», как это пытались представить пролеткультовцы и прочие вульгаризаторы марксизма. Культура нового, социалистического общества, учит Ленин, есть закономерное продолжение и итог всего лучшего, наиболее ценного в развитии мировой культуры. Здесь Ленин последовательно развил мысли, высказанные им ещё до революции в ряде работ, в частности в статье «Партийная организация и партийная литература». Свободная литература будущего здесь характеризуется как основанная на «постоянном взаимодействии между опытом прошлого и опытом настоящего».

Неустанно повторял Ленин, что только на основе усвоения и критической переработки всех старых культурных богатств может идти и идёт дальнейшее культурное развитие в нашей стране. «Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое», — говорил он. — Почему нам нужно отворачиваться от истинно-прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо?»»<sup>2</sup>

Подлинно художественное новаторство в свете указаний Ленина раскрывается «как момент связи, как момент развития, с удержанием положительного...»<sup>3</sup> Такое решение вопроса выбило почву из-под ног всяких вульгаризаторов, пытавшихся решить задачи культурной революции одним махом, грубым администрированием в области просвещения, литературы и искусства.

Ленин отстоял от вульгарно-нигилистических посягательств классическое художественное наследие прошлого, наметил пути расцвета социалистической культуры. Ленинское учение о культуре помогло установить правильное отношение к культурным ценностям прошлых эпох.

## 2.

С именем Ленина связан новый исторический период в освободительном движении. С самого начала своей деятельности Ленин осуществлял задачу слияния массового рабочего движения с научным социализмом.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 8.

<sup>2</sup> «Ленин о литературе». Сборник статей и отрывков. Государственное издательство «Художественная литература», М. 1941, стр. 274—275.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Философские тетради. Госполитиздат, 1947, стр. 197.

Ленин исходил из убеждения, что революционные идеи могут во всей полноте раскрыть свою силу и восторжествовать в жизни, если они станут достоянием масс, поведут эти массы на штурм старого строя. Именно слияние массового рабочего движения с идеями социализма дало прочную основу для победы революции.

На почве слияния массового народного движения с социализмом рождается и новая революционная литература, первым знаменосцем которой явился М. Горький.

Русская и мировая художественная литература прошлого века создала бесценные сокровища, в ярких образах отразила жизнь человечества, его борьбу, мечты, поиски и стремления. Но эта литература не могла указать реальные пути претворения в жизнь социалистических идей. Литература старого реализма, бессмертная своей правдивостью, своими положительными идеалами и глубиной, с которой в ней обличались противоречия классового общества, не могла в силу исторических условий раскрыть реальные перспективы освобождения народа.

В конце прошлого века самые прогрессивные писатели, в связи с ростом в России революционного движения, видели, что художественной литературе нужны новые идеи, новые художественные средства. Сошлёмся здесь на суждение самого «строгого реалиста» — Салтыкова-Щедрина. С полной уверенностью высказывает он мнение, что искусство, «исследующее настоящее, не может обойтись без стремлений разобратся в будущем». Об этом же писали и Короленко и Чехов. Но они ещё не могли во всей полноте определить идеал искусства, так как грядущий социальный строй был для них во многом «неясным и гадательным».

В 1894 году Ленин писал об одной из важнейших тем русской литературы — об изображении бедствий крестьянства: «Все это было описано, изучено и разъяснено с таким богатством материала, с такими мельчайшими деталями, что, конечно, если бы наше государство было не классовым государством... оно тысячу раз должно бы убедиться в необходимости устранения этих бедствий»<sup>1</sup>.

Но одной, хотя бы самой сокрушительной критики устоев старого общества было недостаточно. Требовались ведущие вперёд научные социалистические идеи, указывающие выход из заколдованного круга бедствий.

В произведениях Горького нашёл отображение замечательный процесс: идеи научного социализма овладевали массами, революционная теория становилась могучей преобразующей силой.

Ещё на заре русского рабочего революционно-социалистического движения Горький рассмотрел в нём залог грядущего расцвета родины. Основу для своего творчества писатель нашёл в идеях Ленина, учившего, что жизнь следует изображать не в статическом, а в диалектическом виде, т. е. не в неподвижном состоянии, а в движении.

В своей речи на суде Павел Власов выступает обвинителем старого строя, страстным пропагандистом освободительного движения масс:

«Оно растёт, оно развивается безостановочно, всё быстрее, оно разгорается и увлекает за собой всё лучшее, всё духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите — у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, они всё ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу».

В неразрывной слитности художественного творчества Горького с жизнью народных масс, с передовыми силами эпохи Ленин видел источник силы его произведений. В своих оценках творчества Горького Ленин всегда подчёркивал его огромную роль в общественном развитии. «Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу...»<sup>2</sup> — писал Ленин Горькому.

Литература социалистического реализма родилась под знаменем ленинизма. В статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин рассматривает

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 258.

<sup>2</sup> Там же, т. 34, стр. 354.

служение миллионам народных масс, как живой источник вдохновения художников, поднимающий их силы, дающий подлинную свободу творчества.

В противовес литературному карьеризму, анархизму и индивидуализму Ленин с небывалой силой выразил идеал литературы, созревший в самых передовых кругах русского общества, выросший на опыте художников, посвятивших своё творчество делу революции. Великий русский революционер-демократ Добролюбов некогда с горечью писал, что в литературе нет самой нужной партии — партии народа. Идеал социалистической литературы, определённый Лениным, показал, что партия народа уже появилась в литературе и заняла в ней ведущее положение.

Основу для расцвета искусства в социалистическом обществе Ленин видел в освобождении искусства от подчинения власти денежного мешка и буржуазным продажным нравам, от карьеризма и анархического индивидуализма, во вдохновляющей и преобразующей силе марксизма, в духовном росте народа.

Ленин вдохновенно писал о социалистической литературе будущего:

«Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной геронне, не скукающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата, создающая постоянное взаимодействие между опытом прошлого... и опытом настоящего...»<sup>1</sup>

После победы Великой Октябрьской социалистической революции, с самого начала советской литературы, Коммунистическая партия провозгласила неразрывность создающегося в огне революции нового искусства с идеями коммунизма, с запросами, с борьбой и трудом народа. Ещё в дни гражданской войны VIII съезд партии в 1919 году указал: «Нет таких форм науки и искусства, которые не были бы связаны с великими идеями коммунизма и бесконечно разнообразной работой по созиданию коммунистического хозяйства»<sup>2</sup>.

В нашей стране выросла и стала огромной общественной силой подлинно народная литература, расцвет которой вдохновенно предсказывал Ленин. У нас в корне изменилось не только содержание литературы, но и её роль, её место в жизни народа и государства. В дореволюционной России и современных капиталистических странах правдивая, прогрессивная литература неизбежно находилась в противоречии с государством, с господствующими классами, которым невыгодна правда. Советское правительство и партия, выражающие интересы народа, напротив, оказывают широкую поддержку реалистическому литературному творчеству.

Великий русский критик Белинский в своё время жаловался, что в старой России неверно было бы назвать Пушкина народным поэтом, так как неграмотный народ не мог читать своего поэта. Благодаря руководству Коммунистической партии бесценные богатства классической литературы и творчество советских писателей стали достоянием всего народа. Литература у нас в полном смысле родное для народа дело. Народ у нас является высшим судьёй произведений искусства и с благодарностью встречает всё подлинно правдивое, талантливое, патристическое в искусстве.

Ленин призывал писателей быть «поближе к жизни», советовал окунуться в самую гущу жизни масс, учиться у масс. Ленин указывал литераторам, где нужно искать главного героя, — на полях, заводах, фабриках, в армии, народных учреждениях. Во всех высказываниях Ленина по вопросам литературы мы слышим призыв — глубоко и настойчиво изучать жизнь народа, строящего социализм.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 10, стр. 30—31.

<sup>2</sup> «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. I, стр. 451.

В 1918 году он писал в «Правде»:

«У нас мало воспитания масс на живых, конкретных примерах и образцах из всех областей жизни, а это — главная задача прессы во время перехода от капитализма к коммунизму. У нас мало внимания к той будничной стороне внутрифабричной, внутридеревенской, внутриполковой жизни, где всего больше строится новое... Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе»<sup>1</sup>.

Коммунистическая партия, направляя художников на изучение и правдивое воспроизведение жизни народа, вела искусство по самому плодотворному пути. Своей передовой характер советская литература получает из теснейшей связи с творческой деятельностью, с самосознанием советских людей — строителей коммунизма. Её произведения отражают героическое созидание по всему лицу нашей страны, величие духа, богатырские силы нашего народа.

В сближении литературы с действительностью, с народом Белинский видел основной процесс развития передовой литературы, источник её художественности и всё растущего общественного влияния. В Советской стране укрепление взаимосвязи искусства с жизнью, с народом стало сознательной политикой, вытекающей из самой природы социалистического общества, определяющей сущность, задачи и цели творчества советских писателей. Эту качественно новую черту советской литературы раскрыл и научно обосновал Ленин. И можно с гордостью отметить, что в лучших произведениях советской литературы простые люди, дела их, мысли и чувства изображаются с величайшей любовью и пониманием.

Советская литература выдвигает в качестве своих основных героев рядовых труженников. В этом проявляется одна из отличительных черт советской литературы. Основываясь на идеях Ленина, советские художники стремятся как можно ярче и всестороннее показать советского человека — строителя коммунизма. Отсюда особая роль труда в изображении человеческой жизни. Вне труда нельзя раскрыть облик «героя нашего времени» — человека, прошедшего суровую школу грандиознейшей борьбы против капитализма и борющегося за укрепление могущества и благосостояния социалистической Родины.

Буржуазные писатели изображали простого человека, в лучшем случае, честной посредственностью, а если и яркой натурой, то лишь с подавляющим преобладанием инстинкта и эмоций над разумом. Литература социалистического реализма, вдохновлённая идеями Ленина, впервые показала простых людей как главных героев истории, обладающих бесконечными возможностями в развитии творческих способностей.

Во всех правдивых произведениях советской литературы подчёркнуто, что главным условием победы социализма является связь партии с народом, умение партии прислушиваться к голосу народа и обобщать опыт масс, понимать их запросы и стремления, подхватывать и развивать их творческую инициативу, направлять энергию советского народа на выполнение его исторических задач.

В одной из своих статей 1927 года, посвящённой рядовому строителю социализма, Горький, вдохновлённый ленинскими идеями, писал:

«Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства.

К этому маленькому, но великому человеку, рассеянному по всем медвежьим углам страны, по фабрикам, деревням, затерянным в степях и в сибирской тайге, в горах Кавказа и тундрах Севера, — к человеку, иногда очень одинокому, работающему среди людей, которые ещё с трудом понимают его, к работнику своего государства, который скромно делает как будто незначительное, но имеющее огромное историческое значение дело, — к нему я обращаюсь с моим искренним приветом.

Товарищ! Знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая твоё маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир».

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 80.

## 3

Вопрос о герое, в котором воплощены типические черты, мысли и чувства народа,— один из коренных вопросов литературы.

Искусство отражает все стороны действительности. Но основным предметом изображения, центром, к которому сходится всё многообразие жизненных явлений, всегда был и будет человек, его деятельность, внутренняя жизнь, его отношения с другими людьми, с обществом. Правдивость реалистического искусства находит своё выражение в образах людей, типических характерах, складывающихся и развивающихся в определённых конкретно-исторических условиях. Подлинно реалистическое искусство всегда человечно. Человеческая жизнь, по словам Н. Г. Чернышевского,— «единственный коренной предмет, единственное содержание поэзии». С полным основанием Горький называл литературу «человековедением».

Крылатые сталинские слова: «...из всех ценных капиталов, имеющих в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди...»<sup>1</sup> — одна из первых заповедей советского художественного творчества.

Равнодушное отношение к людям, неумение ценить их Ленин определяет как пережиток старого общества, построенного на угнетении народа. В пренебрежении, в презрении к человеку — первейший признак упадка буржуазной литературы, чуждой подлинному искусству.

Советский человек — основа основ нашей литературы и искусства.

Указания и помощь партии помогли творческим работникам овладеть мастерством. Все главные успехи социалистического реализма определяются прежде всего силой изображения нового героя — человека, совершившего победоносную социалистическую революцию, создателя социализма, творца всего того, чем гордится наша страна.

«Сила и значение реалистического искусства,— указывает Г. М. Маленков,— состоит в том, что оно может и должно выявлять и раскрывать высокие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового человека, создавать его яркий художественный образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей»<sup>2</sup>.

Первостепенная задача литературы — отобразить лучшие, самые передовые черты характера нового, советского человека. В этом важное новаторское значение литературы социалистического реализма. Но это не значит, что образы советских людей должны быть в художественном произведении однолинейными, схематичными, лишёнными тех реальных жизненных противоречий, в преодолении которых происходит развитие характера.

Схематические образы, в сущности, далеки от образов реальных людей, а являются некими субъективными, абстрактными символами общих представлений о них автора. Всякие виды схематизма, безликости героев нетерпимы. Безликость героев всегда связана с искажением облика народа. Требование глубокой индивидуализации героев — одно из основных требований эстетики социалистического реализма. Безразличие к человеку, попытки его обезличить, нивелировать чужды духу советского искусства.

Нередко приходится сталкиваться с противопоставлением типического индивидуальному. Довольно распространено представление, что типичность в искусстве достигается якобы только отбором общих свойств, причём все индивидуальные черты явлений должны отбрасываться. На самом деле это не так.

Отражение жизни в искусстве имеет свои особенности. Общее, типическое в произведениях искусства всегда находит своё воплощение в форме индивидуализированных образов, конкретных, наглядных картин, деталей, подробностей, по превосходному выражению Чернышевского, — «в форме самой жизни». Очень много даёт для понимания взглядов Ленина на взаимоотношение общих и индивидуальных черт в типическом образе его замечание в письме к Инессе Арманд о том, как следует разрабаты-

<sup>1</sup> И. Сталин. Вопросы ленинизма. Госполитиздат, 1952, стр. 529.

<sup>2</sup> Г. Маленков. Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б). Госполитиздат, 1952, стр. 73.

вать важные проблемы в художественной литературе. Ленин пишет: «Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи, — эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов). А в брошюре?»<sup>1</sup>

Ленин, подчёркивая, что в художественной литературе главное — индивидуальная обстановка, анализ характера и психики данных типов, вооружает художников против всяких видов схематизма, указывает на недопустимость обезличения, нивелировки человеческих образов.

Схематики учат писателей вульгарному понятию процесса типизации как механического отбора общих черт и игнорированию различного, конкретно исторического, индивидуального. Всякое явление при таком подходе теряет свои главные черты, укладывается в отвлечённые схемы. На этом строился метафизический «диалектико-материалистический» метод рапповцев. Стремление художников к реалистической индивидуализации характеров рапповцы явно или тайно расценивали как изжившую себя старомодность.

Такая вульгарная точка зрения направляет творчество художника по неверному пути, противоречит самой природе искусства, отражающего жизнь в конкретных образах. Типическое в искусстве всегда воплощается лишь в форме индивидуального, в конкретных лицах и процессах. Образ в искусстве представляет собой диалектическое единство чувственного и абстрактного, конкретного и общего. Разбирая роман М. Каутской, Ф. Энгельс отмечал как её первейшую удачу выполнение этого основополагающего требования реалистической эстетики. «Характеры той и другой среды обрисованы с обычной для Вас четкой индивидуализацией, — писал Энгельс, — каждое лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная личность...»<sup>2</sup>

Следствием упрощённого представления о типичности, своеобразным и весьма распространённым проявлением схематизма оказалось уродливое ограничение изображения советских людей только их производственной, профессиональной деятельностью. И напротив, источник успеха лучших произведений советской литературы — в многогранности показа жизни советских людей, с их бытом, стремлениями, личными переживаниями.

Нужно подчеркнуть, что одностороннее изображение только производственно-технической деятельности героев — результат упрощённого представления о социалистическом реализме. Социалистический реализм требует многосторонности и полноты художественного изображения жизни во всей её сложности и прежде всего богатства духовного облика человека.

Между тем за последнее время появилось немало произведений о рабочем классе и колхозном крестьянстве, односторонне изображающих жизнь советских людей. В этих произведениях изображается техника, говорится о соревновании, о выполнении производственных планов, но в них не изображаются люди в быту, их культура, духовный мир. Рабочий класс и крестьянство в Советской стране стали другими и живут по-иному, нежели раньше. Они живут культурно, зажиточно, отличаются разнообразием своих духовных запросов. Во многих же произведениях они показаны односторонне, вне всяких интересов, кроме производственно-технических.

Вопреки жизненной правде, положительный герой в ряде произведений нередко оказывается ограниченным, односторонним человеком. Героям современных романов, повестей, пьес часто не хватает широты мышления, большого кругозора, что так свойственно передовому советскому человеку.

Читателей никак не удовлетворяют эти схематичные, поверхностные образы, дающие весьма отдалённое представление о содержательном и многогранном характере советского человека.

Ленин раскрыл вздорность буржуазной клеветы на социализм, будто социализм угашает личность человека. Нет, ответил он буржуазным писателям, именно социализм создаёт условия для всестороннего развития личности.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 141.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. Госполитиздат, 1948, стр. 394.

«...Важно выяснить себе,— писал Владимир Ильич,— как бесконечно лживо обычное буржуазное представление, будто социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда данное, тогда как на самом деле только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии большинства населения, а затем всего населения, происходящее движение вперед во всех областях общественной и личной жизни»<sup>1</sup>.

К этому вопросу Ленин возвращался несколько раз. Так, в статье «Как организовать соревнование?» он замечает, что капитализм давно уже не даёт возможностей для проявления подлинной предприимчивости, энергии, смелости, почина. «Буржуазные писатели,— говорит Ленин,— исписали и исписывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные доблести и прелести капиталистов и капиталистического порядка. Социалистам ставили в вину нежелание понять значение этих доблестей и считаться с «натурой человека». А на самом деле, указывает Ленин, конкуренция при монополистическом капитализме «означает неслышанно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, девяносто девяти сотых трудящихся...»<sup>2</sup>

Только социализм, говорит далее Ленин, впервые создаёт возможность втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе непочатый родник. Человек в Советской стране стал хозяином своей судьбы, сознательным строителем новой жизни. И именно это дало массам простых людей возможность проявлять предприимчивость, инициативу, соревнование, смелый почин.

Благо человека, всестороннее удовлетворение его материальных и культурных потребностей — основной закон социализма. Он помогает более глубоко уяснить особенности советского искусства, принципы социалистического реализма. Отсюда исходит правдивость и человечность советского искусства, ставящего интересы народа превыше всего. Отсюда исходит и определение высокой роли советского писателя как инженера человеческих душ, помогающего воспитывать людей бодрыми, жизнерадостными, способными преодолеть все трудности.

Литература социалистического реализма строится на уважении к духовной жизни и индивидуальным особенностям людей. В этом отношении особенно наглядно раскрывается её противоположность буржуазному искусству, где простой человек изображается примитивным, лишённым индивидуальности. Современное буржуазное искусство вообще стремится к стандартизации, к обезличению своего героя. Это совпадает с общим процессом обезличения человека в буржуазном обществе.

Поскольку цель капиталистического производства — извлечение прибыли, то человек с его потребностями обесценивается. С точки зрения современной буржуазии права личности признаются теперь только за теми, у кого есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации.

Если некогда буржуазия взвешала о святости прав личности, то эта пора давно миновала. Не случайно поэтому буржуазные писатели сейчас так стремятся принизить личность человека, выдвинуть на первый план низменное или непознаваемое, внушить людям сознание своего ничтожества и бессилия. Пропаганда насилия человека над человеком, культ силы и оружия, отрицание всяких моральных критериев — всё это имеет целью оправдать хищническую практику современного империализма, высшим законом существования которого является нажива сверхприбыли. На помощь идеологам империализма приходят также служители «чистого искусства», формалисты разных типов, так или иначе выбрасывающие из искусства человека, антиреалистически уродующие его облик.

Раньше идеал защиты прав личности и национальной независимости народа помогал буржуазным писателям создавать ценные произведения. Теперь, открыто отвернувшись от народа, реакционное, буржуазное искусство навсегда оторвалось от правды, от человека.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 443.

<sup>2</sup> Там же, т. 26, стр. 367.



Социализм предоставляет все условия для развития способностей людей, которые мят и душит капитализм. Став хозяином своей судьбы, народ-творец встал во весь своей богатырский рост. И только пережитком чуждой нам идеологии является небрежность некоторых писателей, изображающих, вольно или невольно, советских людей серыми, невыразительными красками, не индивидуализированно.

Разумеется, некоторые отрицательные черты и недостатки могут быть и у положительного героя советской литературы. И задача художника — показать, как эти черты входят в противоречие с его здоровой, передовой сущностью, со всей моралью социалистического общества, как преодолевается всё нездоровое, недостойное.

Советская литература давно уже отбросила вульгарную теорию «живого человека», которая оказала пагубное влияние на развитие литературы двадцатых — начала тридцатых годов. Эта «теория» требовала от писателя, чтобы он рисовал наших передовых людей раздвоенными, с душевным надломом, раздираемыми психологическими противоречиями. Лучшие черты передового советского человека, определяющие облик положительного героя, как и целостные волевые характеры, при этом игнорировались.

Впоследствии эту концепцию подхватили и «развили» космополиты, всячески дискредитировавшие героические целостные характеры, призывавшие к изображению раздвоенной личности, извечной борьбы добра и зла в душе человека, по рецептам зарубежной декадентской литературы.

Принципы воплощения героя советской литературы противостоят как идеалистической теории «живого человека», так и вульгарному отрицанию каких бы то ни было противоречий в характере человека. Социалистический реализм, следуя правде, утверждает необходимость отображения многообразия, сложности и своеобразия реальных жизненных противоречий и конфликтов.

Виды противоречий различны, без них нет развития, движения вперёд. Многие люди у нас бьются над решением сложных вопросов, находятся в процессе преодоления пережитков, предрассудков прошлого. Борьба нового со старым проникает во все стороны нашей жизни, зачастую проходит в самых различных видах и формах и в сознании человека. И чем глубже и полнее писатель хочет изобразить главные конфликты жизни, тем решительнее он должен проследить, как они отражаются в душе героев произведений. Очень часто конфликт в сознании человека под влиянием критики сопровождает процесс внутреннего преодоления им своих недостатков, очищение от пережитков прошлого. Было бы странным предполагать, что противоречия и конфликты существуют только в отношениях между людьми, не проникают в их внутренний мир, в их сознание.

Ленин всесторонне вскрывает внутренние противоречия, присущие не только литературным героям, но и крупным писателям. В качестве примера характеристики, превосходно раскрывающей социальные и психологические противоречия художника, можно привести отзыв Ленина о Некрасове, некоторое время колебавшемся между революционными демократами и либералами. Ленин пишет:

«Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них:

Не торговал я лирой, но бывало,  
Когда грозил неумолимый рок,  
У лиры звук неверный исторгала  
Моя рука...

«Неверный звук» — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи<sup>1</sup>. Ленин чётко вскрывает противоречия в сознании поэта и ясно показывает направление его идейного развития.

Схематичное, обеднённое изображение человека в литературе проявляется иногда и в другой форме. Некоторые наши писатели, рисуя положительного героя, заставляют

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 287.

его произносить многословные речи с цитатами из классиков марксизма, выступать с резонёрскими поучениями и назидательными сентенциями. При этом все эти речи, поучения и сентенции не связаны органически ни с духовным обликом героя, ни с его чувствами, делами, поведением. Разумеется, такое внешнее, декларативное изображение человека не может удовлетворить эстетических запросов читателя, не способно взволновать его.

Идейность писателя и его героя не сводится к дидактическому изложению правильных политических мыслей; если абстрактная идея не воплотилась в художественный образ, не предстала в человеке, его характере и судьбе, то ещё нет искусства. Отвлечённые, не вошедшие в плоть и кровь произведения тезисы остаются инородной риторической фразой.

Вообще, когда мы говорим об идейном богатстве литературы, то это ничуть не означает обнажённого изложения писателем назидательных истин. Художественное творчество предполагает воплощение идей в живой логике развития образов. Изобилие дидактических проповедей — это признак художественной слабости произведения, свидетельство бессилия автора.

Большей частью только неспособностью писателя органически слить образы произведения с идеей вызывается стремление риторически поучать читателей, досказывать свой замысел затянутыми публицистическими отступлениями или противоестественным, досадным многословием положительного героя.

Идейные позиции художника раскрываются в самой художественной ткани произведения, главным образом в созданных им типах, характерах. Идеи в искусстве выражаются не в риторических фразах и репликах, а в самом содержании творчества, в самой плоти и крови образов. Лучшие произведения литературы и искусства именно потому так убеждают и волнуют людей, что идеи выражены в них не декларативно, не отвлечённо, а в живых, типических характерах. Идея в подлинно художественном произведении предстаёт как вывод из жизненного опыта героев, из всей логики развития характеров. В этом состоит одна из основных специфических особенностей и закономерностей искусства.

Указывая на идейно-художественные достоинства повести Горького «Мать», Ленин учил воплощению идей коммунизма в художественной форме, в образах, которые увлекали бы людей, будили их мысли. Повесть Горького потому так убеждала и волновала людей, что тема и идея в ней были выражены не декларативно, не отвлечённо, а в живых образах борцов за революцию. В судьбах борцов за революцию раскрывается рост классового сознания рабочих, характер и смысл их великой исторической борьбы за счастье народа.

Советские писатели обязаны не допускать в своём творчестве обеднения и нивелировки характеров советских людей, изображать их во всём богатстве и разнообразии. Писателям всегда нужно помнить, что пренебрежение к человеку — это органический порок реакционной буржуазной литературы, чуждый советскому искусству. Следуя указаниям партии, советской литературе и искусству нужно бороться с враждебной идеологией империализма, стремящейся очернить и оклеветать советских людей, их идейные убеждения. Отвергая измышления буржуазных писак, советские художники стремятся как можно ярче, полнее и многограннее изображать жизнь советских людей во всём многообразии их индивидуальностей и талантов, бурно расцветающих в условиях социалистического общества.

Показывая в типических образах силу и красоту души советских людей, художник открывает массам людей таящиеся в них творческие возможности, укрепляет их уверенность в своих силах, стремление к творчеству и подвигам, указывает, к чему нужно стремиться.

#### 4

Народность искусства предполагает, кроме правдивости описаний жизни, также умение художника найти форму, наиболее полно и выразительно передающую идейное содержание произведения.

Ленин учит, что содержание немислимо без формы. Подчёркивая примат содержания над формой, Ленин вместе с тем указывает, что форма не является безразличной и пассивной по отношению к содержанию. Форма может войти в противоречие с содержанием, затруднить его выражение или, наоборот, способствовать наиболее яркому его художественному воплощению.

Из высказанных Лениным положений о содержании и форме вытекают важнейшие выводы для искусства. Советские писатели должны бороться за такую форму, которая бы с наибольшей полнотой, ярко выражала богатство содержания жизни нашего народа. Советское искусство должно быть великим, прекрасным и в своём содержании и в своей форме. Только в этом случае оно сможет удовлетворять культурные запросы советских людей. Таковы основные выводы, вытекающие из высказываний Ленина о форме и содержании, из требований его к искусству.

Партия всегда воспитывала у художников высочайшую требовательность к искусству, сознание необходимости овладения мастерством, упорной и тщательной работы, более полного и многообразного использования безграничных творческих возможностей советской литературы.

Требование идейности искусства неотделимо от требования высоких художественных достоинств произведения. Вопрос о художественном мастерстве советских писателей никоим образом нельзя рассматривать как дополнительное технологическое пожелание. Писатель, не умеющий достигнуть выразительной художественной формы, не сможет выполнить свою высокую миссию инженера человеческих душ, — правдивости, партийности, идейности советского искусства нельзя достигнуть без мастерства.

На протяжении всего пути советской литературы партия указывала писателям на важность воплощения нового, социалистического содержания в простой и доходчивой художественной форме, понятной и близкой миллионам. Это требование было чётко сформулировано в резолюции ЦК Коммунистической партии «О политике партии в области художественной литературы» (1925 год). «Партия должна подчеркнуть, — говорится в резолюции, — необходимость создания художественной литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и решительнее порывать с предрассудками барства в литературе и, используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам.

Только тогда советская литература и её будущий пролетарский авангард смогут выполнить свою культурно-историческую миссию, когда они разрешат эту великую задачу».

Утверждение формы, понятной миллионам, является важнейшим принципом советской литературы.

Эстетические воззрения Ленина включают в себя требования и к форме произведений литературы. Художественная форма произведений писателя, стремящегося всемерно служить народу, должна соответствовать самым высоким эстетическим запросам и вместе с тем быть доступной массам. Жизненная правдивость лучших произведений литературы должна сочетаться с совершенством и народностью художественной формы, делающей понятными и близкими читателю самые сложные творческие замыслы.

Принцип народности содержания и формы искусства и лежит в основе подхода Ленина к произведениям литературы и искусства, к деятельности писателей, художников, композиторов. Так, именно этот принцип определил отношение Ленина к поэзии Маяковского.

Как известно, некоторым произведениям Маяковского первых лет революции была присуща футуристическая усложнённость формы, отвлечённость образов. Ленин осуждал футуризм и, судя по воспоминаниям Н. К. Крупской, отрицательно отнёсся к стихотворению Маяковского «Наш марш». Однако позднее Ленин, по словам Крупской, «подобрел к Маяковскому».

Под воздействием ленинского указания литераторам о необходимости проявлять побольше внимания к самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства Маяковский становится вдохновенным

певцом повседневных дел советского народа, начинает создавать конкретные, реалистические образы, в то же время исполненные пламенной революционной романтики. Теперь уже поэт говорит, что героинку народа нужно изображать не в «буффонадах», порождаемых велеречивостью поэтов, а в реальной простоте революции, труде и борьбе миллионов рабочих и крестьян.

Огромное значение в творческой биографии поэта сыграл известный ленинский отзыв о стихотворении «Прозаседавшиеся». Высказывание это имело важнейшее принципиальное значение. В то время, в 1922 году, яркая, боевая поэзия Маяковского ещё находилась в поисках новых поэтических средств, способных лучше выразить новое содержание. Ленин на примере стихотворения «Прозаседавшиеся» указал поэту на те сильные стороны его творчества, которые так блестяще развились в дальнейшем. Критические замечания Ленина ободрили поэта, поддержали его и в то же время направили на поиски более ясной, доходчивой художественной формы, понятной для всех слоёв читателей.

Отношение советской и буржуазной литературы к художественной форме совершенно противоположно. Советские художники стремятся к народности, ясности и совершенству формы для более полного выражения жизненного содержания. Современное разлагающееся буржуазное искусство переживает процесс распада формы, идущий в двух главных направлениях. Первое — усложнённость произведений таких декадентов, как Джойс, Пруст. Второе — безвкусный примитив ремесленнических «комиксов» и литературы массового стандартного производства. Разоблачая всякую псевдонародность в искусстве, советские художники всё повышают свою требовательность к вопросам формы, стремятся как можно полнее и всестороннее ответить на высокие эстетические запросы советских людей. Свои искания в области формы писатели ведут в интересах и в соответствии с общими задачами искусства социалистического реализма, подчиняя её принципам жизненной правды и идейности.

Г. М. Маленков в своём докладе на XIX съезде Коммунистической партии Советского Союза говорил, что в литературе ещё появляется много серых, а иногда и просто халтурных произведений, искажающих советскую действительность. Это говорит о важности повышения художественного мастерства писателей. Вялые и скучные произведения не в состоянии заинтересовать, взволновать читателя, воздействовать на его душу. Поэтому задача создания высокоидейных произведений литературы неразрешима без овладения художественным мастерством.

Острый, напряжённый сюжет, убедительность человеческих образов, выразительность и точность слова не только придают произведению интерес и занимательность. Нельзя в плохих, непродуманных сюжетах неряшливым, фальшивым словом раскрыть наше отношение к жизни, борьбу нового со старым, выразить идею произведения. Произведения, несовершенные по своей форме, не могут удовлетворить запросы советского народа.

Ленин указывал на необходимость художественного богатства и многообразия литературы, её жанров, форм, стилей, на пагубность культивирования всяких стандартов и шаблонов. В вопросах художественной формы Коммунистическая партия всегда отвергала сектантские попытки разных литературных группировок декретировать какое-либо одно направление. Особой активностью в этом смысле отличались формалистические группировки, неоднократно пытавшиеся насильно навязать писателям свои литературные приёмы. Партия всегда высказывалась за свободное творческое соревнование как главный путь развития литературы. Ещё в 1905 году, в статье «Партийная организация и партийная литература», определяя черты будущей социалистической свободной литературы, Ленин говорил о том, что литературное дело меньше всего поддается механическому равнению, нивелированию, штампу. В этом деле безусловно необходимо обеспечение большого простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию.

Последующее развитие советской литературы показало, что социалистический реализм обеспечивает художественному творчеству исключительные возможности проявления творческой инициативы, выбора разнообразных форм, стилей и жанров. Каждый крупный советский писатель обладает своим ярко выраженным лицом, своим по-

черком, отличающим его от других литераторов. В. Маяковский, А. Серафимович, Д. Фурманов, М. Шолохов, А. Толстой, А. Фадеев, Ф. Гладков, К. Федин, М. Исаковский и другие крупные советские писатели внесли в нашу литературу нечто своеобразное, чего не было до них, обогатили её новыми образами, красками, картинами.

Глубокой верой в талант и творческие силы народных масс определены эстетические взгляды Ленина. В наше время уже стали программными вдохновенные ленинские слова о народности искусства:

«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их»<sup>1</sup>.

Буржуазная эстетика настойчиво создавала вокруг творческого процесса атмосферу таинственности и недоступности, противопоставляла искусство массам, культивировала отрыв его от народа, доказывала, что художественная деятельность и полноценное восприятие прекрасного якобы недоступны простым людям. Ленин показал реальные жизненные истоки искусства, его подлинную природу и роль в борьбе классов.

Замечательные ленинские слова о пробуждении в народе художественной деятельности подчёркивают облагораживающее влияние эстетического восприятия, извечно присущего человеку стремления к прекрасному. И хотя эти ленинские слова были произнесены давно, на заре рождения нашего социалистического государства, теперь, в пору великого созидания коммунизма, они приобретают особую значительность, ибо жизнь людей должна быть светлой и радостной.

Пока творчество питается богатством жизни народа, до тех пор его возможности беспредельны. Но если художник становится далёк от мыслей и чувств народа, теряет связь с действительностью, его работы лишаются жизненной убедительности, идейной целеустремлённости, профессионального мастерства.

Сила советской литературы определена её народностью. Жизненные корни советской литературы уходят глубоко в толщу народной жизни, связывают её с миллионами людей, дают ей силу. Таково ленинское понимание природы искусства.

Народ не только имеет право на искусство, но является его создателем. Ленин предвидел, что на почве приобщения масс трудящихся к культуре из народной толщи будут выдвигаться новые кадры художников.

Под руководством Коммунистической партии, развиваясь на путях, указанных Лениным, социалистическая по содержанию, национальная по форме советская культура достигла огромных успехов. Мудрая политика партии вдохновила художественное творчество тысяч людей из народа. Сейчас они составляют славу и гордость нашей литературы.

<sup>1</sup> «Ленин о литературе». Сборник статей и отрывков, стр. 276.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

В. ШУТОЙ

★

## ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

*(Историческая справка)*

**К**ак большой национальный праздник, все народы Советского Союза отмечают 300-летие воссоединения Украины с Россией. «Это знаменательное событие, — говорится в постановлении ЦК КПСС, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР, — явилось завершением многовековой борьбы украинского народа против иноземных поработителей — за воссоединение с русским народом в едином Российском государстве».

Украинский и русский народы связаны единством происхождения, общностью всего исторического развития. Колыбелью братских народов явилось Древнерусское государство, возникшее в IX веке.

Развитие феодальных отношений, борьба за власть между отдельными феодалами привели к распаду Древнерусского государства на ряд отдельных княжеств. Ослабленные феодальной раздробленностью и монгольским нашествием, славянские земли стали добычей иноземных захватчиков.

Долгое время Украина испытывала иго чужеземных поработителей, её территория разорялась и опустошалась в результате варварских набегов кочевых орд турецко-татарских ханов, страдала от гнёта польской шляхты.

Находясь под угрозой уничтожения, свободолюбивый украинский народ самоотверженно боролся против агрессоров, обращая свои взоры к Москве и стремясь к воссоединению со своим единокровным братом — русским народом.

Громаднейшая территория Украины с её неисчерпаемыми природными богатствами, прекрасными торговыми путями и многочисленным населением издавна занимала центральное место в захватнических планах феодальной Польши. Польские магнаты, истощившие свои поля и разорившие крестьян, с завистью смотрели на богатые украинские земли.

В социальном отношении тогдашняя Польша была феодально-крепостнической, дворянской республикой, основанной на жесточайшей эксплуатации и угнетении крестьян. Польские паны расправлялись с крестьянами настолько свирепо, что этого не могли скрыть даже представители господствующего класса. Так, иезуит Скарга, живший в Польше в XVI веке, вынужден был признать, что «нет государства, где бы подданные и земледельцы были так угнетены, как у нас под беспредельной властью шляхты».

Захватив в XIV—XVI веках украинские земли, сосредоточив в своих руках экономическую и политическую власть, шляхтичи заняли должности воевод, старост и каштелянов. Деятельность их сводилась к выжиманию доходов из обнищавшего и закрепощаемого населения. Результатом этого хищнического хозяйничанья явилось уменьшение урожаев, возникновение эпидемий и голодовок, сделавших невыносимым и без того тяжёлое положение народных масс.

Украинский народ терпел не только экономический и политический гнёт, но и гнёт национальный и религиозный. Вслед за магнатами и шляхтой пришло на Украину и католическое духовенство, начали строиться костёлы, закрывались православные

церкви, население принуждало переходить в католичество. Чужеземные захватчики стремились насильственно окатоличить украинский народ, уничтожить его как нацию, оторвать от братского русского народа. Более двухсот лет вели борьбу польские правящие круги и католическое духовенство за церковную унию, за соединение западной и восточной церкви под властью папы римского.

Цель введения унии, как говорили современники, заключалась в том, «чтобы уничтожить Русь в Руси». На церковном соборе в Бресте в 1596 году уния была утверждена, после чего гонения на православие ещё более усилились.

Украинские феодалы, которые поддерживали агрессивные устремления чужеземных захватчиков на Восток, усиленно добивались равенства прав и привилегий с польской шляхтой. Этому им удалось достигнуть ценой национального предательства, путём отказа от родного языка и православной религии, которую исповедовали народные массы Украины. «История учит, — писал В. И. Ленин, — что господствующие классы всегда жертвовали всем, решительно всем: религией, свободой, родиной, если дело шло о подавлении революционного движения угнетенных классов»<sup>1</sup>.

Борьба народных масс против унии была национально-освободительной борьбой против чужеземного владычества на Украине. «...Всякая борьба против феодализма, — писал Энгельс, — должна была тогда принимать религиозное облачение, направляться в первую очередь против церкви»<sup>2</sup>.

Главной движущей силой антифеодальной борьбы на Украине было крепостное крестьянство; оно же, составляя большинство угнетённой нации, стало решающим фактором в освободительном движении от ига иноземных захватчиков.

Турецко-татарские орды в течение веков разоряли украинские города и сёла, творили «бесчинства и продерзости» и «с арканом на шее» уводили в виде «ясыря» десятки тысяч людей, погибавших затем на тяжёлых каторжных работах в «бусурманской неволе».

Старинные украинские народные думы рисуют страшную картину татарских разбойничьих набегов.

За річкую вогні горять.  
Там татари полон ділять.  
Село наше запалили  
! богатство розграбили,  
Стару неньку зарубали,  
А миленьку в полон взяли.  
А в долині бубни гудуть,  
Бо на заріз людей ведуть,  
Коло шиї аркан в'ється  
І по ногах ланцюг б'ється.

Опустошительные набеги кочевых орд турецко-татарских ханов и гнёт польской шляхты поставили украинский народ перед угрозой уничтожения. Народная борьба за освобождение Украины не прекращалась.

Ещё в XV веке началось бегство крестьян и мещан из западной Подолии и северо-западной Киевщины в менее заселённые южные степи Украины, Брацлавщину и Заднепровье. Так составилось ядро казачества, не подчинённого польским правительственным учреждениям.

Выбрав малодоступные места за порогами Днепра, казаки в начале XVI века основали там свой центр, который стал называться Запорожской Сечью. В Южной Руси, отмечал К. Маркс, заложилось славянское запорожье и дух казачества разлился по всей Украине. Запорожскую Сечь Маркс называл вольной казацкой республикой.

Запорожские казаки сыграли выдающуюся роль в борьбе с турецко-татарскими вторжениями. Они добровольно взяли на себя великую миссию защиты «матки-отчины» и стяжали себе на этом поприще неувядаемую славу.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 11, стр. 87.

<sup>2</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 293.

С середины XVI века начались совместные военные действия русских войск и украинских казаков против общих врагов — султанской Турции и разбойничьих орд крымских татар.

Борьба с внешними врагами укрепляла братские связи русского и украинского народов. Тесной была дружба и взаимопомощь между запорожскими и донскими казаками. Переход с Дона в Запорожье и обратно был всегда свободен и неограничен. Сотнями и тысячами запорожцы проживали на Дону, а донцы — в Сечи. Вместе они часто ходили в морские походы к берегам Крыма и Турции.

Запорожское войско постоянно увеличивалось за счёт украинских крестьян и мещан, бежавших от жестокого феодального и национально-религиозного гнёта. Поэтому в Сечи всегда находили отражение настроения и идеи, господствовавшие среди народных масс Украины.

Запорожская Сечь была исходным пунктом народных восстаний. Первое крупное крестьянско-казацкое восстание под руководством Косинского произошло в 1591 году. Оно охватило воеводства Киевское, Брацлавское и Волынское, но было подавлено хорошо вооружёнными шляхетскими карательными войсками.

В 1594 году восстания вспыхнули с новой силой. Во главе восставших встал Северин Наливайко. Пополняясь городской беднотой и крестьянством, отряды Наливайко превратились в целую повстанческую армию.

Героизм, проявленный русским народом в освободительной войне 1612 года, при защите родной земли от польских интервентов, явился вдохновляющим примером для украинского народа. Стремления братских народов к единству действий, к объединению сил в борьбе с чужеземными захватчиками, сливались в единый мощный поток.

Правительство шляхетской Польши объявило казачество вне закона. Но и эта мера не могла заставить украинский народ сложить оружие.

Притеснения украинцев со стороны польских старост и панов дошли до крайних пределов. На Украине было поставлено кварцянное (постоянное) войско, с особой жестокостью попиравшее украинские обычаи, издевавшееся над украинским народом. Народные массы Украины были доведены до отчаяния.

Борьба украинского народа против феодалов продолжалась и в I половине XVII века. От польской неволи казаки, крестьяне и мещане бежали в пределы Русского государства. Именно в этот период появился ряд слобод и городов (Харьков, Изюм, Сумы, Острогожск и другие), основанных украинцами в пограничной полосе Русского государства.

Сохранила своё прежнее значение убежища от феодального гнёта и Запорожская Сечь, куда, вопреки запретам и репрессиям польского правительства, стекались разорённые крестьяне. Здесь собралось такое число недовольных беглых с Украины, питавших глубокую ненависть к шляхетскому режиму, что отсюда стало возможным начать борьбу за освобождение украинского народа.

Освободительная война против шляхетской Польши началась весной 1648 года. Её возглавил славный сын украинского народа Богдан Хмельницкий.

Хмельницкий получил хорошее по тому времени образование и в совершенстве владел латинским, польским и другими иностранными языками. С юных лет он участвовал в сухопутных и морских казацких походах, глубоко изучил военное дело, узнал боевые качества казаков, польских войск и крымских татар.

Преданный интересам народа, Богдан Хмельницкий активно участвовал в народной борьбе. Он неоднократно избирался в состав делегаций, направляемых казачеством к королю с требованием облегчить тяжёлое, подневольное положение украинского народа.

Политическая прозорливость, тщательный анализ обстановки на Украине и настроений народных масс подсказали Хмельницкому, что единственный путь уничтожения польско-шляхетского господства — это путь вооружённой борьбы не только казачества, но и крестьянства. В деятельности Богдана Хмельницкого воплотился протест, идущий снизу, из недр народа.



В конце 1647 года, спасаясь от жестоких преследований шляхты и польских властей, Хмельницкий с группой сподвижников ушёл в Запорожскую Сечь. В следующем году Хмельницкому с небольшим отрядом казаков удалось разгромить польский правительственный гарнизон, стоявший в Сечи. Знамя восстания было поднято. Запорожская Сечь превратилась в плацдарм для дальнейшего наступления против польско-шляхетских войск.

Как опытный полководец, Хмельницкий понимал, что для успеха освободительной борьбы необходима чёткая организация войска и единое военное руководство. Поэтому одной из первых его забот было создание освободительной народной армии.

По всему Приднепровью организовывались крестьянские повстанческие отряды, поднималось на борьбу население городов.

Чтобы предупредить восстание и подавить его в зародыше, главнокомандующий польскими вооружёнными силами коронный гетман Потоцкий решил, пользуясь зимним временем, направить войско в Запорожье. Однако этот план провалился. Путь войску преградили крестьянские отряды. Они же сковывали действия отдельных польских гарнизонов.

Но развившееся крестьянское движение нуждалось в поддержке. Хмельницкий ясно понимал, что нельзя допустить концентрации значительных польских войск. Для этого надо было спешить с выходом из Запорожья.

Воспользовавшись напряжёнными отношениями между Польшей и крымским ханом Ислам-Гиреем, Хмельницкий заключил с ним союз, чем обеспечил себе тыл с юга и получил в помощь пятитысячный кавалерийский отряд. Это был крупный дипломатический успех, создавший благоприятную военно-политическую обстановку для наступления.

Весной 1648 года Хмельницкий был избран гетманом. С восьмитысячным войском казаков и отрядом кавалерии мурзы Тугай-бея он выступил из Запорожья навстречу мощному авангарду польского войска.

Вскоре противники встретились у Жёлтых вод (недалеко от нынешнего города Александрия, Кировоградской области, Украинской ССР). Произошло решающее сражение. Войско Хмельницкого одержало победу.

За первой победой последовала вторая. Приведя в порядок своё войско, пополненное восставшими крестьянами, Хмельницкий форсированным маршем устремился к Корсуню, где расположились главные польские силы. В двухдневных боях польское войско потерпело окончательное поражение. Возглавлявшие его гетманы Потоцкий и Калиновский были взяты в плен, вся польская артиллерия и богатый панский обоз достались победителям. В этих битвах проявились героизм и самоотверженность казаков и крестьян-повстанцев, выдающийся полководческий талант Богдана Хмельницкого.

Эти блестящие успехи нанесли тяжкий удар военному могуществу и политическому престижу шляхетской Польши. Тем не менее народные массы Украины понимали, что путь к окончательному спасению от польско-шляхетского ига заключается в укреплении связей с братским русским народом. Хмельницкий и его сподвижники разделяли эти народные стремления.

Русское государство и особенно народные массы России глубоко сочувствовали борьбе украинского народа. Правительство разрешило беспопыльный провоз на Украину хлеба, соли и других продуктов. Это было большой поддержкой, если учесть, что 1648 год был неурожайным и много земель оставалось к тому же необработанными. Из России ввозились также оружие и порох. Множество русских людей — донских казаков и беглых крестьян — храбро сражалось в народно-освободительной армии.

На Украине продолжала развиваться освободительная война. Угнетённое крестьянство — главная и решающая сила в этой войне — наносило свои удары по угнетателям, расшатывало феодальный строй, ведя борьбу не только против польских, но и украинских феодалов.

Хмельницкий в качестве гетмана «славного войска запорожского и всей по обеим сторонам Днепра сущей Украины Малороссийской» обратился к населению Украины — «шляхетным и посполитным, большого и меньшого чина людей», ко всем, «кому...

любима целость отчизны нащей Украины Малороссийской...», с призывом прибыть в обоз под Белую Церковь для борьбы против общих врагов. «Лучше... на плацу военном от оружия бранного полягти», говорил он, нежели быть убитыми в домах своих. На этот призыв со всех сторон под знамёна Хмельницкого стекались повстанцы.

В короткое время Хмельницкий сумел превратить необученное и недисциплинированное войско в сильную армию, успешно сражавшуюся с хорошо вооружённым противником.

Польские паны собирались со своей челядью под начальство Иеремии Вишневецкого, кумира польских магнатов. Во многих городах и сёлах Вишневецкий зверски расправлялся с украинским населением, сажал на кол, вырывал глаза и ноздри. Он сам присутствовал во время пыток и при этом неистово кричал: «Пытайте их так, чтобы они чувствовали, что умирают!»

Один из сподвижников Хмельницкого, вожак крестьянства правобережной Украины, воспетый в народных песнях, отважный Максим Кривонос наголову разбил войско Вишневецкого.

Польское правительство двинуло против восставшего украинского народа армию численностью до шестидесяти тысяч человек. Но и это не помогло. Хмельницкий, имея втрое меньше сил, в сентябрьских боях под Пилявою (на Волыни) разгромил шляхтичей.

Освободительная война украинского народа против польской шляхты находила широкий отклик и сочувствие среди польского крестьянства, страдавшего под игом своих феодалов. Много повстанческих крестьянских отрядов действовало в районах Варшавы и Кракова.

С Волыни Хмельницкий двинулся в восточную Галицию, чтобы поддержать начавшееся там крестьянское движение, осадил Львов, а затем Замостье.

Из Галиции Хмельницкий отправил несколько отрядов в Белоруссию против гетмана Яна Радзивилла, жестоко подавлявшего развернувшееся там восстание.

В Киеве, куда вскоре прибыл Хмельницкий, он был встречен жителями с большим торжеством, как подлинный освободитель всей Украины. Украинский народ в песне «Победное торжество русского народа» прославлял гетмана Богдана и его резиденцию Чигирин:

І ти, Чигирине, місто українне, не меншу славу  
Тепер в собі маєш, коли оглядаєш в руках булаву  
Знатного Богдана, мудрого гетьмана, доброго молодця,  
Хмельницького чигиринського, давного запорозяця...

Вокруг Богдана Хмельницкого сплотился цвет украинского народа, его лучшие, прославленные герои: Максим Кривонос, Иван Богун, Данило Нечай и другие. Каждый из них руководил восстанием в отдельных районах Украины.

В последующие годы украинский народ продолжал свою тяжёлую, героическую борьбу за освобождение, испытывая в этой борьбе как радость побед, так и горечь поражений. В результате войны Украина была чрезвычайно истощена.

Шестилетняя освободительная война украинского народа завершилась воссоединением Украины с могущественным Русским государством.

Хмельницкий проявил себя не только как талантливый полководец и тонкий дипломат, но и как выдающийся государственный деятель. Возглавив процесс складывания украинской государственности, Хмельницкий видел спасение украинского народа в его объединении с великим русским народом.

В октябре 1653 года в Москве собрался Земский Собор. С разных концов страны съехались в столицу представители различных сословий. В Грановитой палате Кремля, где заседал Собор, присутствовали бояре, духовенство, окольные дворяне, торговые люди, ремесленники, стрельцы, государственные крестьяне. В торжественной обстановке обсуждался вопрос большой исторической важности: о воссоединении Украины с Россией.

Думный дяк перечислил притеснения, чинимые украинцам польскими панам. Затем он описал доблести и подвиги украинского народа в борьбе за своё освобождение от шляхетского ига и объявил о желании гетмана Хмельницкого и всего народа украинского воссоединить Украину с Россией.

Выслушав мнение бояр, духовенства, представителей сословий, Собор принял единодушное решение о воссоединении Украины с Россией, — «...уважая не только единоверие малороссиян, многократные просьбы их о том, но и опасность, им предстоящую от поляков и литовцев, угрожающее иго — турецкое и татарское».

Решение Земского Собора было выражением воли всего русского народа.

Вскоре на Украину было направлено посольство, состоявшее из 227 человек и возглавляемое Василием Бутурлиным.

Торжественно встретили российских послов переяславские казаки. 6 января в Переяслав прибыл Богдан Хмельницкий. Рада была назначена на 8 (18) января.

В Переяславе собрались полковники, сотники, атаманы, заслуженные казаки. На рассвете назначенного для Рады дня гетман собрал совещание старшин. Положено было объявить Раду «явной всему народу», то есть допустить на неё всех желающих. В течение часа не прекращался барабанный бой. Люди стекались со всех сторон к месту Рады. «Собралось великое множество всяких чинов людей», — говорит очевидец. Здесь были казаки, мещане, крестьяне, купцы, духовенство.

В одиннадцать часов, сопровождаемый старшинами, на площадь вышел парадно одетый Хмельницкий. С глубоким вниманием слушал народ речь гетмана.

Хмельницкий напомнил о великих «утеснениях от польских панов», о которых «не надобно и сказывать: сами знаете», о тех зверствах и бедах, что творили турецкие и татарские орды украинскому и другим славянским народам. Он сообщил народным представителям радостную весть: единокровное Русское государство высказалось за воссоединение Украины с Россией.

Украина с великой Россией, говорил Хмельницкий, составляют «единое тело». «Там суть земля родная и братья наши, с которыми мы, плечо к плечу, русские земли не раз защищали и которые не дадут нас на поругание и обиду злым ворогам... А буде кто с нами тут на Раде не согласен, тому теперь, куда хочет: вольная дорога!» И, подняв над головой булаву, гетман воскликнул: «Так будем же едины с народом русским навеки!».

Заглушая последние слова гетмана, тысячи голосов возгласили: «Будем!..»

После этого, обойдя круг, полковники спрашивали: «Всі ли тако соизволяете?» «Всі!» — кричал народ.

Затем в Раду вступили русские послы. Боярин Бутурлин произнёс большую речь. На этом Рада закончилась.

На следующий день была отобрана присяга у казаков и мещан Переяслава. Летопись, написанная очевидцем и участником этих событий, утверждает: «По всей Украине увесь народ з охотою тое ученил... и немалая радость межи народом стала».

Решение Переяславской Рады о воссоединении Украины с Россией явилось могучим волеизъявлением вековых чаяний и надежд украинского народа. Общность происхождения, близость языка и культуры, одна религия, давнишние экономические и политические связи — всё это создало основу для воссоединения Украины с Россией. Украинский народ, находившийся в течение столетий под иноземным гнётом, видел в своём старшем брате — великом русском народе — надёжного защитника и верного союзника.

Воссоединение с Россией спасло Украину от нависшей над ней угрозы: быть поглощённой панской Польшей и султанской Турцией. Связав навеки свою судьбу с единокровным русским народом, украинский народ тем самым спас и сохранил себя как нацию.

Со второй половины XVII века Украина включилась во «всероссийский рынок», что положительно сказалось на развитии её производительных сил, на росте городов и торговли.

Боссоединение Украины с Россией изменило соотношение сил в Восточной Европе в пользу России, ослабило позиции агрессивных государств — Польши и Турции. Границы Русского государства были отодвинуты далеко на юго-запад, ближе к берегам Чёрного и Азовского морей, столь необходимых для экономического развития страны.

Объединение народов России и Украины стало могучим фактором успешной борьбы против посягательств и разрушительных набегов на украинские и русские земли со стороны агрессивных иностранных захватчиков.

Несмотря на реакционную политику царского правительства России, объединение двух великих народов имело решающее значение в их совместной борьбе против всех внешних врагов. Единым фронтом со своими русскими братьями трудящиеся массы Украины выступили и против царизма, помещиков и буржуазии.

Союз и дружба трудящихся России и Украины были закреплены победоносной Великой Октябрьской социалистической революцией, в результате которой народы России под руководством Коммунистической партии создали могучий и свободный Союз Советских Социалистических Республик.

В союзе с русским народом и при его помощи Советская Украина из бывшей окраины царской России превратилась в цветущее социалистическое государство рабочих и крестьян, в страну мощной индустрии и необъятных колхозных полей, страну высокой социалистической культуры. Благодаря мудрой ленинско-сталинской национальной политике Коммунистической партии и Советской власти украинский народ смог осуществить своё национальное возрождение, воссоединить все украинские земли в едином Украинском советском социалистическом государстве.

Вместе со всеми братскими народами нашей страны русский и украинский народы под водительством Коммунистической партии уверенно идут вперёд по пути к коммунизму.



---

Н. НЕМОВ

★

## ОБ ЭКОНОМИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ

**Б**огата наша страна. Всем богата. На первом месте в мире стоит Советский Союз по обилию и разнообразию сырьевых ресурсов. Непрерывно растёт и крепнет социалистическое хозяйство. Страна обеспечена всем необходимым для своего развития, для дальнейшего процветания. Мы твёрдо, уверенно идём всё дальше, вперёд, к великой цели — коммунизму.

Неоценимое сокровище страны социализма — это люди, трудолюбивые и образованные, сильные духом, волевые советские люди. Наш народ искони славится своей творческой инициативой, смёткой, изобретательностью.

Убогой и обильной, могучей и бессильной называл Некрасов матушку-Русь.

Устремляя свой прозорливый взор в будущее, отчётливо видя его, В. И. Ленин писал: «У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь!».

Ленинские предначертания советский народ претворил в жизнь. Под руководством Коммунистической партии он осуществил величайший поворот в истории человечества — уничтожил в России капитализм, взял власть в свои руки и построил первое на земном шаре социалистическое общество.

Октябрьская революция открыла простор созидательной энергии народных масс. Свободные от эксплуатации люди сознательным, самоотверженным трудом превратили свою страну из отсталой, земледельческой в мощную индустриально-колхозную державу, независимую от мира капитализма и в техническом и в экономическом отношениях.

За годы пятилеток советские люди создали колоссальные материальные ценности. Более чем в тысячу миллиардов рублей оценивались в довоенные годы производственные сооружения, здания, машины, оборудование и прочие средства труда. Прибавьте сюда стоимость тысяч новых промышленных предприятий, машинно-тракторных станций, совхозов, новых путей сообщения и ещё много другого, что построено руками наших рабочих в послевоенное время. И ведь это только основные фонды народного хозяйства Советского Союза.

А каким огромным богатством располагают теперь в своих артелях колхозники, объединения промышленной кооперации! Тоже не одним десятком миллиардов рублей.

Все эти ценности, орудия и средства производства, все ресурсы нашей страны принадлежат народу, являются социалистической собственностью — незыблемой основой советского общества. На этой могучей основе наш народ, хозяин страны социализма, ведёт своё обширное и сложное хозяйство.

В Советском Союзе народное хозяйство развивается планомерно, пропорционально. Плановая социалистическая экономика обладает громадными возможностями наиболее рационально и всесторонне использовать природные ресурсы страны, безгранично развивать производительные силы общества.

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 27, стр. 134—135.

Трудовые и материальные ресурсы — это главные источники развития человеческого общества. Однако только при социализме, когда трудящиеся сообща владеют средствами производства и работают на себя, на своё социалистическое государство, всё, что производит труд человека, все материальные и духовные блага целиком идут на удовлетворение растущих общественных и личных потребностей членов общества.

Крупное социалистическое производство требует расчётливого хозяйствования, бережливого отношения к народному достоянию, всемерного использования резервов производства. Это особенно важно и потому, что наше народное хозяйство развивается за счёт собственных ресурсов, за счёт внутренних накоплений. Основой государственного бюджета СССР служат доходы от социалистических предприятий и организаций.

Вот почему Коммунистическая партия всегда уделяла и уделяет большое внимание борьбе за строжайший режим экономии. Партия рассматривает режим экономии как важнейшее условие создания внутрихозяйственных накоплений и правильного использования накопленных средств. Партия учит трудящихся по-хозяйски относиться к общественной собственности.

Режим экономии не есть эпизодическая кампания, вызываемая необходимостью справиться, скажем, с временными трудностями или какими-либо недостатками в хозяйстве. Нет. Всегда и во всём экономное, целесообразное расходование всех средств производства, бережливость во всех звеньях народного хозяйства, в каждой производственной ячейке — в этом заключается метод социалистического хозяйствования.

Ещё в первые годы существования Советской республики В. И. Ленин призывал вести аккуратно и добросовестно счёт деньгам, хозяйничать экономно, накапливать средства, чтобы развивать социалистическую промышленность, укреплять могущество государства.

В годы индустриализации И. В. Сталин указывал, как важно создавать накопления для развития народного хозяйства, и не только создавать, но и уметь расходовать их разумно, расчётливо, так, чтобы ни одна копейка народного добра не пропала даром.

Умение правильно хозяйствовать, неуклонно проводить режим экономии и использовать внутренние резервы обеспечило те великие победы в строительстве социалистической экономики, которыми по праву гордится советский народ.

Однако у нас ещё не решены некоторые неотложные хозяйственные вопросы, ещё имеются отстающие предприятия и даже отдельные отрасли промышленности; некоторые колхозы и целые сельскохозяйственные районы находятся в запущенном состоянии. Партия мобилизует творческую энергию советских людей на скорейшую и полную ликвидацию этих недостатков, с тем чтобы все промышленные предприятия и колхозы, все отрасли народного хозяйства работали планомерно, увеличивая выпуск продукции, улучшая её качество.

Путь к достижению этой цели лежит через наиболее полное и рациональное использование производственных ресурсов, тщательно продуманную организацию работы любого хозяйства. Режим экономии, социалистическая бережливость играют здесь весьма видную роль. Поэтому партия призывает и впредь неуклонно осуществлять режим экономии на всех, больших и малых, участках хозяйственного строительства, повышать рентабельность производства. Она учит наши кадры настойчиво искать, находить и пускать в дело скрытые резервы, тающиеся в недрах социалистической экономики, максимально использовать имеющиеся производственные мощности, систематически улучшать методы работы, снижать себестоимость продукции и стоимость строительства, осуществлять хозяйственный расчёт.

Решительная борьба с имеющимися ещё у нас недочётами, экономное, рачительное хозяйствование тем более необходимы, что Советское правительство и Центральный Комитет партии осуществляют ныне ряд исключительно важных мероприятий, направленных на дальнейшее процветание нашей Родины, на подъём материального и культурного уровня народа и создание обилия предметов народного потребления в стране.

Чтобы в два-три года резко повысить обеспеченность населения продовольственными и промышленными товарами, надо поднять на новый, более высокий уровень хозяйственную и организаторскую работу во всех звеньях общественного производства

и управления. В особенности необходим крутой подъём сельского хозяйства, снабжающего население продовольствием, а лёгкую и пищевую промышленность — сырьём.

В решении сентябрьского Пленума Центрального Комитета партии, принятых по докладу Н. С. Хрущёва, содержится подробно разработанная программа быстрого и разностороннего развития сельского хозяйства.

Великую творческую энергию вкладывает наш народ, проводя в жизнь директивы XIX съезда Коммунистической партии по пятому пятилетнему плану и решая поставленные партией и правительством задачи — в кратчайший срок обеспечить более быстрое развитие отраслей промышленности, производящих предметы потребления, добиться решительного подъёма земледелия. Следуя указаниям партии, рабочие, колхозники, специалисты, служащие стремятся вести порученное дело экономно, удешевлять себестоимость выполняемых работ, сокращать потери и всем этим поднимать рентабельность социалистического хозяйства. Они делают это в интересах приумножения общественного богатства Родины.

Шахтёр или нефтяник добыл топлива больше положенной нормы за счёт экономии времени и умелого владения механизмами. Сталевар выдал сверхплановую сталь, расчётливо расходуя шихту, мазут, материалы и ускоряя процесс плавки. Машиностроители путём экономного расходования металла смогли выпустить дополнительно к заданному много машин для народного хозяйства. Работники цементных, кирпичных, стекольных и других заводов, уменьшив затраты сырья, топлива, электроэнергии, используя до дна технику своего производства, дали для нашихстроек сверх плана большое количество строительных материалов. Текстильщики, обувщики, швейники изготовили из сэкономленных материалов много тканей, обуви, одежды. Так важна и ценна инициатива рабочих, техников, инженеров — каждого советского труженика в борьбе за совершенствование производственных процессов, за экономию на каждом рабочем месте!

А какой простор для творческой инициативы советских людей открывает постановление сентябрьского Пленума Центрального Комитета партии! В нём содержится множество ценнейших указаний, руководствуясь которыми можно выявить новые резервы, поставить рационально, рентабельно дело в каждом колхозе, совхозе, машинно-тракторной станции. И не только там. Ведь в реализации решений сентябрьского Пленума принимают участие коллективы промышленных предприятий, производящих всевозможные машины и орудия, минеральные удобрения и многое другое, что требуется для намеченного партией роста сельскохозяйственного производства.

Сокращение материальных и денежных затрат в любом деле, снижение себестоимости продукции, рост производительности труда позволяют Советскому государству быстрее и во всё более широких масштабах осуществлять программу невиданного в истории быстрого подъёма благосостояния трудящихся. Наш народ, стало быть, получает тем большую выгоду, чем бережливее и расчётливее мы будем вести наше хозяйство.

### **НАХОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ**

Социалистическая система позволяет экономно вести дело как в рамках отдельных производственных единиц, так и в масштабах целых отраслей народного хозяйства, всего государства.

Такими возможностями не располагает капиталистическая система, в основе своей расточительная, порочная. Там экономия соблюдается лишь в объёме производства, принадлежащего отдельным предпринимателям, их объединениям. Экономия служит капиталистам для роста и без того высоких прибылей, за счёт урезывания потребностей трудящихся.

Экономия и бережливость в социалистическом обществе способствуют развитию общественного производства, идут в конечном счёте на благо советских людей.

Свойственная социализму бережливость, в широком понимании этого слова, проявляется прежде всего в наиболее разумном, целесообразном использовании труда человека — производителя материальных благ.

Советское государство и Коммунистическая партия проявляют исключительно большую заботу об облегчении труда рабочих и крестьян путём его механизации, об улучшении производственных условий и совершенствовании техники безопасности.

Наши машиностроительные заводы год за годом выпускают больше и больше машин, механизмов, станков новых типов и марок, технически лучших, чем прежние. Управлять же ими рабочему становится легче, сподручнее и удобнее благодаря автоматике и другим конструктивным новшествам. Это экономит человеческие силы, делает труд более продуктивным.

Механизация труда на советских предприятиях, быстрый рост культурно-технического уровня рабочих, их творческое соревнование, массовое движение новаторов и рационализаторов производства всё время повышают производительность труда. Это даёт крупный выигрыш нашему народу.

Производительность труда в промышленности СССР в 1952 году была выше, чем перед войной, на 60 процентов. Только за два года пятой пятилетки труд советских рабочих стал производительнее на 17 процентов. А ведь каждый процент этого роста увеличивает выпуск продукции на несколько миллиардов рублей. Если взять годовой прирост промышленной продукции, то почти три четверти его мы получаем за счёт повышения производительности труда.

Громадное количество человеческой энергии сберегается в социалистическом сельском хозяйстве, самом крупном и механизированном в мире. Коллективный труд советского крестьянства сам по себе во много раз продуктивнее нежели в мелких, раздробленных хозяйствах бывшей единоличной деревни. А при всё растущей механизации колхозного производства — тем более.

Для получения тонны зерна в крестьянских хозяйствах до коллективизации затрачивалось в среднем 32 человеко-дня. В колхозах же ещё несколько лет назад на это требовалось всего восемь человеко-дней, то есть в четыре раза меньше. Куда более производительным стал артельный труд в укрупнённых колхозах. Обширная сеть машинно-тракторных станций выполняет теперь три четверти основных полевых работ в колхозах. Почти вся пахота и 87 процентов сева зерновых культур механизированы. Комбайны убирают не менее 70 процентов посевов зерновых культур.

Стоит напомнить, что, например, в Соединённых Штатах Америки, обладающих довольно значительным парком сельскохозяйственных машин, две трети фермеров вовсе не имеют в своих хозяйствах тракторов. Шестьдесят процентов всех работ на фермах производится вручную. Ещё хуже обстоит дело с механизацией земледелия в других капиталистических странах.

Многие миллионы рублей экономии получает Советское государство от внедрения научных достижений, реализации творческой инициативы новаторов производства, изобретателей, рационализаторов. Только за один 1952 год в промышленности, на транспорте и на стройках, в машинно-тракторных станциях и совхозах было принято свыше десяти миллионов предложений, направленных на улучшение производства. Более восьми миллионов из них осуществлено на практике.

Челябинский тракторный завод, например, получил за послевоенные годы около 170 миллионов рублей экономии от внедрения в производство рационализаторских предложений и изобретений рабочих, инженерно-технических работников и служащих.

В странах капитализма всякого рода технические новшества и усовершенствования производства остаются секретом отдельных монополий, компаний, предпринимателей и тщательно скрываются от конкурентов. Рабочие там не заинтересованы в рационализации производства, так как каждое нововведение на капиталистическом предприятии ведёт отнюдь не к облегчению труда, а прежде всего к усилению потогонной системы, к сокращению какого-то числа работающих. Экономическая статистика даёт такие данные: увеличение на пять процентов интенсивности труда на американских предприятиях влечёт за собой увольнение «по рационализации производства» трёх миллионов рабочих. Такая «экономия» служит, следовательно, не обществу в целом, но лишь магнатам капитала, повышает их и без того баснословные барыши.

В условиях социализма всякое полезное начинание, возникающее по инициативе передовых людей, находит живой отклик и всемерную поддержку не только в том кол-



лективе, где появилось на свет. Оно быстро распространяется и совершенствуется в родственных производствах, а подчас переносится и на многие другие отрасли народного хозяйства.

Широкую популярность приобрели в СССР новаторские методы и приёмы труда скоростников обработки металла, сталеварения, бурения нефтяных скважин, инициаторов комплексной экономии материалов и других средств производства, зачинателей борьбы за образцовый порядок и чистоту на производстве.

Но этим ещё не исчерпываются возможности социалистической системы превращать экономический эффект, полученный на одном участке, в крупную выгоду для всего хозяйства. Планирующие органы, основываясь на опыте передовиков производства, вносят в нормирование расхода материальных ресурсов соответствующие коррективы.

Достигнутые новаторами производства показатели лучшего использования оборудования и расходования материалов позволили предусмотреть в планах материального снабжения на 1949 — 1952 годы сокращение расхода проката чёрных металлов почти на три миллиона тонн, топлива — более чем на сорок миллионов тонн, электроэнергии — на восемь с лишним миллиардов киловатт-часов, леса — более чем на четырнадцать миллионов кубометров и так далее.

Нетрудно представить себе, что дала стране такого рода экономия ценных материалов.

Бесспорно, многое сделано и делается для того, чтобы повысить рентабельность нашего производства, строительства, транспорта. Однако возможности, которыми располагают советские люди, так безграничны, а преимущества социалистической системы столь велики, что максимальное использование их во всех звеньях общественного производства может дать значительно больший эффект, нежели тот, которого мы пока достигли.

Возьмём, например, резервы роста производительности труда. Можно ли сказать, что из имеющейся первоклассной техники выжато всё, до отказа? Конечно, дело обстоит далеко не так.

На ряде предприятий, особенно на машиностроительных заводах, универсальные токарные, фрезерные и сверлильные станки используются на 80 процентов, а такое дорогостоящее, высокопроизводительное оборудование, как молоты, прессы, агрегатные и другие уникальные станки, — всего лишь на 10—20 процентов.

То же можно сказать и в отношении первоклассной техники, которой оснащена угольная промышленность. В некоторых шахтах комбайны, врубовые и другие машины подчас находятся в работе не более половины времени. Понятно, что это ведёт к невыполнению планов и удорожанию добычи угля. Между тем в текущем пятилетии лишь за счёт лучшей эксплуатации шахт и их оборудования угольные бассейны должны получить 25 процентов всего запроектированного пятилетним планом прироста добычи угля. Только на этом количестве топлива промышленность, транспорт, коммунальное хозяйство городов страны смогут в 1955 году работать почти целый месяц.

Повышение производительности труда в текстильной промышленности всего на один процент может дать в текущем году примерно 55 миллионов метров хлопчатобумажных и около 2,5 миллиона метров шерстяных тканей.

Большие перспективы в смысле экономии открывает такое полезное дело, начавшееся в нашей стране, как снижение веса выпускаемых машин путём облегчения деталей, узлов. Сколько это высвободит металла для нужд народного хозяйства, не говоря уже о других экономических эффектах, которые могут дать машины, более лёгкие по весу!

Можно привести немало примеров использования внутрипромышленных резервов, которое сулит огромные выгоды. Они есть на каждом предприятии, о них знают производственники. Но, к сожалению, эти резервы нередко остаются без внимания. Между тем, только улучшение раскроя листового проката, оказывается, может дать в ближайšie два-три года более 300 тысяч тонн сэкономленного металла лишь на заводах автомобильной и тракторной промышленности, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. А этого количества металла хватило бы на оборудование гидроге-

нераторами шести таких крупнейших электростанций, как строящиеся Куйбышевская и Сталинградская ГЭС.

Соревнование за скоростное вождение тяжеловесных поездов получило широкое распространение на железных дорогах. Но ведь можно ещё больше поднять грузооборот, увеличить пропускную способность железнодорожного транспорта, снизить себестоимость перевозок.

Стоит только повысить вес каждого поезда на один процент, и это, кроме ускорения продвижения грузов, позволит сэкономить по всей сети железных дорог свыше 90 миллионов рублей в год. Ещё пример: если суточный пробег локомотивов повсеместно увеличить всего на пять километров, то это даст около 100 миллионов рублей экономии. Железнодорожникам есть о чём подумать, заботясь о государственных интересах.

Велики возможности, заложенные в колхозном строе. Но нынешний уровень производства сельскохозяйственной продукции ещё не соответствует возросшей технической оснащённости нашего сельского хозяйства.

От колхозников, работников МТС и совхозов требуется много инициативы, чтобы успешно решать задачи, поставленные перед ними сентябрьским Пленумом Центрального Комитета КПСС. Хозяйская забота о рационализации производства, экономии и бережливости и здесь должна сыграть свою роль.

Известно, например, что озимые культуры занимают исключительно важное место в хлебном балансе страны. Если колхозы и совхозы, умело применяя агротехнику, добьются повышения урожайности озимой пшеницы и ржи, скажем, на два-три центнера на каждом гектаре, то валовый урожай зерна в СССР возрастёт на сотни миллионов пудов.

Только замена старых сортов семян более урожайными увеличит валовый сбор зерна в стране на 150—200 миллионов пудов в год. Переход от обычных сортов подсолнечника к новым, высокомасличным может дать населению дополнительно около 70 тысяч тонн масла.

Значительный рост урожайности и большую экономию трудовых затрат получают колхозы и совхозы при посадках картофеля квадратно-гнездовым способом. В колхозе «Вперёд к коммунизму», Раменского района, Московской области, используя этот способ, овощеводы затратили на посадку и обработку картофеля только 1,6 человеко-дня на один гектар, тогда как при рядовой посадке на это уходило более 30 человеко-дней. В 1952 году в том же колхозе урожай картофеля, посаженного квадратно-гнездовым способом, составил 167 центнеров с гектара, рядовая же посадка дала 80 центнеров. Значит, есть реальная возможность увеличить сбор картофеля в стране на многие миллионы центнеров в год. Между тем квадратно-гнездовая посадка картофеля пока что применяется всего на площади, составляющей менее 10 процентов общей площади, занятой этой культурой.

Велики резервы и на наших стройках.

Если каждый каменщик, плотник, столяр, арматурщик поставит перед собой задачу уменьшить потери, не допускать перерасходов материалов, экономить государственные средства — колоссальные суммы могут сохранить государство строители.

Неправильно считать, как это свойственно некоторым нашим хозяйственникам, неиспользованными резервами производства главным образом лишь явные потери, на устранение которых и надо, мол, обращать больше всего внимания. Конечно, борьба с потерями, как и со всякого рода излишествами, должна вестись в каждом хозяйстве. Однако под резервами нужно понимать такие ещё не выявленные возможности социалистического производства, которые позволяют сделать больше, дешевле и добротнее по сравнению с тем, что было вчера. Следовательно, нерушимым правилом каждого производства, хозяйства, строительства, каждого организатора, руководителя и исполнителя должны стать постоянные поиски новых, более производительных методов и приёмов труда, совершенствование технологического процесса и организации работы.

### СЛАГАЕМЫЕ БОЛЬШИХ ВЕЛИЧИН

Чтобы хозяйствовать экономно, вести производство рентабельно, надо уметь считать каждую советскую копейку, памятуя, что «копейка рубль бережёт». А при нашей плановой социалистической системе малая величина, сбережённая на любом рабочем месте, на каждой единице продукции, превращается в итоге в миллионы рублей в целом по стране.

Поятно, речь идёт не только о безукоризненно точном учёте денежных доходов и расходов во всех звеньях народного хозяйства. Мы не имеем права пренебрегать граммом металла или пряжи, болтом, гайкой или гвоздём, минутой рабочего времени или простоя машины. Всё стоит денег. И очень больших, если принять во внимание размеры нашего общественного производства.

Рентабельность социалистического хозяйства в первую очередь зависит от снижения стоимости промышленной продукции, стоимости строительных работ, сокращения издержек производства и обращения.

Себестоимость — важнейший экономический показатель, характеризующий качество всей производственной деятельности предприятия, стройки. В промышленности себестоимость — это денежное выражение всех фактических затрат предприятия на единицу продукции: тонну угля или стали, метр ткани или пару обуви, машину или отдельную её деталь и т. п. Снижение себестоимости — главный источник социалистических накоплений.

Государство имеет громадную экономию от тех предприятий, которые работают рентабельно, дают прибыль. В 1952 году, например, только от снижения себестоимости промышленной продукции экономия составила более 46 миллиардов рублей. Огромная сумма! Почти столько расходуется по государственному бюджету на школы всеобщего обучения, здравоохранение и физическую культуру.

Выгода, образовавшаяся от снижения себестоимости продукции, складывается из малых величин. В самом деле, удешевление себестоимости каждой тонны добываемого в стране угля, скажем, на 10 копеек даст, по крайней мере, 32 миллиона рублей прибыли в год. Гривенник может превратиться в десятки миллионов рублей!

Но не везде и не всегда у нас привыкли задумываться над экономией, учитывая масштабы всего государства. Не редки случаи, когда кое-кто из хозяйственников плохо заботится об интересах того хозяйства, руководить которым ему доверил народ.

Многие шахты не выполняют плана снижения себестоимости добычи угля, работают с убытком.

Почему это происходит?

Главная причина высокой себестоимости продукции — невыполнение планов роста производительности труда. Советская угольная промышленность оснащена прекрасной техникой. В шахтах уже почти нет машин довоенной конструкции. Все они заменены новыми, более производительными. Подчас, однако, из-за неумелого использования, плохого обращения или технических неполадок машины и механизмы простаивают. Хромает и организация труда в горных выработках и забоях. Так, на шахтах комбината «Молотовуголь» в середине 1953 года в работе находилось лишь десять процентов угольных комбайнов, немногим более четверти всех углепогрузочных машин. Можно ли говорить здесь о повышении производительности труда, прибыльности предприятия!

Другая картина в шахтах, где организация работы и использование техники поставлены хорошо. Поэтому и себестоимость добычи там снижается и прибыли растут. В прошлом году на уральской шахте имени Ленина треста «Кизелуголь» каждая тонна угля обходилась на 2 рубля 35 копеек дешевле, чем предусмотрено планом. За счёт этого было получено только за семь месяцев 1 миллион 237 тысяч рублей экономии. Горняки шахты достигли таких успехов потому, что освоили технику, внедрились график цикличности, применяли скоростную проходку горных выработок и другие прогрессивные методы.

Как улучшить методы своего производства, повысить рентабельность — эти вопросы не могут не волновать коллективы советских предприятий.

Горьковский автозавод имени Молотова систематически даёт государству прибыль. Себестоимость продукции в 1952 году снижена на 16,2 процента при плановом задании в 15,9 процента. Этот на первый взгляд незначительный прирост, исчисляемый десятками долями процента, приносит предприятию миллионы рублей сверхплановой прибыли. Образуется же она опять-таки за счёт повышения производительности труда, снижения материальных затрат на производство автомобилей и другой продукции завода.

Экономический эффект творческого новаторства рабочих и специалистов автозавода имени Молотова весьма значителен. Интересны такие данные. В первом квартале 1953 года завод выпускал два грузовика марки «ГАЗ-51» за то же количество рабочего времени, которое требовалось в 1948 году на изготовление одной машины такого же типа. На производство легкового автомобиля «Победа» в начале 1953 года затрачивалось в три с половиной раза меньше рабочего времени, нежели пять лет назад. За минувшие четыре года себестоимость автомобиля «ГАЗ-51» снижена почти наполовину, а автомобиля «Победа» — ещё больше. Сверхплановая экономия, полученная автозаводом за два года и четыре месяца пятой пятилетки, достигла 37 миллионов рублей.

Кроме роста производительности труда, на снижение себестоимости продукции в большой степени влияет сокращение материальных затрат на производимую продукцию. Чем меньше против положенных норм затрачивается сырья, материалов, топлива, электроэнергии, тем дешевле обходится производство машин, металла, предметов потребления. Творческие искания наших новаторов-производственников и в этом направлении дают социалистическому хозяйству весьма ощутимый результат.

Экономной работе на производстве во многом помогает внедрение в цехах хозяйственного расчёта. На том же автозаводе имени Молотова хозрасчёт введён в цехах и на участках. Широко практикуется также индивидуально-бригадный хозрасчёт, в результате чего рабочие за один только год сэкономили путём бережливого расходования материалов, инструмента, топлива 15 миллионов рублей.

Поступления от промышленности, сельского хозяйства и других отраслей нашей экономики в 1953 году были запланированы в размере 86 процентов всех доходов государства. Значит, очень важно, чтобы каждая фабрика, завод, шахта, транспорт, стройка давали прибыль, были бы рентабельными.

Но пока что у нас есть ещё немало убыточных предприятий. Их убытки покрывались за счёт передовых, хорошо работающих предприятий. Конечно, это не создавало необходимых стимулов для увеличения накоплений, отрицательно сказывалось на росте государственных доходов. Как отмечалось на пятой сессии Верховного Совета СССР, убытки нерентабельных промышленных предприятий в 1952 году вылились в весьма чувствительный для советского бюджета ущерб — 16 миллиардов рублей. Сколько можно было бы на эти средства построить новых домов, санаториев, школ, клубов!

Всё ещё дорого обходится государству строительство. Строители значительно отстают от работников промышленности в смысле сокращения затрат на производство.

Не выполняют плановых заданий по снижению себестоимости работ многие машинно-тракторные станции. А ведь только при вспашке почвы, если удешевить стоимость каждого обрабатываемого гектара хотя бы на несколько копеек, за сезон можно получить по всей сети МТС миллионы рублей экономии.

Экономия на производстве, в строительстве, в любом общественном хозяйстве даёт наибольшие результаты тогда, когда она осуществляется комплексно, всесторонне. Недостаточно, скажем, всемерно заботиться только о повышении производительности труда и одновременно забывать о бережливом обращении с оборудованием или, добиваясь улучшения производственных процессов, не принимать мер к тому, чтобы сокращать нормы использования сырья, различных материалов, установленные на производство каждого вида продукции.

Целый комплекс мер помогает передовым предприятиям добиваться крупной экономии, умножать накопления.

Чтобы увеличить скорость прядильных машин на Барнаульском меланжевом комбинате, решено было улучшить прядомые свойства хлопкового волокна. Этого удалось достигнуть путём уменьшения количества электролитов в крашении хлопка сер-

нистыми красителями и изменения режима крашения. Крепость пряжи заметно повысилась, обрывность её снизилась в зависимости от окраски на 15—30 процентов. Выросла и скорость прядильных машин. Коэффициент использования оборудования в связи с этим повысился. После осуществления на комбинате ряда подобных мер увеличился выпуск продукции на том же оборудовании, сократились расход сырья и потери, что привело к значительному росту накоплений. В 1952 году предприятие имело около семи миллионов сверхплановых накоплений, и столько же было получено всего лишь за пять месяцев 1953 года.

Комплексная экономия на производстве внедряется также на 1-м Государственном подшипниковом заводе имени Л. М. Кагановича. Здесь только за счёт снижения припусков на токарную обработку сэкономили за год более миллиона киловатт-часов электроэнергии. Значительный эффект дал перевод токарного оборудования на скоростные режимы резания металла. В общей сложности на 1-м ГПЗ достигли за год экономии такого количества энергии, что её хватило бы для работы в течение трёх месяцев примерно девяти металлообрабатывающих предприятий средней мощности.

А вот что может дать комплексная, рациональная экономия сырья, например, на консервных заводах. Если лишь на 10 процентов повысить использование плодов для выработки высококачественных консервов, то это позволит во всей консервной промышленности дополнительно выпустить в год, по крайней мере, 20—25 миллионов банок компотов, соков и т. д.

Как и в других отраслях народного хозяйства, экономия на строительных площадках суммируется из малых, казалось бы незначительных, слагаемых. Каменщик треста «Киевжилстрой» Ф. Кравчук берегает на каждом кубическом метре кладки всего лишь четыре кирпича из четырёхсот, положенных по норме. Не снижая качества своей работы, он использует также и половинки кирпичей, аккуратно расходует раствор. Таким образом за год только один этот рабочий экономит столько кирпича, что это позволит тресту построить дополнительно два дома по три комнаты в каждом. Если бы все каменщики освоили методы работы Ф. Кравчука, сколько бы семей трудящихся смогли раньше отпраздновать своё новоселье в новых квартирах!

На любом предприятии неизбежны отходы производства. Это тоже дополнительные ресурсы, и хозяйственное применение их может сберечь много человеческого труда, сырья и материалов.

Иначе, как расточительством, нельзя назвать такое явление, когда металлический лом или отходы цветных металлов не используются для вторичной переработки, а разбрасываются по заводской территории, теряются по мелочам и нередко вместе с мусором вывозятся на свалки. В то же время, если по-хозяйски относиться к такого рода отходам, известная часть их с успехом могла бы пойти непосредственно в производство, в частности в цехах ширпотреба. Те же отходы пригодятся и на предприятиях местной кооперативной промышленности. Из небольшого куса алюминия можно изготовить какой-либо предмет домашнего обихода. Обрезок жести пойдёт на изготовление хотя бы корпуса карманного электрического фонаря либо детской игрушки.

Отходы пряжи, лоскутки тканей или куски кожи, остающиеся от текстильного, швейного и обувного производства, точно так же могут быть использованы для расширения выпуска товаров широкого потребления.

До сорока и более процентов лесоматериалов обычно идёт в отходы на деревообрабатывающих предприятиях, стройках. Пока сваленные в лесу деревья превратятся в готовые изделия, тысячи кубометров древесины, которая не является деловой, сгнивают, гнивают. Между тем отходы любой древесины служат сырьём для производства пластических масс. Заботливо сбережённая доска или кусок дерева всегда найдут себе применение.

В пищевой промышленности только при переработке сахара и спирта ежегодно образуется много кислого жома и барды. Этого количества отходов, оказывается, достаточно, чтобы откормить около трёх с половиной миллионов голов крупного рогатого скота на колхозных фермах, в совхозах и личных хозяйствах колхозников. Вот и ещё ресурсы, которые пока используются весьма недостаточно.

Овощеводческим колхозам и совхозам нужно топливо для парников, утеплённого грунта и обогрева теплиц. Нередко они испытывают недостаток в угле и дровах. А ведь для этих целей с успехом можно использовать пар и горячую воду — отбросы находящихся поблизости промышленных предприятий. И стоит это совсем недорого.

Именно так поступили инициативные люди в подмосковном колхозе имени 3-й пятилетки. Здесь построили теплицу площадью более тысячи квадратных метров, а для обогрева её применили отработанный пар теплоэлектроцентрали соседнего завода. Прокладка паропровода до колхозной теплицы длиной в пятьсот метров стоила примерно 100 тысяч рублей. Экономные хозяева подсчитали, что строительство котельной при теплице обошлось бы куда дороже — не менее 370 тысяч рублей. Да на отопительный сезон потребовалось бы, по крайней мере, триста тонн угля, не считая при этом расхода на обслуживание и текущий ремонт котельной. Расходы на постройку теплицы и паропровода уже в первый год оправдались реализацией колхозом выращенных ранних овощей.

Колхозники решили построить ещё девять теплиц и три тысячи парниковых рам. Колхоз сможет ежегодно выращивать до 400 тонн ранних овощей. Чтобы получить такое количество овощей в теплицах с котельными установками, пришлось бы сжигать каждый год три тысячи тонн угля.

Более рациональное использование отбросного тепла заводов и фабрик для тепло-парниковых хозяйств может значительно расширить производство овощей в пригородных колхозах и совхозах и увеличить их доходы.

Немало понапрасну пропадает бумажных отходов. А ведь из каждой тонны макулатуры можно изготовить почти столько же бумаги.

Потребление бумаги у нас с каждым годом возрастает. Увеличиваются и возможности её производства из отходов. Приведём такой, пусть несколько условный, расчёт. В Советской стране в учебных заведениях, на курсах обучается более 57 миллионов человек. Если предположить, что каждый из них в течение учебного года сдаст в утиль только одну использованную тетрадь, то наши бумажные фабрики из этого количества макулатуры смогли бы произвести столько бумаги, что её хватит примерно на десять миллионов учебников для начальных школ.

Сбором макулатуры в учреждениях, школах, у населения занимаются конторы «Главторсырьё» Министерства промышленных товаров широкого потребления. Этим же организациям поручено собирать у населения изношенную обувь, парфюмерные флаконы, использованные лезвия безопасных бритв и тому подобное. Очень нужное дело. Плохо, к сожалению, только то, что сборщики предпочитают сидеть в своих палатках, ожидая, когда им принесут бытовые отходы, вместо того чтобы самим пойти в дома и общежития, организовать сбор на месте. Большую помощь здесь могут оказать домоуправления, коменданты рабочих и студенческих общежитий, комсомольские и пионерские организации. Право, стоит поставить сбор утиля у населения более организованно и систематически, чем это имеет место сейчас.

Наши стремления экономить трудовые, материальные и денежные ресурсы в народном хозяйстве не должны идти во вред качеству выпускаемой продукции. Экономия и высокое качество продукции — понятия не только вполне совместимые, но и неизбежно друг от друга зависящие. Всё то, что производится на наших предприятиях, всё то, что строится в стране, предназначено самим трудящимся и делается только для того, чтобы народ жил ещё лучше.

Система социалистического хозяйства такова, что любая недоделка в чём-либо малом может превратиться в значительный ущерб подчас для всего государства. Пренебрежительное отношение к добротности выпускаемого изделия не может рассматриваться иначе, как недобросовестное, больше того — антигосударственное деяние.

А ведь нечего греха таить, есть ещё работники, которые считают для себя позволительным выпускать продукцию, выполнять производственное задание по такому, с позволения сказать, принципу: числом поболее, а качеством пониже — дескать, может, и обойдётся. Возможно, что при этом они получают даже и экономию, но грош цена такому «достижению». Малейший дефект, брак в работе всё равно скажется и

рано или поздно принесёт убыток значительно больший, чем та «экономия», какой добились горе-рачители у себя на производстве.

Бывает так не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, в строительстве. Скажем, директор МТС, чтобы достичь большей выработки на каждый трактор и сэкономить горючее, разрешает мелкую пахоту или откладывает начало весеннего сева до иссушения почвы. А о том, что будет в результате этого, какой вред колхозам принесёт такая работа, он и не подумал. Другой пример. Вот только что выстроили красивый дом, а при приёмке вдруг обнаружилось множество дефектов, порождённых спешкой, плохой работой. Сколько лишних денег придётся израсходовать для последующих переделок и доработок!

Трактористка Ольга Диброва из Гошанского района, Ровенской области, пишет по поводу низкого качества продукции Харьковского тракторного завода: «Мы получили два новых трактора «ДТ-54», причём один из них прибыл к нам на буксире, потому что на нём не оказалось жиклера карбюратора, а другой проработал всего три дня в поле и встал. Когда разобрали машину, то обнаружилось, что деталь, через которую поступает масло, просверлена лишь наполовину».

Сельскохозяйственные машины нередко простаивают самую горячую пору сева или жатвы из-за низкого качества машины запасных частей. Если бы машиностроители взяли на себя труд суммировать все эти простои и неполадки, происходящие по их вине лишь в сельском хозяйстве, то очевидно, что борьба за повышение качества продукции на многих заводах, снабжающих техникой колхозы и совхозы, значительно усилилась бы.

Вопрос о резком улучшении качества продукции приобретает особо важное значение в связи с организацией в стране крутого подъёма производства предметов народного потребления и более быстрого развития сельского хозяйства. Конкретные мероприятия, принятые в этом направлении Центральным Комитетом Коммунистической партии и Советским правительством, вызвали огромный подъём творческой энергии работников всех отраслей народного хозяйства.

За последнее время на ряде предприятий возникли новые методы работы без брака и потерь. Завязалось соревнование за выпуск исключительно высококачественной продукции. В обувной промышленности зародилось, например, соревнование за работу без переделок. Инициатором явилась московская обувница Лидия Савельева с фабрики «Парижская Коммуна».

В процессе производства обуви отдельные операции нередко выполняются рабочими неточно. Конечно, все изъяны выявляются, и обувь с конвейера возвращается на переделку. Это дорого обходится предприятию, так как задерживает выпуск продукции, повышает её себестоимость. Примечательно, что на фабрике переделки издавна считались неизбежным злом. Для исправления наиболее сложных дефектов в бригадах имеются даже специальные мастера-починщики. И всё же качество обуви оставляло желать много лучшего. Достаточно сказать, что лишь за пять месяцев 1953 года фабрика «Парижская Коммуна» получила 400 рекламаций на свою продукцию.

Но возможно ли избежать в обувном производстве переделок? Оказалось, что это вполне реально. Пример показала бригада Л. Савельевой. Передовики производства сумели обойтись без починщика и всю продукцию сдают в технический контроль без дефектов. Их примеру последовали другие бригады и цехи. Переделки на фабрике теперь уже перестали считать «законным» явлением.

Безукоризненное выполнение задания на одной операции сокращает затраты труда при последующих процессах и, таким образом, способствует повышению производительности труда на всех участках производства, устраняет брак.

Улучшение качества продукции зависит не только от рабочих, непосредственно занятых её изготовлением. Большое значение имеет доброкачественность сырья и материалов. Сказывается также и организация работ на предприятии, точно отработанная технология, замена устаревших технических условий новыми и т. д. Вот почему придётся ещё немало поработать нашим конструкторам, технологам, заводским лабораториям, научным учреждениям, чтобы потребитель получил от предприятия отличную

вещь. Речь идёт, конечно, не только об улучшении внешнего вида и отделки товаров, важно самое главное — добротность и прочность. Эти качества любого изделия удлиняют срок его службы и, следовательно, сберегают много труда в народном хозяйстве.

Время — важный фактор во всяком производстве. К. Маркс писал: «К экономии времени сводится в конечном счете вся экономия»<sup>1</sup>.

Предотвращать потери времени в цехах промышленного предприятия на строительной площадке или на полях колхозов — это прежде всего заботиться о том, чтобы станки, машины, механизмы были в порядке, действовали безотказно. Кажется, элементарная истина, и всё же не всегда так бывает на деле. Много дорогого времени теряется чаще всего из-за неполадок и неисправности в оборудовании. Причины — в первую очередь несвоевременный профилактический ремонт, а порой и технически малограмотный уход за машинами.

На многих машинно-тракторных станциях, например, простые части тракторов и других машин на полевых работах вызваны именно этими обстоятельствами. Кое-где положение усугубляется также и неумелым владением техникой. Минувшим летом в Томской и Тюменской областях во второй декаде июля каждой тракторной сенокосилкой было убрано в среднем лишь по 0,7 гектара. Это же меньше того, что в состоянии скосить хороший косарь вручную!

Немало теряется зерна во время уборки урожая и транспортировки. А ведь общую сумму урожая мы должны считать не по тому, что выращено, а по тому, сколько собрано и сложено в закрома. Частенько бывает так: после уборки комбайном на скошенном поле остались колоски, много колосков. Если на одном квадратном метре жнивья их можно насчитать всего лишь два-три, то на гектаре будет уже двадцать-тридцать тысяч штук. Значит, колхоз потерял явных два-три пуда хлеба с каждого гектара. А сколько таких потерь может быть по всей стране?

Бережливые хозяева в колхозах обычно организуют сбор оставшихся на поле колосьев. Но подбирать их вручную — дело очень трудоёмкое. Смекалистые механизаторы находят иные способы. Например, братья Манич, комбайнеры Ракитнянской МТС, Киевской области, сконструировали трёхсекционные грабли, работающие в прицепе за комбайном. Это нехитрое приспособление позволяет собрать со скошенного поля почти все колоски. Если рационализаторы и других машинно-тракторных станций придумают за зимний сезон нечто подобное, то уже в этом году можно будет получить дополнительно немало зерна.

Когда мы говорим о сбережении общественного труда в масштабах всего общественного производства, стоит вспомнить о дальнейшей рационализации работы наших учреждений, строительных управлений, контор и прочих организаций. Партия и государство систематически улучшают и удешевляют советский управленческий и хозяйственный аппарат. Но разве этим полезным для общества делом не должны постоянно заниматься и сами работники аппарата? Заниматься настойчиво и плодотворно, так же, как рабочие и инженерно-технический персонал промышленных предприятий неутомимо трудятся над рационализацией своего производства. Всё-таки массу времени и труда отнимает ещё громоздкая переписка, долгие согласования вопросов. Подчас затевается длинная канцелярская волокита по пустяковому поводу, а если взять на себя ответственность, то решить дело можно за несколько минут. Нельзя забывать, что малейшая затяжка разработки планов, проектов, смет, технических условий отрицательно отражается на выполнении производственных планов, государственных заданий во всех отраслях нашего обширного народного хозяйства.

Из бесчисленного множества больших и малых дел складывается экономия в нашем социалистическом производстве. И чем больше мы будем распознавать возможные элементы бережливости, овладевать методом социалистического хозяйствования, тем больше принесём пользы государству, народу.

<sup>1</sup> «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, стр. 119.



## О ВОСПИТАНИИ БЕРЕЖЛИВОСТИ

Коммунистическая партия повседневно воспитывает в сознании трудящихся чувство общественного долга, подлинно коммунистическое отношение к труду, к социалистической собственности. Характерными чертами советского человека стали бережливое отношение к народному добру, патриотическое стремление приумножить общественное богатство, производить не только больше продукции, но и добиваться, чтобы эта продукция была добротной, чтобы стоила она дешевле.

Ещё двадцать лет назад, в статье «О старом и новом человеке», А. М. Горький писал: «У рабочего, который чувствует себя хозяином производства, естественно, развивается сознание его ответственности перед страной: это сознание заставляет его стремиться к улучшению качества продукции, к снижению её стоимости». Справедливость этих слов подтверждается всей советской действительностью. В нашем народе прочно укрепилось чувство полновластного хозяина своей страны, обладателя всех средств производства огромного социалистического хозяйства.

Но есть ещё в советском обществе люди, которые не дорожат народным достоянием, относятся к государственной и кооперативно-колхозной собственности с гораздо меньшей заботливостью, нежели к своему личному имуществу. Есть и такие, кто работает с холодком, не болеет душой за своё производство, за порученное дело. Немало общественного добра пропадает из-за бесхозяйственности, небрежного хранения, халатного обращения, а то и просто расточительства.

Воспитание советского человека в духе коммунистической сознательности у нас начинается с малолетства, в семье и школе. Первые наставники подрастающего поколения — родители и учителя. На них возложена обязанность постоянно внушать детям, подросткам, почему нужно бережно обращаться с социалистической собственностью, будь то школьная парта или библиотечная книга, общественное имущество в коммунальном доме или колхозная собственность. По правде же говоря, в этом большом и по-государственному важном деле есть очень много пробелов: такого рода внушения делают ребёнку редко, в большинстве случаев уже после совершившегося проступка, или неубедительно, неумело. Достаточно ли часто, как это необходимо, поднимаются эти вопросы дома, в семье, обсуждаются в школьной или пионерской среде? Вряд ли. Здесь много ещё должен поработать и комсомол.

Надо, чтобы повсюду на производстве велась систематическая, вдумчивая и терпеливая работа по воспитанию бережливости, и в первую очередь среди молодёжи. Тысячи молодых рабочих ежегодно приходят в цехи фабрик и заводов, на шахты, рудники и в железнодорожные мастерские, становятся механизаторами сельского хозяйства. И как важно на первых же порах научить их экономному использованию сырья и материалов, правильному уходу за оборудованием. Представляется, что профсоюзным организациям стоит уделить больше внимания этому. Ведь на производстве бывает немало потерь, в особенности рабочего времени, потому, что ещё неопытный работник не умеет как следует обращаться со станком, портит материал, инструмент.

Воспитание бережливости не может идти успешно без борьбы с расхлябанностью, неряшливостью. Строгая трудовая дисциплина, чёткое выполнение заданий, чистота и порядок на рабочем месте — без всего этого не поднимешь производительности труда, не добьёшься экономии и высокого качества продукции. Везде ли у нас поставлено так дело? Пока что далеко не везде.

Хорошее техническое состояние и полное использование мощности оборудования зависят в очень большой степени от технических знаний. Рост культурно-технического уровня рабочего повышает качество выполняемой им работы, будет способствовать рациональному использованию всех средств производства.

Несколько лет назад на подмосковной Купавинской тонкосуконной фабрике был разработан трёхлетний план повышения культурно-технического уровня рабочих. Свыше двух тысяч текстильщиков прошло индивидуальное обучение, школы новаторов и различные производственно-технические курсы. Около тысячи человек получило среднее образование в вечерней школе рабочей молодёжи, многие учатся в техникуме и институте. Планомерная организация учёбы помогает коллективу фабрики совершен-

ствовать технологию производства, улучшать качество продукции, снижать её себестоимость. Среди ткачих, прядильщиков, отделочников и работников других профессий нет ни одного, кто не справлялся бы с нормами. Фабрика выпускает шерстяные ткани высокого качества. Свыше 99 процентов всей готовой продукции идёт первым сортом. На 1953—1956 годы купавиццы разработали новые мероприятия по дальнейшему повышению культурно-технического уровня рабочих и работниц.

Забываясь о наибольшей рентабельности своего производства, администрация, партийные и профсоюзные организации передовых предприятий стремятся вовлечь как можно больше рабочих и служащих в активную борьбу за экономию, повышение производительности труда и лучшее качество продукции. Для этого организуются кружки или курсы по изучению экономики производства, создаются «школы экономии». На Горьковском автомобильном заводе имени Молотова, например, в таких школах за последние четыре с половиной года прошли обучение и получили основы экономических знаний 13.700 работников автозавода.

Наши усилия и старания по-хозяйски беречь и с толком использовать средства и труд будут иметь большой успех при условии твёрдого соблюдения финансовой дисциплины, точного выполнения всех требований социалистического учёта. Частенько досаждают на придирчивую точность бухгалтеров, требующих подробнейшего отчёта в израсходовании каждой копейки, не разрешающих тратить государственные и общественные деньги не по назначению. Работники бухгалтерии — верные стражи народных средств, и к их работе следует относиться с большим уважением, чем это порой имеет место.

Социалистическое хозяйство с его общественной собственностью на средства производства — громадное и сложное дело. В него вовлечены миллионы людей, кровно заинтересованных в максимальной продуктивности своего труда, в выпуске отличных по качеству изделий.

Хочется в связи с этим сказать о значении пропаганды экономических знаний, достижений науки и передового опыта в различных отраслях народного хозяйства. Миллионы советских людей — производителей материальных ценностей — с жадностью читают книги, брошюры, газетные или журнальные статьи, слушают радиопередачи, лекции по этим вопросам. Читатели и слушатели хотят научиться работать лучше, производительнее, используя все возможности нашего прогрессивного строя, все резервы социалистического производства. К сожалению, подобные материалы излагаются чаще всего сухо, начётнически, без доходчивых комментариев, без приведения доводов и примеров, которыми так богата наша действительность. Плохо показываются жлые люди — передовики, рационализаторы, примеру которых должны следовать все. Поэтому снижается и популярность столь нужной литературы.

В пропаганде экономических знаний, передового опыта хозяйствования мы должны руководствоваться указанием В. И. Ленина: «Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства...»<sup>1</sup> Только при этом условии можно помочь каждому рабочему и колхознику лучше овладеть методом социалистического хозяйствования, работать продуктивнее, приумножать общественное богатство в интересах удовлетворения растущих потребностей народа, укрепления мощи нашей великой Родины.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 386.



ОЛЕГ НАКРОПИН

★

## УГРОЗА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### *Настоящее и прошлое.*

**С**реди 365 вечеров минувшего года не было такого, когда люди в Европе легли бы спать с ощущением полной уверенности в завтрашнем дне. Простые слова «покойной ночи» были больше, чем только формулой вежливости,— в них содержалось пожелание, чтобы сон близких не нарушался. наконец навязчивой мыслью о том, что ни днём, ни ночью не прекращается язг машин на военных заводах и работа в тиши атомных и бактериологических лабораторий, что военные инженеры выскивают площадки для строительства новых аэродромов и ротационные машины каждое утро выбрасывают миллионы экземпляров газет, открыто или замаскированно призывающих к недоверию, вражде и войне. И особенно в последние месяцы, после западногерманских выборов, дневной труд и ночной отдых европейцев отравлены мыслью о том, что снова поднимает голову германский милитаризм.

Выборы в Западной Германии состоялись 6 сентября 1953 года. Уже в дневных изданиях 7 сентября пресса Соединённых Штатов, а вместе с нею и многие газеты во Франции и Англии принялись изображать их результаты как «победу умеренности». Крайние — левые и правые — потерпели поражение,— пыталась официальная пресса успокоить западноевропейскую общественность, встревоженную реваншистским разгулом в Западной Германии. Если коммунисты вовсе лишены теперь мандатов, то не добились мест в парламенте и созданные за последнее время нацистские группировки вроде «имперского блока», а такие откровенно реваншистские партии, как, например, «немецкая», потеряли значительное число голосов. Осталась, мол, «золотая середина» — Аденауэр с его христианско-демократическим союзом, который на выборах собрал 45 процентов голосов и будет располагать в новом бундестаге большинством. Зато вместе со своими союзниками он ещё легче, чем прежде, сможет противопоставить социал-демократической оппозиции регулярное парламентское большинство в две трети. Есть якобы все основания испытывать удовлетворение, убеждали газеты европейцев.

Но наступил вечер этого же 7 сентября, ещё не минуло и суток после того, как закрылись двери пунктов для голосования, ещё не во всех округах закончился подсчёт голосов,— а из Бонна уже следовали иные сообщения. Факельное шествие по улицам западногерманской столицы. Первое заявление Аденауэра после выборов. Аденауэр намерен добиться ратификации парижского договора западноевропейскими парламентами. Федеральный канцлер требует насильственного «освобождения» Восточной Германии. Конрад Аденауэр поёт «Гимн Германии» — „Deutschland, Deutschland, über alles!“

Клика Аденауэра, не связанная больше необходимостью заботиться о голосах западногерманских избирателей и об общественном мнении в других западноевропейских странах, спешила изложить свою действительную программу. В предвыборный период Аденауэр старался уверить население Западной Германии, а также англичан, французов и всех людей на западе Европы, что, во-первых, он никогда не посягнёт на чью бы то ни было безопасность, а всегда будет хранить верность идее «объединённой Европы», и что, во-вторых, он отнюдь не противник переговоров, взаимопонимания и мир-

ного воссоединения страны, каким рисуют его всякие недоброжелатели... Теперь выборы были позади, миновал период предвыборной риторики. Пользуясь немецкой поговоркой, можно было сказать, что Аденауэр выпустил кошку из мешка. Стать гегемоном в Западной Европе, заставив прежде всего Францию ратифицировать договор о «европейской армии», то есть вынудив её согласие на формирование западногерманских дивизий, — такова была, по сути, внешнеполитическая часть изложенной Аденауэром программы. «До сих пор всё время говорили о воссоединении Германии. Теперь этому конец. Теперь мы должны говорить об освобождении восточной зоны», — в таких словах он сформулировал её внутригерманскую часть. Ещё в апреле, на предвыборном съезде христианско-демократического союза, заместитель Аденауэра Элерс восклицал, указывая на имперского орла в партийной эмблеме: вот что символизирует для нас Германию, «воссоединённую в условиях свободы»! А сам Аденауэр назвал себя «федеральным рейхсканцлером»...

Правда, вряд ли в Западной Европе оказалось много людей, наивных настолько, чтобы принимать за чистую монету благонамеренные речи Аденауэра, произносившиеся накануне выборов, и верить газетным комментариям о «победе умеренности». В слишком уж вопиющем противоречии находились эти речи и комментарии с фактами западногерманской действительности. Факты — такие, как лихорадочная деятельность многочисленных солдатских союзов, работа военного министерства, известного под названием «ведомство Бланка», реваншистская провокационная вылазка 17 июня против Германской Демократической Республики, — уже тогда порождали тревогу. Теперь, после выборов, первое публичное выступление Аденауэра со всею мыслимой убедительностью подтвердило, что тревога не была напрасной, что Западной Германией действительно правит клика реваншистов, отличающихся от открытых нацистов лишь большим искусством маскировки и потому ещё более опасных. В памяти ещё слишком свежи сообщения о таких же факельных шествиях в 1933 году, когда реакция ликовала по поводу прихода к власти Гитлера. Так и теперь ликовали только те, кто заинтересован в сохранении господства милитаристской клики и в возрождении такой Германии, которая продолжала бы давнюю зловещую традицию прусской военщины.

Ещё в 1770 году Берлин, из которого Фридрих II «Великий» правил прусским королевством, показался знаменитому итальянскому поэту Альфиери «омерзительной огромной казармой». Ещё отец этого короля, Фридрих-Вильгельм I, тратил на военные нужды шесть седьмых прусского бюджета. Недаром известный деятель французской буржуазной революции конца XVIII века Мирабо говорил: «Война — это национальный промысел Пруссии». В XVIII столетии Фридрих в течение полутора десятков лет дважды вторгался на чужую территорию (в Силезию в 1740 году, в Саксонию в 1756 году). В XIX веке Бисмарку понадобилось всего каких-нибудь шесть лет для развязывания трёх войн (против Дании в 1864 году, против Австрии в 1866 году и против Франции в 1870 году). После того как Германия, обретя, по выражению Маркса, «свое единство в прусской казарме», стала «рейхом», империей, она в XX столетии дважды становилась поджигателем мировых военных пожаров. И если Фридрих всё-таки говорил, что нужны адвокаты, чтобы доказать его права на завоёванную землю, если Бисмарк старался всё-таки «представить собственные интересы как бы совпадающими с правом или подкрепить их юридической аргументацией», то в XX веке правители империалистической Германии отбросили все и всяческие фиговые листочки «юридической аргументации» и без каких бы то ни было околичностей провозгласили, что, кроме их «права» на мировое господство, вообще не существует никакого другого права. Именно в этот период апологеты «Великой Германии» объявляли, что «скромность с нашей стороны была бы идиотизмом».

Да и чего было скромничать? Всегда находились силы, которые так или иначе были заинтересованы в том, чтобы войны на европейском континенте по возможности не прекращались, и всегда прусско-германская военная каста пользовалась поддержкой этих сил. Для мирового империализма германская военщина стала подлинной находкой: развязать две такие войны на протяжении жизни одного поколения, организовать в течение короткого времени убийство 35—40 миллионов человек — это ли не лучшая услуга тем, для кого война — источник максимальной прибыли? После первой мировой войны

империалистические державы, прежде всего США, с 1924 и по 1931 год вложили в Германии или предоставили ей займы 25 миллиардов марок, позволив тем самым в несколько раз увеличить военные ассигнования и быстро восстановить прежний уровень военного производства. Они сквозь пальцы смотрели на создание миллионного «чёрного рейхсвера», они облегчили Гитлеру приход к власти, санкционировали в Мюнхене его захваты. Разве не было всё это прямым сигналом агрессивному германскому милитаризму: ты нам нужен, продолжай! Дай нам ещё раз эту «освежающую» войну, как назвал её Вильгельм II! Американским корпорациям, которые безмерно нажились уже на первой мировой войне, а за годы второй мировой войны увеличили свои прибыли в восемь раз, нужна давняя традиция милитаризма, на прекращение которой народы надеялись после разгрома гитлеровской Германии. И Аденауэр её продолжает, рассчитывая на могущественную поддержку и получая её. Поразительно, с какой почти буквальной точностью повторяет в наши дни один из руководителей боннского министерства иностранных дел, доктор Кауфман, слова фельдмаршала Гельмута фон Мольтке, произнесённые около восьмидесяти лет назад. «Вечный мир — это мечта и притом даже некрасивая», — говорил в 1874 году первый начальник имперского генерального штаба. «Война является необходимостью в международных отношениях, и никакой арбитраж никогда не сможет и не должен пытаться её устранить». — такую концепцию проповедует сегодня боннский статс-секретарь. И в том, что эта концепция в её наиболее наглом и неприкрытом проявлении, в её, так сказать, прусской формулировке находит всяческое поощрение заокеанских империалистов, — в этом и боннская клика и весь мир могли убедиться в течение всех послевоенных лет и в последние месяцы особенно.

### *Снова вервольф и снова вермахт.*

Ещё во время войны, весной 1944 года, гитлеровский генеральный штаб получил самые недвусмысленные заверения, что правящие круги США окажут полную и всестороннюю поддержку будущему возрождению вермахта. Теперь эта история в стиле шпионских романов стала уже достоянием общественности. Весной 1944 года в Германии вдруг снова появился попавший ранее в Африке в американский плен майор Арнд Генрих фон Эртцен; он вернулся, к общему удивлению, в чине подполковника, в который, как оказалось, его произвели американские власти в лагере для военнопленных. По поручению командующего 3-й американской армией в Европе генерала Паттона он передал представителям германского генералитета, что они могут спокойно смотреть навстречу ставшему тогда уже вполне очевидным разгрому. 5 мая 1945 года — за три дня до капитуляции — тот же Паттон принял от Эртцена разработанные офицерами берлинской военной академии планы сохранения кадров нацистских вооружённых сил.

Волк-оборотень страшных сказок, кровожадный упырь, называется по-немецки «вервольф». Когда после первой мировой войны Сект, Гренер и прочие руководители германского генерального штаба, создавая чёрный рейхсвер, маскировали военные части под более или менее гражданские организации, они называли это «операцией вервольф». После второй мировой войны было решено «итти тем же самым путём, которым с таким успехом мы шли после 1919 года», как выразился гитлеровский генерал Штумпф.

И вот — лето 1946 года. По улицам города Герфорд в земле Северный Рейн — Вестфалия вразвалку идёт человек в ослепительных сапогах, в чёрной униформе гитлеровского танкиста. Фуражка с кантом, великолепная светлокоричневая португеза. На плечах — оберлейтенантские погоны.

Как могло быть такое в 1946 году? Ведь в Потсдамском соглашении торжественно провозглашено, что «все сухопутные, морские и воздушные вооружённые силы Германии, СС, СА, СД и Гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, включая Генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, организации ветеранов войны и все другие военные и полувойенные организации, вместе с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных традиций в Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или реорганизацию германского милитаризма и нацизма».

Господин обер-лейтенант усмехается. Плевать он хотел на Потсдам. Что ему за дело до искоренения германского милитаризма, когда он остался тем, чем был,— офицером вермахта. В 1946 году он попрежнему получает офицерское жалование в качестве сотрудника «штаба связи» № 346. Кроме него, в штабе работают ещё один офицер, военный врач и десяток унтер-офицеров. Штабу подчинены три-четыре роты по четыреста — четыреста пятьдесят человек в каждой, с ротным командиром и адъютантом во главе, с командирами во главе каждого взвода, с фельдфебелями, с дисциплинарным и караульным уставами, с гауптвахтой, с воинскими приветствиями, судом за дезертирство и всем прочим, что так радовало прусское сердце в добрые старые времена.

Как стояли гитлеровские полки и дивизии в Дании, в Шлезвиг-Голштинии или ещё где-нибудь на Западе, так они и остались в целости и сохранности. Никто и не подумал их расформировывать после 9 мая 1945 года. Единственно, что с ними произошло,— их, по приказу фельдмаршала Монтгомери, в то время главнокомандующего британскими войсками в Германии, переименовали — стали называть «вспомогательными частями при оккупационных войсках». В эти части «влили» военнопленных немцев, находившихся к моменту окончания войны в лагерях на бельгийской, французской, норвежской территориях. За два-три года численность «вспомогательных частей» достигла, по неполным данным, трёхсот тысяч человек.

Кроме «гражданских воинских частей», кадры вермахта сохранялись и сохраняются под вывеской полиции, или, лучше сказать, полиций, ибо их много: федеральная, общинная, промышленная, мобильная. «Эссенер тагеблатт» насчитала их в 1951 году семь. Обращает на себя внимание та поспешность, с которой формировались полицейские части. Министры иностранных дел США, Англии и Франции на своём нью-йоркском совещании официально разрешили Бонну создать «берейтшафтсполицай» — мобильную полицию. Это было в сентябре 1950 года, и уже в ноябре (через два месяца!), по данным французской печати, налицо были 87 тысяч «мобильных» полицейских — с автоматами, пулемётами, миномётами, броневедомостями, лёгкими танками и прочими вовсе не полицейскими атрибутами. Списки начальствующего состава, если бы в них указывались прежние звания нынешних полицейских, пестрели бы чинами «оберштурмфюрер эсэс», «гауптштурмфюрер», «штурмбаннфюрер», «оберштурмбаннфюрер»..

Пожалуй, наиболее курьёзным при этом новом вервольфе было не перевоплощение многочисленных фельдфебелей, лейтенантов и капитанов, гаупт-, обер- и просто фюреров в служащих «вспомогательных частей» и в полицейских, а то колдовство, при помощи которого переменили до поры до времени свою шкуру самые злые и крупные волки — верхушка вермахта. Их — генералов вроде Франца Гальдера, лично докладывавшего Гитлеру разработанный при его деятельном участии «вариант Барбаросса», и Кессельринга, расстрелявшего в Италии полторы тысячи мирных жителей,— судили за военные преступления и посадили в тюрьму и концлагери. Почти все они были приговорены к пожизненному заключению. Но оказалось, что тюрьма должна была послужить для них не мерой пресечения, не карой, а верным убежищем, так же как это когда-то случилось со знаменитым американским гангстером Аль Капоне, который рецид, что именно в тюрьме полиция его не станет искать, и дал арестовать себя за неуплату налога.

Как выглядели эти тюрьмы для нацистских военных преступников, описывает, например, корреспондент итальянской «Виа нуова», побывавший в городе Верль, где находится одна из них: «В тюрьме открыт офицерский клуб, обставленный мягкой мебелью. За столом генералам прислуживают два ординарца в чине унтер-офицеров, на столе фарфоровая посуда... Из соседних домов можно наблюдать, как фон Манштейн прыгает через верёвочку, чтобы сохранить стройность фигуры, а фон Макензен с моноклем в глазу поливает грядки», — тот самый Манштейн, который во время гитлеровского нашествия на Советский Союз отдавал приказы о расстреле военнопленных и гражданских лиц, о насильственном угоне советских людей в фашистское рабство, о превращении в «зону пустыни» советской земли, о массовом убийстве всех севастьяпольских евреев; тот самый Макензен, который так же вот, с моноклем в глазу, распорядился расстрелять итальянских заложников в Риме.

В Верле, в Ландсберге, в Гармиш-Партенкирхене и других уединённых уголках, сидя в мягких креслах и потягивая коньячок, узники занимались в тот период, как об этом доходили слухи, составлением мемуаров. Что ж, занятие вполне благопристойное!.. Чтобы было под рукой всё необходимое для литературных упражнений, лагеря и тюрьмы были, кроме фарфора и клубной мебели, оснащены стратегическими картами Востока и Запада, военными справочниками, документами. Так, не теряя времени, гитлеровские генералы по заданию исторического отдела американского военного министерства начали обобщать опыт проигранной ими войны, писали длинные исследования с тактике ночных боёв, об отступлении без потерь, о военных операциях в условиях зимы, о мерах, которые следовало бы, по их мнению, принять, чтобы впредь избежать поражения. «Библия для американского генштаба» — так назвал, по сообщению западногерманского журнала «Квик», пресловутый сенатор Маккарти плод литературных упражнений генерал-полковника Гудериана.

Это был инкубационный период нового вермахта. В те первые послевоенные годы рекомендовалось, по выражению адмирала Енча, «действовать наподобие капитана подводной лодки — плыть под водой до тех пор, пока не наступит момент для всплытия». И если уже тогда были возможны выходы, подобные прогулке гитлеровского офицера в полной форме по улицам города, то чего же было ожидать в дальнейшем?

### *Подводная лодка всплывает.*

В портовом датском городе Фредериксхавн, в северной части Ютландии, на берегу Каттегата, есть кладбище, на котором во время гитлеровской оккупации хоронили немецких солдат. 11 августа 1952 года в Фредериксхавне бросают якорь десять тральщиков. С них сходят на берег двести пятьдесят военных моряков, немцев. Они выстраиваются, церемониальным маршем, чеканя шаг, проходят через город к кладбищу и возлагают на могилы оккупантов венки с надписью: «Павшим товарищам».

Это уже прямая демонстрация германского милитаризма на территории другой страны.

Восстановим ещё некоторые факты. В августе 1948 года американский журнал «Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд рипорт» сообщил, что «военные эксперты США разрабатывают новую политическую линию, направленную на возрождение германских вооружённых сил». Через два месяца один из лидеров западногерманской социал-демократии, Карло Шмид, выступил с официальным предложением: надо сформировать немецкие войска, а чтобы ни у кого не возникало опасений, включить их в «систему коллективной безопасности» Западной Европы. Прошло ещё полгода — и в руках председателя «парламентского совета» Тризони Аденауэра уже находился разработанный штабным генералом Гитлера — Гансом Шпейделем — меморандум о превращении «вервольфа» в легальный вермахт. Ещё два-три месяца — и чуть ли не первым внешнеполитическим шагом Аденауэра на посту «федерального канцлера» сепаратного западногерманского государства было ходатайство о предоставлении Западной Германии права сформировать армию в рамках Северо-атлантического блока. Одного этого ходатайства и обнадеживающего ответа, который дали на него в Вашингтоне, было бы уже достаточно, чтобы утверждать: Западная Германия объявлена государством, «Германской федеральной республикой» с единственной целью окончательно похоронить решения Потсдама и обеспечить полную свободу ремилитаризации. Прошло немного времени, и была найдена «приемлемая» для Западной Европы форма ремилитаризации Западной Германии: включение немецких дивизий в некую «европейскую армию», которая, в свою очередь, войдёт в состав вооружённых сил Северо-атлантического блока.

К такому приёму — включению западногерманских дивизий в «наднациональную» армию наряду с французскими, итальянскими, бельгийскими, голландскими и люксембургскими дивизиями — прибегли для того, чтобы создать впечатление, будто новый вермахт не получит самостоятельности, будто он останется под усиленным контролем, который якобы не допустит несогласованных выступлений со стороны Бонна. Только так Вашингтонские политики могли надеяться получить в Западной Европе согласие на ремилитаризацию Западной Германии.

Что касается самих США, то американским правящим кругам было всё равно, в какой форме возрождается германский милитаризм. «Что касается нас, то нам безразлично, в какую армию будут входить немцы: в официально признанную или замаскированную европейскую армию или же в созданную по старому типу германскую армию. Только дайте нам эти дивизии, и с нашей стороны не будет никаких вопросов; такова наша позиция». Эти слова, которые вряд ли требуют каких-либо комментариев, были напечатаны в газете американских банкиров и промышленников «Чикаго дейли ньюс» 29 ноября 1951 года.

Излишне говорить, что такая позиция как нельзя более устраивала «капитанов подводной лодки». Примерно в то же время, когда чикагская газета выступила со своим требованием — в конце 1951 года, — бывшие эсэсовцы из личной охраны Адольфа Гитлера собрались для того, чтобы основать свой «Дружеский союз». Их главарь, штандартенфюрер Бехель, на этом сборище изрёк: «Скоро окончится период демократии и упадка. Мы знаем, что мы снова нужны. Вскоре мы опять наденем военную форму и, как это нам подобает, станем подлинными господами в государстве».

Не только высказывания заокеанских газет, но и действия американских властей в самой Германии давали эсэсовскому полковнику все основания ожидать возвращения «золотого века». Некто Лоуренс Уилкинсон, один из руководящих чиновников американской военной администрации в Западной Германии, очень точно охарактеризовал основной принцип американской оккупационной политики, воскликнув: «К чёрту демилитаризацию!» Едва «Германская федеральная республика» вылупилась из яичка Тризонии, тут же стали выползать из своих укрытий генералы и эсэсовские фюреры — и те, кто прыгал через верёвочку и поливал грядки на курортах за колючей проволокой, и другие, переживавшие «трудные годы» где-нибудь под знойным небом Аргентины. Амнистия следовала за амнистией, реабилитация за реабилитацией. Гальдер и бывший нацистский главнокомандующий в Бельгии фон Фалькенгаузен, Макензен и Манштейн, палач Бретани генерал Рамке и прославившийся зверствами в Греции генерал Андре, гитлеровский рейхспрессеф Дитрих и один из самых оголтелых проповедников теории «жизненного пространства» министр Вальтер Дарре, начальник штаба штурмовых отрядов Вильгельм Шепман, фельдмаршал Кессельринг и многие другие — вся банда нацистских разбойников оказалась на свободе и принялась основывать реваншистские союзы и объединения вроде «Зелёных дьяволов» (бывшие парашютисты), или «Африканских стрелков» (бывшие военнослужащие корпуса Роммеля), или «Добровольческого корпуса «Германия». Газета «Франс д'абор» уже года полтора назад насчитала тридцать шесть подобных организаций. Весною 1952 года был возрождён пресловутый «Стальной шлем», которым теперь руководит Кессельринг, заявивший по выходе из тюрьмы, что ближайшей своей задачей он считает «привитие солдатского мышления германскому юношеству».

В конце мая 1952 года собравшиеся в Бонне Ачесон, Иден, Шуман и Аденауэр подписали известный «общий» договор, возвращающий якобы Западной Германии государственный суверенитет, а в Париже министрами иностранных дел Франции, Италии, стран Бенилюкса и тем же Аденауэром был подписан договор о «европейском оборонительном сообществе» и «европейской армии». «Восемь лет назад генералы Гитлера были нашими противниками, ныне они наши союзники», — так изложил суть этих договоров радиокорментатор «Голоса Америки» Браун. Реваншисты увидели перед собой зелёный свет. Помня, что правящим кругам Америки всё равно, в какой форме восстанавливается вермахт, они тут же заявили, что не намерены считаться ни с какими ограничениями и своё участие в «европейской армии» рассматривают только как средство стать тем, чем они были во время второй мировой войны. «Включение немецких контингентов в европейскую армию даст нам возможность полностью восстановить прежнюю боевую мощь германских вооружённых сил», — так откликнулся на подписание договоров военный советник Аденауэра генерал Хойзингер, бывший начальник оперативного отдела гитлеровского генштаба. «Участие в европейской армии позволит Западной Германии через два-три года стать самой могучей державой в Западной Европе», — сказал председатель внешнеполитического комитета боннского бундестага Штраус.



Бывшие гитлеровские генералы ещё раньше изъявили желание «поговорить с Францией другим языком», подчёркивая, что для такого «разговора» Бонну нужно лишь 15—20 дивизий. Естественно, что прежде всего во Франции, а также и в других странах ратификация парижского договора встретила упорное сопротивление народа, и пример политического банкротства де Гаспери и Шумана показал, что в Западной Европе люди не намерены терпеть правительства, навязывающие им гегемонию боннских реваншистов под американским покровительством.

Только один парламент ратифицировал этот договор — аденауэровский бундсстаг, и тогда сразу же в Западной Германии начался такой разгул военщины, какого не было ещё во все послевоенные годы.

Если в 1951 году эсэсовцы только предвкушали то удовольствие, которое они получат, когда «окончится период демократии», то летом 1953 года генерал от инфантерии Штапф, один из ближайших подчинённых Кессельринга по «Стальному шлему», объявил коротко и ясно: «Хватит демократии! У ворот казармы она кончается». «Дейче зольдатентейтунг», официальный орган западногерманских солдатских союзов, с удовлетворением отмечала, что к военной клике «возвращаются её естественные функции в игре сил». Не проходило недели без двух-трёх реваншистских слётов и съездов. То эсэсовцы 22 июня «торжественно отмечали годовщину гитлеровского нападения на СССР, то военные моряки основывали в Киле свой «Союз», то встречались в Баварии десять тысяч гитлеровских горных стрелков, то собирались на «дружескую встречу» асы из авиаэскадрильи «Рихтгофен».

Если раньше «ведомство Бланка» выполняло функции военного министерства неофициально, то к 1953 году при нём был создан уже вполне официальный военный отдел с упомянутым генералом Адольфом Хойзингером во главе. Его восемь подотделов (военно-политический, военного планирования, общевойсковой, сухопутных сил, военно-воздушных сил, военно-морской, личного состава, вооружения и военного снаряжения) уже подобрали командиров, поделили Западную Германию на военные округа, подготовили законопроект о введении всеобщей воинской повинности, разработали уставы, избрали опорные пункты для военных кораблей и т. д.

В 1952 году в Западной Германии на вооружение работали, по данным американского верховного комиссара, 317 заводов. Бланк берётся теперь обеспечить промышленникам военные заказы на одиннадцать с половиной миллиардов марок ежегодно. Специальная американская комиссия, которая несколько месяцев тому назад объезжала западноевропейские страны и обследовала состояние военной промышленности, с особой похвалой отметила, что по темпам восстановления военно-промышленного потенциала Западная Германия занимает первое место.

Крупп через два часа по выходе из тюрьмы (он был амнистирован в 1951 году), потирая руки, сказал обступившим его корреспондентам: «Опять всё, как в старые времена». Действительно, как в старые времена, Крупп, Флик, хозяйка концерна «ИГ Фарбениндустри» получают долларовые кредиты на производство пушек и танков. Весною 1953 года переговоры о кредитовании германских военных фирм вёл в Бонне «сам» президент Банка реконструкции и развития Блэк, осенью с той же целью приезжал в Бонн управляющий «Чейз нэшил бэнк» Макклой. Прошлым летом правительство США потребовало включить в будущий американский бюджет расходную статью в 338 с половиной миллионов долларов на военную помощь Западной Германии.

«Вы — наша опора в Европе, без которой невозможна наша политика», — так сказал президент Соединённых Штатов Аденауэру, когда боннский канцлер ездил за океан. Демонстрация в Фредериксхавне в августе 1952 года была в известной мере символична. На кораблях, которые привезли туда немецких военных моряков реал флаг... Соединённых Штатов Америки.

### *По старой тропе.*

Бисмарк говорил: «Надо лишь усадить Германию в седло — поедет она уж сама». Основные вехи маршрута, по которому намерены «ехать» западногерманские милитаристы, оказавшись в седле «европейского оборонительного сообщества», уже наме-

чны. Они намечены при Аденауэре, этой «воплощённой умеренности», причём сам он принял в разработке маршрута самое деятельное участие.

Его министр Зеебом ещё осенью 1951 года, когда идея «сообщества» только оформлялась, заявил: «Не Германия должна включиться в Европу, а Европа должна соединиться с Германией». Другой его министр, небезызвестный Якоб Кайзер, счёл нужным подчеркнуть «необходимость воссоздания германского блока». «Я напоминаю вам, — говорил Кайзер, — что этот блок, помимо Германии, включает в себя Австрию, часть Швейцарии, разумеется, Саар и Эльзас-Лотарингию».

После насильственного захвата Германской Демократической Республики — это уже идея самого Аденауэра — следует создать «единый оборонительный пояс» из вассальных восточноевропейских стран; «пояс» этот, как можно было прочесть в близком аденауэровскому кабинету католическом еженедельнике «Курир», должен охватывать Польшу, Чехословакию, Венгрию, Румынию, Болгарию. Затем надо идти дальше на Восток «до самого Урала». Этому потребовал статс-секретарь боннского министерства иностранных дел Хальштейн, когда он весной 1952 года был в Вашингтоне. Несколькими днями позже Аденауэр авторитетно подтвердил: да, именно так. «Установление нового порядка на востоке Европы является целью моей политики».

На западе Европы Аденауэр предлагает ни больше ни меньше, как восстановить империю Карла Великого. Его духовник и друг кардинал Иозеф Фрингс, играющий при боннском канцлере роль «серого преосвященства», проповедовал это, в частности, на празднике католической молодёжи в Кёльне, подчёркивая, что за последнюю тысячу лет идея такой империи «никогда ещё не была так близка к воплощению, как ныне». Шесть европейских государств должны, по мысли Аденауэра, «раствориться» в этой возрождённой империи под духовным владычеством престола святого Петра и под светским главенством Германии как «прямой наследницы Священной Римской империи германской нации».

Существуют, конечно, и более современные планы. Например, бывший начальник гитлеровского генерального штаба, а ныне военный советник Аденауэра генерал Гудериан попросту предложил отодвинуть для начала границу Германии до линии Уаза — плоскогорье Лангр-Рона, то есть почти до Парижа. А потом можно будет «заговорить другим языком» и со всей остальной Западной Европой и «включить» всю западную часть материка до Марселя — Арля и до Гибралтара; таково, по крайней мере, мнение мюнхенского журнала «Атлантропа», который уже опубликовал проекты перестройки этих трёх городов (и Танжера в Африке) в соответствии с «немецким духом». «Освоение Чёрного континента» тоже входит в эти планы, причём здесь разработкой всех нужных мероприятий занялись такие специалисты, как Альфред Крупп и Ялмар Шахт. А в Сирии, например, уже довольно долгое время находится западногерманская военная миссия — вполне официальная военная миссия, начальник которой, полковник Крибель из штаба Роммеля, так ответил репортёру газеты «Висбаденер курир» на вопрос о своих задачах: «Мы стремимся высоко держать престиж нашего немецкого правительства и престиж германизма!»

Одним словом, тот самый маршрут, по которому намеревались отправиться ещё пангерманцы вроде Фридриха Наумана с его идеей «Срединной Европы» и «хозяйственной территории» от Гамбурга до Багдада. Этап за этапом. Гитлер, по свидетельству Германа Раушнинга, говорил: «Я буду двигать этапами». Он тоже имел в виду начать с «немецкого ядра» («блок» у Кайзера) — «мощного, твёрдого, как сталь, ядра». Вокруг «ядра», по Гитлеру, тоже создавалась система вассальных государств от Балтийского до Чёрного моря на Востоке («единый пояс» Аденауэра), а на Западе эта система включала в себя Францию, Бельгию, Голландию и т. д. Затем — «завоевание России до Урала»; следующий этап — «освоение Чёрного континента» и, наконец, учреждение «Новой Германии» в Латинской Америке и «оздоровление» США, которые Гитлер замышлял раздробить на несколько территорий.

И, как и в былые времена, под нынешние планы германской агрессии подводится всё та же шаткая база. Так же, как Гитлер, Аденауэр и его клика пытаются раздуть ненависть к Советскому Союзу и страх перед воображаемой «угрозой с Востока». Аденауэр, например, всерьёз «мотивирует» необходимость возрождения средневековых

империй тем, что целью их будет «священный крестовый поход против Востока» для искоренения «зародившегося там нового язычества, которое не даст покоя, пока не будет устранено».

Теперь, однако, после второй мировой войны, у антисоветской лжи ещё более короткие ноги, чем прежде. Теперь не так уж просто убедить англичанина или француза в том, что вот, мол, придут коммунисты, приведут медведей и установят общность жён, и для того-де, чтобы избежать этой ужасной перспективы, надо вооружать германский милитаризм. Не будет сильным преувеличением сказать, что именно такие представления о Советском Союзе пытается привить населению западная пропаганда. Но фиаско антисоветской клеветы, провал всей этой демагогии о германской военищине, как якобы «спасителе Европы от коммунистической угрозы», вынужден был, по существу, признать сам Джон Фостер Даллес, который минувшим летом заявил, что дело не в «угрозе», что цель создания «европейского сообщества» — «консолидация Европы». Он не сказал, правда, зачем понадобилась эта «консолидация», зато в Бонне, очевидно, очень хорошо представляют себе это.

Экономическая экспансия западногерманского империализма уже начинается. Осенью прошлого года представители «Союза предпринимателей» Западной Германии, в котором первую скрипку играют Крупп, Фриц Берг, Менне из «ИГ Фарбениндустри» и другие, передали Аденауэру меморандум, содержащий требования, выработанные ещё весной на съезде «Союза». Две сотни дельцов из тяжёлой промышленности Рура, банкиров, вроде Абса, и представителей боннских министерств изложили свою программу, «центрами тяжести» которой служат следующие четыре требования: завоевать капиталистический рынок, оттеснив прежде всего Англию и Францию; добиться вообще нового передела рынка; «улучшить инвестиционный климат» за границей; и, наконец, чтобы обеспечить финансовую базу для соответствующих мероприятий, добиваться долларовых кредитов. Весною аденауэровский министр экономики Эрхард открыто объявил торговую «войну не на жизнь, а на смерть» всем конкурентам, в первую очередь Великобритании. Насколько можно судить, монополии Западной Германии уже вытеснили Англию со многих её позиций. Особенно после турне Ялмара Шахта по странам Ближнего и Среднего Востока всюду — на берегах Нила и на берегах Ганга, в Иране и Турции, в Саудовской Аравии, в Конго, в Южноафриканском Союзе, даже в колониальных и зависимых странах Дальнего Востока — всё в большем количестве появляются западногерманские торговые агенты, экономические советники, представители гамбургских, рейнских, вестфальских фирм, инженеры, которые строят заводы, плотины, электростанции, которые продают, заключают сделки, открывают филиалы, выискивают возможности для новых и новых капиталовложений.

Пожалуй, наибольшую активность западногерманские монополии развили в Южной Америке. Торговая статистика послевоенных лет показывает: в 1946—1947 годах немецкой внешней торговли в этом районе земного шара практически не существовало, война свела её на нет. В 1951 году Западная Германия занимала третье место на южноамериканском рынке. В 1952 году — уже второе место непосредственно после США. Трёх лет было достаточно западногерманским монополиям, чтобы удесятить свои поставки странам Латинской Америки. Недаром даже «Нью-Йорк таймс» с тревогой констатировала: «Возрождающаяся западногерманская промышленность стала самым опасным конкурентом США на рынках латиноамериканских стран». И тревога была вполне оправдана. В первые месяцы 1953 года Западная Германия заняла во внешней торговле Аргентины первое место!

Парижская «Монд» следующим образом описывала методы, которыми пользуются западногерманские монополии в той же Аргентине: их агенты заранее сообщают в Бонн о ценах, по которым другие страны предлагают Аргентине свои товары, после чего западногерманские фирмы тут же предлагают те же самые товары по более низкой, подчас даже демпинговой цене. Экономический шпионаж, демпинг, пусть даже временный убыток — лишь бы обеспечить себе заказы, лишь бы пробиться вперёд.

Крупп, Клекнер, Маннесман, Симснс-Шуккерт и другие западногерманские монополии ведут в Бразилии, Чили, Перу, Уругвае крупное строительство. «Дейч-эюдэмериканише банк» снова раскинул сеть своих филиалов по всему континенту. А парал-

тельно с западногерманскими монополиями и в тесном контакте с ними в Южной Америке развивают бурную деятельность многочисленные местные организации германских нацистов. «Нейе цюрхер цейтунг» как-то сообщала, например, что в специальном книжном магазине в деловом центре Буэнос-Айреса можно приобрести всю фашистскую литературу — от «Майн кампф» до самой свежей.

Так обращиваются долларové кредиты. Всё более острые противоречия и в области экономики и в политической сфере — неизбежный спутник той поддержки, которую оказывает Бонну Вашингтон. В одном только клине братья по бизнесу: в том, что ничто не создаёт столь благоприятные «специфические конъюнктурные импульсы», как «ощущение острой военной опасности». Это писал не так давно западногерманский делец Отто Клеппер, финансист и в своё время прусский министр финансов, парижскому банкиру Анри Френэ. Ради того, чтобы это «ощущение», сохрани бог, не исчезло, а всемерно возрастало, — ради этого и ради вытекающей отсюда возможности получать наибольшую прибыль американские монополии оказывают германскому империализму, германской военщине, боннской реваншистской клике поддержку всеми способами.

За время своего правления в боннском государстве Аденауэр сумел показать себя своим заокеанским хозяевам с самой выгодной стороны. Этот семидесятисемилетний свояк Джона Шермана Цинсера, одного из директоров моргановского банкирского дома; этот человек, который после первой мировой войны оказывал кое-какие услуги самому Клемансо, пытаясь, в частности, основать сепаратную «Рейнскую республику»; который слал поздравительные телеграммы Муссолини и при Гитлере играл довольно-таки заметную роль; этот реваншист, умеющий, когда надо, прикинуться «умеренным», — оказался поистине мастером «холодной войны», могущим лучше, чем кто-либо другой во всей Западной Европе, поддерживать в людях «ощущение острой военной опасности». Ясно, что в сохранении Аденауэра заинтересованы все, кто делает ставку на гонку вооружений и на новые военные авантюры.

### **6 сентября 1953 года.**

Ещё в июне, когда в Вашингтон ездил статс-секретарь Аденауэра Бланкенхорн, он условился о деталях той поддержки, которую окажут Аденауэру на выборах Соединённые Штаты. По существу, целям предвыборной агитации служила уже апрельская поездка за океан самого Аденауэра, состоявшаяся непосредственно перед съездом христианско-демократического союза. Именно тогда Эйзенхауэр сказал ему, что опора американской политики в Европе. Боннского канцлера встретили с такой помпой, которая могла объясняться только желанием произвести впечатление на западногерманского избирателя.

Самая большая трудность, которую надо было преодолеть Аденауэру и его покровителям перед выборами, заключалась в том, что слишком уж он скомпрометировал себя как противник переговоров и взаимопонимания, как «человек прошлого, который упорно сопротивляется всякой новой перспективе», по замечанию «Монд», как канцлер раскола и «креатура холодной войны», по выражению лейбористского еженедельника «Трибюн». В Западной Германии тоже, конечно, прекрасно понимали (и не раз писали об этом в газетах), что политика Аденауэра и воссоединение страны мирным путём несовместимы, что до тех пор, пока эта политика будет продолжаться, не может быть осуществлено самое главное национальное чаяние немцев. Требовалось теперь всеми правдами и неправдами доказать, что чёрное — это белое.

Чтобы доказать недоказуемое, была пущена в ход самая грубая ложь, фальсификация и клевета; ни перед чем не остановились реакционеры, вплоть до провокации 17 июня. Изображая в своей пропаганде вылазку нескольких сотен оплаченных долларами бандитов из Западного Берлина в его демократический сектор как «восстание против тоталитарного режима восточной зоны», они старались посеять ненависть к Германской Демократической Республике и Советскому Союзу. Всячески разжигая эту ненависть, они пытались убедить общественность, будто переговоров не хочет «Восток», который-де «поймёт только один язык — язык силы». Опубликовав вашингтонское коммюнике, международная реакция принялась оперировать им как доказатель-

ством того, что «Запад» «не прочь начать переговоры», что всё дело спять-таки в «упорстве Востока», который якобы «противится свободным выборам во всей Германии».

Естественно, что людям, знакомым с принципами политики Советского Союза, знающим, что СССР последовательно выступает за скорейшее создание единой, независимой, миролюбивой, демократической Германии и заключение с ней справедливого мирного договора, такая аргументация должна была казаться, по меньшей мере, странной. Кто знает правду, тому сразу ясно, где ложь. Но в том-то и дело, что даже при Гитлере правда не фальсифицировалась так цинично, как в Западной Германии перед сентябрьскими выборами. Содержание советских нот, чёткие и конкретные предложения Советского правительства, его решения, принятые и осуществлённые в отношении Германской Демократической Республики, либо вовсе не доводились до сведения западногерманского населения, либо доводились в совершенно искажённом виде. На этот счёт Аденауэр дважды — один раз лично, другой раз через своего прессесшефа Экхарта — давал прямое указание редакциям западногерманских газет. Демократическая печать в Западной Германии была не в силах дать должный отпор этой клевете, так как она подвергается таким преследованиям и находится в настолько тяжёлом финансовом положении, что не может конкурировать с многочисленными изданиями, получающими многомиллионные субсидии от аденауэровского правительства, от западногерманских концернов и непосредственно из американских источников, и с четырьмя десятками западных радиостанций, вещающих на немецком языке.

К потоку лжи и дезинформации, излившемуся из этих источников, надо добавить разнузданный террор против всех противников аденауэровской политики. Аденауэровский министр полиции ещё в начале предвыборной кампании хвалился тем, что конфисковал полтора миллиона экземпляров агитационных листовок «Союза немцев, борющихся за единство, мир и свободу». Полиция громила собрания компартии, «Союза немцев» и находившейся с ним в блоке Общегерманской народной партии. Молодчики из легальных и полулегальных террористических организаций вроде «Союза немецкой молодёжи», занявшего место «гитлерюгенд», получили полную свободу действий. Они безнаказанно избивали активистов, расклеивавших предвыборные плакаты и занимавшихся агитацией, громили редакции, шантажировали избирателей.

США — оккупационная держава, фактически контролирующая всю Западную Германию, — так грубо вмешивались в предвыборную борьбу, что даже в политических кругах Бонна Аденауэра стали называть «кандидатом американского правительства». Из американских источников Аденауэр получил на предвыборную борьбу шесть миллионов марок (кроме того, сорок миллионов ему передали западногерманские банкиры и промышленники). США прямо грозили применить к Западной Германии экономические и политические санкции, воспользовавшись всеми своими правами оккупанта, если Аденауэр не будет выбран. За два дня до выборов прозвучал заключительный аккорд: Джон Фостер Даллес выступил по радио и заявил западногерманским избирателям примерно следующее: если вы не изберёте Аденауэра, худо будет Германии... Никогда не видать немцам в таком случае единства. Боннское радио и боннская пресса постарались донести эту угрозу в дом каждого жителя Западной Германии.

С другой стороны, всему этому бешеному натиску реакции и реваншистскому разгулу не противостояли в должной мере сплочённые силы, отстаивающие национальные интересы немецкого народа. По вине лидеров социал-демократии рабочий класс Западной Германии не смог установить единства действий, против которого, конечно, не устоял бы Аденауэр. Эти лидеры не только отвергали все призывы компартии о единстве, но и активно участвовали в травле коммунистов и в провокациях против Германской Демократической Республики. На выборах они выступали с половинчатой, непоследовательной программой; Олленхауэр прямо заявил, что в случае прихода к власти он осуществит боннский и парижский договоры, иными словами — будет продолжать аденауэровскую политику раскола и ремилитаризации, почти не видоизменяя её. Подобные заявления не раз давали приверженцам Аденауэра повод говорить, что «социал-демократы сидят с нами в одной лодке».

И вот наступило утро 6 сентября. Можно себе представить религиозную немецкую женщину, воспитанную в идеалах «четырёх К» (Kirche, Kinder, Küche, Kleider —

церковь, дети, кухня, платье). Прежде чем идти голосовать, она идёт в церковь и там слышит грозные слова отлучения по адресу всех, кто голосует не за христианско-демократический союз. Для неё уже этого было бы достаточно, а тут ещё она накануне получила лично ей адресованное «вежливое письмо», в котором говорится, что, голосуя за партию господина федерального канцлера, она голосует за счастье своих детей, в противном же случае её детям грозит страшная опасность. Можно себе представить немецкого обывателя, которого на избирательном участке встречают молодые люди атлетического телосложения и бросают на него многозначительные взгляды, а на улице к участку то и дело на мотоциклах подъезжают полицейские. Обманутый и недостаточно проницательный, чтобы понять обман, оглушённый треском речей, запуганный обыватель голосует.

Когда были подсчитаны голоса, начал действовать хитроумный избирательный закон. Он был составлен так, что почти миллион избирателей, подавших голоса за компартию и Общегерманскую народную партию, остался без представителей в бундестаге, а реваншисты из «немецкой партии», не набравшие и 900 тысяч голосов, получили 15 мандатов.

Выборы проходили в условиях террора, шантажа и демагогии, шовинистического и милитаристского угара, при поддержке объединённых сил мировой реакции (стремившейся, особенно после того, как она потеряла де Гаспери и Шумана, сохранить свою боннскую креатуру), в условиях раздроблённости патриотических сил, у которых к тому же была отнята возможность свободно и беспрепятственно излагать избирателям свою программу. Но и в этих исключительно тяжёлых для защитников демократии условиях против Аденауэра и его союзников голосовали 9 с лишним миллионов западногерманских избирателей. Это знаменательный факт, который говорит, что в самой Западной Германии Аденауэру, клике милитаристов противостоит значительная масса народа. За компартию голосовали 600 тысяч человек, и можно поручиться, что тот, кто подал голос за коммунистического кандидата, несмотря на террор, будет стойким борцом, а все вместе эти борцы образуют немалый по численности передовой отряд.

Но даже не в этом главное. Главное в том, что сегодня — впервые в истории — существует такое германское государство, какого раньше никогда не было, государство, которое не служит инструментом в руках воинствующего империализма, а является средоточием миролюбивых сил немецкого народа. Появление этого государства — Германской Демократической Республики — было поворотным пунктом в истории Европы. В нём милитаризм лишён социальной базы. Монополии, реакционное юнкерство в нём ликвидированы и, наоборот, получили возможность свободно развиваться лучшие, демократические традиции немецкого народа.

К сожалению, об этих традициях слишком часто забывают, когда заходит речь о германской армии. Во времена того же Фридриха II Иоганн-Готфрид Гердер писал: «Война, где она есть не вынужденная самооборона, а бешеное нападение на мирно живущую соседнюю нацию, — это бесчеловечное, хуже, чем звериное, начинание, в жертву которому приносится не только нация, подвергшаяся нападению и поставленная под угрозу убийства и опустошения, но и нация, начинающая войну». Нет необходимости перечислять здесь блестящую плеяду людей, в прошлом ведших в Германии упорную борьбу против пруссачества с его тёмной славой. Важнее сказать другое, что немецкий народ в целом, не раз становившийся жертвой «хуже, чем звериного, начинания» собственных правителей, не мог забыть уроки прошлого, особенно урок двух национальных катастроф, в которые ввергли его германские империалисты в XX веке. Что вывод сделан, что уроки не прошли даром, — об этом и свидетельствует образование Германской Демократической Республики.

Первые же шаги Аденауэра после выборов со всей ясностью показывают, что он хочет повторить 1933 год. Подобно Гитлеру, он уже начал наступление на профсоюзы, стремясь превратить их в послушное орудие предпринимателей на манер «трудового фронта» Лея. Он ищет только предлога, чтобы запретить коммунистическую партию, а вслед за нею ликвидировать и другие демократические партии и организации, уничтожить последние остатки демократических прав и свобод. Он уже готовит введение всеобщей воинской повинности. Он пытается расчистить путь войне.

Но ныне не 1933 год. С тех пор прошло два десятилетия, и то, что они с собой принесли, немисливо уничтожить. Ныне власть милитаристов распространяется не на всю Германию, и даже там, где они у себя дома, на Западе, Аденауэру пришлось прикинуться «миролюбцем», чтобы удержаться на поверхности, ибо никто, кроме эсэсовцев и нацистов, не идёт сегодня за реваншистскими лозунгами.

Германская Демократическая Республика за четыре года своего существования стала надёжным оплотом миролюбивых и демократических сил немецкого народа в их борьбе за другую, лучшую Германию — за единое и независимое, миролюбивое и демократическое государство немецкого народа. Она занимает прочное место в лагере мира и демократии, в странах которого сегодня, в отличие от 1933 года, живёт треть человечества. Это — могучая сила, и, стремясь повторить прошлое, Аденауэр и те, кто стоит за ним, очевидно, забывают об её существовании.

То, что происходит в Западной Германии, представляет собой серьёзную угрозу международной безопасности. Следовательно, рассматривать германскую проблему вне связи с проблемой безопасности в Европе — значило бы преднамеренно оттягивать и в конечном счёте сорвать решение германской проблемы. Именно рассмотрения германской проблемы с точки зрения безопасности народов Европы требуют миролюбивые люди всей земли. Это со всей ясностью показала сессия Всемирного Совета Мира в Вене в конце ноября прошлого года.

Именно поэтому и Советское правительство подчёркивает в своей ноте о созыве совещания министров иностранных дел, направленной 26 ноября правительствам Франции, Англии и США, что решение германского вопроса «теснейшим образом связано с обеспечением безопасности в Европе и, следовательно, с уменьшением напряжённости в международной обстановке». Совещание министров иностранных дел, указывает Советское правительство, не должно быть заранее ограничено рассмотрением одного какого-либо вопроса, а должно действительно иметь возможность подвергнуть рассмотрению наиболее срочные международные проблемы. Его предложение о созыве совещания министров иностранных дел для рассмотрения мероприятий по уменьшению напряжённости в международных отношениях, для обсуждения германского вопроса, отмечается в ноте, проникнуто одним общим стремлением — «содействовать смягчению международной напряжённости и, в частности, обеспечению прочной безопасности в Европе, что требует окончательного урегулирования германской проблемы».

Безопасность народов требует, чтобы решение германской проблемы было осуществлено в интересах восстановления единства и независимости Германии как демократического и миролюбивого государства. Из этого исходило и Советское правительство, делая свои предложения по германскому вопросу. Ещё весной 1952 года, предлагая проект «Основ мирного договора с Германией», Советское правительство обращало внимание на необходимость именно такого решения проблемы, которое обеспечивало бы безопасность европейских народов и вместе с тем было бы в интересах самого германского народа. Создание единой, независимой, миролюбивой, демократической Германии, с которой будет заключён мирный договор, исключит возможность возрождения германского милитаризма, устранил эту угрозу, нависающую над европейскими народами.

Поэтому так сопротивляются мирному решению германской проблемы заправилы боннской реваншистской клики. Поэтому они всеми силами стараются сорвать мирное воссоединение Германии и заключение с нею мирного договора. Не исключено, что эта клика, опирающаяся на поддержку мировой реакции, не погнушается никакими средствами, чтобы попытаться осуществить свою авантюристическую программу. После выборов 6 сентября боннские реваншисты полагают, что они сидят в седле прочнее, чем когда бы то ни было. Тем больше оснований у народов быть бдительными.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ПАНКОВ

★

## РОМАН Ф. ПАНФЕРОВА „ВОЛГА-МАТУШКА РЕКА“

**П**режде чем приступить к работе в областном городе Приволжске, главный герой нового романа Ф. Панферова «Волга-матушка река», Аким Петрович Морев, совершает путешествие по Волге до Астрахани, затем на Чёрные земли, на строительство Волго-Дона. (Наряду с подлинными географическими названиями в романе встречаются условные.) Вместе с ним — будущим секретарём Приволжского обкома партии — едет академик Иван Евдокимович Бахарев. Мы будем встречаться с ними и в дальнейшем: действие романа происходит примерно в течение года. За это время в Приволжске совершится много важных событий. Будут вскрыты порочные методы руководства сельским хозяйством области. Будут сняты с работы секретарь обкома Малинов, заведующий областным управлением сельского хозяйства Чернов, главный агроном области Якутов. Развернётся борьба вокруг ряда актуальных научных вопросов. Будут приняты чрезвычайные меры против большого стихийного бедствия — неожиданного резкого похолодания.

Значительные перемены произойдут за это время и в личной жизни главных героев. Престарелый академик женится на колхознице Анне Арбузиной. Акима Морева, жена которого погибла при штурме Берлина, захватит новое чувство любви к сестре Анны — Елене Синициной. Эта молодая красивая женщина тоже полюбит Акима.

В романе выведены руководящие работники областного центра, секретари райкомов, колхозники, учёные. Различные явления и лица показаны преимущественно через восприятие Акима Морева. Таким образом, жизнь области открывается как бы с одного наблюдательного пункта.

С высоты этого пункта видны широкие горизонты. Аким Петрович Морев должен проникать мыслью в глубь больших общественных явлений, подвергать повседневные дела точному, непредвзятому анализу. Взгляд такого человека (конечно, если писатель сумел создать реальный человеческий образ) на те события, о которых говорится в романе, должен представлять интерес.

В романе «Волга-матушка река» речь идёт о больших недостатках в развитии сельского хозяйства области. В Левобережье неправильно, без учёта местных условий, ведётся земледелие: планы посевов составляются неверно, предан забвению опыт хлеборобов, несостоятельны применяющиеся здесь агротехнические приёмы. Еруслановская опытная станция затерялась в степи, «как остров Диксон» в ледяной пустыне; её опытные поля — малые клеточки, результаты её исследований ничтожны и не дают ничего нового колхозному производству. Лесные посадки в степи ведутся непродуманно. Эти и многие другие хозяйственные вопросы больше всего приковывают к себе внимание Морева, Бахарева, секретаря обкома Пухова, председателя облисполкома Опарина, секретаря Нижнедонского райкома партии Астафьева...

Роман печатался в восьмом и девятом номерах журнала «Знамя» за минувший год — в те дни, когда страна узнала о решениях сентябрьского Пленума ЦК КПСС. Это повысило интерес к произведению, освещающему жизнь деревни остро и polemично.

Ф. Панферов обладает важными для писателя качествами — общественной активностью и смелостью. Он и раньше поднимал в своих произведениях важные и злободневные вопросы. Правда, Ф. Панфе-



ров не всегда ставил эти важные вопросы точно и продуманно, с глубоким проникновением в жизненные противоречия, а, разрешая их, иной раз бил мимо цели; его суждениям не доставало отчётливости, а замыслы, правильные в основе, нередко воплощались в неуклюжую форму, в тяжёловесные и неясные образы.

Первая книга нового романа Ф. Панфёрова «Волга-матушка река» опубликована в период, когда развернулась борьба против глубоко пустившей корни вредной «теории бесконфликтности», когда больше появляется произведений, в которых затрагиваются острые вопросы нашей общественной жизни. Книга Ф. Панфёрова примыкает к тем произведениям нашей литературы, в которых заметна эта тенденция.

Писатель в этой книге хочет идти не мелководными протоками, а широким течением, стремимся Волги-матушки, то есть создать эпическое произведение, отражающее главное направление жизни. Заглавие, которое он дал книге, должно, очевидно, выразить это его намерение.

Скажем сразу — намерение автора создать большую и цельную картину не осуществилось. Не только части, но даже отдельные главы и эпизоды романа неравноценны. При чтении его приходится и задумываться над живыми, верными чертами и часто досадовать на писателя.

По тематике, по идейному замыслу новый роман Ф. Панфёрова связан с предыдущими его произведениями — с романом «Большое искусство» и пьесой «Когда мы красивы», которые критика единодушно и вполне справедливо признала неудачными. Например, в «Волге-матушке реке» вновь появляются Николай Кораблёв и шорец Иван Иванович. Главная же связь заключается в том, что и в новом романе автор продолжает развивать тему «большого искусства», искусства руководства массами.

Значительный интерес вызывает роман, по нашему мнению, с одной стороны, попыткой изобразить живое, творческое, партийное руководство, и с другой — обличением бюрократизма, карьеризма, низкого политиканства людей, оторвавшихся от народа.

Из среды многочисленных действующих лиц романа на первый план выдвинуты автором Аким Морев и Семён Малинов.

Первый из них, по замыслу автора, — пар-

тийный руководитель, заглядывающий вперёд, но при этом трезвый реалист, сообразующийся с истинным ходом жизни, хороший практик. Второй — вельможа, кичащийся старыми заслугами, по существу перерожденец, утративший облик партийного деятеля. В Мореве автор хотел изобразить коллективиста по всему складу характера, в Малинове — индивидуалиста с разбухшим самомнением. Смысл партийной работы Морев видит в том, чтобы помочь росту деловых, умных работников, подлинных поборников нового, людей, способных бороться за коммунизм. Малинов насаждает угодничество, подхалимство, принижает окружающих; интерес к общественным делам у него заслонён и вытеснен всепоглощающим интересом к собственной персоне.

Замысел, лежащий в основе этих контрастных характеров, так ясен, что нет даже нужды переводить его с «языка образов» на «язык понятий». Об этом, кстати сказать, позаботился сам автор, который дал пространные и во многом излишние разъяснения, как понимать тот или иной характер.

К Малинову мы вернёмся ниже, а сейчас обратимся к Акимов Мореву.

Советская литература ставит себе задачу, в соответствии с жизненной правдой, с передовым марксистско-ленинским мировоззрением, изображать народ как творца истории. В лучших произведениях советской литературы народ выступает не в образе «безликой массы», а является живым и сложным миром своеобразных личностей. С художественным изображением революционного, преобразующего творчества масс связана и задача — создать в произведениях искусства образы народных руководителей.

В очень многих наших художественных произведениях выводятся люди, занимающие партийные, советские, профсоюзные, хозяйственные руководящие посты того или иного масштаба. Правда, эти персонажи пишутся зачастую по шаблону, получают схематичными; но это несколько не ставит под сомнение мысль, что обращение писателей к теме руководства и образам руководителей вытекает из самой действительности, диктуется ею. Знаменательно, что, как и во всех решениях партии, в постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС особо указано: «Было бы ошибкой думать,

что дальнейший подъём сельского хозяйства пойдёт самотёком. Материальные условия и возможности, которые создаются для подъёма сельского хозяйства, сами по себе не дадут должного эффекта без улучшения деятельности партийных организаций». Наша партия всегда подчёркивает важнейшее значение правильного руководства, основанного на познании и творческом использовании законов общественного развития.

Центральной темой романа «Волга-матушка река» является особый характер партийного и советского руководства. По сравнению с другими литературными произведениями, освещающими ту же тему, в этом романе есть некоторые новые моменты.

Наши литераторы часто писали о секретарях партийных организаций колхозов или заводов. Пожалуй, трудно даже назвать произведение, в котором не было бы таких персонажей. Эти люди изображаются литераторами и в общественной и в личной жизненной сфере, притом довольно подробно (если и не всегда содержательно). Портреты секретарей райкомов, тоже частые в литературе, отличаются заметно большей краткостью. Что же касается образов руководителей большего масштаба, то их роль обычно ограничивается тем, что они разрешают конфликты, возникшие между другими героями произведения, а сами в действии не участвуют.

Хочется напомнить о безгранично разнообразных возможностях искусства. Крупные общественные события можно ярко показать на примере жизни одной донской станицы, как это делает М. Шолохов, или одного шахтёрского городка, как то делает А. Фадеев. Главными действующими лицами романа могут быть люди любой профессии, любого общественного положения. В «Жатве» Г. Николаевой на первый план вполне естественно выдвинута в соответствии с замыслом автора фигура секретаря райкома Стрельцова. У Ф. Панфёрова иной замысел — показать жизнь деревни в связи с проблемами руководства колхозным строительством всей области. Закономерен любой выбор; чем разнообразнее будут сферы жизни, которые изображают писатели, тем лучше для литературы.

Поставив в центре повествования секретаря областного комитета партии, Ф. Панфёров не мог ограничиться изображением того, как Аким Морев «вносит ясность»

в отношении других людей. Герой романа сам должен быть интересен читателю как человек — и тем, как он решает государственные дела, и тем, как он живёт, как любит, радуется, переживает тревоги, какое значение в его жизни имеют наука, искусство. Раз это главный герой большого повествования, писатель обязан показать все грани его характера. С этой целью Ф. Панфёров много страниц посвятил дружбе Морева с академиком Бахаревым, любви Морева к Елене Синицыной, спорам о биологических проблемах, размышлениям о законах общественного развития.

Вот автор рисует картину ранней весны через восприятие Акима Морева. Весна захватывает героя. Весеннее солнце, весеннее настроение, ожидание чего-то нового, необычного гармонируют с радостным и вместе тревожным чувством его любви к Елене. Однако люди, хорошо знающие капризную природу здешних мест, рассеивают очарование Акима. Секретарю обкома приходится взглянуть на весну с точки зрения того, какой урожай она предвещает. Местные люди предупреждают его, что это плохая весна, что она быстро сгонит воды, не даст им пропитать почву и зерновые могут погибнуть. Но случилось ещё хуже: после нескольких солнечных дней ударил мороз. Много страниц посвящено описанию борьбы с этим стихийным бедствием. И именно здесь, на этих страницах, в образе Морева больше всего конкретных характерных черт. До этого он чаще всего лишь высказывался, произносил речи, подавал реплики. Здесь он больше действует, волнуется, переживает. Здесь Морев обретает человеческую теплоту.

Нередко бывает так, что писатели как бы стремятся олицетворить всю партию в образе одного партийного деятеля. Но ведь партия — это коллективный разум, коллективная воля. И когда тому или иному действующему лицу даётся роль не по силам, то это приводит к упрощённому представлению о действительности и к схематическому изображению персонажей. Вместо конкретной личности, скажем, секретаря партийной организации, появляется некий общий «тип секретаря», имеющий лишь самое отвлечённое, в сущности условное сходство с реальной жизнью.

В изображении Морева у Ф. Панфёрова немало художественных слабостей, образ как бы распадается на ряд разрозненных

черт. Тем не менее у читателя в отдельных главах возникает свежее представление о том, какие задачи решает, в какой среде находится и с какими реальными жизненными трудностями встречается творческий партийный работник этого масштаба.

Морев не призван автором «олицетворять всё и вся»; напротив, нам, читателям, часто напоминает, что Мореву надо понимать именно как простого, рядового человека. Местами автор даже совершенно излишне и с открытой предумышленностью принижает своего Акима — особенно в главе, где директор совхоза Любченко выступает его соперником в любви к Елене Снницыной. Любченко развязно держится с Акимом и не получает отпора, тогда как всякий уважающий себя человек в такой ситуации не постеснялся бы защитить достоинство своё и любимой женщины. Это, конечно, не такой способ письма, который усиливает художественно-реалистические достоинства образа. Но в данном случае, отвлекаясь от частных деталей, мы хотим прежде всего подчеркнуть верную тенденцию писателя в определении тех качеств, которыми должен обладать каждый крупный партийный руководитель.

Морев не может быть у себя в области единственной, всё решающей и всё определяющей силой. Он не оракул, не изрекающий непогрешимых истин. Прежде всего он должен опираться на коллективного советника — на коммунистов из организаций, руководимых обкомом, на мнение товарищей, разделяющих с ним ответственность за руководство областным комитетом. Но даже и в этом случае он не всегда чувствует себя вправе принять окончательное решение. И когда возникает конфликт с Малиновым, когда разгорается спор о лиманном земледелии в Левобережье, когда у Морева зарождается сомнение в правильности основных положений статьи Сухожилина, когда требуется срочно принять чрезвычайные меры по спасению урожая и скота от неожиданного обрушившегося стихийного бедствия, — тогда Морев связывается с Центральным Комитетом партии, получает от него советы, разъяснения, указания. Центральный Комитет, в лице Муратова, поддерживает всё ценное, что есть в предложениях Морева, побуждает его проявлять инициативу и поправляет, когда нужно. Личное значение и роль Морева не гипертрофированы в романе. И это важно,

как свидетельство того, что автор правильно понимает роль и место секретаря обкома, проводит мысль о коллективности руководства.

Однако Ф. Панфёрову не достало художественного умения и такта, чтобы осуществить это понимание в полноценных реалистических образах. Деятельность Морева распадается на какие-то вспышки: решения, принимаемые по сложнейшим вопросам, складываются иногда поспешно, в особенности там, где дело касается научных биологических проблем.

Мореву, Пухову и другим членам бюро, показывает автор, предстоит вынести суждение о научной значимости открытия учёного Рогова, добившегося превращения вируса в бактерию. Ф. Панфёров исходит при этом из подлинных фактов, вкратце воспроизводит историю одного из новейших научных открытий. Известно, что борьба за утверждение этих новых научных идей протекала долгие годы, потребовала огромных усилий воли и настойчивости. В романе Ф. Панфёрова всё выглядит гораздо проще. Морев и Пухов, никогда не занимавшиеся биологией, немедленно всё уясняют, понимают и одобряют. Членам бюро для изучения литературы по этому вопросу отводится всего... пять дней.

Неужели автор всерьёз думает убедить читателя, что с такой лёгкостью решаются труднейшие научные проблемы? Это ведь как раз противоречит всему его замыслу. В самом деле, если неподготовленные в биологии люди так быстро сумели разобраться в новом открытии, из-за чего же тогда ожесточённо ломают копыта учёные Уралов, Рогов, ветеринарный врач Елена Снницына и другие? Это один из тех нередких случаев в романе, когда фактическое изображение вступает в явное противоречие с намерением автора показать трудности борьбы, остроту жизненных ситуаций.

Рисуя жизнь так, как она видна с точки зрения одного из людей, занимающих руководящее положение, никогда нельзя упускать из виду также точку зрения «снизу» и взаимодействие, взаимопроникновение, слияние этих двух точек зрения воедино.

Ф. Панфёров сделал верные намётки для художественного воплощения этой мысли. Недаром Морев начинает свою деятельность в Приволжье с объезда области, со знакомства с районными работниками. Анна

Арбузина, Елена Синицына, директор машинно-тракторной станции Бляхин, колхозник Елизар Панкратьевич, секретарь райкома Астафьев — все эти люди, с которыми в той или иной обстановке сталкивается секретарь обкома, каждый по-своему выражает мысли, опыт, наблюдения тружеников деревни. Их суждения дополняют, обогащают, а иногда и исправляют выводы Морева, а через него отражаются и в деятельности, в решениях, установках обкома. Но образы низовых работников большей частью написаны схематично, словно призваны лишь механически иллюстрировать авторскую мысль. Поэтому за многими фамилиями не угадываются, не проступают ясно живые человеческие характеры. Когда Морев выезжает в районы, автор с большим увлечением рисует сцены охоты, чем встречи с колхозниками. Конечно, нужно и это. Но если изображение охоты занимает чересчур много места, а встречи с колхозниками сводятся к единичным кратким эпизодам, то невольно остаются в тени весьма важные качества главного героя.

Жизнь самой деревни освещена в романе как-то мельком — ни в одном колхозе, ни в одной машинно-тракторной станции мы не задерживаемся с Моревым надолго. Лишь в небольшой сценке описана беседа Акима Петровича со стариками-колхозниками, разговор с бородачом Елизаром Панкратьевичем о лиманном земледелии. Отсутствие развёрнутых картин деревенской жизни ощущается как недостаток кислорода для дыхания ведущих героев произведения.

Мысли, настроения людей, работающих на полях, на фермах, в машинно-тракторных станциях, выражены преимущественно не через запоминающиеся образы, характеры, а в общих рассуждениях; колхозная масса остаётся безликой. Поэтому верные намётки не подняты на высоту художественного повествования.

Для того, чтобы оттенить преимущества творческого коллективного руководства, Ф. Панфёров показывает, как единолично — и поэтому поверхностно, часто ошибочно — решались дела при Малинове и как путём изучения мнений различных людей, путём преодоления в спорах разногласий, коллективно выносятся продуманные решения при Мореве. Правда, и здесь не всё в романе хорошо. Мы уже сказали об эпизо-

дичности сцен, рисующих эту сторону деятельности Морева. Добавим ещё, что, показывая сцены собраний и заседаний, Ф. Панфёров настолько увлекается внешним изображением разгорающихся страстей, что на заседаниях у него все шумят, кричат, «срезают», перебивают один другого. Шум этот оглушает прежде всего читателя. Нельзя представить себе ни одну самую боевую дискуссию, ни одно самое напряжённое собрание, протекающее так, как изображает их Ф. Панфёров. К тому же он однообразен в такого рода описаниях.

Гораздо больше дают для понимания реальных форм коллективного руководства в бюро обкома несколько небольших эпизодов. Например, при Малинове в Приволжске секретари обкома не заглядывали в облизполком; Морев и Пухов ломают эту «традицию». Более того, они настойчиво требуют, чтобы облизполком решал свои дела самостоятельно, отвыкал от мелочной опеки со стороны секретарей обкома. Это показано просто, естественно.

При коллегиальном руководстве возможны столкновения мнений в процессе выработки решений. Побывав в Левобережье, побеседовав с Елизаром Панкратьевичем, Аким Морев делает вывод, что «до прихода Большой воды в Левобережье следует отменить травопольный севооборот». Но члены бюро не поддерживают Морева. Уверенный в своей правоте, он обращается в Центральный Комитет партии. Одобрив предложение Морева, ЦК в то же время рекомендует ему самому убедить членов бюро и доказать правильность такого решения.

Подобные сцены показывают живое дело партийного руководства и людей той среды, которая составляет главный предмет изображения в романе «Волга-матушка река».

Убедительность всякого художественного образа зависит от того, насколько он удался в целом, в единстве внутреннего мира героя и всех его поступков. У Ф. Панфёрова не ощущается закономерности изображения, единства характеров. У него жизненные сцены причудливо чередуются с бледными и анемичными. Только забьёт живой, светлый ключ — и тут же неожиданно врзается мутный поток. Откроет автор в человеке какую-то черту, которую может подметить только наблюдательный художник, — и вдруг напишет об этом так, как будто смазал краску рукавом.

На протяжении всего повествования читатель почти не расстаётся с Моревым. Но общение с ним далеко не всегда доставляет нам художественную радость. Каждая страница, сцена, эпизод должны нам открывать в герое всё новые и новые черты и чёрточки. Однако Ф. Панфёров неэкономен в средствах. Он, например, вложил в уста Морева множество высказываний на различные темы, чтобы показать его ум, широкую образованность; но беда в том, что слишком часто в высказываниях Морева нет ни индивидуальной речевой манеры, ни оригинальной мысли. Не «моревским» языком и голосом они произносятся, а кажутся порой механически перенесёнными из газетной статьи. И хорошо ещё, когда эти общие мысли бывают изложены достаточно связно и правильно...

То, что Морева занимают философские вопросы, что он не раз обсуждает со своими товарищами теоретические проблемы экономики, — это жизненно правдивая и закономерная сторона в изображении партийного руководителя. Но Ф. Панфёров соболезновал нехитрым приёмом, с которым, к сожалению, приходится встречаться в некоторых произведениях последних лет. Этот приём заслуживает того, чтобы быть названным своим настоящим именем. Это — бесцеремонное обращение с историческими фактами.

Укрупнение колхозов, дискуссии по вопросам языкознания, по экономическим проблемам — всё это исторические факты, связанные с определённым временем. Эти события были проявлением и завершением тех или иных общественных процессов. Но некоторые авторы, не считаясь с фактами, с конкретными условиями, причинами и внутренним смыслом явлений, путают хронологию. Так, в романе Г. Свицкого «Здравствуй, университет!» оказывается, что сторонники марковского учения о языке были разоблачены ещё до известной дискуссии по вопросам языкознания.

Тот же недостаток есть и в романе Ф. Панфёрова. Действие его протекает до дискуссии по экономическим проблемам, а герои романа — и прежде всего Морев — уже полностью вооружены новейшими выводами, причём в беседе с академиком Бахаревым Морев, словно учитель ученику, излагает эти выводы от своего собственного имени. Например: «Пятилетний план, дорогой академик, — провозглашает

Аким Петрович, — является отражением жизни социалистического общества, её закономерностей, существующих независимо от моей или от вашей воли». Можно было бы привести многие другие высказывания Морева такого же типа, которые ещё убедительнее показывают, что устами Морева автор — обычно в упрощённом виде — пересказывает то, что стало известно после экономической дискуссии. Конечно, и до этой дискуссии Морев мог задумываться над подобными вопросами, мог выступать против субъективизма и волюнтаризма; но автор просто-напросто «модернизировал» все мысли Морева. При этом он не позаботился даже о том, чтобы хоть слова героя, в которых он эти мысли высказывает, были «своими», давали индивидуальную характеристику.

Отрицательные персонажи — и прежде всего Малинов, Сухожилин, Якутов — даны в романе крупным планом.

Выше мы уже касались основных черт натуры Малинова. Продолжим разговор о нём.

Малинов любит власть ради самой власти, ради удовлетворения своего честолюбия, но не как поприще, на котором он может приносить пользу народу. Услужливые подхалимы раздули его славу. Он смотрит на людей пренебрежительно, сверху вниз. Он разыгрывает роль «простого человека», но ясно, что он переполнен непомерным самолюбием и безграничным чванством. Он сам не понимает того, что, в сущности, представляет собой довольно жалкую фигуру человека, сбившегося с пути, запутавшегося в противоречиях и к тому же «зело потребляющего напитки всех видов». Малинов ограничен. Руководить он может только одним методом: нажимать, подгонять, подхлестывать; а зачем, во имя чего нужны все эти «нагоняи», — в этом он даже и себе не может отдать отчёта. В образе Малинова есть нечто от той правды, которую надо знать, чтобы легче распознавать в жизни и сбрасывать с нашего пути всё порочное и обветшалое. Такой человек вреден не только сам по себе, но и потому, что под его крылом, за его спиной разрастаются, как их называет Ф. Панфёров (выдумывая скорее странные, чем меткие слова) «штукари», «жучки», «увёртыши». Малинову подражают, на его слабостях и пороках строят свою «политику»

другие фальшивые люди, масштабом мельче, а числом больше. Это правильно подчеркнуто в романе не только карикатурными тенями «жучков», но и гротескно задуманной фигурой помощника секретаря обкома Петина, который при Малинове был груб и заносчив, а при Мореве становится ровным и всжливым.

Итак, Ф. Панфёров сумел подметить серьёзное отрицательное явление в жизни: в образе Малинова есть верно наблюдаемые черты оторвавшихся от народа, плохих руководителей. Но автор не сделал этот образ художественно последовательным и ясным. Следуя созвучию фамилий, он попытался подчеркнуть общие, как он думает, черты Малинова и гоголевского Манилова, найти нечто общее между маниловщиной и «малиновщиной», имея в виду фразёрство, пустое фантазирование. «И наши Маниловы-Малиновы,— говорится в романе,— всё больше пекутся о Гурьевских песках, а в порученной им области гигантские недоделки...» Сближение это, однако, не оправдано характером персонажей. Оно даже затемняет мысль автора (как это часто у него бывает) не идущими к делу и слишком уж необязательными сравнениями, уподоблениями и рассуждениями. Несмотря на ряд верных деталей, Малинов не стал в романе таким глубоким и ярким образом, чтобы имя его могло превратиться в нарицательное.

Изображая Малинова, автор не избежал упрощенчества. Можно сказать: образ этот не написан пером, а вырублен топором. Задолго до появления Малинова на сцене он уже «объяснён». Читателю уже втолковано, что Малинов много «гремит», что он злоупотребляет доверенной ему властью, кичится былыми заслугами, что у него «в голове треснула какая-то деталь». Автор спешит вынести приговор раньше, чем доходит до изображения человека. Дальше ему остаётся только иллюстрировать свои заранее составленные «резюльюции».

И вот Малинов появляется на сцене. «Да он просто глуп»,— почти сразу делает вывод Аким Морев. И правда! Автор без чувства меры и художественного такта сразу нагромоздил такое множество отрицательных черт и деталей, что не один Малинов, но и все другие люди, окружающие его, кажутся ограниченными, словно бы с повязками на глазах; они не видят, что творится вокруг них. Становится необъясни-

мым: как мог так долго держаться у власти, да ещё на высокой выборной должности, такой распоясавшийся пропойца, как Малинов? О, если бы фальшивых людей так легко было обнаружить в жизни, если бы они сами везде и во всём так откровенно, неприкрыто показывали свою фальшивость! Тогда борьба с ними была бы лёгким делом.

Речь идёт не о том, чтобы Малинова пригладить или «облагородить», нет,— Малинов показан в такой момент, когда приходит к концу его карьера и он уже не владеет нервами. Но люди, подобные Малинову, в жизни сложнее, можно сказать, «изобретательнее» — ведь и сам автор называет его «увёртышем». Самые условия советского общества вынуждают их не выставлять свои пороки как рьяно напоказ, а тщательно скрывать их. Конечно, шила в мешке не утаишь, но они, по крайней мере, стараются это сделать. Ну, а Малинов — этот весь как на ладони, хоть бери его голыми руками. Вот он, «без галстука, с расстёгнутым воротом», закатывает с трибуны пленума шестичасовой «всеобъемлющий доклад» с лейтмотивом: «Не зарывайся. Живи, человек, и славь солнце».

Ф. Панфёров часто не думает о реальной обстановке, о среде, в которой происходит действие, и этим лишает свой роман психологической правдивости. К тому же он ещё затрудняет читателю восприятие характеров и поступков действующих лиц противоречивыми авторскими объяснениями. В романе часто упоминается, например, что Малинов в прошлом — герой войны, что он был дельным работником, хорошим человеком. Знающие его люди, по словам автора, думают о нём: «Ах, Малинов, Малинов! Какой ты был, и что с тобой стало!» Но вот автор сразу же за этими словами вводит как бы итоговую главу, ретроспективно обозревающую сорокалетнюю жизнь Малинова. И тут оказывается, что Семён Павлович Малинов никогда не был достоин хорошего отношения к себе. Здесь уже совсем другая характеристика: со школьной и студенческой скамьи он был «увёртышем», был даже в первом разряде «увёртышей». Оказывается, и его геройство во время войны, о котором так много говорил сам автор, было мнимым. Далее оказывается, что и всё восхождение Малинова по должностным ступеням зависело только от счастливых случайностей, от того, что на

кого-то он «произвёл впечатление». Но у нас, читателей, ещё не исчезли из памяти уверения автора: «...казалось, люди с грустью вспоминают хорошего, но уже умершего человека». Чему же нам верить? Такие разноречия нарушают цельность и правдивость образа.

А разноречий в романе много. На одном из них остановимся подробнее.

Аким Морев размышляет о трёх типах руководителей: «Одни из них, — их стало гораздо меньше, — являлись типическими исполнителями: для них буква инструкции — как фонарик во тьме. Такие исполнители, вроде секретаря горкома Сухожилина, вреда, казалось, не приносили, но и пользы от них не видать. Вторые чем-то напоминали Семёна Малинова: разухабистые, zelo потребляющие напитки всех видов, любители побахвалиться былым героизмом и находившиеся в состоянии, как говорили в партийной среде, «на вылете», то есть вот-вот — и таких руководителей партийная организация отведёт на присущее им место. Третьи, — их стало за последние годы абсолютное большинство, — люди почти все с высшим образованием, предприимчивые, энергичные, творческие... Но... но некоторые из них в своих порывах, устремлениях, мечтах то тут, то там вдруг и перескакивают через необходимость, и их, таких чудесных людей, приходилось порой сдерживать, как преподаватель лётного искусства сдерживает порывистых молодых лётчиков».

Написано это плохо, неряшливо, с вкраплением жаргонных выражений («на вылете»). И «порывистые молодые лётчики» залетели сюда случайно. Да и сама сущность рассуждения Морева схематична, поверхностна и неверна. Надо ли говорить, что жизнь даёт куда большее разнообразие типов и характеров! Почему, например, люди передовые, творческие сведены, по существу, к одному типу? Среди них как раз больше всего своеобразных индивидуальностей.

Надо сказать, что не только у Ф. Панфёрова и не только в этом романе есть тенденция втискивать «положительные характеры» в рамки какого-то одного «положительного типа». Это ложная и вредная для литературы тенденция, так как она ведёт к обеднённой представлению о передовых людях нашего времени.

Схематична и классификация отрицательных лиц в романе «Волга-матушка река». Притом она не соответствует даже тому, что в романе изображено: к примеру, автор объясняет Сухожилина вовсе не так, как этот персонаж фактически показан.

Успев нас убедить в том, что Сухожилин не творческий человек, а бездушный формалист-исполнитель, автор вдруг начинает противоречить себе, доказывая, что такие люди не приносят вреда. Но разве не сам же автор показал нам порочную по идеям статью Сухожилина? Разве не являются моральным вредительством действия клеветника Сухожилина, его изощрённые и тщательно замаскированные попытки возвести на честного Морева обвинение в меньшевизме? Разве не Сухожилин подготавливает выступления «штукарей» на пленуме, чтобы спасти Малинова от провала?

Если просто плохая работа по неумению, по неопытности так или иначе приносит вред обществу и должна быть оценена по достоинству, то человек, сознательно защищающий плохое дело, да ещё нечистоплотными приёмами, не заслуживает уж никакого снисхождения. Образ Сухожилина, нарисованный более чётко, чем другие отрицательные персонажи, только проигрывает от этих авторских «разъяснений».

Ф. Панфёров широко пользуется в своём романе методом «сатирического заострения образов». На такие персонажи, как Малинов, Сухожилин, Якутов, несомненно, наведено большое увеличительное стекло. Однако заострение образа не может быть самоцелью, а является одним из художественных средств, которое надо уметь использовать для правдивого изображения действительности.

В «Волге-матушке реке» сатирическое заострение очень часто перерастает из средства в самоцель, в сочинение невероятных ситуаций, в выдумывание прозвищ по принципу «лишь бы пострашней». Например, Малинов с Моревым с первых шагов держится так, как он мог бы держаться только с самыми близкими людьми, перед которыми нет необходимости скрывать свои привычки и нравы. Малинов сразу вводит Морева в свою семью, и вся эта семья, до малолетнего ребёнка включительно, представлена карикатурно. Восьмилетняя Машенька — «довольно жирная, будто откормленная тёлочка». Брат-подросток имеет

с Малиновым договор: «пятерку принёс — пей коньяк, четверку — водку, тройку — дуй рублинг». Жена Малинова «ела с величайшим аппетитом и с подхватом: клала что-нибудь в рот и тут же шумно втягивала в себя воздух, издавая звук, похожий на вздох работающего поршня».

«Заостряя» образы, автор чрезмерное внимание уделяет изображению внешнего безобразия антипатичных ему персонажей, но не вскрывает глубоко их внутренней сущности. Утрачивая чувство меры, Ф. Панфёров часто прибегает к сравнениям людей со слонами, тёлками, как уже говорилось, придумывает прозвища, вроде «жучков», «тарантулов», «крокодилов», «фигулек» и т. п. Всё это грязнит язык произведения. Для Ф. Панфёрова нередко характерна ложная оригинальность. Он стремится поразить читателя чем-то таким необычным, что, как ни напрягай фантазию, трудно себе такое и вообразить. Этот приём значительно меньше применён в «Волге-матушке реке», чем в предыдущих послевоенных романах Панфёрова. Но и здесь ещё есть весьма эксцентричные отрывки — чаще всего они появляются там, где виднее всего слабость автора в психологической разработке характеров.

Даже персонажи, верно в общем намеченные, а местами и красочно изображённые, вдруг начинают вытгорять нечто такое, что никак не вяжется с их характером. Поступки людей часто ничем не подготовлены, не мотивированы и вообще необъяснимы.

Большое значение в романе имеет сюжетная линия, связанная с историей взаимоотношений между академиком Бахаревым и колхозницей Анной Арбузиной — женщиной, обладающей большой внешней и внутренней красотой. Писатель коснулся важной стороны в жизни советского общества: исчезновения самого понятия социально неравного брака. Мы с интересом готовимся следить за этой историей. Но под пером Ф. Панфёрова она лишена какой бы то ни было естественности.

Автор слишком упорно стремится подчеркнуть необычайность такой любви. А зачем? Разве читатель не способен сам сделать выводы? Рассуждения автора и персонажей на эту тему приводят лишь к тому, что сильнее ощущается непреодоленная дистанция, создаваемая и Анной и Бахаревым.

Чрезмерная угловатость авторских описаний лишает всякой прелести и очень важную сцену объяснения в любви. Бахарев и Анна объясняются шёпотом в легкой машине («громыхале» — так называет её один из персонажей), где, кроме них, сидят Аким Морев, Назаров, Лагутин, Любченко, Елена Синицына, шофёр. «Машина неслась по ровной, степной дороге, гремя всеми деталями, и, казалось, путникам невозможно вести разговор: грохот глушил всё». Автору кажется недостаточным показать, как выражается симпатия в каких-то неуловимых для посторонних людей движениях, в простых, но многозначительных словах, во взглядах... Нет, изображая чувство любви, автор словно «гремит всеми деталями», подобно несущейся машине. В такой нелепой обстановке Бахарев и Анна говорят о своих чувствах, о самом заветном, и как-то обидно за них, что говорят они о любви так плохо, косноязычно. Например: «— Да. Да. Так. Да. Спасибо. Вам. Да. Так. Спасибо. Да. Да, — проговорил Иван Евдокимович».

Писатели-реалисты признаются в том, что им приходится подчиняться логике действия, которую подсказывают сами герои произведения. Чуткий к правде писатель бывает вынужден изменять предположенный сюжет, считаться с тем, как поступит герой в тех или иных обстоятельствах. Надо думать, Ф. Панфёрову также знакомо это чувство. Но всё же у него в развитии характеров слишком ошугим авторский произвол. Нередко читатель видит, что не могли герои действовать так, говорить так, как об этом написано в романе. Едва ли Малинов, при всём своём самообольщении, выйдет на трибуну пленума и объявит о себе: «Слово имеет сам». Едва ли тот же Малинов при первой встрече с Моревым, представляя его жене, заявит: «Новый секретарь обкома. Второй.. Второй, жёнушка, не делай испуганных глаз».

В фразах, которые говорят герои в приведённых отрывках, есть частица правды: здесь в какой-то мере выражаются их мысли и выявляются характеры. Но тут же примешивается неправда и чувствуется, что в жизни они скажут, может быть, по смыслу то же, но другими словами или при других обстоятельствах. Если бы, например, Малинов свой страх перед провалом выразил в беседе с женой к глазу на глаз, — это было бы естественнее и автор нашёл



бы слова, которые точнее передавали бы мысли и настроение персонажа.

Нередко Ф. Панфёров не считается с обстоятельствами времени, места и действия, и образы его, если и намечены правильно, производят впечатление «сочинённости».

Автору надо показать лицемерие главного агронома области Якутова. И вот агроном разговаривает с Акимом Моревым о браке академика и колхозницы. Якутов не одобряет этот брак: «Потрясающе! Что общего? Какое тут духовное родство?.. Дети, юноши, девушки на этот брак будут смотреть как на чудовищный... мезальянс?..» Чтобы немедленно после этого разоблачить Якутова, автор сочиняет водевильную сценку. Тут же в кабинет первого секретаря обкома, под рукой помощника, «проскользнула девушка на вид лет восемнадцати, рыжеватая, подстриженная под мальчика, и, топя каблучками, издали обращаясь к Якутову, воскликнула: — Папочка! Ты обещал сегодня меня сводить в театр. Ведь уже около восьми!» Морев принимает её за дочку Якутова, а она оказывается женой, и тут же ей приклеивается прозвище — «фигулька».

Весь этот водевильный трюк в кабинете секретаря обкома потребовался автору для того, чтобы Аким мог сразу сделать вывод о Якутове: «Обвиняет других... дети будут смотреть. А сам? Ему за шестьдесят, ей — от силы двадцать. Со школьной скамьи взял в жёны... «фигулку».

Насколько для реалистического изображения характера бывают важны верные типические обстоятельства, видно на одном пручительном примере из двух последних произведений самого Ф. Панфёрова.

В пьесе «Когда мы красивы» была рассказана странная история о шорце Иване Ивановиче, который якобы «представляет» свой маленький народ. Дело выглядело так, что этот народ, только на тридцать пятом году Октября поверив советской власти, помог нашим геологам открыть залежи руды в горах. По этому поводу К. Симонов писал: «Может быть, писателю запал в память какой-нибудь действительный факт, имевший место в 20-х годах, до начала или в самом начале первой пятилетки... Но как же мог писатель механически перенести подобную ситуацию в нынешние дни?!»

В романе «Волга-матушка река» Ф. Пан-

фёров вернулся к этой истории, хотя она не имеет никакого отношения к сюжету. Автор сделал при этом оговорку, указав: «Это произошло лет двадцать тому назад». Таким образом, автор делает как бы уступку критике. Но, разумеется, вставной фразой лишь в очень малой мере можно исправить неуклюже сочинённый рассказ. Было бы гораздо лучше, если бы автор больше сообразовался, рисуя психологию и поступки действующих лиц, с реальными условиями, с конкретной средой и обстановкой, в которой развёртываются события.

То, что люди Ф. Панфёрова нередко кажутся странными, нереальными, выдуманнами, в значительной степени объясняется и засорённостью языка (в особенности авторского), не идущей к делу размашистостью в выражениях, неестественностью сравнений, эпитетов.

Когда художник рисует картину, ему в процессе работы необходимы бывают наброски, варианты. В этот период на его полотне можно видеть неясные и несвязные, несогласованные пятна, линии, штрихи. Это поиски. Но когда вещь готова, на ней ничего лишнего, неточного, приблизительного оставаться не должно. Однако у Ф. Панфёрова многое, повидимому, переходит из черновиков в печатный текст без отбора и без исправлений.

Автор рисует, например, картину природы. Он хочет показать, как неожиданно наступило похолодание, создать впечатление нагрянувшего мороза. И создаёт он это впечатление так: «А мороз рвал и метал всё, что было ему под силу. Рвал он и аннушкин сад. Рвал дико, свирепо и бессмысленно, как рвут волки овец: отогнав от отары пятьдесят — сто ли голов, волки начинают их рвать подряд. Рвут и бросают. Рвут и бросают. Рвут, пока всех не прикончат... затем нажрут, ну, от силы каждый сожрёт пол-овцы, и отправляются на отдых, покинув поле, усталое порезанными овцами. И мороз рвал сад, как рвут волки овец».

Как ни страшны, как ни экспрессивны эти описания, они не пугают, а вызывают лишь недоуменную улыбку.

Неловкие выражения, крайне произвольные зрительные, слуховые и другие образы, рассеянные по всему роману, очень затрудняют чтение.

Недостатки романа «Волга-матушка река» велики. Недостатки эти не частные

или второстепенные. Цельных, чётко очерченных образов автору создать так и не удалось. Начиная повествование, писатель заинтересовал нас широкими перспективами, смелостью, большим размахом. Мы много ждали. Но по мере прохождения пути вместе с героями романа, хотя моментами и было интересно следить за ними, постепенно нарастало чувство разочарования. Автор показывал нам своих героев то с одной, то с другой стороны, но всё больше внешне, отрывочно и часто противоречиво. По авторским определениям нетрудно сказать, кто из них отнесён к разрядам «положительных» и «отрицательных», но одно это ещё не даёт впечатления того, что ты, читатель, хорошо узнал живых людей, живые характеры. И получилось так, что крупницы интересных, важных мыслей, смелых суждений о жизни потускнели среди словесной руды.

Да, роман Ф. Панфёрова заставляет задуматься над большими вопросами современной жизни, в особенности над проблемами колхозного строительства. Он помогает в какой-то мере лучше увидеть недостатки в этом деле. Но насколько бы возросло его значение, его сила, если бы верные тен-

денции и замыслы автора получили более достойное художественное воплощение!

В каком отношении новый роман Ф. Панфёрова находится к его произведениям последних лет? При крупных недостатках «Волга-матушка река» всё же, на наш взгляд, лучше того, что написано автором в послевоенное время. В «Волге-матушке реке» чувствуется большее знание изображаемой действительности, чем в романе «Большое искусство» и пьесе «Когда мы красивы».

Судя по наметкам, сделанным в конце первой книги романа, дальнейшее повествование должно отражать важные события в жизни колхозной деревни. Как бы ни развивалось действие в дальнейшем, судьба произведения будет зависеть от того, насколько автор сможет понять существо жизненных явлений, решительно и настойчиво преодолеть слабости своих творческих приёмов. Особенно хочется пожелать Ф. Панфёрову, чтобы он больше внимания уделял психологической разработке характеров, заботился о цельности образов, о глубоком проникновении во внутренний мир изображаемых героев.



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**М. Щеглов.** Жизнь замечательного человека.— **С. Бабёнышева.** Повесть о колхозе.— **И. Козлов.** «Под Наро-Фоминском». — **С. Малощицкий.** Новый украинско-русский словарь.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Яновлев.** Недостатки монографии о передовом колхозе.— **Ю. Арбатов.** Кому нужна «холодная война». — **Л. Безыменский.** Мемуары военного преступника.— Кандидат исторических наук **А. Николаева.** Уникальные памятники.

## Литература и искусство

### Жизнь замечательного человека

**Х**удожественная биография Александра Порфирьевича Бородина, выпущенная в популярной серии «Жизнь замечательных людей», принадлежит перу авторов, известных своей плодотворной работой в области литературы для детей и юношества, но, кажется, впервые обратившихся к подобному жанру. С тем большим удовлетворением отмечаешь их новый и немалый успех. Книга написана на очень хорошем литературном уровне; это интересная, поэтичная и одновременно серьёзная, глубокая «повесть жизни» одного из лучших людей в истории искусства и науки.

Любой читатель — молодой и старый, знакомый с жизнью и творчеством А. П. Бородина и тот, кто впервые слышит это имя, — поймёт и воспримет волнение и любовь, с которыми авторы рассказывают о своём необыкновенном герое. Нельзя не изумляться полноте жизни, размаху деятельности этого замечательного, редкостного человека. А. П. Бородин был тем «типом русского человека по своему энциклопедизму», о котором говорил Герцен применительно к Ломоносову. Великий композитор, чья величавая и тонкая музыка покорила слушателей всего мира, знаменитый химик, далеко продвинувший свою науку, энергичный общественный деятель, защитник народного

просвещения и сам передовой педагог, наконец, несомненно способный литератор, владевший тайной увлекательного и лёгкого рассказа и стиха, — всем этим был А. П. Бородин. В музыке Бородина, в его литературном наследстве, в воспоминаниях о нём живёт ощущение мужественной и мягкой человечности, сохранено всё обаяние его личности, а также его ясное, оптимистическое мирозерцание.

От авторов, создающих жизнеописание такого человека, требовалось много не только умения и такта, но, мы бы сказали, энтузиазма, чтобы не упростить благородный и сложный человеческий образ.

Предваряя свою книгу обращением к читателю, М. Ильин и Е. Сегал так характеризуют цель, которую они себе здесь ставили: «... дать цельный образ живого Бородина, каким его знали друзья и соратники». На наш взгляд, авторы успешно справились с трудной, но единственно верной для произведения художественной литературы задачей: они воссоздали цельный, полнокровный, живой образ великого человека. Александр Порфирьевич Бородин, изменяющийся с годами, действующий в разных направлениях, работающий, откликающийся на всё в жизни, несомненно присутствует в талантливой книжке М. Ильина и Е. Сегал. Жаль лишь, что, рисуя этот образ, желая подчеркнуть, что Бородин, сидящий за роялем, — это тот самый Бородин, который только что ставил химический

**М. Ильин и Е. Сегал.** «Александр Порфирьевич Бородин». «Молодая гвардия», М. 1953.

опыт, и как бы боясь, что «единства образа» всё-таки не получится, авторы кое-где скрепляют это единство очень уж внешним и недостаточно верным прямым уподоблением работы музыканта работе химика: «От каждого музыкального образа он требовал такой же чёткости и чистоты, какой он добивался, создавая новое химическое соединение», «Бородин сводит все эскизы и наброски в окончательный единый текст... Так химик, найдя новое химическое соединение, очищает его перекристаллизацией от всех примесей и загрязнений», «Как Бородин-химик, отделив кристаллы, отбрасывал уже ставший ненужным раствор... так и Бородин-композитор... удалял из либретто все мелочи...», «Словно грани в кристалле, картины в опере строятся не случайно, а по точным законам симметрии и противопоставления» и т. д.

Не говоря о том, что повторённый так упорно, в одной и той же форме, этот приём теряет действенность, — нам не кажется верной самая мысль, по существу. Конечно, творчество Бородина представляет собой пример очень осознанного процесса, и его музыка действительно отличается особой ясностью, стройностью при всей её стихийной силе. Но всё же, хотя «солнце творческого разума», как пишут авторы, равно освещает и пути науки и путь искусства, нельзя так прямо распространять на стихию музыки «точные законы симметрии и противопоставления», — не был Бородин таким Сальери, только уже не алгеброй, а химией поверявшим гармонию... Недаром в одном из писем Бородин замечал, что для работы над «Игорем» ему нужно «перестроить себя на музыкальный лад, без чего творчество немислимо». И сами авторы, приводя свидетельства современников о том, как сочинял этот музыкант, прекрасно передают ощущение иного обаяния, иной стихии, в которую погружался гениальный Бородин, отходя от столика с колбами к роялю.

Большим достоинством книги является её эмоциональность, то поэтическое увлечение, с которым авторы повествуют о героической жизни А. П. Бородина. И не кажется странно заявлением авторов о том, что они «едва поспевали за своим героем, который умел быстро переключаться с одного дела на другое»; «поспевать» можно, конечно, за кем-то действительно живым. Книга М. Ильина и Е. Сегал способна возбудить у читателя не только желание больше знать

о Бородине и слушать его музыку; она возбуждает любовь к этому человеку, жившему сто лет назад, — любовь, подобную той, какой Александр Порфирьевич при жизни пользовался у всех, без исключения, знавших его современников. А это, конечно, обуславливает и ценные «нравственно-образовательные» качества книги, адресованной главным образом молодому поколению.

Авторы как бы стараются не так уж много «сочинять», говорить от себя. Нередко они как бы передоверяют рассказ различным красноречивым свидетелям и свидетельствам: письмам, воспоминаниям, художественным образам русских писателей, заимствованиям из документов, освещающим те или иные детали биографии, а главное, самому Бородину — в обильных выписках из его статей, переписки, мемуаров. И в том, как чутко отобраны и расположены эти драгоценные, дышащие жизнью материалы, в умных комментариях к ним, в том художественном впечатлении, которое создается в результате этой слитной работы писателя и исследователя, чувствуется умелость и талант опытных популяризаторов, тонких ценителей человеческого слова и мысли. Предоставляя страницы своей книги людям разных голосов, занятий, темпераментов, используя и литературные ассоциации, и житейский анекдот, и научные летописи, наконец, художественно «воображая» давно ушедшую действительность, авторы сумели добиться того, что вокруг их Бородина шумит, разговаривает, поёт и переливается красками вся русская — и не только русская — жизнь второй половины XIX столетия. В круг повествования входят, как это входило в круг жизненных впечатлений и переживаний Бородина, и поездка в Веймар к Листу, и международный конгресс химиков, и засеченные крестьяне из русской деревушки, которых лечил молодой Бородин, и хлопоты об устройстве петербургской квартиры, и «Князь Игорь», и «котлетная полька» маленькой воспитанницы Бородина, и «освобождение» крестьян, и любовь к жене, и многое, многое ещё, что лежит в пределах или, скорее, в беспредельности жизни и творчества великого человека. Характеризуя эту повесть, нет нужды говорить об «удачном показе исторической обстановки», о «фоне», ибо здесь это не «фон», а сама жизнь, как не бывают «фоном» для деятельности любого живого исторического

лица события его времени, жизнь его народа.

Новая книга об А. П. Бородине, к счастью, почти свободна от одного большого порока, свойственного многим нашим художественным произведениям биографического плана. Мы говорим об утомительной патетике. Во многих пьесах и фильмах давно уже ходит под разными фамилиями гомункулос, которого писатели и режиссёры вывели в своих лабораториях и заставили представлять «передового деятеля» любой эпохи. В этом персонаже всё — каждая фраза, жест, расположение морщин на челе, даже, кажется, пуговицы на костюме, — всё говорит: я передовой, я люблю людей, я вижу сквозь века. Во всё время пребывания своего на виду герой этот изъясняется целыми абзацами из своих сочинений и из мемуаров современников. Он не ест, не пьёт, не ухаживает за женщинами (потому что женщина для него — это только лишь «спутница в борьбе») и занят единственно тем, что избличает очередных славянофилов. Про него говорят, что он любит народ; но странно, что эта любовь проявляется либо в том, что этот герой стоит в позе горестного укора, когда жандармы на его глазах бьют крестьян (как это было, например, в фильме «Беллинский»), либо выражается в беседах с собственным камердинером, с няней или с «нижним чином» под хмельком, причём здесь нестерпимо бывает это «подмигивание» зрителю: вот-де какой он, этот простой народ, который я люблю, — сообразительный и выпить не дурак...

Это превращает живого, жившего на свете человека в образ-формулу, так сказать, в квадратный корень из действительного исторического лица. Так у нас был квадратный корень из Гоголя, даже из Пушкина, из Римского-Корсакова и особенно из Беллинского.

В книге М. Ильина и Е. Сегал о Бородине, кажется, нет этой искусственности; герой не лишён здесь будничной, человеческой характеристики. Он не стыдится думать об устройстве для себя и семьи сносного жилья; любя превыше всего Россию, он с удовольствием путешествует по загранице; и, несмотря на свою действительную, кровную и честную преданность простым людям и родине, прославляя их в своём творчестве, занимается в годы подготовки крестьянской революции «чистой» наукой и музыкой, которую не связать прямо с дея-

тельностью подпольных обществ. Эта музыка, возникающая в профессорской квартире, была не такая вовсе, которую единственно прощают многие наши художественные биографы своим предшественникам, — не такая, под которую легко было бы подставить картины пляса живописных народных групп или сцены стихийного мужицкого бунта; это музыка учёная, симфоническая, камерная и, как ни странно, почти сплошь созерцательно-светлая, радостно-активная, торжествующая — как будто не в жесточайшие, держимордовские времена жил её автор. Лучше всего, быть может, эта музыка доносит к нам то чувство апофеоза, которым жили «шестидесятники», ощущаемое и в «Кому на Руси...» Некрасова и в «Перемене декораций» из «Что делать?» Чернышевского.

Соблазнительно, может быть, сделать, в оправдание такого обстоятельства, Бородину, скажем, прямым музыкальным сподвижником Чернышевского, а «Богатырскую симфонию» — «Марсельезой» крестьянской революции. Но нельзя на деятелей прошлого смотреть слишком современными глазами, требовать от них повиновения нашему моральному принципу.

Мы говорим об этом лишь для того, чтобы показать достоинства разбираемой книги, так сказать, «от противного». Ничего не поделаешь: из огромной массы славных и дорогих нам людей, вечных наших современников, не так уж многие прямо уходили в революцию. Но их искусство было революцией. И «Богатырская симфония», написанная великим русским человеком, профессором Императорской медико-хирургической академии А. П. Бородинным, была в условиях шестидесятых годов яркой «политической» музыкой, она воспитывала для общества людей, любящих свободу, силу, красоту, готовых к борьбе за них. Недаром и теперь эта симфония сопровождает народные торжества в государстве победившего социализма.

Впрочем, иногда и М. Ильин и Е. Сегал лишь с видимым трудом не поддаются соблазну «революционизировать» личность Бородину, — хотя бы в тот момент, когда они находят нужным подчеркнуть, что «Бородин не был революционером, но он всегда отличался демократическими взглядами». Необходимо ли в отношении такого человека это ограничительное заявление, вселяющее в

сознание читателя мысль, что вот, значит, Бородин ещё «не дотянул» до какого-то предела гражданского поведения, хотя и тянулся изо всех сил?

Мы уже говорили, что новая книга об А. П. Бородине имеет много ценных качеств. Даже её недостатки, кажется, являются продолжением её достоинств. Например, нельзя не отдать должное умелому стилю М. Ильина и Е. Сегал, их одновременно и «просветительской» и поэтической манере разговаривать с читателем. Новое их произведение привлекает тем качеством, которое особенно ценил А. М. Горький у одного из авторов книги — писателя М. Ильина, — «редчайшей способностью... говорить просто и ясно о явлениях сложных и вещах мудрых». Но в ряде случаев этот серьёзный и простой стиль как-то переходит в свой ухудшенный вариант — в дидактическую и несколько инфантильную манеру рассказа, неестественную в книге для юношества:

«Мысли и впечатления, возникающие у каждого из нас дома и на работе, в театре и на лекции, среди природы и в шумной городской толпе, при встречах с людьми и в одиночестве, не разложены по полочкам, как письма в почтовом вагоне, а составляют единое сложное целое».

Вряд ли нуждается в таком незамысловатом растолковывании состава человеческой духовной жизни тот читатель, которому на другой странице рассказывают, что из какого-то химического снадобья исходил запах «сивухи».

С другой стороны, совершенно неожиданно — и, к счастью, очень редко, — читая эту книгу, с трепетом внимаешь языку «научной науки»:

«Мы не знаем, каким способом получил он гликолевую кислоту: пришлось ли ему для этого сначала превратить уксусную кислоту в хлороуксусную, а от неё уже перейти к гликолевой. Или же он воспользовался способом, который... был найден русским химиком Соколовым и шёл не от хлороуксусной, а от аминоксусной кислоты — гликокола».

Несмотря на то, что с самого начала мы были предупреждены авторами об одинаковой важности для них деятельности и Бородина-химика и Бородина-музыканта, всё же неизбежно получается, что неприготовленному читателю интереснее узнавать именно о музыканте, о великом авторе на-

родных симфоний и опер. На наш взгляд, М. Ильин и Е. Сегал во многом овладели, казалось бы, невозможным искусством говорить голосом «смирненной прозы» о тончайших и многообразных музыкальных впечатлениях. Они с большим тактом проникают и в творческий мир великого музыканта, не пытаясь, как это делают многие, разложить по полочкам («как письма в почтовом вагоне») единый процесс мелодического, ладового и ритмического мышления.

Люди, слушающие большую музыку (а таких в нашей стране миллионы), нетерпимы ко всякой фальши, всякому излишнему «оглавлению» при раскрытии программы того или иного сочинения. Авторы книги о Бородине — в большинстве мест, где им приходится говорить о содержании очередного, созданного Бородиным музыкального произведения, — держатся вполне на хорошем, и не узкоспециальном и не «заниженном» уровне. Но заметна иногда также и в этой книге какая-то скованность в истолковании музыкальных образов. Так, раскрывая образно-эмоциональное наполнение первой части её диг'ной симфонии Бородина, авторы пишут: «И вдруг словно заговорила где-то пастушья свирель, девушки поют хороводную песню». И во второй части этой симфонии авторы услышали хоровод, но только здесь они видят уже «юношей и девушек, ведущих хоровод». А в скерцо Второй симфонии «песня с её вопросами и ответами вызывает... в воображении хоровод», который ведут уже «красные девицы и добры молодцы».

Можно ещё указать здесь вообще на несколько поверхностное изложение музыкального замысла Первой симфонии.

Очень хорошо раскрыто возникновение этой бодрой, «гремучей» музыки в условиях общественного подъёма шестидесятых годов, когда с одной стороны — «царщина, тоска и снисходительность дворянства», а с другой — великий материалист возлагает, несмотря ни на что: «прекрасное есть жизнь».

Но потом начинается псевдопопулярная и чересчур патетическая декламация: «Вера в жизнь, в будущее народа и в свои собственные силы проявляется в неожиданном переходе от медленного темпа к быстрому, от минорной к мажорной тональности», «...девушки поют хороводную песню. Это мысль о народе, который в самом себе

найдёт силу для освобождения, это народные напевы, в которых композитор ищет опору для своего творчества», «В мечтательном раздумье мысль композитора обратилась снова к прошлому, но уже издали — из прекрасного будущего», «Всё быстрее мчатся по струнам смычки. Прихотливая восточная сказка ворвалась в мечтательное раздумье».

Не правда ли, этот комментарий сам требует к себе комментариев? Почему, например, вера в народ передаётся переходом от медленного темпа к быстрому, а не наоборот? И как понять здесь упоминание о народных напевах, в которых композитор «ищет опору», почему «мысль о народе» бессильна высказаться иначе, чем через народный напев или его имитацию? И что, в конце концов, объяснит слушателю фраза о «прихотливой восточной сказке»? Зачем это ей «врываться» в композиторское «мечтательное раздумье»?

Словом, как видим, не в пример другим местам книги, штамп здесь на время взял верх над воображением.

Необходимо вкратце остановиться ещё на некоторых, как нам кажется, неправильно-стях или просто недосмотрах авторов. Говоря о значении идеологов «могучей кучки», авторы заявляют: «Глинка и Стасов в музыке — это то же, что Пушкин и Белинский в литературе». С этим нельзя согласиться, как бы высоко ни оценивать роль Стасова в истории русской культуры. Всё-таки работа Стасова гораздо более «местная», и след, оставленный ею, менее глубок, менее революционен, — не говоря уж о том, что многие оценки, принадлежащие Стасову (да простят нас), выглядят теперь остросубъективными, не подтверждёнными временем.

Вообще, прогрессивный лагерь в русской культуре XIX века выглядит в книге несколько сглаженно и идиллически. У читателя может создаться впечатление, что Серов, Стасов, Даргомыжский, Чайковский, Балакирев, Рубинштейн — всё это полные единомышленники, стоявшие рука об руку против аристократического, подражательного искусства, одинаково мудро оценивавшие наследие Глинки, люди, которым не из-за чего было ссориться, кроме как в таких крайних случаях, как «уход» Балакирева. Во всяком случае острая идейная борьба в прогрессивном крыле искусства почти не просматривается в книге. Пример: о первой русской оперетте — «Богатырях» Бородин

на — говорится, что это музыкальный памфлет на «итальянщину»; а что это была ещё и пародия на «рогнедовщину», — об этом ни звука.

Это приводит к тому, что иной раз в книжке говорится одно и то же о двух уже вовсе разных деятелях. Один из них был «неистовым воителем за реализм и народность в искусстве», требовал, чтобы музыка «исходила из жизни народа и выражала душу народа». Другого с друзьями «объединяло преклонение перед творческой силой народа и горячее убеждение в том, что народность должна быть основой искусства». В первом случае это Стасов — Белинский, во втором А. Григорьев с Тертием Филипповым.

Очень хорошо, что авторы книги предельно полно охарактеризовали дружеские отношения А. П. Бородина с великим венгерским композитором Ф. Листом, «седой Венерой», как, шутливо подчёркивая «чары» тогда уже стареющего мастера, называл его Бородин. Эти тёплые отношения, в которых как бы спорило обаяние двух истинно человеческих, истинно артистических натур, знаменовали собой тесные связи, установившиеся между передовой музыкой России и Запада. Но эта тема в книге М. Ильина и Е. Сегал не завершена. Мы говорим о том триумфе русской музыки, свидетелем и виновником которого стал в конце своей жизни Бородин в период знаменитых бельгийских «Русских концертов». Мы говорим о том чувстве высокого народно-культурного представительства, которое видно в письмах Бородина на родину в те годы, о сознании, что его успех — успех национальный прежде всего. Кстати, это, пожалуй, единственное время в жизни Бородина, когда он чувствовал себя только музыкантом.

Жаль, что авторы новой биографии мало остановились на этих ярких эпизодах, напоминающих собою патристическую деятельность Тургенева в истории русско-европейских литературных связей.

Каждая по-настоящему интересная книга интересна как своими достоинствами, так и своими недостатками. По отдельным вопросам, которые мы в этой статье затронем, возможны разные взгляды; некоторые наши замечания касаются простых недосмотров и могут быть учтены при новом издании, которое, конечно, вскоре потребует.

Уже после того, как эта рецензия была написана, мы узнали с искренней печалью о безвременной кончине М. Ильина, писателя, который мог сделать ещё очень много добра, но и сделать успел столько, что ещё

долго его будут с благодарностью вспоминать тысячи читателей. С благодарностью вспомнят его и читатели светлой и умной книги о Бородине.

**М. ЩЕГЛОВ.**

★

### Повесть о колхозе

Раннее утро. Председатель колхоза Дубков входит в правление. Ещё в коридоре его останавливает молодёжь и просит дать машину: собрались в райцентр сдавать испытания в техникум.

«— Не посулишь мне кирпичика, Павел Тимофеев?» — обращается к нему какая-то старуха в низко повязанном платке.

«Дубков молчит.

— Почему не хочешь? — обижается старуха. — Другим даёшь, а мне нет... Вон бабке Василине, слышать, избу кирпичную поставить посулил. А мне всего-то полсотенки.

— Я разве что сказал? — Дубков шурит от яркого солнца... садится боком, и на белёной стене вырисовывается его чёткий профиль. — А с бабкой Василиной вам не плохо бы и в труде поравняться...

— Я знаю... ты серчаешь... — вздыхает старуха.

— Значит, совесть у вас ещё не вся пропала, если знаете, — отвечает Дубков. — Понимаете, что виноваты... А кирпич здесь ни при чём. Кирпича мы вам дадим, конечно. Но вы, бабушка, плохая. Обманули нас.

— Когда? — спрашивает бригадир Филипп Игнатьевич.

— А с займом. Сказали, едут з райцентр займ платить. Дали им машину. А они вместо займа поросёнка купили.

Все смеются. Старуха виновато разводит руками: подвернулся, как же его было не читать!»

Так с первой же страницы повести входит в наше поле зрения главный её персонаж — председатель колхоза Дубков.

Писательница создала своеобразный характер колхозного вожака. Самородок, человек широкого размаха (колхозники зовут его «Чапаем»), он добился того, что некогда слабый колхоз стал передовым. «Павел Тимофеев» пользуется любовью окружающих.

**Анна Вальцева.** «Сень в Щеглах». Повесть. Журнал «Знамя» №№ 7, 8, 1953.

Всеми действиями Дубкова руководит чувство ответственности перед народом. В каждом своём поступке он точно отчитывается перед людьми.

Писательница показывает своего героя в острый для него период. Колхоз стал лучшим в районе, Дубкову есть чем гордиться. Казалось бы, теперь только и радоваться успехам. Но Дубков осознаёт, что ему уже не под силу вести большой колхоз, — не хватает образования, а без знаний «где проскочишь, а где и плюхнешься». Дубков принадлежит к тем практикам, которые показали себя умелыми хозяевами, но всё-таки каждодневно ощущают отсутствие знаний, без которых, по выражению старика-колхозника Фомича, нынче «и сам Василь Иванович Чапай не сгодился бы!»

Движущий конфликт повести — конфликт внутренний: единоборство Дубкова с самим собой. Трудно ему сесть за парту, укротить своё самолюбие и упрямство. В разрешении этого конфликта решающее значение имеет парторг Вася, которому дана роль комиссара при колхозном «Чапае». Но такая постановка действующих лиц в повести А. Вальцевой не оправдана: Дубкову не нужен приставленный к нему автором комиссар. При всей лихости своей природы Дубков не только душа колхоза, но и его разум. А Вася и вместе с ним автор, словно не замечая этого, назойливо поучают, направляют, поправляют колхозного командира. Характер парторга проявляется в его речи — он не говорит, а изрекает, преимущественно афоризмы, которые, как правило, производят магическое действие на объект его воспитания.

Примером может служить хотя бы сцена в лесничестве. Вместе с Васей отправился туда Дубков, чтобы добыть топливо для завода. Дубкову кажется, что прямым путём топлива не достанешь, и он пытается действовать хитрым манёвром. Пространно и дипломатично он беседует с лесниками о поделочном хворосте, жердях и тысячах



других предметов, не имеющих ни малейшего отношения к цели его прихода. И лишь потом, словно дав себя уговорить, соглашается поменять «тридцать возов соломы на пятнадцать складочных метров пней». Поступок председателя колхоза вызывает справедливое осуждение парторга:

«— Вам зачем нужен поделочный хвост? — спрашивает Вася.

— А он мне и не нужен. Я о нём для отводу глаз говорил, чтоб они не разобрали, что меня пни интересуют! — смеётся Дубков...

Вася молчит...

— Ты о чём думаешь? — внезапно говорит Дубков.

— Я думаю... о путях... о путях прямых и окольных!..» — многозначительно заявляет Вася, и фраза эта, по словам автора, производит решительное и мгновенное действие: «Лицо Павла Тимофеевича покрывается красными пятнами».

Как ни правильны выводы парторга, все симпатии наши на стороне Дубкова — он и в ошибках живой человек. Вася же неукоснительно прав, но за его правотой не стоит живое, реальное человеческое чувство.

Нельзя на плечи одного человека взваливать непосильную ношу — он не может быть единственным носителем «правильности». А между тем именно так поступает писательница. Воспитательные задачи всего коллектива она поручает одному герою — парторгу. Нагрузка эта оказывается ему не под силу, образ рушится под её тяжестью, лишается жизненной конкретности.

Все силы Васи идут на борьбу со слабостями и недостатками его подопечного. Но слабости Дубкова не столь существенны и не дают автору возможности вскрыть подлинные трудности и противоречия жизни. А так как конфликт произведения сосредоточен вокруг Дубкова, общая атмосфера повести получается несколько идиллической. Стоит на пути у людей появиться какминибудь трудностям, как писательница их тотчас легко и безболезненно снимает.

Вот скромную и робкую Анну Васильевну назначают бригадиром. Женщина сомневается, справится ли она с работой. «— Не привыкла я командовать... — неуверенно говорит она. — Сама я, что хотите, Павел Тимофеевич, сделаю. день и ночь глаз не сомкну, на минуту не присяду, а сделаю. За себя ручаюсь, но за людей не могу... Быва-

ет же так: сам человек всё сделает, а других повести не может...»

В ответ на это Вася просит Дубкова рассказать о первых днях своего председательствования, только так, «чтобы сначала».

Рассказ Дубкова — одна из лучших глав повести, которая не только открывает новую грань характера героя, но и показывает, какой сложной была борьба колхозников, как трудно давалась победа. «...Без боя не сдались», — говорит Дубков о тех, кто мешал наладить колхозную жизнь.

Но как только председатель закончил свой рассказ и Анна Васильевна как бы перестала сомневаться в своих силах, поспешно пожав руки Дубкову и Васе, она «побежала туда, откуда несётся звук работающего комбайна». А наутро стало известно — бригада работала всю ночь и убрала весь подсолнух. Идиллическая концовка обесценивает значение всей главы. Оказывается, что достигнуть успеха вовсе и не трудно: достаточно одного хорошего разговора — и неуверенный организатор становится умелым, плохая бригада — хорошей.

Думая о том, как легко достигают успехов герои повести Анны Вальцевой, как мало препятствий встречается на их пути, невольно вспоминаешь очерки Валентина Овечкина и, в частности, очерк «В одном колхозе». Сопоставление это закономерно потому, что нет других таких произведений, в которых бы столь правдиво и верно, как в этом очерке, говорилось о положении на селе, о трудностях, которые приходится преодолевать колхозникам для того, чтобы добиться побед.

«В одном колхозе» — очерк о хорошем, благополучном колхозе. Сюда каждый день приезжают экскурсии и завистливо и придиричиво изучают хозяйство колхоза, восхищённо следят за его достижениями. К славе здесь привыкли. И колхозу, действительно, есть чем гордиться. С обывательской точки зрения здесь людям нечего больше желать — живут зажиточно, даже богато.

Но это хорошее кажется вполне хорошим лишь потому, что рядом плохо, у соседей хуже. Автор раздвигает рамки повествования, показывает возможности роста колхоза, его резервы. Оказывается, что и здесь председателя колхоза ограничивает отсутствие знаний, и здесь ещё многого не достигли. В. Овечкин не успокаивает ни героев, ни читателей, заставляет их думать

о возможностях роста; в его очерке о хорошем колхозе нет благодушия, самоуспокоенности. Действена и активна мысль автора, полон борьбы и движения очерк.

В повести А. Вальцевой много верного, но здесь правдивые психологические детали соседствуют с идиллическими, условно-благополучными концовками, а острые бытовые сцены не нарушают общего ощущения покоя и благодушия.

А. Вальцева умеет видеть. Но это умение проявилось в частностях и не пронизало собой всё произведение в целом. Однако бытовых, правдивых и талантливых сцен и зарисовок в повести немало, и о них надо сказать.

А. Вальцева умеет передать состояние своих героев через их речь, интонацию. Единжды появляется в повести безымянная женщина в сером пуховом платке. Мы слышим её вкрадчивый голос, доносящийся из кабинета Дубкова: «—Никогда-то вы не зайдёте, Павел Тимофеевич... Хоть бы зашли вечерком...» — говорит она Дубкову, и в интонация её речи — тоска, одиночество.

Маленькая бытовая сцена, но она очень существенна. За этими «завывами» женщины — трагедия вдов, одиноких женщин на селе. Дубков так и объясняет это Васе: «Вот она, война-то!.. Ну, что она меня зовёт? У меня жена, четверо детей. Да и не имею я права такими делами заниматься. А иной кобель и не поймёт, что это горе её к нему толкает, он и рад удовольствие получить. Да её же и обидит! Сам и осудит! Разве ж можно?!»

Сцена написана А. Вальцевой правдиво, без ханжества и дидактизма.

Есть в повести ряд своеобразных, колоритных фигур. Запомнятся «охотница до скляницы» и в то же время набожная бабушка Василина со старым-престарым лицом и детскими голубыми глазами. Останется в памяти читателя Фомич — маленький горбоносый старик, колхозная совесть, первый друг и советчик Дубкова. Интересна история троюродного брата Дубкова — Сергея Николаевича. Противопоставляя судьбу Сергея Николаевича судьбе Дубкова, автор решает важную и занимающую в повести значительное место проблему морального авторитета и связи его с авторитетом деловым, общественным.

Стройный, моложавый Сергей Николаевич не по-мужски внимателен к своей одежде и внешности; в городе таких зовут «пи-

жонами». Всё характерно в этом человеке — речь, лицо, одежда; каждое его слово и действие свидетельствуют о внутренней пустоте.

Сергей Николаевич оставил жену с пятью детьми, и поступок этот «отвратил» от него колхозников. Женщины не хотят работать под его началом, они открыто показывают ему своё недоверие и даже брезгливость. «Какой уж тут авторитет, когда вон они, пятеро... Бригадиру с народом надо, а его народ осудил... А раз народ осудил, нам не пристало заступаться...» — говорит о Сергее Николаевиче старик Фомич.

В жизни, к сожалению, не всегда есть полное совпадение моральных достоинств человека и его трудовых качеств. Но история, рассказанная Вальцевой, вызывает доверие. Здесь, в деревне, все знают друг друга, все у всех на виду — чудесный Сашко, сын Сергея Николаевича, его тихая, трудолюбивая жена, которая всю войну преданно, с сердечной тревогой ждала его. На виду и «молодуха», к которой ушёл Сергей Николаевич. «—У, вертихвостка!» — с ненавистью говорит о ней Дубков. «—Променял ты, Серёга, сапоги на лапти!.. Сашко Василию Михайловичу рассказывал, как они ждали тебя с войны. Чёрта с два, эта стала бы тебя ждать!»

«— Она бы не стала», — соглашается Сергей Николаевич и с какой-то нарочитой беспечностью и цинизмом говорит Дубкову: «—Лизка—бабёнка горячая, ядрёная. Это ты сорвался бы, да тебе карьера мешает. Больно на виду, все за тобой глядят. А мне карьеры не делать, я не депутат, не председатель... Шута ли мне отказываться!»

Тут и начинаешь верить тому, что колхозники не хотят работать под началом этого циничного человека. Самый выбор Сергеем Николаевичем Лизки — проявление его характера, его требований к жизни. Такие понятия, как верность, любовь, чужды ему, по существу непонятны.

Писательница пытается показать, как могло появиться у Сергея Николаевича циничное отношение к людям. Но с этой своей задачей она справляется хуже, недостаточно убедительно. Вот как рассказывает историю своего опустошения сам Сергей Николаевич: «— Началось, брат, это во время войны, — говорит он Дубкову. — Попали мы раз в бомбёжку. Такой страшной, я тебе доложу, бомбёжки мне ни прежде, ни после видеть не доводилось. Лежу это я, весь за-

сыпанный землёй, досками... и вдруг думаю: а гедь эдак всё и может кончиться!.. А я брат, думал, что всё-то ещё впереди! Я, брат, считал, что жизнь, какая у меня была, это ещё не жизнь, а вроде перед жизнью. То бывает баня, а то предбанник. Э, думаю, так и с катушек долой слететь можно, так и в баньку-то и не попадёшь, так и не попаришься; и стал я жить... словно завтрашнего дня нету, бери нынче, что можешь».

Всему причиной война! Так объясняет источник цинизма Сергея Николаевича и он сам и автор. Но ведь не на всякого человека война действует так; большинство извлекает из неё совсем другие моральные уроки. И причина здесь, видимс, в другом — в эгоизме.

Если Дубков стремится «людям дать», то Сергей Николаевич думает лишь о том, как бы «с людей сорвать». Поэтому и в действиях Дубкова он усматривает лишь стремление сохранить карьеру. Изобличая этого человека, А. Вальцева изобличает своекорыстие в его откровенной и циничной форме.

Сергей Николаевич — эпизодический персонаж, но значение его в повести велико. Неприятие его колхозниками — это неприятие человека, живущего лишь для себя и лишь о себе помышляющего.

История Сергея Николаевича имеет сюжетную развязку, и развязка эта психологически убедительна. На этот раз Вальцева не торопится «перестроить» своего героя. Он вынужден покинуть колхоз. Встретившись с ним в Воронеже, Дубков с трудом узнаёт в пожилом рабочем недавно ещё самоуверенного, нагловатого Сергея Николаевича. «Он исхудал, лицо осунулось и почернело, волосы засеребрились ещё больше. Старенькая, выгоревшая гимнастёрка сменила белые шёлковые косоворотки, в каких хаживал на работу Сергей Николаевич в бытность свою бригадиром».

После этой сцены мы расстаёмся с Сергеем Николаевичем, он исчезает из нашего поля зрения; но эта встреча даёт пищу для раздумий. Карьерист лишился возможности строить свою карьеру, исчезла его претензия стоять над людьми. Морально восстановиться такой человек может только на рядовой работе. Произойдёт это или

нет — ответить на этот вопрос трудно; таков, собственно говоря, внутренний смысл последнего эпизода. Преднамеренная незавершённость истории Сергея Николаевича — это, по сути, и есть ответ.

«Осень в Щеглах», собственно говоря, — повесть о хорошем председателе колхоза, и все остальные персонажи произведения играют в нём лишь подсобную роль, существуют для того, чтобы оттенить какие-нибудь достоинства или недостатки главного героя.

Парторг Вася «обнажает» слабости председателя, его самолюбие, упрямство; бабка Василина и женщина в сером пухсовом платке — его сердечность, тонкость его душевного слуха; Надежда — его любовь; жена, Алёна Дмитриевна, — его совесть, чувство долга. Герои эти почти не вступают в отношения друг с другом, они связаны лишь с Дубковым и вращаются вокруг него. И как из ряда лиц, изображённых на полотне, не получится картины, если эти лица не находятся во взаимодействии, так и из удачно написанных литературных фигур не получится коллективного портрета, если фигуры эти не даны в соотношении друг с другом. И хотя большинство эпизодических персонажей в повести А. Вальцевой своеобразно, отсутствие взаимных связей ослабило их значение и значение произведения в целом.

Книгу закрываешь с двойным чувством. В ней много хороших сцен и эпизодов, удачных психологических и бытовых деталей; Анна Вальцева владеет диалогом. И вместе с тем скорчаешься, что у автора не хватило смелости быть правдивым не только в частных сценах и деталях, в обрисовке отдельных характеров, а в целом — в изображении жизни колхоза. Писательница словно позабыла слова своего же героя Фомича: «— Не то хорошо, что хсрошо, а то, что к чему идёт...»

Автор любитесь хорошим колхозом, с лиризмом говорит о его жизни и забывает о том, что составляет содержание нашей жизни, — о борьбе, без которой нельзя показать, «что к чему идёт», и нельзя показать подлинной силы человеческих характеров.

С. БАБЕНЬШЕВА.

## „Под Наро-Фоминском“

В литературе о Великой Отечественной войне немало произведений, написанных не профессиональными литераторами, а людьми, которые, быть может, никогда ранее и не помышляли о писательском труде. Виденное и пережитое в землянках и траншеях переднего края, в боях так сильно взволновало их ум и сердце, что они не в силах не рассказать об этом. И они поведали о том, как сражались за Родину в грозное четырёхлетие. Тема великой народной войны далеко не исчерпана. Вместе с книгами признанных литераторов появляются и будут появляться о ней всё новые и новые произведения участников этой войны.

Записки Вл. Соловьёва «Под Наро-Фоминском» принадлежат к такого рода произведениям. В дни обороны Москвы он был комиссаром одного из боевых участков на наро-фоминском направлении и вместе со своими товарищами по оружию разделил боль и гордость за то, что произошло здесь в первую фронтовую зиму. Автоматная очередь гитлеровца вывела Вл. Соловьёва из строя в декабре 1941 года. Врачи ампутировали раненому правую руку, вырезали одно лёгкое и произвели сложную операцию кисти левой руки. Одолев смерть, научившись писать уцелевшей левой рукой, он совершил не только интеллектуальную работу литератора, но и огромный физический труд писца, переделывая и переписывая по несколько раз отдельные главы и всю рукопись более чем в тысячу страниц...

День за днём показывает Вл. Соловьёв события, как запечатлелись они в его памяти. Тут есть изложение фактической стороны дела: дислокация подразделений, время проведения разведок, участие в боях различных родов оружия, даты и рубежи. Такие сведения необходимы в мемуарном произведении, но не они составляют его душу. Душа книги — сцены и картины, в которых раскрывается характер человека на войне, его моральный и политический облик. И хотя нам уже знакомы образы воинов, ставшие в нашем обществе примером для воспитания таких драгоценных человеческих качеств, как патриотизм, мужество, стойкость, незнание страха в борьбе с врагом, нас не перестаёт волновать судь-

ба рядовых людей, отдавших за Родину свою кровь и жизнь, людей, о которых тепло и искренне рассказывает Вл. Соловьёв.

Наиболее интересная и запоминающаяся фигура записок — лейтенант Белкин, начальник штаба батальона, любовно называемый и старшими военачальниками и солдатами «Белкой», «Белочкой». В этом персонаже много верно схваченных штрихов и чёрточек, как бы беглых зарисовок героя в окопах, в блиндаже, в дороге от командного пункта к переднему краю. «Он понравился мне своей непринуждённостью, и я бы не сказал — доверчивостью, а какой-то радушной внимательностью к нам, только что прибывшим на боевой участок». В другом месте: «Лейтенанту Белкину, видимо, очень хотелось похвалиться предо мною своей смелостью, показать удаль «бывалого солдата». После, как я хорошо узнал его, мне не раз пришлось убеждаться в храбрости лейтенанта, но сейчас он открыто пренебрегал осторожностью: шёл он не пригибаясь и так, будто нарочно старался казаться выше; на самых опасных местах, где следовало прошмыгнуть быстрее и незаметнее, он замедлял шаг». Отдельные черты этого образа рисуют нам то мужественное спокойствие, то мальчишеский задор; они выглядят иногда «полярными», взаимоисключающими друг друга, однако никогда не противостоят друг другу, всегда правдивыми. Из них складывается характер общительного, радужного, жизнерадостного и удивительно смелого воина. Успев полюбить героя, мы горько переживаем его гибель.

Запоминается в записках командир батальона капитан Светлов, человек порывистый, душевно сильный и не менее храбрый, чем Белкин, но уже без того ребячества, которое у Белкина следует отнести за счёт возраста. «Мы подходили к своему блиндажу, когда шальная пуля вырвала клочок ваты из верха кубанки командира. Светлов не повёл бровью. Он продолжал высказывать свои соображения. Но когда мы спустились в блиндаж, он осмотрел расположенный верх кубанки и от души выругался.

— Придётся искать портного, чтобы заштопать, — сказал он. — Другой такой шапки не достанешь».

Главным и определяющим качеством для человека у Вл. Соловьёва является мужество. Он испытывает своих героев прежде всего на этом. Поведение в суровых условиях фронтовой действительности — решающий принцип оценки людей в бою.

Вл. Соловьёв ещё не владеет умением художественно воссоздавать цельный, обобщённый образ по характерным штрихам и деталям. Его главная особенность представляется нам в умении точно списывать с натуры черты конкретного человека. Яркая, самобытная натура — получается удачнее и портрет; обычнее натура — и портрет её тусклее, а иногда и лишён всякого характера. Цветков, Базыкин, Козлов, Китаев, например, изображены так, что чёрточка оригинального в них теряется в массе безликого и однообразного. Их и им подобных различаешь больше не по характеру, а по фамилиям и должностным наименованиям. Конкретность описания нередко подменяется «обобщающими» словами и фразами, вроде: «Гибель Цветкова очень тяжело отразилась и на внешнем облике и на душевном состоянии лейтенанта», «Он бежал, полный священной ярости и безумной отваги» и т. п. Портит дело и неумение дать каждому действующему лицу должное место в эпизодах и сценах, отчего нарушается естественность действия. Вместо человека даётся анкета, как это произошло, например, с Матвеем Севастьяновичем в главе седьмой, когда раскрытие характера деда Матвея художественными средствами вдруг уступило место сухому перечислению биографических данных.

Нет ничего необычного, что в книге о войне много места отдано картинам разнообразной боевой деятельности — наступлению днём и ночью на полевою оборону и на населённый пункт, разведке боем и ночному поиску. Но повторность этих сцен, особенно во второй половине записок, создаёт однообразие, которое иногда утомительно. Полнее выглядит фронтовая жизнь там, где картины боёв перемежаются бытовыми сценами. Заметим попутно, что такие сцены автору удаются лучше боевых. Хорошо, например, изображён приезд в наступающие подразделения и товарищеский раз-

говор с бойцами и командирами генерал-лейтенанта Ефремова — прославленного героя Великой Отечественной войны; жизненные сцены солдатского досуга — хороший смех, шутка, которые находили себе место при самых «мрачных» обстоятельствах.

Рассказ в записках ведётся от первого лица, и следует сказать об изображении самого рассказчика. Скромность в нашем обществе всегда почиталась и почитается за достоинство. И отраднo, что этим чувством в высокой степени обладает автор. Но скромность Вл. Соловьёва в ряде мест преувеличена до самообеднения. Вот он в составе поисковой группы, отправившейся за «языком», оказывается за укреплениями врага, у фашистских блиндажей. Какой душевный трепет испытывает разведчик, вышедший на своё первое дело! Какой понятный страх вдруг обступит его со всех сторон и какое большое усилие воли потребуется, чтобы не поддаться ему!.. Но вся эта богатая и сложная работа психики автором опускается или почти опускается. Картина бледнеет. Подобная «скромность» не только ослабляет эмоциональную окраску рассказчика — одного из основных участников событий, изображённых в книге, но и снижает драматизм всей картины фронтовой жизни.

Хорош конец книги «Под Наро-Фоминском». Десять лет спустя автор её проехал по местам отгремевших боёв. Жизнь, которую он и его товарищи отстаивали от губящего её врага, вновь поднялась замечательными всходами. В деревнях встали новые дома колхозников, поля поросли густыми травами и богатым хлебом. «Блиндаж штаба боевого участка, — пишет Вл. Соловьёв, — мы долго разыскивали... Он затерялся в разросшихся зарослях. В те дни, когда я жил в этом блиндаже, то, кажется, знал каждое дерево, каждый кустик в лесу, а теперь всё здесь выглядит иным, не похожим на прежнее. Годы и лето совершенно изменили облик леса...»

Мостик, перекинутый мемуаристом из прошлого в настоящее, углубил смысл его записок и придал им большее современное значение.

И. КОЗЛОВ.



## Новый украинско-русский словарь

Бурное развитие украинской советской литературы и науки и настоятельная потребность читателей других советских народов знакомиться с достижениями украинской культуры в подлинниках сделали чрезвычайно важным и неотложным делом выпуск хорошего украинско-русского словаря. Поэтому нельзя не приветствовать предпринятое Институтом языкознания Академии наук УССР издание капитального труда в четырёх томах, из которых первый уже вышел в свет.

История украинского народа полна тяжелой и кровавой борьбы за свою государственную самостоятельность, за свой язык, культуру и обычай. Польские паны, угнетая украинский народ, стремились покорить его духовно, изгнать украинский язык или внедрить в него чуждые ему слова, чуждые формы. Особенно горькой судьбе подверглась Западная Украина, оторванная на века от основной массы украинского народа.

Несмотря на преследования и различные препятствия, талантливые и отважные сыны украинского народа создали ещё в дооктябрьский период значительную литературу на родном языке. Эта вольнолюбивая литература доказала жизнеспособность украинской культуры, показала красочность и живописность украинского языка, открыла его богатые возможности. Тарас Шевченко, Котляревский, Нецуй-Левидкий, Панас Мирный, Кцюбинский, Гулак-Артемовский, Марко Вовчок, Леся Украинка, Иван Франко, Василь Стефаник, Ольга Кобылянская донесли язык своего народа во всей его красоте до того времени, когда перед ним открылась возможность стать государственным языком свободной страны, разговорным и литературным языком многомиллионного украинского народа, — до того времени, когда Великая Октябрьская социалистическая революция в России освободила украинский народ, возродила украинскую государственность и язык.

Возрождение украинского языка встретило бешеное сопротивление со стороны украинской и зарубежной реакции. Первыми

ополчились на него гетманщина и петлюровщина: буржуазные националисты на каждом шагу божились именем нации и народа, а на деле насаждали малороссийско-польско-немецкий жаргон, извращая украинский язык.

Не меньший ущерб развитию языка нанесли те украинские буржуазные националисты, которые всячески маскировали свои выступления, — ефремовы и хвильовые. Все эти господа пытались ориентировать украинский народ на «Запад», на отрыв украинского народа от родного ему русского народа, близкого по языку и исторической борьбе. «Западничество», «европеизм» — то есть космополитическое раболепство перед мировым империализмом — были основой предпринятой ими «модернизации» украинского языка; такие иноязычные слова, как, например, «Китай», «химия», «афера» и многие другие включались в украинский язык в явно чужеродной форме: «Хіна», «хемія», «гешефт» и т. п. За пресловутым «западничеством» стояло плохо прикрытое онемечивание украинского языка.

Украинские буржуазные националисты не останавливались перед тем, чтобы умышленно коверкать, уродовать украинские слова. Русское слово «балалайка», например, переводилось «балабайка», «автомобиль» — «самопер», «ахтамобіль» и т. д. Все эти пародийные подобию слов выдавались за «истинно-национальное, народное словотворчество».

Как ни проводили националисты так называемое «западничество» в словарном составе, какие насилующие язык правила ни вводили они в грамматику, — ничего из этого не получилось. Народ отверг все издевательства над родной речью. Однако в литературный язык некоторые искажения проникли. Одна из важнейших задач советского украинско-русского словаря — закрепить очищение украинского языка от остатков мусора, занесённого и иноземными и «отечественными» врагами украинской культуры.

Первый том Словаря содержит 24 425 слов; это богатство само по себе является свидетельством огромных успехов в развитии современного украинского языка. Нет сомнения, что Словарь будет предметом самого внимательного изучения в специальных языковедческих и филологических из-

«Українсько-російський словник». Головний редактор член-корреспондент АН УССР И. Н. Кириченко, члены редколлегии: кандидат филологических наук Т. В. Зайцева, действительный член АН УССР М. Ф. Рыльский. Том I. Издательство Академии наук УССР, Киев, 1953.

даниях. В нашей краткой рецензии мы отметим лишь некоторые отдельные вопросы.

Составители и редакторы вполне понимали силу слова, его огромное значение не только для литературы, но, в первую очередь, для обиходной народной речи. Они правильно учли и на деле осуществили, применительно к особенностям украинского языка, известное указание В. И. Ленина: «...объявить войну коверканью русского языка». Они справедливо игнорировали всякого рода исковерканные, искусственные слова. Это видно на примере таких слов, как «арихметика» — «арифметика», «банок» — «банк», «бланок» — «бланк», «беззаплатно» — «бесплатно», «балабайка» — «балабайка», «будчик» — «будочник» и др.

С развитием культуры появилась потребность в специальной технической терминологии, которой не было в словарном составе украинского языка до социалистической индустриализации страны. Алюминий искусственно назывался глинец, от слова «глина» — исходного материала для производства алюминия; название явно неприемлемое, так как из особой глины производится качественно другой продукт — металл. Доменная печь (домна) называлась велика піч, что дословно означает «большая печь»; термин, уводя от названия, принятого у всех народов нашей страны, ни в какой степени не улучшал отражения в слове технологического и производственного назначения печи. Ареометр — прибор для определения плотности и удельного веса жидкостей — назывался в о в ч о к (волчок), что даже отдалённо не напоминает внешний вид, существо и назначение прибора.

Вполне закономерно все эти и многочисленные подобные им, искусственно созданные, нежизненные слова остались за бортом Словаря. Сама жизнь предложила техническую терминологию, принятую в русском языке, как наиболее близкую и приемлемую и по родству языка и по деловым связям. Словарь закрепляет и систематизирует эти факты.

В новых исторических условиях многие слова потеряли своё прежнее значение, и это также нашло своё отражение в Словаре. Это видно на судьбе слова «главнокомандующий». Когда-то это понятие входило в слово «гетман». Это было верно для XVII—XVIII веков, когда гетман был вы-

борным вождём и правителем украинских казаков. Позднее понятие «главнокомандующий» передавалось словами «головной командир», «атаман». Все эти интерпретации ныне устарели, звучат, как архаизмы, и не отражают современного смысла, содержащегося в этом слове. Словарь совершенно правильно даёт уже бытующий текстуальный перевод: «головнокомандувач».

Словарь приводит великое множество новых, ранее не известных слов, рождённых советским общественным строем. Это: Волго-Донской канал, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, ВУЦИК, ВЦИК, ВЦСПС, ГОЭЛРО, ГИЗ, ГЭС, в у з о в е ц, в т у з, в р у б м а ш и н и с т, ГТО, газификация, углевоз, углепогрузатель, углеперекаладыватель и много других.

В большинстве случаев наряду с текстуальным переводом в Словаре даётся подробное толкование слова и его значения в речи. Приводится большое количество выдержек, наглядно демонстрирующих смысловое значение слова, и т. политическую окраску, оттенки. Выдержки подобраны из произведений классиков марксизма-ленинизма, классической и современной украинской литературы, из лучших переводов русских писателей и поэтов. Тем самым дано наиболее авторитетное толкование ряду слов украинского языка. (См. слова: батрак, батрачество, говорить, горячий, единый и т. д.)

Отметим, что составители и редакторы не всегда с должной последовательностью отказываются от применения явно устаревших и неосновательно заимствованных чужих слов. Так, Словарь допускает применение слова г е н д л я р — в презрительном значении: т о р г а ш. В немецком языке «гендлер» означает «торговец»; но в живой украинской речи слово это не употребляется, как явно устарелое. В словарном составе украинского языка имеются такие слова, как «торжник, торгаш», в точности передающие содержание и значение слова «гендляр». Включение в Словарь термина «гендляр» и производных от него слов решительно ничем не оправдано. Замечание это относится также и к таким словам, как «гешефт» и другие.

Было бы отраднo убедиться, что при издании следующих томов составители и ре-

дакторы с большей последовательностью подойдут к решению подобных вопросов.

Украинский язык чрезвычайно богат. Гибкий и выразительный, он способен передавать тончайшие оттенки мыслей и чувств. В украинском языке заложен редкостный по красоте, сочный и тонкий юмор. Украинский язык полон замечательного изящества и поэтичности.

Вполне закономерно, что такой язык, воспринимая влияние других славянских языков, сам способен оказывать на них влияние. Наше советское время характерно тесными политическими, экономическими, производственными, культурными связями между украинским народом и народами других советских республик. Украина стала страной машиностроения, металлургии, угольной промышленности, энергетики, огромной сельскохозяйственной, колхозной державой. Велик удельный вес УССР в совокупном братском труде советских народов. Понятно, что все эти обстоятельства создают самую благоприятную почву для широкого взаимопроникновения отдельных слов, терминов русского, украинского, белорусского языков. Словарь, изданный Академией наук УССР, даёт много примеров такого плодотворного языкового сотрудничества народов.

Вот почему, по нашему мнению, неправ известный наш писатель Ф. В. Gladков, когда в статье «О культуре речи» («Новый мир» № 6 за 1953 год) пишет, как о чём-то зловещем: «Нерусское слово «стерня» упорно накладывается на русское слово «жнивнё».

И тут же Ф. В. Gladков предупреждает: «Русский язык настолько богат и выразителен, что он не нуждается в излишних за-

имствованиях и в заменах своих слов чужими».

Но как быть, если слово упорно занимает место в языке, доказывая свою необходимость и живучесть? От такого слова нельзя отмахнуться, отбросить его прочь, глубоко не продумав и не проанализировав всю сумму связанных с ним вопросов. В особенности, если это касается такого слова, что стало вполне русским.

Авторитетные труды о русском языке: Большая Советская Энциклопедия, Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова, Словарь русского языка, составленный Ожеговым, признают это слово, как вполне русское. Оно воспринято народом, литературой, употребляется в партийных документах. Широко распространён, например, и ни у кого не вызывает сомнения технологический термин: «лущить стерню».

Применение слова «стерня» Ф. В. Gladков отнёс к случаям выкрутасов, безграмотности и вольностей. А доказательства? Их нет. Но одного лишь отрицания здесь недостаточно — тем более, что такому опытному писателю и исследователю языковой культуры, как Ф. В. Gladков, конечно, вполне под силу было бы доказать всякое своё правильное утверждение.

А. М. Горький по поводу такого рода заимствований писал: «У нас наименьшинства понемногу вводят свои словечки, и мы их усваиваем, потому что они удобны по своей звучности, ёмкости, красочности. В этом взаимопроникновении языков наш язык будет очень обогащён».

Разъяснение точное и исчерпывающее. Всякое иное толкование кажется нам, по меньшей мере, рискованным.

**С. МАЛОЩИЦКИЙ.**

★

### Политика и наука

#### **Недостатки монографии о передовом колхозе**

Книгу М. Осадько о колхозе имени Ленина издательство рекомендует как экономическую монографию, рассчитанную на специалистов сельского хозяйства и председателей колхозов, а также на широкий круг читателей, интересующихся экономическими проблемами колхозного производства.

М. П. Осадько. «Экономический очерк о колхозе имени Ленина». Сельхозгиз, М. 1953.

Рассматривая с таких позиций эту работу, мы вправе были ожидать от неё новых мыслей, интересных обобщений, поучительного материала, что помогало бы читателям — специалистам сельского хозяйства и председателям колхозов ещё лучше справляться с задачами, выдвинутыми перед ними решениями XIX съезда партии и постановлением сентябрьского Пленума ЦК КПСС.



Автор преследовал весьма обширные цели, именно — на примере сельскохозяйственной артели имени Ленина, Кирсановского района, Тамбовской области, показать «тот этап, на который поднялось наше колхозное движение, когда уже сложились десятки тысяч крупных, высокомеханизированных хозяйств, ведущих производство на основе высокой техники и агрокультуры, когда новое сельскохозяйственное производство успело коренным образом изменить условия труда, быта и отдыха миллионов крестьян, когда сложились условия для дальнейшего движения вперёд к созданию в ближайший исторический отрезок времени изобилия сельскохозяйственных продуктов в нашей стране».

План и характер книги вполне соответствуют этому замыслу.

В первом разделе мы узнаём о структуре хозяйства артели имени Ленина. Общественные земли колхоза занимают огромный массив — более пяти тысяч гектаров. Колхоз производит семенное зерно, семена трав и овощей, выращивает и продаёт племенной молодняк крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец. Основным продуктом зернового хозяйства является здесь пшеница.

Колхозное животноводство представлено крупным рогатым скотом, свиньями, овцами, лошадьми. По поголовью скота колхоз превысил довоенный уровень. Артель имеет птицу, занимается пчеловодством.

Видную роль в увеличении товарной продукции и повышении доходов от общественного хозяйства играют созданные здесь предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов — мельница, просокрупорушка, маслособойный и сыроваренный заводы, колбасное производство, бойня, пекарня. Это приобретает особенное значение, так как колхоз находится вдали от промышленных центров, что затрудняет сбыт продукции без предварительной переработки.

Колхозники артели имени Ленина создали многоотраслевое хозяйство, причём характер и размер отраслей, их пропорции определены с учётом природных условий и требований научной организации производства. «Хозяйство артели, — отмечает М. Осадько, — не представляет случайного нагромождения отраслей, развивающихся независимо друг от друга, не влияющих друг на друга. Каждая отрасль — это часть

единого хозяйственного организма, связанная с другими отраслями и составляющая с ними органическое единство, обеспечивающее наибольшую эффективность хозяйства».

Автор выясняет преимущества разностороннего развития колхозного производства и закономерно приходит к основным выводам, что при этом более полно и рационально используется земля, трудовые ресурсы и средства производства; резко сокращаются отходы производства; удешевляется стоимость основных продуктов; повышаются денежные доходы колхоза, и поступление их в течение года становится равномернее.

Следующий раздел книги даёт картину организации производства и управления в колхозе имени Ленина. Автор указывает, что в создании материально-технической базы колхозного производства решающая роль принадлежит Советскому государству. Государственная машинно-тракторная станция на договорных началах с колхозом выполняет основной объём работ в полеводстве. С помощью МТС колхозники из года в год улучшают агротехнику выращивания сельскохозяйственных культур, создавая наиболее благоприятные условия для повышения урожайности.

В книге прослежено, как крупное механизированное и многоотраслевое хозяйство вызывает необходимость всё большего разделения труда. «Это приводит к тому, — пишет М. Осадько, — что совокупный труд всего коллектива становится более разносторонним, что позволяет лучше использовать имеющиеся богатства, повысить квалификацию людей, повысить производительность труда». Кооперация труда базируется на применении и использовании современной сельскохозяйственной техники. В колхозе появились такие индустриальные профессии, как трактористы, электромонтёры, механики, мотористы, фрезеровщики, слесари, токари, электросварщики, шофёры. С механизацией непосредственно связывается и труд крестьян: доярки работают с доильными аппаратами, скотники пользуются помощью машин по переработке кормов, в полеводстве колхозники имеют дело с тракторами, комбайнами.

Убедительными данными подкрепляет автор утверждение о высокой трудовой активности членов артели имени Ленина. Так, выработка трудодней в среднем на одного

колхозника в 1938—1940 годах составила 338 трудодней, в 1947—1949 годах — 350, а в 1951 году уже 403 трудодня. Примечательным является тот факт, что в последние годы резко снижается число колхозников, вырабатывающих за год меньше 200 трудодней. В 1950 году таких было 213, в 1951 году стало 111 человек.

Наиболее разработанным является третий раздел книги — «Колхозный продукт и его распределение», где автор рассматривает вопросы выполнения колхозом обязательств перед государством, роста общественных фондов, подъёма материального и культурного уровня жизни колхозников.

Обращают на себя внимание показатели, характеризующие товарность отдельных отраслей колхозного производства. По всем зерновым культурам она составляла в 1949 году несколько более 37 процентов, а по пшенице и ржи достигла 40 процентов. Что касается молока и молочных продуктов, то из общей массы их в 1951 году было продано государственным и кооперативным организациям и на колхозном рынке 35,4 процента.

Колхоз имени Ленина неуклонно расширяет своё общественное хозяйство и на этой основе добивается роста благосостояния колхозников, выдавая на трудодни всё больше продуктов и денег.

Последний раздел книги посвящён экономической эффективности укрупнения колхоза.

...И вот книга дочитана до конца. Остаётся впечатление, что автор знает сельское хозяйство, неплохо разбирается в экономике колхоза, умеет грамотно строить таблицы и схемы.

Чем же, однако, обогатила эта монография читателя, интересующегося экономическими проблемами колхозного производства?

В книге содержится много правильных, но уже давно всем известных положений, выводов, заимствованных главным образом из трудов классиков марксизма-ленинизма и партийных документов. Там же, где автор пытается дать самостоятельные формулировки, он часто допускает, мягко говоря, неточности, способные лишь дезориентировать читателя.

«Советское государство,—пишет М. Осадько,—оказывает колхозу всестороннюю помощь, воспитывает крестьян в духе социа-

лизма, направляет развитие каждого колхоза, всё полнее включает его в систему социалистического хозяйства...» (подчёркнуто нами.— В. Я.).

Спрашивается, как это можно «полнее» включать колхоз в социалистическую систему хозяйства, если известно, что колхозное производство является одной из двух основных форм социалистического производства?

Далее встречаем следующее положение: «Поскольку средства производства артели не противостоят кому-либо как средства эксплуатации, постольку они являются основой социалистических отношений между людьми». Кстати сказать, эта же мысль повторяется и в других местах книги, где идёт разговор о средствах производства. Автор явным образом чрезмерно переоценивает значение средств производства и столь же недооценивает роль производственных отношений.

Между тем, как известно, в СССР основной производственных отношений является общественная собственность на средства производства. Не средства производства сами по себе, как в этом пытается уверить М. Осадько, а общественное владение ими определяет производственные отношения, сложившиеся в нашей стране.

Неудачным представляется нам и такое выражение: «Советский социалистический строй означает, что интересы государства совпадают с интересами народа, с интересами каждого трудящегося, так как интересы государства это и есть интересы народа». Последняя часть фразы бесспорно правильна, поэтому как же можно говорить о «совпадении» интересов государства и интересов народа? Ведь для того, чтобы они «совпали», они должны как-то отличаться. Получается, что Советское государство существует независимо от народа, чего нет и быть не может.

Что касается совпадения интересов государства с интересами «каждого трудящегося», то, говоря об этом, нельзя не подчеркнуть, что это совпадение происходит лишь в конечном счёте, а не непосредственно в каждый данный момент. Не случайно Коммунистическая партия ставит задачу правильного сочетания общественных и личных интересов колхозников, при подчинении личных интересов общественным. Этот принцип является краеугольным камнем артельной формы хозяйства.

Представление, будто государственные интересы непосредственно совпадают с интересами каждого колхозника, может привести к игнорированию личных интересов последнего, что принесёт только вред в деле дальнейшего подъёма сельского хозяйства.

Как указывал В. И. Ленин, «Статистика должна иллюстрировать установленные всесторонним анализом общественно-экономические отношения, а не превращаться в самоцель...»<sup>1</sup> И ещё: «Схемы сами по себе ничего доказывать не могут; они могут только иллюстрировать процесс, если его отдельные элементы выяснены теоретически»<sup>2</sup>.

Мы потому и были вынуждены обратить внимание на нечёткие или ошибочные теоретические формулировки М. Осадько, что они наложили свой отпечаток на анализ деятельности описываемого им колхоза.

Вот автор трактует вопрос об экономической эффективности укрупнения колхоза имени Ленина и приходит к такому выводу: «Крупный колхоз более высокая степень по сравнению с мелким не только в технико-организационном смысле, но и в социально-экономическом». Хотел ли этим сказать автор, что при укрупнении изменился тип хозяйства? Но всякому ясно, что это не так, ибо и мелкий и крупный колхоз — это социалистический тип хозяйства и в этом смысле между ними нет принципиальной разницы.

Да и вообще нельзя забывать, что «превосходство крупного производства в земледелии имеет место лишь до известного предела»<sup>3</sup>. Эти пределы, разумеется, не одинаковы для различных отраслей сельского хозяйства и при различных общественно-экономических условиях. Возможность глубоко проанализировать этот вопрос на конкретном материале артели имени Ленина и представлялась автору книги. Однако М. Осадько ограничился тем, что привёл несколько разрозненных данных, говорящих в пользу укрупнения колхоза вообще, что и без того не подлежало сомнению.

Наше сельское хозяйство, являющееся самым крупным и механизированным в мире, неоспоримо доказало свои решающие преимущества перед мелкотоварным крестьянским хозяйством, а также перед крупным

сельскохозяйственным производством капиталистического типа.

В то же время, как указывается в постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС, уровень производства сельскохозяйственных продуктов не удовлетворяет в полной мере растущих потребностей населения в продуктах питания, а лёгкую и пищевую промышленность — в сырье и не соответствует технической оснащённости сельского хозяйства и возможностям, заложенным в колхозном строе. Особенно неблагоприятно обстоит дело с развитием животноводства. Имеет место серьёзное отставание в производстве картофеля и овощей.

Казалось бы, экономист, предпринимая исследование деятельности конкретного колхоза, должен был поставить перед собой в качестве главной задачи — вскрыть талящиеся в этом колхозном хозяйстве резервы, чтобы показать возможности и пути крутого подъёма производства сельскохозяйственной продукции.

Естественно, что основное внимание при этом должно было быть обращено в сторону механизации колхозного производства как решающей силы дальнейшего быстрого развития социалистического сельского хозяйства. Между тем этот вопрос в книге освещён весьма слабо.

Сообщив, что в колхозе имени Ленина в 1951 году работало 15 тракторов, 9 двигателей, 2 турбины, 11 автомашин, М. Осадько делает следующее небезынтересное заключение: «Расстановку людей, ритм работы, производительность труда в масштабе всего хозяйства уже сейчас определяет в основном машина». Следовало ожидать, что автор конкретными цифрами и фактами «расшифрует» читателю этот очень важный вывод. В книге же мы находим либо общие фразы вроде того, что «объём производства колхоза имени Ленина был бы невозможным для колхозников без решающей помощи государственной машинно-тракторной станции», либо перечень и количественные показатели работ, выполненных тракторами МТС. Как, каким путём определяет машина «ритм работы» в колхозе, так и остаётся невыясненным. Автор попросту не нашёл подхода к анализу этого явления.

Немало страниц монографии посвящено животноводству артели. «Хотя артель вы-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 3, стр. 443.

<sup>2</sup> Там же, т. 4, стр. 48.

<sup>3</sup> Там же, стр. 104.

полнила и перевыполнила трёхлетний план роста поголовья скота,— говорится в книге,— но она не реализовала всех своих возможностей в повышении продуктивности скота». Показ этих возможностей средствами экономической статистики мог бы явиться поучительным примером. Вместо этого М. Осадько вновь прибегает к повторению общих положений: «Важнейшие пути, обеспечивающие повышение продуктивности скота,— это дальнейшее развитие и укрепление кормовой базы, повышение породности скота, культуры животноводства, улучшение условий труда на ферме, повышение квалификации работников животноводства». Что же тут найдут нового читатели, на которых рассчитана книга,— специалисты сельского хозяйства и председатели колхозов? И в этой области автор не нащупал тех методов и приёмов, при помощи которых он как экономист смог бы дать на конкретном материале свои деловые предложения, помогающие дальнейшему развитию животноводства.

В нашей стране статистика может и должна служить активным и действенным средством борьбы за утверждение нового, прогрессивного.

При изучении деятельности колхоза имени Ленина автор книги натолкнулся на некоторые интересные факты, но как следует не оценил их. Вот он приводит таблицу, показывающую распорядок дня в артели. Оказывается, что рабочий день в колхозе в летний период заканчивается в 7 часов, а в весенний и осенний периоды — в 6 часов вечера. Еженедельно каждый колхозник получает день отдыха, а в свободное время года — отпуск продолжительностью до двух недель. Всякому ясно, что перед нами — новое явление в жизни деревни, вышедшей веками работать в период горячих полевых работ «дотемна». Но советского читателя не могут не заинтересовать такие, например, вопросы: а как сказался этот распорядок на производительности труда колхозников, что он внёс нового в культуру отдыха, в повышение общеобразовательного уровня колхозников? К сожалению, в книге об этом ничего не сказано. М. Осадько лишь формально зафиксировал это явление.

В другом месте говорится: «Большое значение имеет переход доярок на двухсменную работу». Охотно верим, но хотели бы знать: а каковы результаты? Ответа не находим.

Касаясь организации труда, автор сообщает: «Для удобства руководства бригадными работами основная часть колхозников, входящих в состав бригады, разбита на группы, которые бригадиром используются по мере необходимости на той или иной общебригадной работе». Опять же следовало бы привести доказательства целесообразности этой формы организации труда, связанной к тому же с начислением определённого количества трудодней за руководство группой. А так читателю остаётся догадываться самому: хорошо это или плохо?

Бесстрастное, в своём роде «объективистское» отношение к материалу — черта, характеризующая всю книгу М. Осадько. Автор стремился поместить как можно больше всяких цифр, показателей, словно боясь что-либо упустить, забывая при этом, что он составляет не бухгалтерский отчёт и не инвентарную опись, а экономический очерк. Но вот цифры эти в большинстве случаев остаются мёртвыми, не западают в память.

При чтении книги как бы оглядываешь всё колхозное хозяйство до мелочи, но перед тобой не развёртывается процесс развития хозяйства, не вскрываются в наглядной и убедительной форме закономерности этого развития. И не живая диалектика, а мёртвая схоластика проглядывает подчас сквозь всю эту цифирь.

Мало и плохо пользуется автор сравнениями, которые в экономической статистике играют решающую роль, давая впечатляющую картину контрастов, движения, развития.

Случается и так, что выводы автора не соответствуют данным, которые призваны их иллюстрировать. Автор утверждает, например, что «затраты труда сравнительно равномерно распределены в течение всего года», а приведённая вслед за этими словами таблица показывает, что в зимние месяцы в хозяйстве затрачивается в два с лишним раза меньше трудодней, чем в летние. Ясно, что о равномерности тут ещё рано говорить и полезнее было бы подсказать возможности более рационального использования той массы труда, которая пропадает для общественного хозяйства в зимнее время.

Экономический очерк М. Осадько страдает тем же основным пороком, что и большинство книг о передовом опыте в сельском хозяйстве, — поверхностной описатель-

ностью. В нём нет глубокого, наглядного и убедительного для читателя раскрытия периодов методов и приёмов работы, в данном случае средствами экономического анализа. Потому-то книга и производит впечатление формального отчёта, а не творческого исследования.

Нельзя не предъявить претензий и к редактору книги М. Сулковской. Она не могла автору изобразить свою работу от повторов мыслей и даже фактических данных (например, сведения о количестве тракторов, работающих в колхозе, фигурируют несколько раз). Через всю книгу надоедливо проходит полубившееся, видимо, автору и редактору слово «определяет». На странице 135 оно четырежды встречается в одном абзаце, состоящем из одиннадцати строк.

Выставляя на вид преимущественно недостатки книги, мы отнюдь не имели в ви-

ду дать отрицательную оценку в целом труду М. Осадько. В книге есть немало интересного и поучительного материала. Однако, на наш взгляд, она в полной мере удовлетворить читателя не может по тем причинам, о которых говорилось выше.

Есть такое выражение: «Цифры доказывают». И это правильно — язык цифр может быть весьма красноречив и убедителен. Но это качество цифрового материала проявляется особенно ярко тогда, когда он представляет собой иллюстрацию к глубоким и оригинальным идеям и обобщениям.

Вот о чём хотелось бы напомнить издательствам от лица «интересующихся экономическими проблемами колхозного производства», тем более, что таких людей в наши дни становится всё больше и больше.

В. ЯКОВЛЕВ.

★

### Кому нужна «холодная война»

Любая добросовестная попытка разобраться в сущности международной напряжённости, показать её виновников и уяснить пути мирного разрешения всех спорных вопросов вызывает большой интерес у широкой общественности.

К числу таких именно попыток относится вышедшая в Нью-Йорке работа американского публициста Карла Марзани «Мы можем быть друзьями».

Автор книги — бывший сотрудник американских разведывательных органов. В 1946 году Марзани по собственному желанию ушёл с государственной службы и сразу же начал выступать по вопросу о «холодной войне», критикуя внешнюю политику США. Вскоре он был арестован и приговорён к тюремному заключению. Находясь в тюрьме, Марзани написал три работы, в которых разоблачал силы реакции, подготавливающие новую мировую войну. Одна из них и представляет собой названную выше книгу.

В «Введении» автор пишет: «Грозящее взрывом напряжённое состояние международных отношений, которое газеты называли «холодной войной», не прекращается. Все

упорно ищут ответа на вопрос: как началась эта холодная война?»

Рассказать о том, почему Соединённые Штаты Америки встали на путь «холодной войны», к каким последствиям привела «доктрина Трумэна» и как вернуться к политике дружбы между США и СССР, — такова задача, которую поставил перед собой К. Марзани. Многочисленные документы и факты, неопровержимые доказательства, выводы и обобщения автора дают убедительные ответы на эти вопросы.

Известно, что империалистическая пропаганда США, обманывая американский народ, пытается создать у него совершенно искажённое представление о подлинных причинах напряжённости современных международных отношений. Основой идеологической кампании американских империалистов является миф о «советской угрозе», запугивание простых людей возможностью нападения СССР. «И вот, — пишет Марзани, — мы видим целый народ в состоянии полуистерии: на детей вешают собачьи бирки; наблюдатели с радарными установками дежурят круглые сутки... везде учебные воздушные тревоги — на улицах, в магазинах, в школах, где детей заставляют прятаться под партами. В этой атмосфере нам приходится воспитывать наших детей, и мой пятилетний сын, засыпая, спрашивает

Carl Marzani. „We Can Be Friends“. New York, 1952. (Карл Марзани. «Мы можем быть друзьями». Нью-Йорк, 1952).

ет: «Мама, когда попадёт бомба, это больно?»»

Басня о «советской угрозе» имела целью оправдать все агрессивные действия США и изобразить гонку вооружений, сколачивание всякого рода блоков, строительство военных баз во всех частях света как мероприятия чисто «оборонительного характера».

Вполне естественно поэтому, что в своей книге Марзани уделяет большое внимание анализу истоков нынешней политики правящих кругов Соединённых Штатов. Автор показывает, что «холодная война», которая ими начата и продолжает раздуваться, представляет собой результат сознательного, продуманного заговора против мира и отнюдь не диктуется какими-либо соображениями обороны или «охраны национальных интересов США».

В книге приводятся весьма характерные заявления американских политических деятелей, дипломатов и генералов, убедительно свидетельствующие о том, что как раз те люди, которые являются наиболее активными застрельщиками политики «холодной войны», выдаваемой как ответ на «агрессивные намерения Советов», сами никогда не верили в эту версию. Так, Джеймс В. Форрестол, бывший министр обороны США, писал в июне 1946 года в своих дневниках, что русские, по его мнению, «не выступают этим летом — да и вообще не выступают». Из тех же дневников явствует, что генералы Эйзенхауэр, Смит и Клей высказывались в правительственных кругах в том смысле, что они не ожидали агрессии со стороны Советского Союза. Генерал Клей заявлял это в 1946, в 1948 году, а в конце 1951 года снова, на этот раз публично, сказал, что, если бы СССР действительно хотел напасть на Западную Европу, он уже давно бы сделал это. Официальный Вашингтон, делает вывод Марзани, «в действительности не ждал и не ждёт военной агрессии со стороны Советского Союза, не верит, что Советский Союз готовится развязать войну. Попросту говоря, это значит, что некоторые члены нашего правительства сознательно обманывают наш народ».

Между Соединёнными Штатами и Советским Союзом, справедливо замечает автор книги, нет объективных причин для соперничества в экономической области. Географическое положение США и СССР не даёт оснований для каких-либо трений. «Не кто

иной, как генерал Эйзенхауэр, определил основы американо-советской дружбы. В настоящее время он, повидимому, забыл то, что он сказал в 1948 году: «В прошлом у США и России не было причин мрачно смотреть на будущее. С момента образования США как независимой республики оба народа поддерживали неизменно дружественные отношения».

Кто же в действительности заинтересован ныне в усилении международной напряжённости, кому на руку «холодная», а по возможности, и «горячая» война?

Как говорит Марзани, послевоенная программа реакционных кругов США была совершенно ясной: «холодная война» за границей и наступление на права и гражданские свободы народа внутри страны. В основе этой политики, указывает он, лежит погоня за прибылями. Если в 1929 году, который принято считать «золотым годом» американского капитализма, общие прибыли капиталистов до уплаты налогов составляли 9,8 миллиарда долларов, а во время войны каждый год приносил им в среднем свыше 22 миллиардов, то после войны сумма прибылей достигла 29 миллиардов в среднем в год. Война в Корее увеличила общие прибыли монополий уже до 43 миллиардов долларов ежегодно, то есть почти в четыре с половиной раза больше, чем в 1929 году. Огромный рост прибылей капиталистов, с одной стороны, указывает Марзани, и падение жизненного уровня трудящихся — с другой, наглядно показывают, кому выгодна «холодная война».

Автор книги не ограничивается обзором прошлого и настоящего агрессивной политики правящих кругов США и рассматривает её в перспективе.

Американские монополии получают колоссальные, невиданные ещё в истории прибыли. Им в значительной степени удалось разжечь в стране военную истерию и использовать её для жестоких репрессий в отношении прогрессивных сил страны. Из года в год растут запасы смертоносного оружия, увеличивается численность вооружённых сил, множится число военных баз за границей. И тем не менее на этом фоне кажущихся успехов политики «холодной войны» всё чаще раздаются голоса тревоги, принадлежащие даже таким «безупречным», с точки зрения американских политических стандартов, людям, как, например, бывший президент США Г. Гувер, предсе-

датель правления компании «Джиснерал моторс» Чарлз Вильсон и другие.

Более дальновидные деятели начинают понимать, что никакие искусственные вливания в виде растущих военных ассигнований не могут предотвратить надвигающийся экономический кризис. В последнее время кризисные явления в американской экономике продолжают нарастать. Такие симптомы, как сокращение производства в гражданских отраслях промышленности, увеличение количества непроданных товаров на складах и т. д., свидетельствуют о растущей угрозе экономического банкротства. И это, конечно, ясно видят многие представители деловых и политических кругов Америки. В частности, журнал «Мэгэзин оф Уолл-стрит» в номере от 30 сентября 1953 года указывал, что в самом скором времени «начнётся общий спад деловой активности. Некоторые экономисты говорят о том, что спад (так в США предпочитают называть кризис. — Ю. А.) начался ещё весной 1953 года».

В своей книге Марзани отмечает, что как в США, так и за границей, проявляется единодушие в оценке действительного экономического положения в Западной Европе: неизбежное банкротство, которое правительства западноевропейских стран тщетно пытаются отсрочить, только прибегая в ещё большей степени к помощи американских долларов. «Европа с её рахитичной экономикой, — говорит Марзани, — не может увеличить производство пушек, не сокращая производства хлеба. Настояния США на том, чтобы Европа в качестве уплаты за долларовую помощь ускорила своё вооружение, естественно, привели к немедленному снижению жизненного уровня в Европе».

Автор приводит высказывание члена английской палаты лордов Блэкфорда, который заявил: «Я всегда считал, что расходы на вооружение, которые производятся в настоящее время, разорительны. Если мы не найдём какого-нибудь выхода, они разорят все страны мира».

Тяжёлое экономическое положение Западной Европы усугубляется ещё тем, что США всеми силами препятствуют торговле между Западом и Востоком. «Всё большее число людей, — говорится в книге, — понимает, что американская экономическая политика разоряет их и что торговля с Советским Союзом является их единственным спасением».

Политика «холодной войны» не является самоцелью. Империалисты США рассматривают её как переходный, подготовительный этап к войне за мировое господство американских монополий. На это их толкает погоня за максимальной прибылью, составляющая суть основного экономического закона современного капитализма. «Уолл-стрит, — пишет Марзани, — в сущности рассматривает весь мир как свою дойную корову».

Серьёзное препятствие на пути к осуществлению Уолл-стритом планов установления мирового господства представляет собой мирная внешняя политика Советского Союза. «Ключом к пониманию событий мировой истории после второй мировой войны является стремление монополистов уничтожить это препятствие в лице страны социализма, в случае необходимости даже путём войны». Раскол мира, военное безумие, гонка вооружений и милитаризация экономики капиталистических стран, обострение реакции и наступление на демократические свободы, возрождение агрессивных сил германского и японского империализма — к таким итогам привела политика «холодной войны».

Военные планы американских империалистов по самой своей сути противоречат интересам всех народов, включая и трудящихся США. Учитывая этот факт, американские стратеги делали главную ставку на то, что для замышляемой ими войны удастся обойтись без массовой армии. Они рассчитывали одержать победу с помощью «атомного блица», основываясь на монополии США на атомное оружие и количественном превосходстве их в авиации. Как известно, и эта авантюристическая стратегия потерпела крах.

Особенно важное значение, как указывает Марзани, имел тот факт, что Пентагон, организовав провокационные нарушения советских границ военными самолётами США, воочию убедился «в эффективности советской радиолокационной защиты в Сибири и в Европе» и в превосходстве советских реактивных истребителей. «Надменные американские генералы, — говорит автор, — узнав, что советские конструкторы и учёные являются прекрасными специалистами, должно быть испытали тяжёлый удар. Но поджигателям войны пришлось узнать нечто ещё более неприятное. Советская промышленность, занятая производством

реактивных самолётов, превзошла американскую по методам производства и техническому мастерству!»

Успехи советской науки и техники, как правильно подчёркивает Марзани, непосредственно способствовали укреплению мира, затруднив и отдалив возможность развязывания новой войны.

В книге приведено характерное высказывание влиятельной американской газеты «Вашингтон пост» по поводу пересмотра основ стратегии США. Отмечая, что любые разговоры о молниеносной атомной войне могут объясняться теперь лишь «плохой осведомлённостью и безответственностью», газета указывала, что без «активного содействия десятка государств в Европе и Азии» Соединённые Штаты не могут и думать о «большой войне» против Советского Союза.

На первое место, таким образом, выдвигается проблема создания массовой армии, в первую очередь за счёт союзников. А это затрудняет подготовку и развязывание войны и расширяет возможности для борьбы против неё, так как вовлекает в эту борьбу новые миллионы людей — тех людей Европы и Азии, которых американские империалисты хотели бы использовать в качестве пушечного мяса. «Где же найдут Соединённые Штаты этот «десяток государств», если они развяжут агрессивную войну?» — спрашивает Марзани. «Агрессивные планы и агрессивные выступления Америки, — отвечает он, — уже оттолкнули от неё тех союзников, которых она купила на свои доллары. Совершенно очевидно, что мы идём к политической катастрофе». Программа вооружений оказалась столь непосильным бременем для западноевропейских стран, что они всё более приближаются к банкротству. Тяжесть налогов и инфляции начинает вызывать возмущение населения.

Автор подробно рассматривает экономические и политические последствия присоединения ряда капиталистических стран к агрессивным блокам, организованным США. Пагубные результаты ремилитаризации привели к дальнейшему росту антиамериканских и антивоенных настроений в этих странах, и не только среди трудящихся, но зачастую и среди определённых групп правящих кругов. Отмечая, что во время второй мировой войны Соединённые Штаты завоевали известную симпатию у народов мира, участвуя в борьбе против нацистской

Германии и милитаристской Японии, Марзани пишет: «В настоящее время в мире нет ни одного правительства, включая франкистскую Испанию, которое бы доверяло США, а что касается народов мира, то для них слово «американец» стало синонимом реакции, коррупции, наглости, напалмовых бомб, атомного безумия, разжигания войны».

Зависимость США от союзников, причём не столько от союзных правительств, сколько от широких масс народов, за счёт которых должна комплектоваться агрессивная армия, превращается в ахиллесову пятую стратегии новой войны за мировое господство американских монополий.

Марзани правильно считает, что все эти факторы отнюдь не исключают опасности войны и не должны вызывать легковесного оптимизма; положение, пишет он, «до крайности серьёзно и опасно». Агрессивные круги США в поисках выхода из надвигающегося экономического и политического кризиса могут пойти на любую авантюру. Однако наличие этих факторов открывает перед всеми сторонниками мира реальные перспективы активизации борьбы против угрозы новой войны, за урегулирование всех спорных вопросов мирным путём.

Внешняя политика каждого государства, отмечает автор, является результатом действия внутренних экономических сил. Он рассказывает американскому читателю об основных чертах советского строя и советского общества. В Советском Союзе, заключает Марзани, нет таких сил, которые были бы заинтересованы в войне. Внутренняя политика Советского правительства, имеющая целью непрерывное повышение материального благосостояния советских людей, находит своё естественное и последовательное продолжение во внешней политике, направленной на укрепление мира и безопасности во всём мире.

Разоблачая выдумки лжецов и клеветников, Марзани приводит неоспоримые доказательства тому, что «в Советском Союзе ничто не может воспрепятствовать мирному сосуществованию двух систем — ни в области политики, ни в области экономики, ни в области философии». Главным препятствием на пути мирного урегулирования всех международных споров является политика агрессивных кругов США, продиктованная антинародными интересами монополий. «Разжигание военных страхов дикто-



валось прежде всего стремлением заглушить в американском народе дружественные чувства и добрую волю по отношению к Советскому Союзу. Это делалось умышленно...»

Призывая американцев выступать и действовать в защиту мира, Марзани пишет: «А выступить мы должны, ибо время идёт, и его остаётся немного. Это наш общий долг — долг перед живыми и погибшими».

Заключительная часть книги названа автором «Мы должны быть друзьями». Указывая, что раздуваемый в Америке военный психоз представляет собой поразительный пример способности печати и радио исказить очевидные факты, Марзани говорит: «Стремление Советского Союза к

миру — это не ханжеские, лицемерные декларации. Это стремление является путеводной звездой внешней политики великой и могучей державы...»

Марзани выражает глубокую уверенность в том, что борьба против поджигателей войны будет расти и шириться, охватывая всё более широкие слои американского народа.

О том, что ни лживой пропагандой, ни репрессиями не удаётся заглушить голос мира в США, свидетельствует и сама его книга, написанная в застенке и зовущая всех честных американцев на борьбу за мир и свободу.

Ю. АРБАТОВ

★

### Мемуары военного преступника

Один из главарей немецкой реакции, расчистившей фашизму путь к власти, вице-канцлер в гитлеровском кабинете, Франц фон Папен являет собой отвратительнейшую фигуру в политическом паноптикуме германского империализма.

На суде в Нюрнберге Папену удалось избежать справедливой кары. Он безболезненно прошёл пресловутую западногерманскую денацификацию и, казалось, канул в политическое небытие. Однако в зловонной атмосфере боннского государства оживают и такие рептилии. Имя Папена снова замелькало на страницах газет. Появились сообщения о том, что он подарил миру свои мемуары, написанные на английском языке. Вскоре их опубликовала гамбургская газета «Вельт» (уже в переводе на немецкий), а мюнхенское издательство «Лист» поторопилось выпустить мемуары отдельной книгой.

Как и следовало ожидать, Папен с места в карьер начинает оправдываться перед американцами. Руководитель немецкого шпионажа в США в годы первой мировой войны пытается уверить американскую публику в том, что он не был «шпионом» или «диверсантом». Папен клянётся, будто его «занятия» не выходили из границ законности. «Моя деятельность не поставила под угрозу ни одной американской жизни... Всё

было совершенно легально», — заверяет профессиональный шпион. Более того, он изображает себя... защитником Соединённых Штатов от немецких диверсантов, нимало не смущаясь тем, что его «легальная деятельность» в Соединённых Штатах служила предметом судебного разбирательства в 1917 году.

Главы мемуаров, связанные с начальным периодом карьеры Папена, построены на беззастенчивой лжи, соединённой с безудержным бахвальством. Однако всё это лишь прелюдия к объёмистому разделу книги Папена, посвящённому воспоминаниям о событиях 1932—1933 годов. То был тревожный период в истории Германии. Начатая ещё Брюнингом фашизация всей политической жизни быстро охватывала страну. Трудящиеся массы, видя нависшую над Германией угрозу фашизма, вставали на борьбу против коричневой чумы. В это время Папен был выдвинут его друзьями — прусскими генералами, помещиками и промышленниками — на пост рейхсканцлера. Немецкая реакция поставила перед Папеном задачу: сдержать напор масс, ликвидировать остатки парламентского режима, задуть демократическое движение. Короче говоря, он должен был создать условия для прихода Гитлера к власти.

Повествуя об этом хлопотливом периоде своей жизни, Франц фон Папен изо всех сил доказывает «отличие» своей политической платформы от гитлеровской, тщательно перечисляет все свои «перебранки» и

— Franz von Papen. „Der Wahrheit eine Gasse“, München, 1952. (Франц фон Папен. «Дорогу правде». Мюнхен, 1952).

«размолвки» с Гитлером, изображает, как он «сдерживал Гитлера».

Но у народов хорошая память. Существует немало документов, говорящих совсем не то, что хотелось бы Папену. Известно, например, что в своё время он «непредусмотрительно» оставил строки, которые никак не вяжутся с его нынешней болтовнёй. Спустя несколько дней после кровавой резни 30 июня 1933 года, устроенной нацистами, Папен писал Гитлеру: «Я чувствую потребность, так же как и 30 января 1933 года, пожать вам руку и поблагодарить за всё, что вы дали немецкому народу».

Стоит раскрыть газеты того времени, и в глаза бросятся десятки заявлений Папена о верности Гитлеру. Он не только говорил об этом, но исправно служил злейшему врагу немецких трудящихся в течение всех двенадцати лет фашистского господства.

Воспроизводя свои «критические» замечания по адресу фюрера, Папен в то же время убеждает читателей в том, что он немало сделал для прихода Гитлера к власти. Где же причина такой непоследовательности? Как может человек, желающий снять с себя вину за соучастие в преступлениях гитлеровских банд, собственной рукой вписывать в свои мемуары целые страницы, посвящённые апологии Гитлера и своему сотрудничеству с ним?

Не следует забывать, что мемуары Папена опубликованы в Западной Германии в 1952 году и написаны с ориентацией на американского и английского читателя (недаром они вышли сперва на английском языке). Не удивительно, что Папен следует в фарватере американско-английской пропаганды. В первые годы после войны эта пропаганда ещё кокетничала с антифашизмом. Тогда этой временной моде следовали и немецкие реакционеры. Так, Гальдер в своих мемуарах называл Гитлера «антихристом», а Шахт озаглавил свои воспоминания «Расчёт с Гитлером». Теперь эта маскировка отброшена. Реакционные американские круги открыто стали на путь фашизации. Оправдывая свою репутацию «старой лисы», Папен держит нос по ветру.

Трактовка Папеном событий 1932 — 1933 годов сводится примерно к следующему: буржуазную Германию в те годы могла спасти, по его мнению, лишь «сильная рука» — либо Гинденбург, либо ре-

ставрированный Гогенцоллерн, либо Гитлер. Последний вариант считался наиболее удобным. И во имя его осуществления Папен видел задачу своего правительства в том, чтобы обеспечить «спокойный приход» Гитлера к власти.

Папен неоднократно признаётся, что уже в 1932 году предлагал вести нацистов в правительство и обеспечить им поддержку. В начале следующего года он прямо утверждал: «Остаётся лишь выход — поставить Гитлера во главе правительства, не отвечающего перед политическими партиями». При этом автор мемуаров отмечает, что «с 1932 года политические партии (речь идёт о буржуазных партиях. — Л. Б.) были вполне настроены образовать кабинет с Гитлером во главе».

Так сам Папен разоблачает лживость попыток аденауэров, брюннингов, хейссов задним числом инсценировать «смертельную схватку» буржуазных партий с Гитлером.

«Я сказал Шредеру, — вспоминает Папен свою беседу с известным гитлеровским банкиром, — что цель моя и Шлейхера — достичь сотрудничества Гитлера... Я готов поддержать всё, что будет направлено к его вхождению в кабинет». И далее: «Моей мыслью было: сделать идею участия в кабинете наиболее привлекательной для Гитлера. А если он сам не захочет, пусть войдёт его коллега — для того, чтобы, как я предлагал уже в августе, подготовить его путь к канцлерству».

Папен подробно расписывает все меры, принятые им, чтобы «убедить» Гинденбурга в необходимости призвать к власти Гитлера. Для засвидетельствования своих заслуг в этом деле Папен приводит слова самого Гитлера: «Да, именно вы, господин фон Папен, в решающий исторический момент... потребовали от Гинденбурга сформировать правительство под моим руководством!» Так Папен выбалтывает правду о своей роли — роли дворецкого, услужливо отворившего перед Гитлером двери имперской канцелярии.

Папен не упускает возможности показать, что, помогая Гитлеру, он действовал в соответствии с политикой правящих кругов западных держав. Он ссылается на «готовность, с которой западные державы одобряли его (Гитлера. — Л. Б.) дело». А по адресу тех английских и американских публицистов, которые обвиняли автора мемуа-

ров в сотрудничестве с нацизмом, Папен в пылу полемики замечает: «Ни события 30 июня, ни постоянное нарушение Гитлером международных соглашений, ни ремилитаризация Рейнской области, ни введение всеобщей повинности, ни отмена Версальского договора, ни аннексия Австрии не помешали иностранным державам блокировать с Гитлером, поскольку они считали его надёжной опорой против большевизма».

Таким образом, Папен ещё раз подтверждает тот факт, что империалистические державы фактически поддерживали все мероприятия Гитлера, ибо рассматривали его как авангард реакционных сил против Советского Союза.

С большой тщательностью описывает Папен свою деятельность на посту германского посла в Австрии в месяцы, непосредственно предшествовавшие гитлеровскому аншлюссу. Разумеется, он пытается отмежеваться от актов разбоя и террора гитлеровских молодчиков в Австрии. Папен, видите ли, ничего «не знал и не ведал» о погромных действиях австрийских нацистов...

Трудно подсчитать, сколько раз Папен фальсифицирует и передёргивает факты, излагая историю аншлюсса. Он упорно старается оправдать этот насильственный акт и представить его в качестве «мирной акции». При этом Папен не забывает привлечь «авторитетных» свидетелей. В частности, он описывает визит бывшего английского министра авиации лорда Лондондерри к Герингу. Во время этого визита Папен советовал лорду «разрешить ряд проблем совместно с Гитлером». Достойный лорд немедленно согласился и начал «искать средства и пути процедуры».

Рассуждения Папена о судьбах Австрии имеют не академическо-исторический характер. Смысл этих рассуждений раскрывается в одном из его замечаний: «Изолированная Австрия, — пишет Папен, — была нежизнеспособной так же, как она мало может быть жизнеспособной без присоединения к Западной Германии. Тесное экономическое сотрудничество было бы сегодня на пользу и обеим странам и Европейскому союзу».

Вот, оказывается, где зарыта собака! Папен выпущен на сцену как глашатай идеи нового аншлюсса — аншлюсса маршализированной Австрии к оккупирован-

ной Западной Германии. Все его обоснования и оправдания политики аншлюсса обращены не в прошлое, а в настоящее. Как известно, новый аншлюсс является одним из замыслов тех империалистических кругов, которые готовят новую войну и планируют для этого создание единого военного и политического плацдарма в Австрии и Германии. Недаром, говоря о гитлеровском плане аншлюсса, Папен пишет, что «положение Австрии было исключительно выгодно на случай конфликта с Советским Союзом».

Более того, Папен мимоходом даёт советы — как следует ныне провести этот аншлюсс, не повторяя «ошибок» Гитлера. Он напоминает о всевозможных проектах того времени и кандидатуре эрцгерцога Отто Габсбурга на пост австрийского императора. «Против эрцгерцога Отто, — пишет он, — не было возражений, и я неоднократно говорил Шушнигу, что мы могли бы рассматривать реставрацию внутренним делом, если бы он и эрцгерцог были готовы обеспечить такую форму аншлюсса, которая обеспечила бы рейху руководящую роль...»

Имя Отто Габсбурга звучит совсем не «исторически». Сей претендент на «австрийский престол» продолжает свои интриги в Европе. С его именем связывается пресловутый американский проект создания «католической дунайской монархии».

Последние годы своей службы Гитлеру Папен провёл на посту германского посла в Турции. Здесь он выполнял весьма важную задачу: обеспечить сотрудничество Турции в войне против антифашистской коалиции, возглавлявшейся Советским Союзом. Главы мемуаров, посвящённые Турции, также написаны в «современном духе».

Папен и здесь пытается оправдаться перед американскими и английскими политиками в том, что он творил в Турции. Если верить Папену, то его деятельность в Анкаре сводилась... к наибольшему обеспечению англо-американских интересов. При описании разрыва германо-турецких отношений Папен делает очередной реверанс перед западными державами: он, мол, прекрасно понимал «неизбежность» перехода Турции в лагерь союзников. Почему? Оказывается потому, что Турция... должна была опереться на западные державы в своих действиях против Советского Союза!

Вся военно-политическая концепция фон Папена вылезает наружу, когда он описывает свою последнюю беседу с Гитлером. С подлинным пафосом изображает Папен своего хозяина в последний период его деятельности. Разговор происходил в июле 1944 года, сразу после пресловутого «покушения». Гитлер в отчаянии. Он просит совета у своего старого коллеги. И Папен советует: «Надо решиться в пользу одного из двух фронтов. Это решение может быть только одним: удержать русских возможно дальше от немецких границ; сосредоточение всех сил на этой цели, а на Западе — сдерживание и, по возможности, перемирие».

Полный усердия, Папен предлагал свои услуги для того, чтобы немедленно вылететь в Мадрид и прозондировать отношение западных держав к этому плану. План, как видим, не оригинальный. Это ещё один вариант плана реакционных американских кругов: сепаратный мир Гитлера с Соединёнными Штатами и Англией для совместной войны против Советского Союза.

Появление мемуаров военного преступ-

ника Франца фон Папена на западноевропейском книжном рынке весьма знаменательно. В Западной Германии разрешается и поощряется деятельность самых реакционных политиканов. И эти политиканы — Папен в их числе — не замедлили воспользоваться ситуацией. Недаром Папен проявляет сейчас подозрительную активность. В 1952 году он посетил Турцию, где навещал своих «старых друзей». Как сообщали газеты, Папен проявляет особую инициативу в деле сколачивания испано-турецко-греческого блока, носящего откровенную антисоветскую направленность. Активен Папен и в самой Западной Германии. Его фотографии и интервью то и дело появляются на страницах западногерманских реакционных газет.

Своей усиленной деятельностью господин Папен выдаёт определённый аттестат политической обстановке, царящей в боннском государстве. Гитлеровский военный преступник отлично чувствует себя в кругу тех, кто тшится повторить опыт Гитлера.

Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

★

### Уникальные памятники

Ежегодно в различных уголках нашей Родины работают десятки археологических экспедиций. Раскопки, произведённые ими, позволили восстановить, а в некоторых случаях по-новому прочитать историческое прошлое многих народов Советского Союза.

Свыше четверти века ведутся профессором А. В. Арциховским археологические исследования в Новгороде — древнейшем центре русской культуры. Многочисленные предметы быта, разнообразные орудия, изделия ремесленников, найденные в результате раскопок, опровергли взгляды буржуазной историографии, рассматривавшей Новгород лишь как купеческий город. Было установлено, что он представлял не только торговый центр, но и обладал высокой культурой ремесла, а в отношении своего благоустройства занимал одно из первых мест в Европе.

А. В. Арциховский и М. Н. Тихомиров. «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951 г.)». Издательство Академии наук СССР, М. 1953.

В 1951 году экспедицией, возглавляемой А. В. Арциховским, было совершено новое крупное открытие — найдены грамоты и надписи на бересте, относящиеся к XI—XV векам.

Этому замечательному вкладу в изучение истории древней Руси и посвящена книга профессора А. В. Арциховского и академика М. Н. Тихомирова.

До сих пор существовали предположения о широком распространении грамотности в древней Руси. Они основывались на некоторых дошедших до нас древнерусских грамотах XII, XIII и XIV веков, написанных на пергамене. Теперь, при наличии обнаруженных берестяных грамот и надписей на предметах домашнего обихода, эти предположения превратились в непреложный исторический факт.

В введении к книге А. В. Арциховский приводит краткие топографические данные о месте находки берестяных грамот. Они были обнаружены в центральной части Новгорода. Квадратный раскоп площадью в 324 квадратных метра, глубиной в 7—7,5 метра, прилежавший к современной Дмитри-

евской улице, расположенной параллельно реке Волхов, был заложен на месте древней Холопьевой улицы. Эта улица, часто упоминающаяся в новгородских летописях, являлась в XIV веке, по мнению профессора Б. А. Рыбакова, центром демократических слоёв Новгорода.

Древнерусские берестяные грамоты до сего времени не были известны науке, хотя историки знали, что береста в древней Руси служила в качестве материала для письма. До нас дошли золотоордынские рукописи на бересте XIII века и русские берестяные книги XVII—XVIII веков, писанные чернилами.

Как известно, вещества растительного происхождения, в том числе и береста, обладают свойством сохраняться либо в очень сырой, либо в очень сухой земле. Новгородская почва, будучи сырой, способствовала длительному сохранению бересты, но не чернил. К счастью, найденные берестяные грамоты были написаны путём вдавливания и процарапывания букв.

А. В. Арциховский подчёркивает, что новгородские берестяные грамоты «ни в коей мере нельзя считать каким-либо архивом». Найденны они были на далёком расстоянии друг от друга как по горизонтали, так и по вертикали (последнее особенно важно). Попадали грамоты в землю одновременно и случайно. Это видно хотя бы из того, что грамоты с более поздним по форме начертанием букв были найдены в верхних слоях земли и, наоборот, с более ранними по форме буквами — в нижних слоях.

Большой интерес представляет статья академика М. Н. Тихомирова «Грамоты и надписи», дающая развёрнутое палеографическое описание находок, их датировку и содержательные комментарии к ним.

Способ начертания букв на новгородских берестяных грамотах, представляющих собой уникальные памятники древнерусской письменности, пишет М. Н. Тихомиров, коренным образом отличается от способа письма на известных нам документах, написанных на пергамене, бумаге и бересте. Как уже отмечалось, буквы вдавливались или выцарапывались на поверхности берёзовой коры заострёнными костяными или металлическими палочками. Степень заострения этих палочек, повидимому, была различной.

Материал для письма (береста) и способ нанесения буквенных знаков (вдавливание

острым предметом) затрудняли написание округлых линий. Поэтому во всех найденных берестяных грамотах наблюдается геометрическое начертание букв с преобладанием прямых и острых углов.

Отличие графики берестяных грамот от графики пергаменной и бумажной письменности того же периода затрудняет датировку берестяных грамот и требует специального палеографического изучения этих грамот. М. Н. Тихомирову пришлось, таким образом, провести очень сложную и трудную работу, увенчавшуюся несомненным успехом.

Найденные берестяные грамоты дают представление о быте новгородцев, касаются вопросов экономики и права древнего Новгорода. Большинство из них (7 из 10) являются частными письмами. До этого о существовании в древней Руси частной переписки не было известно.

Нам кажется, что разбор грамот целесообразнее было бы проводить не в порядке их нахождения, как это сделано в книге, а в хронологическом порядке — с самой ранней из них, относящейся к XI веку (№ 9), до грамот XV века (№№ 1 и 10). Подобное замечание, кстати говоря, можно сделать и в отношении надписей. Такое расположение материала даст более наглядное представление о развитии графики берестяных грамот.

Самой древней (XI век) и, добавим, наиболее сохранившейся из грамот является «Письмо от Гостята к Василью». Его палеографические особенности почти аналогичны надписям на знаменитом Софийском соборе (1045—1050 годов). Содержание этого письма по-разному толкуют авторы книги. В письме упоминаются два имени: Гостята и Василь. Первое из них может быть, по мнению М. Н. Тихомирова, и мужским и женским. Учёный с полным основанием полагает, что в данном случае речь идёт о женщине Гостяте, авторе найденного письма, оказавшейся разведённой и жалующейся некоему «Васильви» на то, что её муж, вторично женившийся, присвоил принадлежащее ей, Гостяте, имущество, данное отцом и родственниками («роди»). Она просит Василия помочь ей.

А. В. Арциховский, напротив, считает, что имя Гостята является мужским (в Новгороде XI века известны имена Вышата, Гюрята, Жидята, Петрята, Седята, Твердята). Мужчина Гостята, по предположению

А. В. Арциховского, жалуется на своего отца, который женился на двух новых жёнах и отнял в связи с этим у него имущество. Отец — представитель, так сказать, традиций большой семьи, живущей на патриархальных началах, — распоряжается состоянием Гостяты; сын же, будучи носителем новых, городских норм, требует отдельного владения. Обращаясь к Василию, Гостята рассчитывает, что последний придет «добро сотворя», то есть окажет помощь.

С таким толкованием согласиться никак нельзя. Всякий «женившийся на двух новых жёнах» в условиях древней Руси XI века встретил бы со стороны светских и церковных властей суровое осуждение за нарушение единобрачия и был бы строжайшим образом наказан. И уж, во всяком случае, «сын» не преминул бы в имущественном споре сослаться на это самое «двоеженство», явившееся якобы причиной захвата имущества «отцом».

В интересном анализе этой грамоты, произведённом Ф. Ф. Кузьминым («Вопросы языкознания», № 3 за 1952 год), убедительно опровергается толкование грамоты, данное А. В. Арциховским. В частности, Ф. Ф. Кузьмин утверждает, что «Гостята собственно не имя, а прозвище. К тому же прозвище, образованное не от христианского имени» и «по своему составу... с равным основанием может быть отнесено к собственным именам как мужского, так и женского рода».

Таким образом, речь идёт, видимо, не о «мужчине» Гостята, потерявшем своё имущество вследствие захвата его «отцом-двоеженцем», а о горемычной судьбе русской женщины, жившей девятьсот лет тому назад, разведённой жене Гостяте, горько обиженной бросившим её мужем.

Эта публикация — первое по времени древнерусское частное письмо, дошедшее до нас и представляющее собой интересный образец яркой разговорной речи.

Под № 5 помещено «Письмо к Матфею», также относящееся к частной переписке, но уже первой половины XIV века. В этом письме, по М. Н. Тихомирову, некий Есиф хлопочет перед Матфеем о «сироте» (что в древних памятниках означало также холопа, раба), за которого следует «постоять» на суде. «Дворянин Павел, Петров брат», которому Матфей должен «молвить» о грамоте, является, видимо, судейским должностным лицом.

Весьма интересна грамота № 2 — «Запись о мехах» (конец XIV — начало XV века), относящаяся, «повидимому, к районам Новгородской земли, населённым карелами и отчасти эстонцами». Запись эта, в которой упоминаются меха белой росوماхи, куницы и белки, представляет ценность для истории мехоторговли и русско-чудских отношений.

Любопытна грамота № 1 «Запись о поземе и даре», написанная русским полууставом XV века. В ней говорится о феодальных повинностях, которые взимал с ряда новгородских сёл некий Фома. Позем и дар выплачивались, судя по этой грамоте, в белках или натурой. Грамота упоминает в числе прочих феодальных доходов и полоть, что означает полоть мяса, а также рожь и, повидимому, «ужинное» (то есть сжатый хлеб). Данная грамота — важный источник для изучения истории феодальной собственности на землю, являвшуюся основой феодализма.

Таким образом историческая наука располагает теперь новой записью о поземе и даре, которая на несколько десятилетий предшествует известным новгородским писцовым книгам, составленным после присоединения Новгорода к Москве во второй половине XV века.

Один из найденных документов (№ 10) — «Грамота (надпись) на ободке сосуда» — относится, по мнению М. Н. Тихомирова, к XV веку. Она представляет собой сделанную на ободке берестяной чашечки, может быть солонки, надпись в две строки, целиком сохранившуюся. Текст этой надписи следующий: «Есть град между нобом (небом) и землею, а к ному (нему) еде посол без пути, сам ним (нем) везе грамоту непсану (неписанную)».

По приведённому в книге объяснению В. П. Адриановой-Перетц, это древнерусская стихотворная загадка, идущая от апокрифической литературы, известная и по рукописям и в устной традиции: град — это Ноев ковчег, посол — голубь, грамота написанная — масляная ветвь, оповещающая о прекращении потопа.

О широком распространении грамотности среди новгородцев свидетельствуют не только «берестяные письма», но и надписи, сделанные на деревянных предметах, на моржовой кости и на меди. Надписи на деревянном цилиндре, на крышке кадушки, на нижнем венце сруб, на днище бочки, на аршине,

на деревянной колодке дают основание считать, что грамотность являлась достоянием не только тех новгородцев, которые метили своё имущество надписями (именами, инициалами и т. д.). Грамотны были также и новгородцы — соседи метивших и другие лица, связанные с ними по ремеслу, по торговле, — для которых эти метки были предназначены. Например, «надпись на нижнем венце сруба» (№ 4) представляет собой букву «А» (что означало здесь цифру «1»), вырубленную плотником тремя ударами топора на бревне первого венца сруба. По древнерусскому обычаю, сохранившемуся вплоть до XX века, разъясняет А. В. Арциховский, готовые срубы перевозили в разобранном виде на другое место и там вновь их собирали. Обычно, чтобы не спутать венцы, их отмечали особыми зарубками. В данном случае была сделана цифровая отметка.

Нельзя не отметить, что А. В. Арциховский, совершенно правильно указывая во введении на данную надпись, как на один из признаков распространения грамотности в Новгороде, допустил, тем не менее, несомненное преувеличение. А. В. Арциховский пишет: «венцы... метились зарубками, число которых означало номер венца; так было до XX века. Но в древнем Новгороде грамотный плотник для других грамотных плотников метил венцы цифрами». Получается, что плотники в древней Руси были грамотнее русских плотников... XX века!

Книгу завершает содержательная статья А. В. Арциховского «Стратиграфическая датировка грамот и надписей», обстоятельно рассказывающая о том, что новгородские грамоты на бересте и надписи на предметах могут быть датированы не только палеографически — по форме букв, но и стратиграфически — по слою, в котором они были найдены.

Стратиграфическая датировка грамот, произведённая независимо от их палеографической датировки, в основном сходилась с последней.

Новгородские берестяные грамоты и надписи на предметах представляют собой значительную ценность как исторический источник. Они разбивают глубоко ошибочные взгляды, по которым древнерусская письменность якобы была распространена лишь в очень узком кругу людей, главным образом среди духовенства. Теперь мы имеем доказательство того, что грамотность проникла и в демократические слои древнерусского общества.

Велико значение найденных грамот и надписей для развития палеографии: сейчас возникает новый раздел этой научной дисциплины — палеография берестяных грамот. Книга А. В. Арциховского и М. Н. Тихомирова уже широко используется как учебное пособие для студентов-историков по русской палеографии, а также по истории СССР.

Книга эта вызвала значительный интерес среди наших языковедов. Найденные берестяные грамоты, написанные живым разговорным языком, являются замечательным памятником по истории русского языка.

Издание богато иллюстрировано и отлично оформлено: в него включены фотографии и прориси десяти найденных берестяных грамот и девяти надписей, а также «План Новгорода XVIII в. с обозначением места Неревского раскопа», «Современный план местности раскопа» и «Вертикальная и горизонтальная проекции раскопа с обозначением мест находок всех грамот и деревянной мостовой».

В 1952 году археологические исследования экспедиции А. В. Арциховского в Новгороде продолжались. На этот раз площадь раскопа была значительно больше, чем в 1951 году. Здесь были найдены ещё 73 берестяные грамоты, относящиеся к XII—XV векам. Раскопки в Новгороде велись также и летом 1953 года и будут продолжаться. В связи с этим хочется пожелать авторам дальнейшей плодотворной работы над изучением вновь найденных драгоценных памятников древнерусской письменности.

*Кандидат исторических наук*  
**А. НИКОЛАЕВА.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** С чего начать? 16 стр. Цена 15 к.

**К. Е. Ворошилов.** 36-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1953 года. 24 стр. Цена 20 к.

**КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов. ЦК.** Часть I. 952 стр. Цена 14 р. 35 к.

**Внешняя политика Советского Союза. 1950 год.** Документы и материалы. 672 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Д. Заславский.** Перемирие в Корее—важный вклад в дело мира. 40 стр. Цена 40 к.

**Н. Зубов.** Быть бдительным на любом участке и во всякой обстановке. 116 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Ф. Румянцев.** Повышение производительности труда и внедрение передового опыта в промышленности СССР. 72 стр. Цена 85 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Абдурахман Абсалямов.** Орлята. Роман. Авторизованный перевод с татарского М. Демидовой и М. Чечановского. 583 стр. Цена 9 р. 95 к.

**Жанна Гаузнер.** Я увижу Москву. Роман. 472 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Николай Грибачёв.** Стихотворения и поэмы. 408 стр. Цена 8 р. 40 к.

**Дмитрий Ерёмин.** Гроза над Римом. Роман. 336 стр. Цена 5 р. 85 к.

**С. Касторский.** Статьи о Горьком. 547 стр. Цена 11 р. 70 к.

**Людмила Копина.** Страницы большой жизни. 444 стр. Цена 7 р. 35 к.

**Л. Левин, П. А. Павленко.** 344 стр. Цена 8 р. 25 к.

**Владимир Луговской.** Пустыня и весна. Стихи. 1931—1952. 208 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Ксения Охапкина.** Повесть о Куинджи. 244 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Ирина Ставская.** Дом песен. Поэма. Авторизованный перевод с молдавского Вероники Тушновой. 76 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Чимит Цыдендамбаев.** Доржи, сын Бачзара. Роман. Авторизованный перевод с бурят-монгольского Мих. Степанова. 436 стр. Цена 7 р. 30 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Мартин Андерсен Нексе.** Собрание сочинений в десяти томах. Том 5. В железном веке. Роман. Перевод с датского. 320 стр. Цена 11 р.

**Эдуард Вилде.** Эллис Айленд — остров слёз. Очерки и рассказы. Перевод с эстонского. 119 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Гёте.** Фауст. Перевод с немецкого. 620 стр. Цена 8 р. 70 к.

**Теодор Драйзер.** Собрание сочинений в двенадцати томах. Том 10. Рассказы. Перевод с английского. 746 стр. Цена 15 р.

**Эмиль Золя.** Лурд. Роман. Перевод с французского. 463 стр. Цена 8 р. 25 к.

**А. Каравасва.** Родина. (Огни. Разбег. Родной дом). 767 стр. Цена 16 р. 10 к.

**А. И. Куприн.** Сочинения в трёх томах. Том 1. 568 стр. Цена 10 р. 90 к. Том 2. 511 стр. Цена 9 р. 30 к. Том 3. 576 стр. Цена 10 р.

**Г. Э. Лессинг.** Избранные произведения. Перевод с немецкого. 639 стр. Цена 10 р. 25 к.

**Ило Мосашвили.** Избранные произведения. Перевод с грузинского. 343 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Станислав Костка Нейман.** Избранное. Перевод с чешского. 328 стр. Цена 7 р. 15 к.

**Н. А. Некрасов.** Сочинения в трёх томах. Том I. 448 стр. Цена 6 р. 30 к. Том 2. 542 стр. Цена 7 р. 85 к. Том 3. 431 стр. Цена 7 р.

**П. А. Павленко.** Собрание сочинений в шести томах. Том 2. Счастье. Труженики мира. 463 стр. Цена 10 р.

**Франческо Петрарка.** Избранная лирика. Перевод с итальянского. 204 стр. Цена 3 р. 95 к.

**Рассказы китайских писателей.** Перевод с китайского. 544 стр. Цена 10 р. 15 к.

**Людмил Стоянов.** Холера. (Дневник солдата). Перевод с болгарского. 144 стр. Цена 1 р. 90 к.

**Тургенев в русской критике.** Сборник статей. 580 стр. Цена 9 р. 10 к.

**И. Г. Чернышевский.** Полное собрание сочинений в пятнадцати томах. Том 16 (дополнительный). Статьи, рецензии, письма и другие материалы. 1843—1889. 959 стр. Цена 18 р.



**М. А. Шолохов.** Тихий Дон. Роман в четырёх книгах. Издание исправленное. Книга 1, 359 стр. Цена 7 р. 50 к. Книга 2, 357 стр. Цена 7 р. 60 к.

**И. Г. Эренбург.** Сочинения в пяти томах. Том 4. Повести, рассказы, стихотворения. 652 стр. Цена 12 р.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Мargarита Агашина.** Моё слово. Стихи. 71 стр. Цена 2 р.

**Виктор Гончаров.** Новые берега. Стихи. 144 стр. Цена 3 р. 55 к.

**А. Кожин.** Япония ~~сегодня~~. Очерки и путевые заметки. 200 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Вл. Пьянков, П. Мельников.** В новой Румынии. («Молодёжи о странах народной демократии»). 208 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Поэты нового Китая.** Сборник. 328 стр. Цена 7 р. 70 к.

#### ДЕТГИЗ

**В. Архангельский.** У заветного камня. Рассказы. 168 стр. Цена 3 р. 85 к.

**М. Дудин.** «Аврора». Поэма. 32 стр. Цена 25 к.

**А. Забелло, П. Капица.** Под флагом нашей Родины. 52 стр. Цена 4 р. 50 к.

**К. Меркульева.** Хозяева зелёного мира. 176 стр. Цена 3 р. 70 к.

**Б. Полевой.** Практикант. Рассказы. 32 стр. Цена 45 к.

**Рассказы о природе.** 192 стр. Цена 3 р. 95 к.

**О. Русанова.** Сёстры. Повесть. 328 стр. Цена 5 р. 55 к.

**М. Садовяну.** Остров Цветов. Повесть. Перевод с румынского И. Константиновского. 168 стр. Цена 3 р. 50 к.

**Туркменские народные сказки.** Перевод и обработка О. Эрберга. 120 стр. Цена 3 р. 10 к.

**М. Фомина.** Плечом к плечу. Повесть. 232 стр. Цена 4 р. 50 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО

#### АКАДЕМИИ НАУК СССР

**И. Г. Блюмин.** Критика современной буржуазной политической экономии Англии. 357 стр. Цена 15 р. 10 к.

**В. А. Карра.** Строительство социалистической экономики в Румынской народной республике. 215 стр. Цена 8 р. 65 к.

**Очерки истории СССР.** Период феодализма IX—XV вв. Часть I. Древняя Русь. Феодальная раздробленность. 984 стр. Цена 49 р.

**Н. И. Павленко.** Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII в. 538 стр. Цена 23 р. 35 к.

**П. Н. Третьяков.** Восточно-славянские племена. 311 стр. Цена 7 р. 70 к.

#### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**А. Васильев.** Великая победа под Москвой. 96 стр. Цена 2 р. 75 к.

**История военно-морского искусства.** Том I. Военно-морское искусство рабовладельческого и феодального общества. 274 стр. Цена 12 р. 65 к.

#### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**А. Денисов.** Советы — политическая основа СССР. 57 стр. Цена 70 к.

**Н. Маклашин.** Всемерно укреплять колхозный строй. 61 стр. Цена 75 к.

**Н. Филатов.** Новые приёмы овощеводства. 111 стр. Цена 1 р. 50 к.

**К. Щербакова.** Пути повышения продуктивности коров. 54 стр. Цена 70 к.

#### СЕЛЬХОЗГИЗ

**И. М. Барашков.** Высокие урожаи льна-долгунца. 32 стр. Цена 40 к.

**Вопросы земледелия.** Сборник статей. 256 стр. Цена 8 р. 70 к.

**Н. Р. Иванов.** Зерновые бобовые культуры. 351 стр. Цена 7 р. 20 к.

**А. К. Шутов.** Передовая тракторная бригада. 40 стр. Цена 45 к.

#### ЮРИЗДАТ

**В. Н. Иванов.** Основные права и обязанности граждан СССР. 116 стр. Цена 1 р. 40 к.

**П. С. Ромашкин.** Военные преступления империализма. 440 стр. Цена 16 р. 80 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**С. П. Антонов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),

**В. П. Катаев, С. С. Смирнов** (зам. главного редактора),

**С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин, М. А. Шолохов**

Р е д а к ц и я: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 21/XI-53 г.

А 07261. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>.

9 бум. л.—24,66 печ. л.

Подписано к печати 24/XII-53 г.

Тираж 140.000. Заказ № 2379.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.